# Иностранная литература

12
1962

# Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР


## СОДЕРЖАНИЕ


МАРИЯ БАНУШ — Поднимаюсь ступень за ступенью (Стихи) . . . . . 4

ОРХАН ХАНЧЕРЛИОГЛУ — Море, бьющее в наши борта... (Повесть) . . . . . 9

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ — На реке Парана (Стихи. Предисловие Сесара Арконады) 68

ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ — Дженни (Роман) . . 71

### Сатирические страницы

ГАБОР ГОДА — Важные истории (Рассказы) 163

### ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

АТТИЛА ЙОЖЕФ — Стихи . . . . . 181

### КРИТИКА

Е. ТРУЩЕНКО — Такова ли панорама современной литературы? . . . . . 188

А. ЕЛИСТРАТОВА — «Времена изменились...» (О последних романах Колдуэлла) . . . . 196

З. ПЛАВСКИН — Кто же хранит ключи от «Фуэнте Овехуны»? . . . . . 205



12

ДЕКАБРЬ

1962

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

Москва

## ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

### Слово писателей Испании

ХОСЕ-МАНУЭЛЬ КАБАЛЬЕРО-БОНАЛЬД, ЛУИС РОМЕРО, МАРИЯ АУРЕЛИЯ КАПМАНИ, АЛЬФОНСО ГРОССО, ХОСЕП-МАРИЯ ЭСПИНАС, АНТОНИО ФЕРРЕС, РИКАРДО ФЕРНАНДЕС ДЕ ЛА РЕГЕРА, АРМАНДО ЛОПЕС САЛИНАС, ЛУИС ГОЙТИСОЛОГАЙ, МАНУЭЛЬ ДЕ ПЕДРОСО, ХУАН ГАРСИЯ ОРТЕЛАНО . . . . . 210

## КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы . . . . . 217

## ПУБЛИЦИСТИКА

ЗИГФРИД ЭЙНШТЕЙН — Я обвиняю! (Фрагменты из книги «Обер-бухгалтер смерти») . . . . . 222

## ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

ЭМРИС ХЬЮЗ — Встречи и беседы с Бернардом Шоу . . . . . 244

## НАШИ ГОСТИ

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ — Мигель Анхель Астуриас . . . . . 252

## КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Л. ЭЙДЛИН — Поэт великого народа (К 1200-летию со дня смерти Ли Бо) . . . . 255

## У НАШИХ ДРУЗЕЙ

По страницам журналов социалистических стран . . . . . 258

## СРЕДИ КНИГ

### ИЗДАНО В СССР

С. Великовский — Уроки наследия. ◇ Борис Слуцкий — Летопись жизни и любви. ◇ Владимир Огнев — «Эй, ветер!» ◇ Г. Егорова — Раннее произведение писателя-гуманиста. ◇ Л. Фейгина — Земля горит. ◇ М. Кораллов — Рукопожатье. ◇ Л. Зонина — Только правда . . 261

## НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ . . . . . 270

## ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника . . . . . 271

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . . . . 282

**Содержание журнала «Иностранная литература» за 1962 г. (№№ 1—12)** . . . . . 283


*На обложке «Горцы Стара-Планины» — гравюра на дереве ПЕНЧО ГЕОРГИЕВА (Болгария).*

ГОРСТЬ РОДНОЙ ЗЕМЛИ С ЮГА (ГИПС).
**Работа вьетнамского скульптора ФАМ СУАН ТХИ.**

МАРИЯ БАНУШ

# Поднимаюсь ступень за ступенью

*Непрерывному полету коммунистов*

## Концерт

I

Я слушала. Это было финалом и увертюрой
одновременно.
Как проблески между тучами,
как полуночных звезд хоровод на поляне.
Весь оркестр был в наличии — струнных и духовых
многозвучие.
Лес подземный гудел.
Все явились:
кто были в Смольном,
красногвардейцы,
с ними — ветер,
конницы, снегопады,
голод,
расправы белогвардейцев,
бред тифозных бараков,
медленная агония.
Все сегодня явились
с их отчаянной жаждой жизни
и справедливости,
с их мечтами — огромными и прозрачными,
словно башни из тонких лучистых кристаллов,
с поцелуями их, что оборваны смертью,
со всем их самозабвением, напряжением
непрестанным.
Все сегодня явились
на первый концерт наш межзвездный,
слушать этот, еще никогда не звучавший
финал с увертюрою одновременно.

Как наэлектризованный лес, отзовитесь,
каждым мускулом, каждым нервом,
напрягите,

еще и еще
ваши чувства и разум
в наивысшем усилии,
чтоб добраться сюда,
в эти звездные выси ночные.
Никто ведь не умер из вас, ни один,
все явились.
Все двадцать шесть,
двадцать шесть из Баку
с простреленными сердцами,
и вы — посланцы заводов,
ценою жизни ломавшие вековую крестьянскую
косность,
все двадцать пять тысяч, двадцать пять тысяч
Давыдовых,
вы раздвинули занавес
русых высоких колосьев,
и пришли,
и решительным шагом прошли к самолетам.
Вы спешили. Вы даже одежду сменить не успели.
Так в своих сапожищах и комбинезонах,
побуревших от пыли,
под звездные своды явились.
И ты здесь, высокая строгая девочка Зоя.
Как я сразу тебя не заметила,
с первых аккордов?
Разве ты бы могла не прийти?
Ты должна была сбросить
одеяла глубокого снега,
покрывала, намокшие кровью,
прочь откинуть.
Легким шагом,
ногами босыми,
обожженными там, на допросах в фашистском
застенке,
ты должна была долго идти
по высоким струящимся травам
тихих звездных полей, чтоб добраться
сюда, где твое настоящее место,
где поют серебристые арфы
и огромные, чистые звезды сияют.
Скоро нами рожденной звезде
мы дадим твое имя.

## II

«Вот чудеса какие...»
Чей это голос? Кто произнес это?
Я? Я, конечно.
Я тот, в ком живет, может быть, наивная гордость,
я тот, кто внимает средь звезд
«изумительной, нечеловеческой музыке»,
я вижу, какой кроткой, чуть таинственною улыбкой
улыбается Юрий Гагарин,
я тот, кто думает мыслями Ленина
во время звучанья «Апассионаты»:

«Вот чудеса какие могут делать люди!»
И я, как и он, внезапный укол ощутила.
Упала стремительно вниз
из мира взволнованных звуков,
из прозрачной трепещущей сферы
высокого счастья,
между змеями проволоки колючей,
с их шипящими, маленькими, заносчивыми
головками.
Увидала, как змеи ползут, как смыкают круг
возле Кубы.
Увидала алую розу,
облачившуюся в доспехи с шипами стальными,
увидала, как круг проклятый
раскачивается зловеще,
колеблясь, и отступая,
и опять готовясь к атаке.
Увидала Алжир окровавленный,
Париж под вечной угрозой,
Эйхмана в клетке стеклянной
и его приятелей в современных,
комфортабельных кабинетах,
невозмутимых — в зубах сигары,
в кожаных мягких портфелях —
сметы будущей смерти.
Увидала над бывшей лагерной зоной,
над бесплодными выжженными полями
мятущийся пепел замученных.
Подхваченный вихрем,
к хмурым тучам взвился он смерчами
и на землю упал, осыпая
черной, всепроникающей сажей
города блестящие Запада.

## III

И тогда мое сердце,
приобщившееся к Вселенной,
мое сердце, уже начавшее
привыкать к невесомости,
к вдохновенному счастью преодоления,
мое сердце, скрученное, истерзанное,
сброшенное со склонов небесных
на обугленные равнины,
где шипящих проволок жала,
где сирены тревоги, надрывно ревущие
широко раскрытыми глотками,
выносливое мое сердце,
воспитанное в суровости,
вылепленное, как надо по меркам нашей эпохи,
закаленное, гибкое, приученное
сталью быть перед сталью,
светом быть перед светом,
прошедшее испытания падениями
и взлетами,

поняло, что и ныне
оно себе не изменит.
Еще нашлась в ногах моих сила
пересечь ужасную зону смерти,
обойти все клубки змеиные
проволоки колючей,
миновать провода, по которым проходит
ток высокого напряжения
зверства капитализма.
Ноги мои, в полете искавшие точку опоры,
снова угрюмо, но твердо
шагают по серым комьям
к наблюдательной вышке.
Поднимаюсь ступень за ступенью
по железной спирали суровой башни.
На губах, которые на мгновение
ощутили дыхание беспредельности,
чувствую вновь знакомый привкус гари и пепла,
что в лицо мне бросает ветер.
По ладони моей,
по ветвистой линии жизни
растекается снова оружия холод железный.
Но сердце мое, закаленное, гибкое,
снова
начинает отсюда, из этой ночи,
с этой открытой ветрам площадки
свое чудесное восхождение.
Свежие дуновения лба моего касаются.
Воздух становится чище, легче, прозрачнее.
И вскоре аккорд доносится.
Это первые ноты
лейтмотива полета непрерывного, вечного.
Повторяют его духовые и струнные,
весь оркестр, разместившийся
на лугах черно-синих.
А потом одна только арфа —
нежная, одинокая —
говорит со звездой, мерцающей
обещающе и таинственно
сквозь прогалину в тучах.

*Перевод с румынского ВЕРОНИКИ ТУШНОВОЙ*

## Поэзия

Будь скупой, о, будь скупой...
Даже перышко и то храни,
в шкатулку его опусти,
рядом с молчаньем, возникшим вчера
в сумерки между другом твоим и тобой,
рядом с пузырьком из-под духов,
где радуга заключена.
Подбери даже камешек, который ты
во дворе своего детства аметистом звала,
даже смятую трубочку вьюнка на изгороди,
сбереги и ее.

Сбереги и странное ощущение
головокружения, полета
холодным и туманным мартовским утром,
когда сосульки каплю за каплей
роняли на грязный тротуар.
Сохрани даже осколок и тень.

И когда многие скажут с жалостью,
сочувственно покачивая головой:
— Видали вы?
Она хранит даже использованный трамвайный
билет,
даже осколок и даже перышко,—
тогда ты встряхни своим коробком,
как встряхивала красным фаянсовым сердцем,
купленным на масленицу.
Как таинственно звучало его дзинь-дзинь.
— Пришло время разбить его,— говорила ты себе.
И щеки твои горели.
— Пусть посыплются оттуда никелевые монетки
все до одной.
Не оставь себе ничего.
И тогда распрямятся
смятые венчики вьюнков,
и зазвучат их лиловые трубы
громче труб Иерихона.
И глухая и непроницаемая стена забвенья
рухнет.
Из перышка вновь возникнет ласточка,
для того чтобы рассекать воздух,
чтобы усесться под твоей кровлей.
Аметистовый песок
обретет свой былой блеск.
Сосульки возобновят свою певучую жалобу.
Жалкий использованный трамвайный билет —
даже и тот воскреснет.
Мы будем снова стоять, стройные и серьезные,
в старом-престаром вагоне
с длинными кожаными ремнями,
беспокойно свисающими с потолка,
с трепетными городскими огнями,
мелькающими за темными стеклами,
с запахом дешевого сукна твоего пальто,
увлажненного дождем,
с зеленым сумраком твоих глаз, которого нет нигде,
кроме этого вагона с длинными кожаными ремнями,
беспокойно свисающими с потолка.

*Перевод с румынского ВЕРЫ ИНБЕР*

ОРХАН ХАНЧЕРЛИОГЛУ

# Море, бьющее в наши борта...

*ПОВЕСТЬ*

*Перевод с турецкого*
*С. СТЕРКИНОЙ и Ю. ПЛОТНИКОВА.*

## 1

## ЗДРАВСТВУЙ, ДВАДЦАТЫЙ ВЕК!

Казалось, в затихших домах никто не слыхал внезапно раздавшегося выстрела. Но уснули еще не все. И те, кто только начинал засыпать, стали настороженно прислушиваться. Вот в одном из окон мелькнул белый силуэт. Быстро задвигалась рука, протиравшая запотевшее стекло. На пороге дома показался человек в одном белье. Он выбежал на булыжную мостовую и стал испуганно всматриваться в глубь улицы, скупо освещенной фонарями.

Дождь кончился, над городом спустилась ночь — сырая, прохладная, напоенная запахом влажной земли.

Человек растерянно оглядывался. Он медленно поднял глаза к небу. Оно было безмолвным и темным — черная бездна.

Человек вздрогнул, поежился и вдруг торопливо побежал обратно. Он быстро юркнул под одеяло и укрылся с головой.

Все стихло. И когда автомобиль, стремительно промчавшийся по улице Шифахане, круто свернул к рынку Тирьяки, человек, позабыв свои страхи, уже спал и видел сон, полный света, тепла и людских голосов.

Вынырнувший из темноты автомобиль резко затормозил у двери ветхого трехэтажного дома. Напротив белела мечеть Сулеймание. Из автомобиля на тротуар выпрыгнули двое. Один был в смокинге. В темноте слегка серебрились его тщательно зализанные редкие волосы. На вид ему было около пятидесяти.

Другой выглядел лет на десять старше. Он был без шляпы, в дождевике, накинутом прямо поверх пижамы, в мягких домашних туфлях.

Пробежав несколько шагов, отделявших его от двери дома, старик остановился, задыхаясь. Его спутник нажал кнопку звонка. Через некоторое время дверь медленно, со скрипом открылась.

Тогда, торопясь и толкая друг друга, оба побежали было по лестнице на второй этаж, но, глянув вверх, внезапно остановились.

На лестничной площадке стоял высокий, худощавый черноволосый человек. Поблескивая стеклами очков в толстой оправе, он молча смотрел вниз. Бледное, бесстрастное лицо не выражало ничего — ни волнения, ни испуга. Казалось, это не человек, а статуя, которая стоит здесь давным-давно, с тех пор, как построили этот успевший совсем обветшать дом.

Статуя, которую время от времени моют, иногда только стирают с нее пыль, а потом надолго забывают.

Вокруг все стареет, а статуя стоит и стоит, неподвижная и неизменная. Ах, эта статуя... Она все видит, все слышит, но молчит, молчит...

А вдруг она упадет? Что тогда? О, ничего! Не тревожьтесь, она не разобьется. Ведь она сделана из прочного, небьющегося камня...

— Что с Седатом?

Глухой, прерывающийся голос ударился в темную стену. Изваяние даже не шелохнулось. Только слабое эхо было ответом. Стоявшие внизу переглянулись и, поддерживая друг друга, начали подниматься по лестнице.

Поставив ногу на последнюю ступеньку, человек в пижаме прокричал прямо в лицо изваянию:

— Ради аллаха, что случилось?

И вдруг статуя зашевелилась. Сначала она медленно облизала сухие губы, потом, едва приоткрыв рот, коротко бросила:

— Умер!

— Умер? О-о-о! Но как же, как же это могло случиться?

Человек в пижаме покачнулся и, чтобы не упасть, ухватился за перила. Он начал задыхаться и захрипел.

Тогда тот, который был одет в смокинг, оставил своего спутника и бросился в тьму коридора.

Почти в самом конце коридора он распахнул одну из дверей.

На ковре посреди комнаты, отливая вороненой сталью, чернел маленький пистолет. На кровати, вытянувшись во весь рост, лежал Седат. Одна рука его мирно покоилась на груди, другая бессильно свисала, касаясь скрюченными пальцами пола.

Скудный свет ночника освещал желтое лицо и уже провалившийся рот. Трудно было поверить, что это застывшее тело совсем недавно было живым и теплым.

Человек в смокинге тихо прикрыл дверь и вернулся на лестницу.

— Доктор не приходил? — спросил он шепотом.

— Нет.

— А где мать, где сестра?

— Наверху.

С верхнего этажа вдруг быстро скользнула кошка. Она неслышно подошла к человеку в очках, замурлыкала и начала тереться о его ногу.

Человек в пижаме невнятно забормотал:

— Как же так? Ведь только вчера...

Он умолк и в изнеможении опустился на ступеньку.

Человек в смокинге провел рукой по глазам. Нет, ему не удалось выжать ни одной слезы!

Он решительно положил руку на плечо своего спутника:

— Вставай, Джеват. Пройдем к матери.— Затем, обращаясь к человеку-статуе, сказал: — А ты, Ведат, позвони в полицейский участок. И, пожалуйста... позови нас, когда придет доктор.

Деревянные ступеньки лестницы жалобно заскрипели под тяжестью поднимавшихся людей. Тусклая лампочка едва освещала путь. На стене изгибались причудливые тени.

— Но почему он это сделал? — всхлипывал Джеват, повисший на

руке брата. Подступивший к горлу комок не давал ему говорить. Широко раскрытые, полные слез глаза Джевата, казалось, готовы были выскочить из орбит. Он испуганно озирался вокруг...

...испуганно озирался вокруг, обхватив ручонками шею матери. Он не спал с тех пор, как они сошли с поезда на вокзале Хайдар-паша. Дробный перестук колес, наполнявший их жизнь несколько дней и ночей, внезапно сменился грохотом большого города. Это так напугало мальчика, что он не мог даже плакать.

— Гюллю! Возьми Джевата, я устала,— сказала Зехра маленькой девочке в желтых йемени *, сидевшей на красной хейбе **. Девочка, задумчиво ковырявшая в носу, встрепенулась, вскочила и протянула руки к маленькому Джевату.

Они расположились прямо на земле, у самых рельсов. Это место выбрал Хаджи-ага. Уходя в город, он сказал:

— Смотрите никуда не отлучайтесь. Я скоро вернусь.

Мимо них то и дело проходили носильщики в белых чалмах, с огромными тюками на спинах. Босоногие мальчишки, переругиваясь и толкая друг друга, предлагали прохожим холодную воду из выщербленных кувшинов и розовый шербет.

— Берегись!.. Посторонись!..

Грубые голоса возчиков сливались со щелканьем бичей.

— Гюллю! — снова крикнула Зехра.— Никуда не отходи от хейбе! Ну и сторож! Недаром люди говорят: «Шакаленок не станет волком, а бродячая дворняжка — сторожевым псом». Посмотри, тебе там сверху не видно Хаджи-аги?

— Нет, не видно, сестра,— сказала Гюллю, шмыгнув носом.— Бросил он нас, что ли? И кто его знает, куда он ушел.

— Аллах с тобой, девочка! — сказала Зехра.— Вез, вез из самого Антепа, а теперь — бросил! Глупая, душа телу не в тягость, человек человеку — не обуза!

Дул по-зимнему холодный, пронизывающий ветер. Вокруг торопливо сновали люди. В толпе показался синий архалук Хаджи Джемалеттина. Его широкие длинные брюки мели по земле, поднимая пыль. Он совсем запыхался.

— Ну-ка,— крикнул он еще издали,— собирайтесь в путь!

— Куда? Неужто еще не доехали? — заворчала Зехра, закутываясь в свой чаршаф ***.

— Проехали много, теперь пустяки осталось.— Хаджи старался ободрить жену. Он быстро собрал все узлы, потом крикнул: — Ну-ка, помоги перекинуть через плечо!

С помощью Зехры Хаджи взвалил на плечи два хейбе, а третий взял в правую руку. Несмотря на свои пятьдесят лет, он был еще очень сильным мужчиной. Его могучая грудь выпирала колесом. От натуги шея его лишь слегка покраснела, выбившиеся из-под фески пряди густых, едва начавших седеть волос прилипли к потному лбу.

— Возьми ребенка,— приказал он жене.— Видишь, Гюллю тяжело. Держись за мой рукав да смотри не отставай.

Зехра посадила Джевата на спину, привязала его платком, одной рукой потянула к себе Гюллю, а другой ухватилась за рукав Хаджи-аги.

Прохожие с любопытством поглядывали на эту живописную группу.

Мимо шли мужчины и нарядно одетые женщины. Зехра смотрела на яркие шелковые платья и ворчала:

---

* Туфли без каблуков, с острыми загнутыми кверху носами.

** Сумка из ковровой ткани.

*** Головное покрывало женщины-мусульманки.

— Не кичись, что богата,— долго ли обеднеть!

Маленький Джеват, перепуганный всем, что происходило вокруг, зажмурился и обхватил руками материнскую шею. Ветер с моря трепал волосы Гюллю. Девочка изо всех сил спешила за сестрой.

Бесцеремонно расталкивая прохожих, Хаджи-ага время от времени покрикивал:

— Берегись! Берегись!

Он шагал твердо и уверенно, расчищая дорогу маленькой процессии, словно родился в этом городе и всегда дышал воздухом столицы.

Гюллю вдруг захныкала.

— Что случилось?

— Я хочу по маленькому.

Зехра сердито дернула девочку за рукав и прошипела тихонько, чтобы не услышал муж:

— Терпи, дуреха. Тоже нашла время!

Наступал вечер. Солнце садилось...

...солнце садилось. И зарево заката едва пробивалось сквозь грязные стекла окон. Если бы не горела настольная лампа, было бы совсем темно.

— Я только что был у тебя дома,— говорил Седат.— Видел твою жену и Ялчина.

Джеват вопросительно взглянул на брата.

— Я решил,— продолжал Седат,— вернуться в Антеп.— Он попытался улыбнуться.

Джеват размышлял: «Что сказать брату?»

Чтобы оттянуть ответ, он велел принести кофе. Потом вызвал нескольких служащих, отдал им приказания. Потом стал звонить по телефону.

Все это время Седат сидел с отсутствующим видом и молчал. Он вертел в руках взятый со стола костяной нож для разрезания книг.

Затем он проговорил каким-то странным голосом:

— Хочу успеть навестить Суата... Быть может, завтра я уже не смогу увидеть никого из вас.

Солнце село, и комната сразу погрузилась во мрак, который уже была не в силах разогнать маленькая настольная лампа.

Джеват прищурился и взглянул на Седата. Казалось, он с трудом раздвигает завесу мыслей о цементном заводе, заслонившую от него все окружающее.

Мальчик принес кофе. Джеват придвинул к себе чашку, потом взял телефонную трубку и набрал номер.

— Здравствуй, невестка. Суат еще не пришел?.. Нет?.. А тут вот у меня Седат. Он хочет попрощаться с вами. Завтра он собирается уехать... Что?.. Да... Вот именно, совершенно неожиданно... А может быть, мы все соберемся сегодня вечером и где-нибудь поужинаем? Ведь мы с Седатом толком еще и не поговорили...

Седат вдруг бросил на стол нож, который вертел в руках, и покачал головой:

— Нет, нет, спасибо, я не смогу.

Джеват замолчал и посмотрел на брата.

— Мне нужно еще кое-где побывать,— сказал Седат тихим бесстрастным голосом.

Джеват на секунду растерялся. Он поставил на стол чашку, почесал лысую голову и покрутил усы. Все еще не совсем освободившись от мыслей о заводе, он недоуменно посмотрел в телефонную трубку, словно надеялся увидеть в ней свою собеседницу.

Наконец, сбросив оцепенение, он решительно сказал:

— Седат отказывается. Он не может... Да, да. Очень жаль... Не знаю, право.

Мальчик возвратился за чашками. Когда он открыл дверь, в комнату ворвался шум конторы. В облаках табачного дыма, окутывавшего все вокруг, раздавался треск пишущих машинок.

— Как было бы хорошо,— сказал Джеват, положив трубку,— если бы мы могли сегодня вечером поужинать все вместе. Запросто, по-семейному.

— А что,— с нетерпением перебил его Седат,— Суата не было дома?

— Нет, он еще не пришел. А Сабиха...

...Сабиха побежала выключить утюг. Поплевав на пальцы, она тронула его накалившуюся поверхность.

— Хорошо, что успела,— пробормотала она,— еще немного, и он перегорел бы.

Как и обычно, она одолжила сегодня утюг у Нериман. Если бы он перегорел, пришлось бы платить за починку. Да и просить в другой раз было бы неловко.

Разглаживая подол платья, Сабиха навалилась на утюг всем телом. Платье было изрядно поношено. Так поношено, что просто стыдно ходить в таком старье. А ведь она надевала его всего несколько раз. И к тому же — какая досада! — оно было сшито совсем не по моде. Чересчур длинное.

Чтобы не казаться смешной на завтрашнем вечере в университете, его необходимо укоротить. Хоть немного. Но как и когда, главное — когда?

Овощи еще не почищены, а уже пора готовить ужин. Вот если бы Седат не заважничал, Джеват повез бы их всех ужинать в ресторан на берег Босфора, в Тарабию. Тогда не надо было бы готовить этот несчастный ужин.

Сабиха становилась все мрачнее. В приоткрытую дверь просунулась голова Джана:

— Я пошел, мама.

— Куда?

— Погулять с приятелем.

— Лучше останься. Дядя Седат собирался зайти. Завтра он уезжает в Антеп.

— А мне-то какое дело?

— Как это «какое дело»? — раздраженно сказала Сабиха, отставляя в сторону утюг.— Разве он тебе не дядя? Человек уезжает, хочет повидаться со всеми, попрощаться.

— Ну вот еще, ждать его. Может, он поздно придет.

Джан передернул плечами и, тихонько прикрыв дверь, выскользнул на улицу.

— Ну и семья! — ворчала Сабиха, вешая выглаженное платье в шкаф.— Не любят они друг друга. Разве я виновата, что Джан не любит дядю? Насильно мил не будешь. Раз племяннику не нравятся дяди, виноваты сами дяди.

Она пошла в кухню и принялась за бобы. Отрывая зеленые кончики стручков, Сабиха все время нетерпеливо поглядывала на громадную кучу нечищеных бобов, которая, словно назло, никак не хотела уменьшаться...

«Вот я тружусь здесь, готовлю ужин, а невестка Айтен, как всегда, бездельничает. Небось, валяется на диване с бокалом виски или журналом мод.

Конечно, она — не я, горемычная. Ей стоит только позвонить, как сейчас же примчится экономка. Войдет осторожно, на цыпочках и спросит: «Что прикажете приготовить на ужин?» А потом повар все сделает.

Да только Айтен и этого не надо. Она, наверно, велит подать себе автомобиль. Поедет в клуб, чтобы выпить аперитив, а уезжая, скажет служанке: «Если приедет Джеват, пусть не ждет меня, я поужинаю в клубе».

Сабиха с сердцем швырнула нож, порывисто открыла кран и продолжала думать под шум льющейся воды:

«До чего странная семья! Уже двадцать лет, как я вошла в эту семью, а до сих пор толком никого из них так и не знаю.

Вот, например, этот юродивый человеконенавистник Ведат. А Мюневвер? Кто ее разберет, эту Мюневвер! Никуда не выходит из своей комнаты, ни с кем словом никогда не перекинется. Или Седат. Попробуй пойми, чего он хочет и зачем!

И почему он так внезапно решил вернуться в Антеп? И давно ли он оттуда приехал? Сколько же дней прошло, как он вдруг явился? Дней, наверно... Погоди-ка, в четверг было пятнадцать, в пятницу — шестнадцать, в субботу... Ага! Семнадцать дней назад. Это было...»

...было праздничное утро. Мюневвер смотрела, как в седых волосах Суата играют солнечные блики. В их отсвете волосы казались еще более редкими и седыми, чем обычно.

«Откуда эта седина? Ведь совсем недавно — сколько же лет пронеслось мимо? — не было ни седины, ни этих залысин...

Его седеющая голова склонилась к руке матери. Какие набухшие вены на этой руке! А вот Суат отступил, давая дорогу жене. Теперь та склонилась перед свекровью, а брат уже обращается к Мюневвер:

— Как поживаешь, сестра? Твои молодые еще не пришли?

Мюневвер слегка улыбнулась, но ничего не ответила. Тогда Суат неторопливо отошел к стоявшему в углу креслу, на котором, закинув ногу на ногу, расположился Ведат.

Суат опустился рядом на стул. Он пытался определить, куда устремлен взгляд брата. Но за блеском очков рассмотреть ему ничего не удалось.

Сабиха отошла от матери, уступая место Джану. Подняв дрожащую руку, бабушка погладила внука по голове.

— Брови и глаза есть, ну а все остальное — будет... Да сохранит тебя аллах, внучек, будь счастлив! — бормотала Зехра.

Мюневвер посмотрела на молодого и стройного Джана, на его красивое лицо и постепенно начала опять погружаться в свои мысли.

В это праздничное утро старый дом был наполнен солнечным светом, пробивавшимся сквозь тюль занавесок. Он словно грезил о далеком прошлом. Сегодня здесь все напоминало о том времени, когда еще был жив Хаджи Джемалеттин. Тогда Ведат и Седат были совсем мальчишками, Суат ходил в школу, а Джеват уже помогал отцу.

Тогда они только-только купили этот дом напротив мечети Сулеймание... Гюллю была совсем девчонкой. Она ходила в шальварах и мягких туфельках, и половицы едва слышно скрипели под ее быстрыми и легкими шагами. Можно ли было тогда представить себе, что она состарится? Нет, конечно. А быть может, она вот сейчас, как бывало, войдет в комнату. В одной руке кофейник, в другой — поднос с чашками, и каждому она предложит чашечку кофе.

Да... все это было давно. Тогда в полутемных коридорах резвились дети, а взрослые ходили неторопливой, уверенной походкой...

В этом доме, по соседству с базаром Тирьяки, царило счастье. Казалось, ему не будет конца. Никто не тревожился, никто не думал, что может наступить день, когда все станет другим.

В грезы Мюневвер внезапно ворвался громкий голос Гюллю. Она шумно радовалась:

— Приехал, приехал!

— А может, тебе показалось, девочка? — язвительно спросила Зехра, которую раздражало оживление Гюллю. Ей иногда доставляло особое удовольствие называть так состарившуюся в этом доме шестидесятилетнюю Гюллю.

Гюллю не успела раскрыть рот, как в комнату вошел Седат.

Его внезапное появление вызвало замешательство среди собравшихся. Стало тихо, никто не шевелился, только в приотворенную дверь проскользнула кошка. Тишину нарушало лишь тиканье часов.

Седат невозмутимо стоял в дверях, стройный, высокий. Он сильно постарел. На висках пробивалась седина, лоб бороздили морщины. Взгляд был усталым. Между бровями залегла глубокая складка. Пиджак, плотно облегавший его атлетическую фигуру, туго натягивался на плечах. Было видно, что к его вздувшимся на коленях брюкам давно не прикасался утюг.

У Седата, заметила Мюневвер, даже появилось небольшое брюшко, на которое из жилетного кармана свисала цепочка от часов. И все-таки он сильно напоминал мальчишку, который только что участвовал в уличной потасовке. Волосы были взлохмачены, на лице блуждала улыбка.

Он сделал несколько шагов и остановился подле кресла матери. Взял ее дрожащие старческие руки в свои громадные ладони и почтительно поцеловал. Потом приложил материнские руки к своему лбу.

— О сын мой, сын мой! Ты сведешь меня в могилу,— запричитала Зехра-ханым.

— Но почему, мама?

— О, помоги мне аллах! Неужели, сын мой, ты не знаешь, что земля протирает подошвы, что трава вырастает из корня, что кипящая вода срывает с котла крышку? Ох-ох-ох, горе мне!

По морщинистым щекам Зехры-ханым катились слезы. Седат продолжал неопределенно улыбаться. Он не произнес ни слова, лишь опять наклонился к матери и почтительно коснулся губами ее мокрой щеки.

Бедная Гюллю совсем растерялась. Она то и дело утирала фартуком глаза, беспомощно всплескивала руками, сцепляя пальцы, похрустывая суставами. Потом заметалась, забегала из угла в угол.

Неожиданное появление молодого господина *, который уже много лет не бывал в родном доме, глубоко взволновало постаревшее сердце Гюллю. Ей хотелось обнять всех сыновей Зехры, хотелось заплакать от умиления.

Она была так взволнована, что не слыхала звонка. К двери поспешила Мюневвер, всегда ожидавшая свою дочь. Кто бы ни позвонил, она всегда думала: «А вдруг это Гюльчин?»

На этот раз действительно пришла Гюльчин вместе со своим мужем и Оей.

«Вот теперь,— сказала себе Мюневвер,— начался настоящий праздник!»

Седат обвел взглядом всех собравшихся.

— А где же Джеват?

— Он придет, он обещал прийти.

— Сегодня утром,— сказал Седат,— я был у него. Он звонил Айтен, и Айтен...

...Айтен спала. В гостиной, рядом со спальней играл маленький Ялчин. Его электрический поезд, весело постукивавший колесиками, вдруг

* Так в Турции принято называть сыновей хозяина.

свалился с рельсов на ковер. Мальчик громко закричал. Он топал ногами и рыдал так, словно случилась непоправимая беда.

Прибежала встревоженная немка-гувернантка. Она поставила опрокинувшийся поезд обратно на рельсы и, укоризненно покачивая головой, сказала:

— Какой ты нехороший мальчик! Непослушный, капризуля! Стыдно так реветь!

Потом взяла мальчика на руки и стала ему что-то тихонько нашептывать.

Гувернантка слишком хорошо знала, что произойдет, если, упаси бог, фрау Айтен проснется и услышит плач своего первенца. Она устроит такой скандал, что все в доме пойдет вверх дном.

Гувернантка прислушалась. К счастью, фрау Айтен продолжала спать. Крики Ялчина ее не разбудили. Но вот, кажется, герр Джеват вернулся с праздничного намаза? Конечно, он не устроит скандала, как его жена, однако было бы лучше, чтобы и отец не слышал рева своего избалованного мальчишки.

Гувернантке приходилось бояться всех. За ней постоянно шпионила экономка. Хозяйка благоволила к доносчице. И первейшей обязанностью той было следить, чтобы кто-нибудь не обидел маленького баловня.

День обещал быть чудесным, и гувернантке так не хотелось омрачать его мелкими неприятностями! В окна лился яркий солнечный свет.

За окном солнечные зайчики резвились на стенах домов, а асфальтовая дорога, словно женщина, нежилась в жарких лучах.

Гувернантка прислушалась. Скорее бы ушел хозяин! Тогда она, как обычно, усадит Ялчина в коляску и они отправятся в парк Таксим. Там, медленно прогуливаясь с малышом в тени деревьев, она будет мечтать, мечтать, вспоминая франкфуртские зори.

— Госпожу не будите,— сказал Джеват экономке, выходя в коридор.— Если что понадобится, спросите у Басри. Да, если придут или позвонят Хайреттин и Нуреттин, скажите, чтобы немедленно шли к бабушке. Я буду обедать у нее.

Из сада, через открытое окно вдруг донесся кошачий визг.

Экономка с преувеличенным испугом взглянула на двери спальни, потом низко поклонилась хозяину и сказала приторно-сладким голосом:

— Слушаюсь, мой господин. Мы с Басри сделаем все как надо. Госпожу не потревожим. Не извольте беспокоиться.

Изобразив на лице улыбку, она спросила еще более слащаво:

— А сыночка к бабушке возьмете?

Джеват почесал затылок.

— Следовало бы, пожалуй... Да жена не хочет. Что поделаешь? Айтен говорит, что как-нибудь сама сводит его к бабушке.

Экономка понимающе кивнула. Когда она говорила с хозяином, то делала вид, будто ей дороги только его интересы. Так же держалась она и с хозяйкой. И каждый из них считал, что экономка предана именно ему.

Шофер, открыв парадную дверь, шепотом разговаривал с лакеем. На его фуражке весело играли цветные блики от витража над дверью.

Джеват подошел к окну и приподнял тюлевую занавеску. «Ну и разошлись черти»,— сказал он про себя, глядя на дравшихся в саду котов.

Джеват начал ходить взад и вперед по коридору. Экономка стояла, сложив руки на животе и слегка втянув голову в плечи. Всем своим видом она старалась показать, что понимает: когда хозяин думает, надо молчать и ждать.

— Я сейчас уезжаю. По пути загляну в партийный центр. Возможно, кто-нибудь оттуда придет. Вы с Басри пригласите их в гостиную. Подайте ликер, шоколад. Ну, а если заявится этот подлец, Джемалеттин, то

скажи Басри, чтобы в дом его не пускал и гнал прочь! Если придет сторож, дай ему немного сладостей. Возьми приготовленные конверты — там лежат деньги. Половина жителей нашего квартала состоит в нашей партии. Так пусть Басри каждого оделит, никого не забудет.

Экономка склонилась еще ниже, всей своей позой показывая, что она все поняла и сделает как надо.

Джеват на цыпочках подошел к двери спальни, тихонько открыл ее и вошел. Айтен сладко спала. Ее золотистые волосы разметались по подушке. Длинные темные ресницы осеняли щеки, губы слегка приоткрылись. Она дышала ровно и глубоко. Все в ее облике, даже прямой нос, придававший лицу неповторимую гармонию, говорило о довольстве и спокойствии.

Джеват блаженно улыбнулся:

— Нет, я правильно поступил!

Он осторожно открыл дверцу платяного шкафа, взял шляпу и вышел из комнаты так же неслышно, как и вошел.

Экономка все еще стояла в той же позе. Ее голова была втянута в приподнятые плечи, руки сложены на животе.

— Только смотри не забудь передать Басри все, что я тебе сказал,— проговорил Джеват.— Да,— вспомнил он,— так если придет Джемалеттин, не пускайте на порог! Этому негодяю только и дела, что играть в карты...

...карты были у него в руке. Он выбрал одну за другой три карты и бросил их на стол.

— Ба, да уже утро! — сказал Джемалеттин.

— А ты думал, что оно так и не наступит?

Рюстем — второй игрок — разразился смехом Канио из «Паяцев».

— Да еще какое утро, праздничное,— глубоко вздохнув, заметил третий игрок, Нури.

Рюстем опять сдал карты. Джемалеттин посмотрел на свои карты и, обведя всех присутствующих затуманенным взором, сказал:

— Праздничное утро? Не может быть! Да-а-а... Ведь когда мы сели за стол, не было еще и восьми вечера.

Лицо его то ли из-за бессонной ночи, то ли от табачного дыма стало совсем желтым. Было видно, что многие ночи, проведенные за картами, совсем измотали его.

— В честь славного праздника,— объявил Нури,— играю ва-банк!

Этот возглас прозвучал подобно взорвавшейся петарде. Нури как ни в чем не бывало продолжал поглаживать своими нервными, подрагивающими пальцами тоненькие усики, лежавшие на его физиономии, словно брызги черной краски.

Джемалеттин снова посмотрел свои карты, провел рукой по запавшим щекам, кашлянул, потрогал обросший щетиной подбородок и воскликнул:

— Дохлая рыба всегда всплывает кверху брюхом!

И швырнул на короля трефового валета.

Нури сгреб кучу денег, лежавшую перед Джемалеттином.

— Праздник подоспел вовремя,— проворчал Джемалеттин. Он пытался изобразить на своем помятом от бессонной ночи лице подобие улыбки.

— Праздник пришел вовремя, и это показывает, что аллах на моей стороне,— сказал Нури.

Джемалеттин вдруг хлопнул ладонью по столу.

— Хватит! Пора отправляться к старику. Думаю, он не очень-то хочет меня видеть, но стоит ли придавать этому значение? Нажми плечом на дверь, и она откроется... Небось, эти простофили Хайреттин и Нуреттин уже там. Наверно, нагрянули еще на рассвете.

— А кто это — Хайреттин и Нуреттин? — спросил Рюстем.

— Близнецы, дети второй жены моего отца. Торгуют на базаре разным хламом...

Нури понял, что игра окончена. Распихивая по всем карманам выигранные деньги, он сказал Джемалеттину:

— У тебя, говорят, бабушка богатая?

— Да что о ней говорить! — поморщился Джемалеттин.

— Отчего же, ведь она еще не померла?

— Я ее не видел много лет, но голову даю на отсечение, что она жива. Разве за такой придет Азраил?

Нури зевнул, широко раскрыв рот, и вытер платком покрасневшие глаза.

— А твои богатые дядюшки? — спросил он.

— Да что от них толку? У одного все богатство — лишь профессорская ермолка. Он даже беднее меня. Я знаю, что он нет-нет да и придет к моему старику попросить немного денег. А другой, дядя Ведат, юродивый. Никто не знает, что он делает, чем занимается. По-моему, он просто бездельник. Есть еще дядя Седат. Но вот уже скоро двадцать лет, как я ничего о нем не слышал. Мне, пожалуй, и пятнадцати не было, когда я в последний раз видел Седата...

...Седат стоял, скрестив руки на груди. Ведат не отрываясь смотрел, как ветер раскачивает за окном ветви огромного каштана.

— Погляди-ка, на кого ты похож,— горячилась Зехра-ханым.— Ну зачем дураку состояние, зачем? Если у сына есть ум, тогда, понятно, ему нужны деньги. Ну, а тебе они на что? Умелый сын добывает хлеб обеими руками.— Она все больше сердилась: — Ты что, погорел, что ли? Требуешь денег и сам не знаешь зачем? Ишак и тот второй раз в грязь не полезет, а ты заладил одно и то же.

Глаза Зехры-ханым гневно сверкали. А маленькая Зехра вместе со своим братом Джемалеттином притаились в углу.

Внуки Зехры жили у нее с тех пор, как Джеват похоронил свою первую жену. Он отдал детей бабушке и перестал о них беспокоиться.

Сейчас, прижавшись друг к другу, брат и сестра думали лишь о том, чтобы назревавшая буря пронеслась мимо. За три года, которые они прожили в доме бабушки, дети никак не могли привыкнуть к ругани, которой то и дело разражалась старуха. Они всегда очень пугались, когда начинался скандал.

— Не можешь ли ты, мама, говорить спокойно? — спросил Седат, невозмутимо улыбаясь.

— Хорошо, я не буду кричать, но тогда чем все это кончится? Джеват совсем с ума сошел — уцепился за этот проклятый сарай, во сне и наяву бредит своим цементом. Ну а ты бредишь своей землей в Антепе. Если бы отец был жив и видел, какое горе вы все мне причиняете! Да что и говорить — одинокую щепку ветер легко уносит, а поле без хозяина недолго прибрать к рукам.

— Я не чужое прошу!

— Ну и что? Вот Джеват взял у меня доверенность на продажу сарая — и пропал. Уже который месяц носа не кажет. А добрые люди говорят, что дровосек от дерева, а нищий от хлеба глаза не отведут. Так все и идет: одно вспомнишь — руками разведешь, другое припомнишь — головой покачаешь, ну а от третьего — с ног свалишься.

— А ты бы не давала доверенности,— перебил ее Седат. Улыбка по-прежнему не сходила с его лица.

— Попробуй отделайся от этого наглеца! У него верблюд и без колокольчика зазвенит. Ну почем я знала, что он пропадет? Это у зверя на шкуре пятна видны, а у человека все внутри спрятано. Ведь как топор узнал, из чего топорище? Узнал, когда сам в дерево вошел.

Ветви каштана раскачивались с такой силой, словно хотели оторваться. Несколько подхваченных ветром листьев перелетели через забор сада и закружились на улице.

Ведат вдруг повернулся к Седату, снял очки, протер их платком и снова надел.

— Когда ты уезжаешь? — спросил он, подходя к Седату.

Тот не ответил.

Ведат вернулся на прежнее место и сел в кресло, заложив ногу на ногу. Он вытащил из кармана серебряный портсигар, взял сигарету и протянул портсигар Седату.

— Спасибо, не хочу,— отказался тот.

Продолжая ворчать, Зехра-ханым вышла из комнаты. Джемалеттин и его сестра, поняв, что буря миновала, выбрались из своего угла и подошли к окну.

— Дети,— сказал Седат,— если хотите, ступайте на улицу. Или на балкон.

Малыши выбежали на балкон. Седат вяло подошел к Ведату и опустился в стоявшее рядом кресло.

— Видишь, с матерью стало совсем невозможно говорить.

Ведат закурил сигарету и придвинул к себе треножник с пепельницей.

Седат, немного помолчав, продолжал:

— А мне надо поговорить с ней о серьезном деле.

Ведат не шевелился. Казалось, он погрузился в свои мысли.

— О чем ты думаешь? — спросил Седат.

Ведат повернулся к нему. Его глаза, сильно увеличенные стеклами очков, казалось, смеялись.

— Ни о чем,— ответил он.

— Ты не слушаешь меня? — снова спросил Седат.

Ведат вдруг вскочил и начал ходить по комнате взад и вперед. Потом, резко повернувшись к Седату, потер руки, отступил на шаг и спросил:

— Зачем ты уезжаешь?

— Хочу и еду,— сказал Седат, невольно краснея под его пристальным взглядом.

— Ну а все-таки — зачем?

Седат не ответил. Его выводил из себя пытливый взгляд Ведата и его настойчивые вопросы.

— А деньги у тебя есть? — продолжал допрашивать Ведат.

— Нет!

— Так что же ты будешь делать в Антепе без денег?

— Надо возделывать свой сад *,— Седат деланно улыбнулся, подавляя досаду.

— Это как же, идя впереди плуга, что ли? — резко бросил Ведат.

Почувствовав, что приближается новая буря, дети тихонько прошмыгнули через комнату и выскочили в коридор. Джемалеттин убежал в сад. Зехра бросилась вверх по лестнице, чтобы укрыться от тревог в своей комнатке.

Она очень любила свой уголок. Бури внизу налетали и стихали, но здесь всегда было спокойно.

В доме отца мачеха часто била девочку по щекам. А здесь в этом огромном особняке до нее, собственно говоря, никому не было дела. Она была предоставлена самой себе.

Порою маленькая Зехра просиживала одна в своей комнатке целый день, до темноты. Она испытывала странное удовольствие от того, что

---

* Заключительная фраза «Кандида» Вольтера.

все о ней забыли и никто о ней не тревожится. Единственным поводом для тревоги был Джемалеттин.

Когда Зехра, посидев в комнате, немного пришла в себя, она взяла черный карандаш, который как-то стащила со стола у Ведата, и подошла к зеркалу. На нее глянули темно-синие глаза — глаза ее матери. Зехра хотела попробовать, можно ли этим карандашом подводить брови.

Когда она станет взрослой, то непременно будет красить ресницы и брови. Ей очень хотелось стать совсем такой же, как киноактрисы на открытках, которые иногда дарил ей дядя Седат. Он говорил, что у нее даже есть с ними какое-то сходство. У нее всегда будут подкрашенные брови и подведенные глаза. Она всегда будет пудриться...

...она кончила пудриться, накрасила губы и приготовила чемодан. Манто положила на кушетку рядом с чемоданом, чтобы оно было под рукой.

Как только раздастся гудок автомобиля, достаточно будет протянуть одну руку к чемодану, а другую к манто...

С тех пор как Джемалеттин бросил школу и убежал от сапожника, к которому его отдали в учение, Зехра жила одна в этой комнате на верхнем этаже. По соседству были комнаты бабушки и Гюллю. Под окнами шелестел сад.

Как она была одинока! Дядя Ведат вечно запирался у себя. Хоть из пушек стреляй, он не обратит никакого внимания.

Тетя Мюневвер была погружена в заботы о своей Гюльчин и никого, кроме нее, не видела...

Дождь, начавшийся еще с вечера, усиливался. Его косые струи хлестали по окнам. Зехра поежилась: «Холодно!» Сердце ее так билось, что казалось, вот-вот выскочит из груди.

«Может быть, написать записку? — спрашивала себя Зехра.— А вдруг они поднимут тревогу, сообщат полиции, устроят погоню?»

Она знала, что нужно написать: «Я ухожу, но вы обо мне не беспокойтесь. Я счастлива».

Вот что хотела она написать в записке, но была не в силах двинуться с места. Руки ее дрожали, она не удержала бы в пальцах перо.

И тут она вспомнила слова, вычитанные в какой-то книжке: «Я бегу к счастью». Зехра задумалась. «Тебе уже больше восемнадцати лет, и ты можешь делать все что захочешь. Никто не имеет права вмешиваться в твои дела». Это сказал Реджеп, а раз так говорил Реджеп, то, значит, так оно и есть. Он, правда, всего только шофер. Ну и что же? Он умный, образованный человек.

Она вновь и вновь принималась сочинять записку. «Поймите меня, я не могла поступить иначе, потому что люблю...» Какое это прекрасное чувство — любовь!

Зехра взглянула в большое зеркало шкафа и увидела, как вздымается ее грудь. Ее тоненькая белая шейка покачивалась над округлостью плеч, как стройный ствол молодого деревца. Синие глаза расширились от страха. Она опустила веки и задумалась.

И сейчас же в мечтах перед ней вырос маленький домик. Три комнаты, садик, полный абрикосовых деревьев. Зимой в очаге будет весело потрескивать огонь. А летом сквозь занавески в комнаты не проникнет жара. Там будет тихо и прохладно.

А вот ее кухня. Чистая и светлая. На полках банки с вареньем, на плите — кастрюли.

Вот вбегают розовощекие пухлые малыши — девочка и мальчик. Жить для этих крошек и никогда не умирать, никогда не стариться! Жить только для них, чтобы никогда не могли они очутиться одни в огромном холодном доме. Чтобы они всегда могли позвать ее: «Мама, мама, мамочка!»

Она вздрогнула. Сквозь шум дождя послышался гудок автомобиля. На мгновение она совсем растерялась. Она прислушалась, не зная, что же ей делать. Гудок, которого она ждала с таким нетерпением, повторялся, как было условлено, через короткие промежутки. Он то умолкал, то вновь возникал из шума падающей воды.

Этот гудок звал и манил ее. Она схватила чемодан. Ноги ее подкашивались. Превозмогая себя, Зехра устремилась к двери. Уже у самой лестницы ей показалось, что она что-то забыла. Зехра схватилась за грудь и побежала обратно. Открыв дверь, она сразу увидела свое манто, распростершееся на кушетке, оно словно напоминало о людях, которых она покидала.

Реджеп, сидевший в автомобиле с видом заговорщика, сразу дал газ. Он так торопился, словно совершал преступление. Его руки дрожали.

Немного погодя он спросил:

— Никто ничего не заметил?

— Нет, нет,— вырвалось у Зехры.— А знаешь, если бы ты,— с трудом продолжала она,— еще немного задержался...

Она умолкла, не договорив.

Автомобиль несся сквозь низвергающийся с неба ливень, свернул в темную улочку и почти сразу выскочил на проспект Вефа.

— Как ты думаешь, они погонятся за нами? — спросил Реджеп.

Зехра не ответила. Она только ближе придвинулась к нему и склонила голову на его плечо. Ей хотелось хоть немного забыться. Мир, к которому она так стремилась, был уже совсем близко. Вот-вот он раскроется перед ней, и тогда все страхи останутся позади.

Но Реджепа не покидала тревога. Когда они свернули на бульвар Ататюрка, он обеспокоенно спросил:

— А они догадаются?

— Не думаю... Вряд ли,— сказала Зехра.

Ей хотелось знать, о чем думает Реджеп. Но она не поняла, почему он задал этот вопрос, и поэтому ответила так неопределенно.

На бульваре в зеркале асфальта, залитого дождем, дрожали отражения фонарей. Сверху нависла пугающая чернота. И сквозь этот хаос света, темноты и воды бешено мчался автомобиль. Вот он влетел на мост Ататюрка, и сразу стал слышен властный рокот моря, перекрывающий шум дождя.

«Только он мог бы понять все,— думала Зехра.— Если бы он был сейчас здесь, наверно, все пошло бы по-другому. Он знал, что такое любовь. Он умел и любить и быть любимым».

Однажды много лет назад она видела его с какой-то девушкой. Был весенний предвечерний час. Они шли от Сарачханебаши к парку Фатих. На девушке был синий жакет, в котором она казалась неправдоподобно тонкой. Они так подходили друг к другу! Каждый раз, когда Зехра вспоминала их, на нее словно набегала теплая волна любви.

Они прошли совсем близко от Зехры, но, конечно, не заметили ее и остановились возле ограды парка. Девушка смотрела, как Седат распечатал пачку сигарет...

...Седат распечатал пачку «Енидже» и достал сигарету. Его спутница закончила:

— ...а потом заглянула в магазин «Хашет».

— Нашла что-нибудь интересное? — спросил Седат.

— Купила два томика стихов Мюссе в издании «Фламмариона».

Седат остановился, чтобы зажечь спичку. Прохожие поглядывали на них — одни с откровенным любопытством, другие исподтишка.

— А что, разве это плохо? — спросила девушка, чтобы прервать затянувшееся молчание.

— Нет, что ты! Наоборот, хорошо, дорогая,— засмеялся Седат.

— Я люблю Мюссе, но не очень хорошо понимаю. Не так, как хотелось бы... Мне кажется, что многое в его стихах ускользает от меня. Давай как-нибудь почитаем его вместе. Особенно те строфы, которые я понимаю хуже. Que sans manie un homme ayant l'amour dans l'âme...

— ...Comme il marchait pourtant, un visage de femme...* — продолжил Седат, улыбаясь.

Он закончил начатую девушкой строфу и глубоко затянулся сигаретой. В его тоне, в каждом его жесте чувствовалась переполнявшая его радость жизни.

— Раньше и я очень любил Мюссе.

— А сейчас?

— Не люблю. Он кажется мне пресным. Бодлер и Валери захватывают меня гораздо сильнее.

Они подошли к входу в парк.

— Зайдем,— предложил Седат.

— Нет, лучше погуляем по улице.

На мостовую уже легли вечерние тени, и прощальные солнечные блики играли на окнах домов. Воздуху словно сообщилось спокойствие горящего в закатных лучах моря. В парке раскрылись цветы. На зеленых лужайках резвилась детвора. Повеяло прохладой. Хотелось сбросить дневную истому, смеяться и радоваться.

— Я с нетерпением жду твоего отца, Тюлип **,— сказал Седат и бросил окурок на трамвайный рельс.

— Теперь уж осталось немного, дней пятнадцать. Вчера мы получили письмо из Лондона. Он пишет, что закончил свои дела и оттуда поедет в Париж. Пишет, что купил все, что я просила.

— А что ты просила его купить?

— Ну, много чего... Даже не знаю, с чего начать: меховой жакет — раз, плащ — два, купальный костюм — три...— Она вдруг остановилась и взволнованно сказала: — А знаешь, я очень люблю отца... Он такой хороший! Я хочу, чтобы ты поскорее познакомился с ним.

Они пошли дальше. Из настежь раскрытой двери кофейни слышался низкий, почти мужской голос певицы.

Седат закурил, словно желая развеять вместе с дымом поднимавшуюся в его душе тревогу. Он вздрогнул, услышав по-детски беспечный смех Ляле.

— А ты говорил со своей матерью? — спросила она. Она всегда легко перескакивала с одной мысли на другую.

Седат глубоко затянулся. В трудные минуты он почти инстинктивно прибегал к этому средству, чтобы не отвечать сразу.

Преодолев желание произнести что-нибудь успокоительное, он сказал:

— Нет!

Он прекрасно понимал, что следовало сказать «Да!». Разве так уж трудно солгать? Сколько ложных клятв и заверений произносят каждый день люди! А эта маленькая ложь могла бы придать их встрече особую прелесть.

— А почему?

— Не знаю. Наверно, побоялся,— нехотя ответил Седат.

— Чего же ты боялся? — засмеялась Ляле.

— Ляле! Я уверен, что когда ты узнаешь наших поближе, они тебе не понравятся. Они вовсе не такие хорошие, какими ты их себе представ-

---

* Строки из стихов Мюссе:
Чем человек влюбленный без чудачеств.
Однажды проходя, он женское лицо...

** La tulipe — тюльпан *(франц.)*.

ляешь... И мать, и братья... Между ними и тем кругом, к которому ты привыкла,— большая разница. Тебе будет нелегко. Моя мать не умеет ни читать, ни писать. Она отдала все свои силы дому и детям. Она раздражается по каждому пустяку, хотя, в сущности, у нее доброе сердце. Когда умер отец, ей было всего тридцать семь или тридцать восемь. Не знаю, поверишь ли ты, но с тех пор она выходила на улицу не более двадцати раз. Она была очень привязана к моему отцу, а он был старше ее, по меньшей мере, лет на тридцать.

Они опять оказались на площади Сарачхане.

— Вернемся? — спросила Ляле.

— А ты не опоздаешь?

— Нет, еще рано.

Они повернули назад.

— Я полюблю твою мать,— сказала Ляле после того, как они молча прошли несколько шагов. Седат промолчал.

В суете предвечернего часа, наполненного гулом улицы, трамвайными звонками и криками толкавшихся мальчишек, они шли, провожаемые бесцеремонными взглядами прохожих. Седат чувствовал себя так, словно он все более и более погружался в какой-то тревожный, но радостный сон. Он опять заговорил:

— В тот год, когда наша семья перекочевала из Антепа в Стамбул, матери было, кажется, около двадцати лет. Моей сестре Мюневвер еще только предстояло родиться. А старшему брату Джевату было всего три года. Начинался новый век. Подумай, Тюлип, новый век, который нес новые надежды! Понимаешь, совершенно новый век! Что сулил он нашей семье, всем людям, какое ждало их будущее? Этого не мог знать никто... Мои родители прибыли в Стамбул в первый день нового столетия. Империя содрогалась. Народные движения, как в половодье, сметали все на своем пути. Вот в такое трудное время и начинался двадцатый век. А в Стамбуле, куда мы приехали, хотели остановить это движение, заставить реку войти в берега. И вот представь себе моего отца, в шелковой чалме, с окладистой бородой, с крестьянской хваткой. Его не так-то легко было втянуть в этот водоворот.

Седат вдруг замолчал.

— Я много думал об этом,— продолжал он, крепко сжав локоть Ляле, словно это могло передать девушке волновавшие его чувства.— Я думал: а что, если бы я был на месте моего отца? Смог бы я так же быстро превратиться из крестьянина в дельца? Да, мог бы я так же легко сказать «Здравствуй, двадцатый век!»?

Он отпустил руку Ляле.

— Отец сумел сделать то, что хотел. За три года он расширил свое дело. Сначала семья жила в Эдирнекапы, потом купили дом в Вефа.

Они снова подошли к кофейне, из которой слышалась песня. Ее пел уже другой голос.

— Не знаю, зачем я все это тебе рассказываю,— проговорил Седат.— Но мне хотелось, чтобы ты об этом знала. Может быть, тебе это неприятно?

— Нет!

— Ты не озябла, Тюлип?

— Нет, мне тепло.

— Тогда я расскажу тебе о моей старшей сестре Мюневвер. Моя сестра очень замкнута и молчалива. Ей уже за тридцать. После того, как ее оставил муж, она ушла в себя и почти все время молчит. Уход мужа — конец всего для нее. Ей даже в голову не приходило, что можно снова выйти замуж. И если она до сих пор живет, то лишь потому, что любовь к дочери удерживает ее на этом свете. Ее дочке Гюльчин скоро исполнится пять лет. Пока девочка будет жива, до тех пор будет

жить и Мюневвер. Сестра очень благочестива, никогда не пропускает ни одного намаза. Но она никого по-настоящему не любила и не ненавидела.

— А твои старшие братья? Представь, вчера я встретила одного из них.

Седат вздрогнул и, стараясь скрыть беспокойство, спросил:

— Где?

— В университете. Он, наверно, доцент? Мне показал его один наш студент. Твой брат очень симпатичный и похож на тебя.

— Неужели? — улыбнулся Седат, мгновенно успокоившись.

— Он такого же роста, как ты. У него спокойная, неторопливая походка. Когда он говорит, то слегка приподнимает брови, а взгляд у него — точь-в-точь как у тебя. У него такой вид, словно он не замечает того, кто стоит перед ним, и лишь старается припомнить что-то...

...припомнить что-то...

...он посмотрел на Ведата, который сидел за столом, погрузившись в решение шахматной задачи. Ведат не слышал, что говорит ему мать.

— Оставь Ведата, мама,— сказал Суат,— видишь, он думает. Спрашивай лучше у меня.

— А о чем ему думать? — заворчала Зехра.— Здоровый балбес, а все играет своими деревяшками. Вот какое несчастье мне выпало! Лучше уж черствая корка на столе, да был бы сын при уме. С самого утра твержу: «Пойди позови Джевата, приведи его сюда». А ему как об стенку горох. И впрямь верно говорится: козла еще в козленке видать.

Гюллю принесла кофе. Подавая чашечку Суату, она наклонилась и шепнула ему на ухо:

— Завтра придете, молодой господин?

— Приду,— так же шепотом ответил Суат.

— И невесту приведете?

— Не знаю... Как же я ее приведу? Захочет ли мать?

— Захочет, я ее уговорю.

Гюллю взяла под мышку пустой поднос, многозначительно прикусила губу и подмигнула, словно говоря: «Смотрите, какая я хитрая».

Суат сказал, обращаясь к матери:

— Седат разыскал Джевата. Но он не захотел прийти, говорит, что очень занят.

— Очень занят? Посмотрите-ка на него! Давно ли этот бездельник стал таким занятым человеком? Тоже мне — делец! Завтра его сыновьям будут делать обрезание, а отцу хоть бы что. Уж если сам не может прийти, то прислал бы хоть Хайреттина и Нуреттина. Подумать только: внуки Хаджи Джемалеттина пойдут на обрезание, не поцеловав руку отца! Виданное ли это дело? Да что, грехов у него нет, что ли?

Ведат решительно смешал фигуры на доске и встал из-за стола, направляясь к креслу.

— А сегодня как погода, ничего?

— Отличная,— ответил Суат.

— Солнечная?

— Солнечная.

— А ты,— спросил Ведат,— так и будешь здесь сидеть?

Суат кашлянул, вытащил из кармана платок и вытер нос. Он не понял, что хочет сказать Ведат.

— Через некоторое время,— сказал Суат,— пожалуй, пойду.

— Ну тогда я тебя провожу,— проговорил Ведат. Он не стал садиться, повернулся к двери и вышел.

Изо рта Зехры-ханым, который почти никогда не закрывался, словно горох, посыпались слова:

— Сумасшедший, он и во сне и наяву сумасшедший. Недаром говорят: с сумасшедшим в дороге протянешь ноги. Вот так-то, сын мой, Суат, за двух дураков и одного умного не дадут. Уговори, пожалуйста, этого непутевого, сходите вместе к Джевату и скажите ему, если он завтра не придет — не будет ему добра. В другой раз уж нам не собраться вот так — всем вместе. Я хочу видеть Хайреттина и Нуреттина. Джеват, видно, так и помрет, а обрезание сыновьям сделать не удосужится. Этак, того и гляди, они всю жизнь проживут без обрезания, словно неверные. Трудно ему, видите ли, побеспокоиться! Да ведь на что уж легкое дело — есть, а и то жевать надо, без этого куска не проглотишь. Понял, сын мой?

— Понял.

Зехра кивнула и продолжала:

— Я хочу, чтобы все было как при жизни Джемалеттина. Всякий петух в своем курятнике — воин, а небитый думает, конечно, что его кулак — гиря. Так вот сделай, как я велю, а за доброе дело воздастся тебе сторицей. Да сам с утра пораньше будь здесь.

— Хорошо, мать.

— И смотри не забудь привести Хайреттина и Нуреттина. Тут ведь дело такое: дергаешь траву, так смотри на корень. А у такого отца дети в люди не выйдут — и думать нечего. Не хватает еще, чтобы они необрезанными остались! Да, а хоть в школу-то они ходят?

— Точно не знаю, но...

Зехра укоризненно покачала головой.

— Если рыба портится, ее засолить можно, ну а если соль испортится? Конечно, кто не строил минареты, тот думает, что они сами из земли растут. Ну а детей, мой милый, тоже этак просто не вырастишь. Одна я знаю, что мне пришлось вынести, пока вырастила всех вас, пока дожила до этих лет. Что бы там ни было, а учить детей он должен.

Суат вспомнил свое детство, своих братьев. Вспомнил, как Джеват убежал из школы, и про себя усмехнулся. А вслух сказал:

— Не расстраивайся, мамочка. И они будут учиться и когда-нибудь выйдут в люди — и Нуреттин, и Хайреттин...

...Хайреттин захлопнул лежавшую перед ним большую конторскую книгу.

— Ну и что же было потом?

Нуреттин продолжал рассказывать:

— Только ты за дверь, а он тут как тут. Меня сразу разыскали. Я оставил лавку на приказчика и пошел с ним в кофейню. Он усадил меня напротив себя, угостил кофе и мороженым. Потом неожиданно спросил, сколько мы уплатили за железный лом, который лежит у нас на складе. Я не мог отвертеться и сказал.

Хайреттин слушал, поглаживая подбородок. В лавке становилось темно. Они уже с трудом различали друг друга.

— Зажечь свет, хозяин? — спросил приказчик, которому позволили уйти домой. Увидев, что хозяин от него отмахнулся, он пожал плечами и вышел на улицу.

На полу лавки остались следы его босых ног.

— Понимаешь,— снова заговорил Нуреттин,— он сказал, что сможет накинуть по два куруша за килограмм. Он добавил еще, что немедленно пришлет грузовики и заберет весь лом. Ты и представить себе не можешь, в каком я был затруднительном положении! Получилось так, что не плюнуть нельзя, а плюнешь — попадешь себе же на бороду. Ведь все дело-то в том, что этот человек был... Как ты думаешь — кто? Наш отец! Интересно, что бы ты сделал на моем месте?

Хайреттин промолчал. Он поднялся, зажег лампу и начал шагать по лавке из угла в угол, чуть заметно волоча ногу. Он был ниже ростом и тщедушнее своего брата-близнеца Нуреттина.

— Ну,— сказал Хайреттин,— а что было потом? Он заставил-таки тебя продать лом?

— Я даже понять не могу, где он так быстро достал транспорт. Он приказал пригнать грузовики, даже не дожидаясь моего ответа. Тебя, как на грех, не было. Я совершенно растерялся и не знал, что делать...

— И он забрал все железо?

— Все.

Хайреттин схватился за голову:

— В один день он буквально опустошил наш склад! Все, что мы собирали в течение долгих месяцев, он вывез за несколько часов! И где только у него все это поместилось? Ну а деньги он хотя бы заплатил?

Нуреттин вытащил из кармана бумажник, достал чек и протянул Хайреттину:

— Вот! Чек действителен три месяца.

Хайреттин с досадой плюнул. Он заметался из угла в угол; хромота его стала заметнее.

В лавку стремительно ворвался невысокий толстяк в пиджаке с развевающимися полами.

— Добрый вечер,— бросил он, брызжа слюной.

Хайреттин остановился и взглянул на пришельца.

— Привет, Изико!

Откашлявшись, Изико выпалил:

— Нашелся покупатель на ваш железный лом!

— Кто же этот покупатель? — Нуреттин горестно усмехнулся.

— Когда едят виноград,— захихикал Изико,— не спрашивают, где он выращен. Если бы мы встретились утром, то речь шла бы о половине лиры за кило, а сейчас можно взять по целой бумажке. Вот что такое ловкость рук. Ну как, довольны?

Взглянув на растерянные лица братьев, он решил, что те страшно обрадовались, и самодовольно осклабился.

— Не может быть, Изико! — вскричал Нуреттин. Его глаза расширились и, казалось, были готовы выскочить из орбит.

— Раз я говорю, значит, так оно и есть. Зря, что ли, Изико промышляет на базаре Першембе уже почти сорок лет? Но оставим пустую болтовню. Лучше скажите, хватит по одной бумажке?

Нуреттин рухнул в кресло, как подкошенный. Хайреттин еще быстрее заметался по лавочке.

Не получив ответа, Изико, теперь уже с плохо скрываемым испугом, проговорил:

— Если вам мало по сто курушей, берите по сто два. Пусть это будет подарок от меня, как от соседа. Ну как, по рукам?

Некоторое время все молчали. Ожидая ответа, Изико застыл, как пригвожденный. По лицу его блуждала растерянная улыбка, колени начали слегка дрожать.

Наконец после долгого тягостного молчания Нуреттин сказал:

— Мы продали железо.

— Как продали? Кому?

— Нашему отцу.

— Почем?

— По тридцать шесть курушей за килограмм.

Изико был не в силах выразить свое изумление и бессмысленно таращил глаза.

— Не может быть! Вы что, съели собственные мозги?

Он до того растерялся, что даже позабыл прибавить свое обычное «вместе с хлебом и сыром».

Изико судорожно глотал слюну и задыхался. Не сказав более ни слова, он выскочил из лавки и помчался по улице с развевающимися по ветру фалдами.

Нуреттин встал, подошел к Хайреттину и схватил его за руку.

— Хайреттин,— еле слышно выдавил он.

— Чего тебе?

— Я пойду изобью отца.

— Да ты что? Сиди уж, где сидишь!

Нуреттин отдернул руку и снова заходил по лавке.

На улицу уже спустилась ночь. За полуоткрытой дверью зажегся уличный фонарь.

— Хайреттин!

— Что еще тебе?

— Я этого не вынесу...

— Заткнись!

На небе, затмевая уличные фонари, ярко светила луна. Лунный свет струился в окна лавки.

В дверь проскользнул черный кот. Он замяукал. Братья не обратили на него никакого внимания. Повторив свое «мяу!» несколько раз, кот повернулся к двери и неторопливо вышел.

— Хайреттин!

— Ну что, что?

— Нет, мне этого не переварить!

— Тогда подыхай, только перестань, наконец!

Нуреттин, как в полусне, побрел к конторке и бессильно опустился в кресло. Его взгляд упал на пятно лунного света на полу лавки. Оно становилось все больше и больше.

«Где он сейчас может быть? — спрашивал Нуреттин себя.— Ох, если бы мне удалось до него добраться!.. Может быть, он сейчас дома и уже забыл о злой шутке, которую сыграл со своими сыновьями? Наверно, вошел в свою комнату, разделся, собирается лечь спать. А, может быть, вспоминает об этом деле со смехом...»

...со смехом он подбросил Ялчина вверх.

— Я выучу этого малыша, жена! Выучу и сделаю его человеком. Чтобы он не был таким неучем, как его отец. Я пошлю его в самую лучшую школу, а потом в Европу. Большим человеком станет мой сын, образованным человеком!

Айтен, боясь испортить прическу, над которой в течение получаса старательно трудился парикмахер, сидела выпрямившись в кресле. Она перебирала в уме всех, кто был приглашен сегодня к обеду.

Будет этот симпатичный инженер Эргин. Они познакомились прошлым вечером в «Кордон блё». Ему, наверно, лет тридцать пять. До чего же с ним весело! И от него так приятно пахнет мылом.

Вчера в кабаре они все время танцевали вместе. Ей было на руку, что Джеват, выпивший несколько бокалов вина, как обычно, не мог подняться со стула. Он совсем раскис.

За их столом сидел еще этот подрядчик Сади со своей женой. Ох, уж эта Сельва! Она буквально сгорала от зависти.

— Мне пора одеваться. Того и гляди, подойдут гости,— сказал Джеват, передавая Ялчина гувернантке.

Он нехотя побрел в спальню. Как все-таки утомительны эти порядки, заведенные Айтен! Есть — отдельно, жить — отдельно, гулять — отдельно. И без конца переодеваться.

Айтен спросила из гостиной:

— Суат с женой тоже придет?

— Да, чуть не забыл тебе сказать: сегодня я несколько раз звонил Сабихе, но так и не дозвонился. Служанки-то у них нет, чтобы передать. Но потом я вспомнил, что у них есть соседка — Нериман. Пришлось позвонить ей. Когда они приедут домой, Нериман передаст им наше приглашение. А все-таки это неприятно, правда?

— Позвони еще раз, может быть, они уже пришли.

— Хорошо.

Айтен снова предалась воспоминаниям о вчерашнем вечере в «Кордон блё». Во время последнего танца, когда они оказались далеко от своего столика, Эргин незаметно поцеловал ей руку. Она, сделав вид, будто рассердилась, щелкнула его по носу, а потом шутливо дернула за ухо. И в этот момент она почувствовала, как сильные руки Эргина сжали ее талию.

— Все готово, бесценная госпожа,— сказала экономка, заглядывая в дверь.

— А цветы?

— Я поставила их в вазу.

— Который час?

— Восемь, бесценная госпожа.

Айтен поднялась. По лицу ее блуждала едва заметная улыбка. Полная приятных воспоминаний, она отсутствующим взглядом посмотрела на заискивающее лицо экономки. И вдруг ей почудилось, что голова экономки в двери — это повешенный на стену охотничий трофей. Чтобы не видеть этого, Айтен поспешно отвернулась.

— Будут еще какие-нибудь приказания, госпожа?

— Нет.

Экономка почтительно поклонилась и неслышно закрыла за собой дверь.

«Как было бы хорошо,— думала Айтен,— если бы пришел Суат с женой». Сабиху она не любила, считала ее глупой, завистливой и скучной. Но приходилось терпеть ее ради Суата. Айтен всегда нравилось знакомить Суата с гостями, говоря при этом: «Мой деверь, профессор».

«Но, боже мой, Сабиха! Она не только завистлива и скучна, но и совершенно не умеет одеваться. Кто знает, в каком нелепом наряде она явится сегодня! Ее вечернее платье сшито еще во времена Оттоманской империи и все никак не изнашивается. А ее волосы, завитые на бигуди! Они похожи на шерсть взлохмаченного котенка».

Айтен открыла дверь спальни. Джеват, сунув одну ногу в штанину, прыгал на другой ноге, пытаясь удержать равновесие. На нем была шерстяная фуфайка с длинными рукавами.

— Не понимаю, как ты можешь носить это в такую погоду? От одного твоего вида мне становится жарко,— поморщилась Айтен.

— Что поделаешь, мерзну, дорогая женушка,— пробормотал Джеват, натянув наконец брюки.

— Почему же ты мерзнешь?

— Да ведь по вечерам бывает довольно прохладно.

Айтен, которой казались жаркими даже платья, обнажавшие спину почти до пояса, стала пристально разглядывать свою изящную ножку. Она находила, что современные вырезы платьев недостаточны. Ах, если бы можно было принимать гостей совершенно обнаженной! Но нельзя было и думать появиться в обществе без четырехъярусной нижней юбки, вздымающей подол платья, словно ты не женщина, а какой-то манекен.

Она попыталась представить себе на месте мужа, все еще возившегося с брюками, инженера Эргина. Как они непохожи!

— Ты позвонил? — спросила она Джевата.

— Сейчас позвоню, сию минуту!

— Уже поздно, когда же они успеют одеться?

Она знала, конечно, что ни Сабихе, ни Суату не понадобится много времени, чтобы одеться, но все же сочла нужным напомнить мужу об этом.

— Не беспокойся, дорогая, если они уже дома, я пошлю автомобиль,— ответил Джеват, застегивая брюки. Затем он поднял трубку и набрал номер. На другом конце провода зазвонил телефон...

...Зазвонил телефон. Суат хотел было взять трубку, но остановился.

— Наверно, ошибка,— пробормотал он.

Суат был взволнован. Несколько минут назад, когда он поднимался по лестнице, дверь соседней квартиры вдруг открылась. На пороге стояла Нериман. Она словно дожидалась его прихода.

— Здравствуйте, Суат-бей! — сказала она.— Звонил ваш старший брат. Вероятно, Сабихи нет дома, и он просил меня передать, что ждет вас сегодня к ужину...

Суат взглянул на Нериман и неожиданно заметил, что ее небрежно наброшенный халат едва прикрывает обнаженное тело. Он растерялся.

— Спасибо,— сказал он, заикаясь.— Значит, вас побеспокоили из-за нас. Извините, пожалуйста. Сабихи действительно нет дома. Она собиралась сегодня пойти к матери и останется у нее ночевать.

Глаза молодой женщины засветились каким-то особенным огоньком и стали похожи на два светильника, стоявших на маленькой площадке между их квартирами.

— Да? — прошептала она сдавленным от волнения голосом.

Некоторое время они молча стояли друг против друга. Суат окаменел. Не зная, что делать, он старался лишь крепче держать пакет, чтобы не выронить его из рук.

В пакете была маленькая бутылка ракы *, скумбрия и немного салата с маслинами. Он подумал, как хорошо было бы запросто, по-холостяцки, поужинать с Нериман.

Встречаясь с ней, он каждый раз испытывал странное беспокойство, и вот сейчас вновь почувствовал знакомое сердцебиение и слабость в коленях.

Напряженное молчание нарушила Нериман:

— Может быть, вы зайдете ко мне? Я приготовила бы для вас кофе.

— Стоит ли вам беспокоиться? — пробормотал после продолжительной паузы Суат. Его обуревали противоречивые чувства.

— Ну что за беспокойство! А вы немного отдохнете. Сегодня я тоже одна.

Он попросил разрешения отнести пакет, быстро отпер дверь и вошел в квартиру. Как раз в это время и раздался телефонный звонок.

Суат дрожал, словно юноша, впервые в жизни увидевший обнаженную женщину. Он прижал руку ко лбу, на котором выступил холодный пот.

Радость и тревога охватили его, и он не мог ни на что решиться. Сегодняшняя встреча с Нериман словно сорвала покровы с чувств, давно дремавших в недрах его души и теперь рвавшихся наружу.

Что может быть плохого, если он возьмет чашечку кофе из рук красивой женщины? Разве ему нельзя поболтать с ней хоть полчаса, послушать маленькие сплетни или даже поговорить о красоте, о любви?..

Ведь эта необычная ночь может никогда не повториться...

Суат пытался побороть свою застенчивость и нерешительность.

Телефон зазвонил опять.

— Трезвонь сколько хочешь, все равно не возьму трубку,— прошептал он.

Даже если бы не эта встреча с Нериман, он все равно не пошел бы

* Виноградная водка.

к Джевату. Общество, которое там собиралось, было ему не по душе. Ему всегда было приятнее оставаться дома; забыв обо всем мире, устроиться поуютней у ночника и углубиться в любимую книгу. Он считал, что это и есть истинное блаженство.

Он стал расхаживать по комнате, как это обычно делают солидные мужчины, думая о чем-то важном. В голове его проносились обрывки мыслей. Ему казалось, что он никак не может поймать и додумать нечто очень важное.

На протяжении многих месяцев, с того самого дня как ему исполнилось пятьдесят лет, Суат старался не думать о подведении итогов прожитого. Он все не решался заняться этим, как маленький мальчик не решается погладить понравившуюся ему собаку. А между тем он отлично понимал, что каждый здравомыслящий человек в этом возрасте, перед лицом быстро приближающейся старости, должен подвести итог. Это поможет ему осветить дорогу в будущее.

«Что ж, может быть, Нериман займет в этом «итоге» главное место. Очень может быть...»

Он снова принялся быстро шагать по комнате взад и вперед, подобно Ксавье Деместру *.

Он совершенно утратил ощущение времени и, когда вдруг возвратился к действительности, то понял, что медлить дольше просто невежливо.

Стараясь унять сердцебиение, он решительно направился к выходу и только тут заметил, что на пороге лежит письмо, очевидно, подсунутое под дверь. Наверно, почтальон приходил еще днем, когда в квартире никого не было.

Суат наклонился, взял письмо и взглянул на конверт. Оно было из Антепа, от Седата. Он не испытывал ни малейшего интереса к тому, что может написать Седат, и все же обрадовался. Чтение письма давало возможность выиграть время, чтобы немного унять дрожь в коленях.

Суат разорвал конверт.

«Ага-бей! **— писал Седат.— Сегодня я узнал, что Джеват обратился в суд, чтобы оформить свое право на продажу принадлежащей ему части поместья и тех частей, которые принадлежат вам. Ты даже не можешь себе представить, как я огорчен этим известием. Сначала я хотел написать ему, но потом решил сообщить обо всем тебе.

Этот поступок Джевата уничтожит все то, что я, преодолевая бесчисленные препятствия, создал на протяжении многих лет. Раздробление нашего поместья ради нескольких тысяч лир подорвет доходы всей семьи, которые, если бы все сохранилось по-старому, намного возросли бы в ближайшие же годы. Я никак не могу понять, почему такой состоятельный человек предпринимает подобный шаг. Каждый год я аккуратно высылаю ему его долю дохода, точно так же, как и всем вам.

Не понимаю, что ему еще нужно? Может быть, вы смогли бы ему объяснить, что сейчас, когда деньги с каждым днем обесцениваются, надо всеми силами держаться за нашу землю. Наша земля...»

Дрожь в коленях прекратилась, сердце немного успокоилось. Не дочитав письма, Суат сунул конверт в карман, вышел на лестничную площадку, тихонько прикрыл за собой дверь и нажал кнопку звонка Нериман.

Дверь распахнулась, но в полутьме он ничего не мог рассмотреть.

— Простите, я... м-м-м... немного задержался. От брата пришло письмо.

— А я уже начала беспокоиться. Да и кофе мог остыть.

---

* Ксавье Деместр (1763—1852) — французский писатель, автор книги «Путешествие по моей комнате».

** Обычное в Турции обращение к старшему брату.

Глаза Суата постепенно привыкли к темноте, и он разглядел Нериман. «Почему она сняла свой синий халат? Зачем надела этот жакет? — Вопросы беспорядочно толпились в голове Суата.— Если она считала,— думал он,— что мне не следует видеть ее в халате, то могла бы одеться и раньше».

— Вы получили письмо от Джевата? — спросила Нериман.

— Нет, это от другого брата, от младшего. Вы его не знаете. Он сейчас в Антепе. Его зовут Седат...

...Седат пришел в университет, чтобы встретиться с приятелем. Молодая девушка приняла Седата за одного из студентов.

— Как это заполнить? — спросила она, потрясая каким-то бланком, и засмеялась мягким грудным смехом.

— Как? Вот этим,— Седат протянул ей свою авторучку.

— Боюсь сделать что-нибудь не так...

— Давайте вместе. Я уверен, что вы сделаете все как надо,— засмеялся Седат.— Вот здесь вы должны написать свое имя.

Ляле * написала свое имя в том месте, на которое указал Седат. Светло-каштановые душистые волосы девушки коснулись его щеки. Он смотрел на ее тонкие пальцы, которые выводили буквы.

— Значит, вас зовут Тюлип.

Ляле подняла голову. До чего же трогательным было ее детское личико!

— Как интересно! Отец тоже называет меня Тюлип.

Седат вдруг почувствовал прилив радости. Чтобы продлить это сладостное ощущение, он был готов помогать девушке до бесконечности.

— Фамилию тоже напишите. По новому закону полагается писать и фамилию.

— Хорошо,— девушка покорно кивнула. Она старательно выписывала буквы, высунув острый кончик языка.— Ну, а дальше что?

— А сейчас очередь дошла до возраста. Вот здесь надо написать год рождения. Я вам скажу, а вы пишите: 1916.

Ляле бросила ручку и уставилась на Седата.

— О-о-о! Мне даже становится страшно. Вы все знаете!

— Определить год вашего рождения не так уж трудно. Сейчас тысяча девятьсот тридцать четвертый год, а поскольку для того, чтобы закончить школу, надо прожить на свете восемнадцать лет, то можно с уверенностью сказать, что вы родились в тысяча девятьсот шестнадцатом году. Но я думаю, что смогу отгадать и более сложные вещи.

— Значит, вы можете даже угадать, где я живу?

Седат поднял брови, потер лоб и сделал вид, будто глубоко задумался.

— А если я скажу, что на Таксиме**?

Изумленная Ляле схватила его за руку.

— Вы, наверно, пророк или колдун?

— Нет, я просто учитель французского языка. Меня зовут Седат.

— Вот как! А я думала, вы студент.

— Ну, учитель или студент — какая разница! Три года назад и я учился в этом университете.

— И теперь вы здесь преподаете?

— Нет, я преподаю в школе.

Ему очень хотелось, чтобы она спросила, почему он преподает не здесь, а в школе. Как приятно было бы объяснить ей, что он отказался от предложенной ему должности ассистента, не желая мешать своему

* Тюльпан *(турецк.)*.

** Аристократический район в Стамбуле.

товарищу получить это место. Все будущее его товарища зависело от этого шага, и Седат решил принести себя в жертву.

Конечно, он понимал, что нелепо ждать от нее подобного вопроса. Они и так уже говорили слишком много.

Девушка, наверно, почувствовала его колебания и, засмеявшись, сказала:

— Взялись, так уж теперь помогайте до конца. Я ведь здесь новичок и понятия не имею, какую надо приклеить марку, где регистрировать документы, кто их должен подписать.

— Ну что ж, пойдемте.

Седат взял Ляле за руку, словно был ее старшим братом.

В тот день они до самой темноты вместе ходили по канцеляриям, вместе выходили на улицу, чтобы купить в табачной лавке гербовую марку, вместе сели в такси и отправились к квартальному, а от него в полицейский участок: Ляле нужно было получить какой-то документ. Потом они опять возвратились в университет.

Вечером, когда надо было расставаться, молодая девушка крепко пожала ему руку.

— Я не знаю, как и благодарить вас. Если бы не вы, мне, наверно, просто пришлось бы отказаться от поступления в университет.

— Ну что вы!

— Честное слово. Одна я ни за что бы не выпуталась из всех этих формальностей... Я никогда не забуду вашей любезности. Поверьте, если когда-нибудь, через много лет я вас встречу, то буду так же полна признательности к вам, как и сейчас.

— Обещаете? — засмеялся Седат.

Его вдруг охватило такое чувство блаженного покоя и уверенности в себе, какого он не испытывал никогда в жизни.

Заходящее солнце слепило глаза.

— Смотрите не забывайте своего обещания! Пусть мы встретимся лишь через много лет. Но вы должны будете тогда улыбнуться мне так же, как улыбаетесь сейчас. Когда бы нам ни довелось увидеться...

...увидеться с Седатом пришел на вокзал только один Ведат. Но оба были довольны этим. Последние минуты прошли в молчании.

Отправляясь в привычный рейс, поезд, как всегда, медленно тронулся с места и поспешно начал набирать скорость. Прощальный гудок вспугнул стаю голубей, и они кружились над паровозом в клубах черного дыма.

Ведат выбрался из вокзальной сутолоки. Ему было приятно вернуться к привычному одиночеству. До прибытия парохода, который перевезет его на европейский берег Босфора, оставалось двадцать минут. Он зашагал к причалу.

Стоял прекрасный стамбульский день. С причала тянуло запахом водорослей. Солнце ослепительно сияло в бездонной синеве. На молу сидели чайки. С весел лодки, покачивавшейся на водной глади, падали капли. Издалека доносилась южноанатолийская мелодия — это пела свирель, вторя удаляющимся гудкам паровоза.

Мимо Ведата пробежали двое мальчишек. Один вырвал у другого яблоко и удирал с добычей.

— Схватить или быть схваченным — вот в чем вопрос,— пробормотал Ведат. Он попытался припомнить понравившиеся ему когда-то строчки: «...Я в жизни сделал только одно: довел до конца то, что вы бросили на полпути; вы хотели быть мудрыми, но оказались лишь малодушными...»

На конце причала два лодочника затеяли спор. Их ритмично повторявшиеся возгласы чем-то напоминали песню. Гладь моря все больше отливала пурпуром. Чайки, расправив крылья, унеслись к скалам.

Подошел пароход. Ведат спустился в салон и выбрал самый уединенный уголок. Это была скамья, стоявшая в глубине салона и наполовину занятая запасными складными стульчиками.

Ведат уселся на свободный конец скамьи, вытащил из кармана «Размышления» Лярошфуко и начал читать: «Добродетель ушла бы недалеко, если бы спутником ее не было тщеславие...»

Ведат усмехнулся и посмотрел в сторону вокзала, словно надеясь еще раз увидеть того, кто только что уехал. В его голове беспорядочно теснились мысли. Он все время вспоминал фразу из какой-то толстой книги: «...наши умы, уходящие в сферу безумия...»

Пароход отчалил. Подул прохладный соленый ветерок.

«Поезд, на котором он уехал,— думал Ведат,— наверно, уже подошел к Пендику. Еще немного — и развеются, словно сон, последние стамбульские воспоминания: девушки, которые, высунувшись из окон, глазеют на проходящие поезда, последние дома Стамбула, последние сады, листва деревьев, освещенная лучами заходящего солнца...»

Его мысли снова вернулись к Седату. Еще только сегодня утром брат стоял перед ним в одной пижаме и назидательным тоном говорил: «На протяжении многих лет никто не вспоминал о полях в Антепе. Они оставались в руках тех, кто их захватил, а мы довольствовались тем, что несколько честных арендаторов присылали нам свою плату. Вот я и подумал, что все эти оставшиеся без присмотра земли теперь надо возделать, заняться ими. К тому же я хочу на некоторое время покинуть Стамбул».

Седат долго ожидал ответа брата, не сводя с него глаз. Но Ведат выдержал этот взгляд, который становился все более горестным и безнадежным, и промолчал. Почему-то ему вдруг захотелось сделать Седату больно.

«Так вот, я выбираю землю,— закончил Седат, опуская голову.— Я хочу быть полезным для всех вас, сделать все, что в моих силах, и даже больше».

Казалось, он так и не стал взрослым. То же детское лицо, то же детское стремление поважничать, тот же огонек в глазах, вспыхивавший, когда он смеялся. Те же морщинки, собиравшиеся на лбу, когда он говорил. Та же наигранная медлительность, которая должна была придавать ему солидность, то же упорное стремление во что бы то ни стало скрыть свои искренние чувства.

В год смерти отца он...

...он сидел под деревом, выпятив губы. Небо было покрыто черными тучами. Первые капли дождя упали на землю. Сквозь раскрытую дверь кухни в сад доносился испуганный шепот Мюневвер — она рассказывала что-то Гюллю.

Ведат, у которого карманы были набиты наворованными в соседнем саду абрикосами, крадучись, пробирался к маленькой боковой двери. Но в тот момент, когда он был уже у порога, его остановил голос Седата:

— Иди сюда!

Седату было всего восемь лет. Но он обращался с четырехлетним Ведатом куда более покровительственно, чем четырнадцатилетний Суат,— словно власть старшего брата казалась ему недостаточной и он хотел быть для Ведата отцом.

— Где ты это украл? — спросил Седат.

Ведат бесстрашно смотрел в глаза брата и молчал.

— Высыпай на землю.

Ведат начал неторопливо опорожнять карманы. Ему хотелось плакать, но он сдерживался — только нижняя губа его оттопыривалась чуть ли не до подбородка.

Страшный раскат грома заставил мальчиков забыть обо всем. Небо на миг озарилось ослепительной вспышкой и снова стало черным. Влажный ветер ударил в лица мальчиков, на них пахнуло свежестью мокрой земли. Крупные капли дождя, обгоняя друг друга, устремились на землю.

Седат схватил брата за руку и потащил его под навес. Дождь все усиливался, и валявшиеся на земле абрикосы залило потоками грязи. Повсюду вдоль забора рябили маленькие озерца.

То, что братьям пришлось вместе укрыться от дождя под навесом, как-то сблизило их. Ведат молча вытащил из кармана абрикос и протянул его Седату.

— А тебе-то осталось? — усмехнулся Седат.

Вместо ответа Ведат вытащил еще один абрикос и сунул его в рот. Абрикос был незрелый, кислый, лицо Ведата перекосилось.

Седат стоял, подбрасывая абрикос на ладони. Глаза его потеплели, он нерешительно переминался с ноги на ногу. Внезапно он размахнулся и бросил абрикос в лужу, блестевшую под забором.

— Ну, вот что,— сказал он, не глядя на Ведата,— те, что остались у тебя в кармане, можешь съесть, но больше делать этого не смей! Стыдно красть! — И он посмотрел на валявшиеся в грязи абрикосы.

Дождь и ветер неистовствовали в саду. Гюллю захлопнула кухонную дверь.

Теперь почему-то приоткрылась маленькая боковая дверца. Мальчики, затаив дыхание, прижались друг к другу. По ступенькам, с башмаками в руке, с огромным пакетом под мышкой, на цыпочках спускался Джеват.

Он был таким взрослым — ведь ему уже исполнилось девятнадцать лет. Бесформенная, потрепанная феска была нахлобучена на его голову. Мокрые усы обвисли и закрывали рот.

Спустившись в сад, он остановился, потом обернулся и, не замечая маленьких братьев, посмотрел на окна. Через несколько секунд Джеват, пробежав по лужам, был уже у забора, отделявшего сад от темного уличного тупика. Привычным движением он перемахнул через него.

Ведат с недоеденным абрикосом во рту вопросительно уставился на Седата.

— Пора домой,— сказал тот и взял его за руку.

Комната отца была на втором этаже. Было слышно, как он разговаривал с матерью.

— Из этого мальчишки не выйдет толка! — кричал Хаджи Джемалеттин.

— Что поделаешь, эфенди! Прямым только минарет бывает, да и у того внутри все вкривь и вкось.

— Смотри, натерпишься ты от него, когда мне придется покинуть этот мир.

— Дай тебе аллах много лет жизни! Говорят, нет такого дерева, у которого вершина б не качалась. Ну, а Джеват... Ведь козлу рога не в тягость...

— Не знаю, как рога козлу, но он-то тебе наверняка будет в тягость.

— Буду просить для тебя у аллаха здоровья! Ведь курица и та, когда воду пьет, на небо поглядывает. А будет у нас голова — будут и пироги.

— Этот паршивый пес причинит немало горя и своим братьям

— О, аллах! Разве можно так думать? Может ли быть, чтобы нос с лица упал? Конечно, брат братом, а хлеб хлебом. По-другому и быть не может.

— Гляди, жена, защищаешь его. Опозорит нашу семью такое распутство...

— ...такое распутство! Ну а ты не суй своего носа куда не следует. Ее позор ко мне не пристанет!

— Но, отец, этот шофер сбежал от нее. Они не были даже помолвлены. Она осталась одна и без гроша,— сказал Джемалеттин.

Джеват окончательно вышел из себя. Презрительно фыркая, он метался по комнате, все больше и больше распаляясь.

«Я не такой простак, чтобы не понять, чего он добивается,— думал он.— Зехру этот мерзавец приплел только для того, чтобы выудить у меня деньги».

— Ты посмотри лучше на себя,— сказал он вслух.— Уже взрослый, а как был шалопаем, так и остался. Вас двое — и один хуже другого. Конечно, главная виновница — ваша простолюдинка мать, которая породила вас на свет божий да еще и за людей сочла. Вот и полюбуйтесь на себя, посмотрите, что вы за люди! Долго еще вы будете путаться у меня под ногами?

Джемалеттин чувствовал, что добыча ускользает от него. Что бы он ни делал, что бы ни говорил, ему так никогда и не удавалось урвать ни гроша. Единственным результатом было только то, что старик день ото дня становился все более непоколебимым и несговорчивым.

Было очевидно, что и на этот раз его попытка как-то смягчить отца ни к чему не привела. Трагедия Зехры не произвела на старика никакого впечатления. Сам Джемалеттин не видел Зехру уже много лет. И то, что она теперь попала в беду, на самом деле нисколько его не тревожило. Он случайно узнал о том, что случилось с Зехрой, и теперь только пытался извлечь из этого какую-нибудь выгоду.

Поняв, что его попытка разжалобить отца, пустив слезу, не удалась, Джемалеттин подумал, что ему следует изменить тактику. Он больше не будет изображать ягненка, унижаться перед стариком. Надо действовать более решительно и перейти в наступление.

Он выпрямился, поднял брови и процедил сквозь зубы:

— А ты не смей упоминать о матери!

Кровь мгновенно прихлынула к лицу Джевата. Он растерялся. Он не верил своим ушам и глазам. До нынешнего дня он привык слышать только льстивые слова и видеть одно лишь угодничество. Что же случилось? Что стало с Джемалеттином, жалким, трусливым, беспутным Джемалеттином?

— Вон отсюда! Я проклинаю тебя и лишаю своего отцовства! — взревел Джеват.

Он плохо представлял себе, что означают слова «лишаю отцовства», но полагал, что за ними скрывается нечто из ряда вон выходящее. Джеват почувствовал уважение к этим словам еще тогда, когда много лет назад впервые услышал их. Они показались ему весомыми, значительными. Как бы то ни было, но в этих словах таилось что-то суровое и непреклонное. Испытывая удовольствие от того, что он знает такие слова и может их произнести, Джеват крикнул еще раз:

— Лишаю отцовства! Понял? Лишаю...

Однако нельзя сказать, чтобы все это произвело на Джемалеттина сильное впечатление. И хотя он слышал эти слова из уст отца впервые, было очевидно, что тот весьма смутно понимает, о чем говорит. К ругани Джемалеттин привык давно и сейчас воспринял сказанное отцом как обычную брань.

Решив, что он избрал правильный путь, Джемалеттин еще больше распетушился:

— Это ты убил мою мать! Это из-за тебя она заболела чахоткой и совсем молодой сошла в могилу! Это ты сделал нас несчастными — Зехру и меня!

Красное лицо Джевата сначала пожелтело, потом стало иссиня-багровым.

— Вон! — крикнул он, задыхаясь.

Язык отказывался ему повиноваться. Письменный стол, стулья, висевшая на потолке лампа — все закружилось у него перед глазами. Ковер, разостланный на полу, закачался, словно корабль на волнах. Джеват не мог понять, как это ничтожество, этот мерзавец, которого он не желал даже замечать с самого дня его рождения, мог так его разволновать.

Сила и опыт, позволявшие ему преодолевать тысячи препятствий, изменили ему. Он с трудом добрался до письменного стола и со всей силой надавил кнопку звонка.

Дверь раскрылась, и в комнату вошел маленький, щуплый секретарь в очках. Он растерянно посмотрел сначала на сына, который стоял посреди комнаты, широко расставив ноги, потом на отца, державшегося за стол, чтобы не упасть.

Джеват, не взглянув на секретаря, одним духом выпалил слова, которые приготовился сказать любому, кто войдет на его звонок:

— Вышвырните его отсюда!

Испуганный секретарь робко шагнул к Джемалеттину, остановился на почтительном расстоянии и начал нерешительно переминаться с ноги на ногу, смущенно потирая руки.

Джемалеттин гневно повернулся к нему. Он решил до конца следовать своей новой тактике. Схватив растерявшегося секретаря за плечи, он вытолкал его из кабинета, захлопнул дверь и повернул ключ.

Джеват трясся от бешенства. Казалось, он вот-вот упадет. Он ошеломленно уставился на сына выпученными глазами. Он никогда не поверил бы, что столкновение с сыном, которого он всегда презирал, может закончиться подобным образом.

Джемалеттин вплотную подошел к отцу. Красный от злости, он помахал кулаком перед носом Джевата и изо всей силы ударил по столу:

— Довольно! Хватит! До этого дня я считал тебя своим отцом. Быть может, ты думал, что я склонял перед тобой голову от бессилия? Ну, нет! Тебе мало того, что ты вогнал в чахотку мать и свел ее в могилу, так теперь ты хочешь, чтобы моя сестра стала проституткой. Если я стал шалопаем, то это потому, что я сын такого шалопая, как ты. Я не учился. Почему? Может быть, ты скажешь, что кормил меня, одевал и приютил в своем доме, а я все-таки бросил школу? Твой отец действительно делал все это, а ты сам учился?

Джеват попятился. Его ноги подкосились, и он рухнул в кресло.

Джемалеттин, разгоряченный собственными словами, разошелся вовсю. Он опять изо всей силы стукнул кулаком по столу:

— Ты думаешь, мы не знаем, кто нас ограбил? Разве не наш собственный отец? Откуда взялся твой теперешний капитал? Если разобраться, ты нажил его за счет своей матери и своих братьев. Кто бы мы ни были, мы все-таки не грабители! И если мы требуем чего-то, так только того, что принадлежит нам по праву. Но ты ни во что не ставишь своих детей, тебе даже слуги дороже. Ты считаешь, что мы требуем слишком много? Да?

Джеват уже не видел Джемалеттина — в глазах его поплыли круги. Ему казалось, что все это какой-то спектакль, разыгрываемый на сцене. Перед ним, как призраки, замелькали его отец Хаджи Джемалеттин, его первая жена Хатидже, вторая жена Рахиме, дочь Зехра и близнецы-сыновья. Гневный голос Джемалеттина становился все глуше. Все смешалось...

Джеват никак не мог сообразить, отчего он, впервые в жизни, впал в такое состояние. Постепенно его багровое лицо начало бледнеть и вновь приобрело свой обычный оттенок. Его сердце...

...его сердце радостно билось.

— Я люблю тебя, Седат,— сказала Ляле, его любимая Тюлип. Они поцеловались. Любовь переполняла его. О, что это за дивное чувство! Вся душа словно околдована. Вздохнешь — и ощущаешь в груди могучую силу, которая способна вобрать в твои легкие всю вселенную. Затаишь дыхание — и из груди рвется песнь о счастье!

— Дорогая,— сказал он.

— Что?

— А знаешь ли ты...

— Знаю.

— Так будь же счастлива! До скорой встречи, любимая!

Он шел, никого не замечая, один во всем мире, под сводом медленно темневшего неба.

— Так всегда,— шептал Седат,— с самого сотворения мира: рождение, смерть, цветы, звезды, деревья, от которых струится влажный аромат.

Он шел, и с его губ слетали слова библейской «Песни песней».

Заклинаю вас, дщери Иерусалимские! Если вы встретите возлюбленную мою, что скажете вы ей? Что я изнемогаю от любви. Возлюбленная моя бела и румяна, лучше десяти тысяч других: голова ее — чистое золото; кудри ее волнистые, черные как ворон. Глаза ее — как голуби при потоках вод, щеки ее — цветник ароматный, гряды благовонных растений, губы ее — лилии, источают текучую мирру. Руки ее...

Он испытывал властную потребность вновь дотронуться до ее рук, ног, щек, почувствовать, что ничего не изменилось, что все это явь, а не сон. «Это жизнь...» — думал он.

Уже несколько часов его наполняло радостное воспоминание о том, как он гладил ее волосы, шею, плечи... «И это все мое!» — думал он.

Дул прохладный, веселый ветерок. Дома, люди — все было как во сне. Он грезил наяву, как в тот предрассветный час, когда человек, начиная пробуждаться, еще не освободился от власти сновидений. Земля под его ногами словно гудела радостью и счастьем. Мир погрузился в бесконечную весну. Седату хотелось броситься на шею каждому встречному и каждого заключить в объятия.

«Это любовь. Дорогая!»

Он вновь и вновь перебирал в памяти все события этого дня.

— Что ты сказал?

— Я умру от любви!

— И я тоже.

— Ты понимаешь?

— Понимаю.

Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, не будите мою возлюбленную!

Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал; цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей; смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние.

Заклинаю вас, дщери Иерусалимские!.. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви!

Он брел, сам не зная куда. Ему хотелось идти — просто идти без всякой цели. В окнах домов и лавок стали загораться огни — по одному, по два. С освещенных витрин улыбались манекены, задрапированные дорогими тканями. Гудки автомобилей, звонки трамваев звучали в его ушах как детский смех. На узкой полосе неба между двумя рядами домов, выстроившихся вдоль улицы, замерцали звезды. На перекрестках толпились люди. Все они казались ему близкими и родными.

Вечерняя суета города лишь усиливала его радость. Шагнув с тротуара на мостовую и проходя между автомобилями, которые уступали ему дорогу, Седат не мог удержаться и погладил их.

Если бы Невзат не схватил его за руку, он вместе со своей радостью угодил бы под колеса.

— Осторожно! Потерпи еще три дня,— сказал Невзат.— Разве можно умирать, не увидев одиннадцатой годовщины республики?

Он изумленно смотрел на Седата, который улыбался как во сне, широко раскрыв ничего не видящие восторженные глаза.

— Что с тобой?

— Ничего,— ответил Седат. Слова Невзата не сразу дошли до его сознания.

— Куда это ты такой идешь?

— Никуда... Не знаю...

— Ну и хорош же ты, однако!

— Да, хорош,— ответил Седат, продолжая пребывать все в том же блаженном состоянии.

— Какого зелья ты нализался?

— Я испил любви, братец.

Невзат почесал затылок.

— Плохо! Это самый крепкий из всех напитков.

Он дружески взял Седата под руку и почти насильно повел за собой.

— В таком случае, пойдем, поддержим твое опьянение более легким напитком.

Они шли, стиснутые толпой, увлекавшей их вперед. Пошатываясь, Невзат, как обычно, без умолку болтал:

— На мой взгляд, любви не существует. То, что мы называем любовью, по сути дела всего лишь иллюзия, всего лишь фантазия. Сначала она действительно может сразить человека. Я тоже когда-то пережил это. Меня тоже сразила любовь. Но ненадолго. Это чувство быстро проходит. Потом человек трезвеет и сам больше всех изумляется своей глупости. Он то и дело глядит на себя в зеркало и спрашивает: «Что это на меня нашло?» Лучше всего избегать этого чувства. К тому же не очень-то умно любить кого-нибудь, кроме себя. Об этом метко сказал Спиноза: «Я люблю тебя, но тебе-то до этого какое дело?»

Седат, погруженный в себя, слушал Невзата все с той же зачарованной улыбкой. «О люди, ниспровергатели бога, не желающие восславить творца!..»

— ...восславить творца! Наш ребенок будет спасен! Успокойся, дитя мое.

Мюневвер, стоявшая на коленях на молитвенном коврике, подняла голову. Перебирая бескровными пальцами янтарные четки, она смотрела на свою дочь с просветленной улыбкой, исполненной веры.

— Я не вынесу, мама! Может, мне пойти туда? — Гюльчин, метаясь по комнате, ломала руки.

— Нет, дочь моя! Раз муж сказал, чтобы ты оставалась здесь, ты должна его слушаться.

Когда она произнесла эти слова, перед ней всплыло далекое прошлое.

Да... она поняла, что мужа нужно слушаться, только когда уже потеряла его...

Она снова видела себя у дверей отцовского дома с узлом в одной руке и девятимесячной Гюльчин — в другой. И горечь тех дней, которая не забывалась все эти долгие годы, вновь наполнила болью ее сердце.

Гюльчин достала свежий платок: тот, который она держала в руках, насквозь промок от слез.

Чтобы не расплакаться опять, она нервно покусывала губы. Всхлипывая, она произнесла те же слова, которые повторяла с раннего утра:

— О мое дитя, о мой ребенок!

— Я помолилась,— успокаивала ее Мюневвер.— Не убивайся. Наша Оя будет спасена. Ахмет скоро придет с хорошими вестями. Не терзай себя.

— Молодая госпожа,— это Гюллю позвала Мюневвер, просунув голову в дверь.— Старшая госпожа просит вас подняться наверх. Она спрашивает, есть ли какие-нибудь новости из больницы?

Мюневвер, стараясь говорить с достоинством, пробормотала:

— Скоро придем. А ты пока принеси нам по чашечке кофе. Только мне без сахара.

Ухватившись одной рукой за спинку стула, а другой опираясь о пол, Мюневвер тяжело поднялась. Охая, она с трудом выпрямилась. Поясница и ноги у нее с каждым годом ныли все сильнее. Если бы не необходимость пять раз в сутки совершать намаз, она, пожалуй, и совсем не покидала бы своего угла.

С утра до вечера она сидела, глядя на деревья в саду, и беззвучно шептала молитвы. Уже многие годы она не выходила за порог дома.

Привычным движением она подняла молитвенный коврик, свернула его и поправила на голове платок, скрывавший ее седые волосы. Она перебирала янтарные четки, и казалось, глаза ее видят Ою на операционном столе. Во взгляде ее чувствовалась твердая уверенность, что все кончится хорошо.

— Я сойду здесь с ума... Я не могу больше выдержать, не могу! — снова запричитала Гюльчин.

Мюневвер подошла к ней. Взяла ее за голову и потерла ей виски. С ее непрерывно шевелившихся губ все громче и громче лились слова молитвы. Временами Мюневвер останавливалась и дула в лицо дочери, словно хотела охладить ее пылающие щеки.

Вдруг перед Гюльчин блеснул поднос с кофе, который поднесла к ней Гюллю.

— Ой, милая, разве я могу сейчас пить кофе?

— Пей, дочка, заставь себя,— проговорила Мюневвер, закончив молитву.

Она дрожащей рукой взяла маленькое блюдечко и осторожно, стараясь не опрокинуть чашечку, направилась к своему обычному месту. Она села так же медленно и с таким же трудом, как и поднялась.

Гюллю, полузакрыв глаза и покусывая губы, чтобы не выдать свои страдания, ходила с подносом за метавшейся по комнате Гюльчин.

— Ну выпей, дорогая госпожа, хоть глоточек. Разве тебе не жалко своих красивых глаз? Ахмет-бей вот-вот придет.

Гюльчин, стараясь удержать слезы, в отчаянии кусала пальцы. Она совершенно не слышала, что говорит Гюллю, и тихонько причитала:

— О мое дитя, о мой ребенок!

Время шло, и Мюневвер, вновь расстелив молитвенный коврик, уже готовилась совершить дневной намаз. Вдруг раздался звонок. Гюльчин, как сумасшедшая, бросилась к двери.

— Она спасена! Слава аллаху! — прокричал, задыхаясь, Ахмет. Он упал на скамью и вытирал лоб, с которого градом катился пот.— Она спасена, но... я окончательно выбился из сил.

Слезы, которые Гюльчин с самого утра еле сдерживала, мгновенно хлынули потоком.

Гюллю бросилась к лестнице, чтобы сообщить долгожданную новость старшей госпоже.

Сидя на молитвенном коврике, Мюневвер радостно улыбалась:

— Разве я не говорила тебе, дочка? Всевышний помог нам. Молись теперь, возблагодари его, великого!

Ахмет, который только сейчас понял, что беда, висевшая над ними в течение нескольких дней, миновала, постепенно успокаивался.

— Если бы не дядя Седат,— начал рассказывать он,— если бы на его месте был дядя Джеват, то он не моргнув глазом дал бы погибнуть нашему ребенку. Он даже бровью не повел, когда я влетел к нему в дом и сказал, что у ребенка прободение аппендикса. Все было напрасно — я не смог выпросить у него ни гроша. Хорошо, что я догадался послать телеграмму Седату. Пусть будет он счастлив, спасибо ему: он послал перевод молнией прямо в больницу.

По щекам Гюльчин продолжали катиться слезы. Она совершенно обессилела. Ей хотелось вдохнуть глоток свежего воздуха, и она поспешила распахнуть окно...

...распахнуть окно. В комнату ворвался горячий стамбульский день. Учитель Рыфат даже немного попятился. Потом он повернулся к Ведату, который сидел, уютно устроившись в кресле, и с улыбкой слушал.

— Меня страшит все то, чего я не знаю,— продолжал рассуждать Рыфат.— Потому я и боюсь смерти. Мне не дано знать, когда и отчего я умру и какой будет моя смерть. Но я должен добиться ответа на эти три вопроса — иначе я не смогу жить. Я уже не могу ни есть, ни смеяться, ни спать. На меня внезапно нападает тоска, я совсем не выхожу на улицу, ни с кем не разговариваю... Как ужасно неведомое! Для того, кто пребывает в неведении, кажется возможной любая случайность. Поэтому я стараюсь не пользоваться теми предметами, о которых не знаю все до конца. Возьмем хотя бы эту электрическую плиту. А вдруг она взорвется? Что тогда будет? Конечно, мы знаем, что этого не произойдет. Поэтому мы так уверенно обращаемся с ней. Но представь себе на минуту, что мы включаем ее, ничего не зная о возможных последствиях. Подумай только — как это было бы страшно! Как страшно, что простая, безобидная с виду вещь может вдруг ворваться! Так вот вообрази, что это все же случилось. И тогда будет уже очень легко ответить на три вопроса: *когда, отчего, каким образом.* Но, до того как эти ответы будут даны, до того как непознанное станет познанным, мы должны быть готовы к любым неожиданностям. Попробуй-ка держать перед собой *нечто,* полное неизвестных возможностей. С какой стороны нанесет оно удар, что произойдет с этим *нечто?*

Ведат промолчал. Он ограничился лишь тем, что еще шире улыбнулся.

— Такова жизнь,— продолжал Рыфат.— *Когда, отчего, каким образом* — мы ничего не знаем об этом. Не знаем, но все же продолжаем пользоваться этой самой жизнью, о которой, я думаю, даже кузнечик вряд ли знает меньше, чем мы. Но пока человечество не рассеет этот бесконечный мрак, оно не сможет стать счастливым, каким могло бы быть... Можно ли, друг мой, смеяться, любить, есть, пить, когда знаешь, что смерть висит над твоей головой, как дамоклов меч, а ты не в силах ответить на вопросы: *когда, отчего и каким образом?*

Он поднялся с места, наполнил вином стакан Ведата и предложил ему сигарету.

Осушив стакан, Ведат перевел дух и лениво сказал:

— Вот так!

Рыфат отпил из своего стакана только один глоток и сказал:

— Да, вот так! А теперь попробуй войди в меня и узнай: как ощущаю я вкус этого вина? Возможно ли заглянуть в человека так глубоко, чтобы увидеть в нем все: что в нем надломлено, испорчено, чего недостает? А ведь именно это — непознанное, скрытое — и делает нашу жизнь то полной, то пустой. Так чем же восполнить наше незнание? Верой? Увы, она доступна не каждому.

— А наши добродетели? — спросил Ведат. В глазах его горели странные огоньки. Было ли причиной тому вино?

— Ох уж эти мне добродетели! Это всего лишь химеры, живущие в нашем воображении. В действительности человек не может быть добродетельным, ибо добродетель противна человеческой натуре. Химера, иллюзия! Стараться подавить в себе желания, которые невозможно подавить, сокрушать препятствия, которые и не стоило бы сокрушать,— быть может, это и есть добродетель? А? Но ради чего, ради какой цели? Можно ли так победить смерть? Хорошо, оставим смерть, будем рассуждать о жизни. Попробуем довести до логического конца все эти рассуждения о добродетели. Не покажется ли в этом случае просто смехотворным стремление достичь добродетели, идя путем греха? Неужели это возможно: следовать путем греха, чтобы прийти к добродетели? Быть может, такое стремление тоже является своего рода грехом? А? Лично я вполне понимаю тех отступников, которые, избрав этот путь и продолжая твердить о добродетели, в конце концов сходят с него, чтобы стать грешниками.

Ведат громко расхохотался. Продолжая смеяться, он закурил сигарету. Когда он вот так начинал хохотать, поблескивая глазами, в нем появлялось что-то удивительно привлекательное.

Внезапно Ведат встал, отошел в сторону и, посмотрев на своего собеседника, сказал:

— Я получил письмо от Седата. Он скоро приедет в Стамбул...



## II

# И ГРЕБЕЦ СКАЗАЛ: «ВОТ ОНО, МОРЕ, БЬЮЩЕЕ В НАШИ БОРТА...»

...Он скоро приедет в Стамбул.

— Ты меня обрадовал,— воскликнул Рыфат. Он очень любил Седата. Они были друзьями детства и однокашниками.

— Да, я давно собираюсь попросить тебя немного им заняться,— проговорил Ведат.— Я думаю, это необходимо.

Рыфат вопросительно взглянул на Ведата. Но тот с отсутствующим видом — словно он ничего не сказал — уже смотрел в окно.

— Какая хорошая погода, правда?

— Очень!

— Может быть, пойдем прогуляемся?

Рыфат смотрел куда-то мимо Ведата и смущенно потирал руки.

Ведат взглянул на него.

— Ну, как?

— Я боюсь, что ты будешь смеяться надо мной. Ну, так и быть, тебе скажу... Я не пойду с тобой, потому что скоро лягу спать.

— Так рано?

— Да. Чтобы ты понял, в чем дело, должен тебе сказать: через тридцать минут будет двадцать с половиной часов, как я не сплю.

— Почему?

— Почему? Я приучаю себя спать только восемь часов из двадцати восьми, в то время как все вы спите по восьми часов из каждых двадцати четырех. Таким образом, я каждый раз бодрствую на четыре часа дольше и, по сравнению с другими людьми, которые ведут нормальный, с твоей точки зрения, образ жизни, я проживу на несколько лет больше. В дальнейшем я увеличу эту разницу. Через несколько недель я буду спать по восемь часов из каждых двадцати девяти.

Ведат молча ходил по комнате.

— Это не так уж трудно,— продолжал Рыфат.— Все дело в привычке. Часы моего сна приходятся то на ночь, то на день. Но я сплю одинаково крепко и ночью и днем. Привычка спать только по ночам появилась у людей, вероятно, лишь потому, что они не могли заниматься в темноте каким-нибудь делом.

Ведат вдруг остановился и внимательно посмотрел на Рыфата.

— И что дальше?

— Дальше? Что ж, я скажу тебе. Разве от тебя можно что-нибудь скрыть? Так вот, я провожу и другие эксперименты, и это доставляет мне большую радость. Они не сложны; к тому же я произвожу их на самом себе, и они никому не приносят вреда. Я ни на что не претендую, но, возможно, мне удастся довести их до конца. Неужели я выгляжу более смешным, чем Архимед, который часами наблюдал в бане за шайкой, погружаемой в воду? Не думаю. Я полностью ушел в свой внутренний мир, в свои мысли и переживания. Я ни с кем не встречаюсь, кроме моих коллег по работе. Единственное, что я позволяю себе, это иногда послушать симфонию или сонату, а иногда выпить стакан вина. Вот, собственно, и все.

— Вот как? — задумчиво сказал Ведат.

— Да, именно так. Ну, и кроме того, я каждый месяц даю отдых какому-нибудь органу своего тела. Один месяц отдыхает печень, другой — почки, третий — сердце, четвертый — желудок. Для каждого органа я разработал особую систему питания — иногда я по целым месяцам ничего не ем и обхожусь инъекциями витаминов. Я верю, что благодаря этому буду всегда здоров и крепок. На мой взгляд, еда — всего лишь привычка. Человек вполне может уподобиться тем существам, которые не едят, но получают все необходимое для поддержания жизнедеятельности своего организма из окружающего мира — из воздуха и воды.

Провожая Ведата, Рыфат со свойственной ему горькой усмешкой сказал:

— Я понимаю, все это пустяки, все ни к чему. Когда придет время и смерть постучится в мою дверь, ничто уже не отгонит ее.

Он тихонько прикрыл за Ведатом дверь и, тяжело ступая, возвратился в комнату. Поставив на проигрыватель пластинку с пятой симфонией Бетховена, он уселся в кресло и опустил веки...

...веки его слипались. Вчера он просидел до самого утра, сочиняя речь, которую предстояло произнести на открытии нового института. Он устал и мечтал поскорее добраться до постели. Но вместо отдыха он был вынужден оставаться в комнате, что-то говорить, о чем-то спрашивать и отвечать.

В конце концов он пошел в спальню, чтобы сменить галстук. Сабиха, наскоро помыв после ужина посуду, присела к зеркалу. Она сняла с головы бигуди, готовясь расчесать волосы. Теперь уже невозможно было не заметить, что они сильно тронуты сединой.

«Стареем,— сказал про себя Суат.— Оба стареем. Увы!» Он открыл гардероб и достал темный галстук. Всякое усилие давалось ему с огром-

ным трудом. Даже необходимость проявить отцовскую власть по отношению к Джану не побудила его к деятельности. Он ограничился тем, что ленивым взглядом следил за всем происходящим.

Сегодня за ужином Джан, не жуя, проглотил свою порцию и вышел из комнаты. Этого парня недаром называли лоботрясом и ветренником. Он не давал себе даже труда сообщать, куда идет. Как и всегда, он сказал только, что намерен «просто прошвырнуться».

— Который час? — спросила Сабиха.

Было около десяти.

— Джеват с женой раньше одиннадцати не придут. Правда?

— Да, конечно. Но чтобы не заставлять их ждать, надо, на всякий случай, одеться к половине одиннадцатого.

Еще с утра Сабиха словно предчувствовала, что вечером они пойдут в летний ресторан. Она вооружилась ножницами, намереваясь увеличить вырез своего вечернего платья, того самого, которое было сшито еще во времена Оттоманской империи. Она хотела также укоротить рукава, доходившие до локтей, но вдруг вспомнила, что через неделю ей предстоит пойти на обряд обрезания. Пришлось отказаться от всех планов. Ну, что ж, она наденет на шею нитку жемчуга. Это будет не так уж плохо. Но нитка показалась ей очень жиденькой. Вот если бы можно было попросить еще одну у Нериман!

— Как ты думаешь, Нериман уже спит? — спросила Сабиха и тут же подумала: «Ленивая она, ложится спать вместе с курами, когда нет еще и половины десятого».

— Наверно, уже спит,— покраснев и заикаясь, проговорил Суат.

Сабиха продолжала растравлять свои раны. Ей так и не удалось купить черные туфли, а они очень пригодились бы сегодня вечером! А так придется все время ходить рядом с Суатом, думая лишь о том, чтобы никто не заметил, какие скверные на ней туфли. Труднее всего бывало до того момента, пока сядут за стол. Потом все становилось проще.

Но беда заключалась не только в туфлях. Ее манто тоже никуда не годилось. Правда, можно было надеть труакар. Но в нем нельзя было войти в зал ресторана. Придется раздеваться в вестибюле вместе с мужчинами.

«Но как же быть с жемчугом? — вновь всполошилась Сабиха.— Разбужу эту лентяйку,— решила она.— Мир от этого не рухнет».

Сабиха накинула капот и выскочила из комнаты.

Суат, переменив галстук, дремал в кресле. Каким сильным он чувствовал себя сегодня утром, когда произносил с кафедры речь! Доценты и ассистенты, которые мечтали в будущем занять место на этой кафедре, смотрели на него с восхищением. Да, он недаром прожил свою жизнь, если сумел вызвать такое восхищение!

Он был доволен собой. Разве он не трудолюбив, не добродетелен, не пунктуален? Конечно! Он всегда держался в определенных рамках. Однако получить заведование такой кафедрой было бы невозможно, если бы он действовал с чрезмерной прямолинейностью. Он упорно, как и всякий, кто хочет добиться успеха, вел бесчисленные маленькие интриги и достиг-таки своей цели! И вот теперь не только он сам, но и все его близкие гордятся им.

И все же горестное чувство, как он ни старался его заглушить, нет-нет да и отзывалось щемящей болью в сердце. Это давно знакомое чувство нередко его сильно беспокоило.

Суат совсем уже засыпал, когда Сабиха, сияя от радости, как человек, достигший предела своих желаний, вошла в комнату с ниткой жемчуга в руках.

— Я разбудила Нериман, она не очень рассердилась,— сказала Са-

биха, размахивая жемчугом. В этот момент весь мир сосредоточился для нее в нитке жемчуга, качавшейся на ее пальцах.

— Поскорее! — раздраженно пробормотал Суат.— Они могут вот-вот прийти.

Он встал, выглянул в окно и пошел в столовую. Лампа, которую забыли погасить после ужина, дремотно освещала кресла. Ветхий диван скрывался в полумраке, а когда Суат сделал несколько шагов, чтобы выключить радио, его нога зацепила за порванный ковер. «Интересно, где сейчас Джан? — подумал он.— Вот уж действительно ветрогон! Надо бы им заняться всерьез — за ним нужен глаз да глаз...»

...глаз ее бессмысленно шарил по потолку, будто отыскивая что-то.

— Гюллю! — крикнула Зехра.

— Чего изволите, госпожа?

— Да ты что, в преисподнюю провалилась?

— Я была здесь, госпожа.

— Стало быть, ты спала, девочка? — ядовито спросила Зехра. Ее жизнь была связана с этой «девочкой» уже почти шестьдесят лет.

— Нет, я не спала, госпожа.

— Что же ты делала?

— Я думала.

Луч утреннего солнца упал на одеяло. Зехра вытянула замлевшие ноги.

— О чем же ты думала?

— Я думала, когда же наконец женится наш молодой господин.

Зехра-ханым расхохоталась.

— О, боже мой, девочка! Это тоже твоя забота? О каждом сумасшедшем печься, так и жизни не хватит. Ты уж лучше не думай о том, женится он или не женится, а потревожься насчет моих очков. Мои глаза совсем стали плохи. Вот сходи и узнай, обменял этот молодой господин мои очки или нет?

Гюллю, хотя ей давно уже перевалило за пятьдесят, была по-прежнему проворна, как молоденькая. Она ловко свернула свой тюфяк, быстро запихнула его в стенной шкаф и, приглаживая на ходу волосы, выскочила из комнаты. «Бедненькая,— подумала Зехра-ханым,— вот тебе бы надо замуж, да в свое время не вышло, а теперь уже поздно. Подрезала мои крылья смерть Хаджи-аги. Разве я знала, что делать? Когда у ишака нутро горит, он быстрее лошади побежит. Было ли тут до женитьбы Ведата или Седата? Другие-то сыновья поженились. А где радость, где счастье? Вот и выходит: если один глаз увидит, так и другой не удивится».

В комнату вошла Мюневвер. Потирая поясницу, она медленно брела к постели матери. Положив на свою склоненную голову ее руку, Мюневвер сказала:

— Доброе утро! — И добавила: — Ноги-то совсем меня не держат, я уж еле-еле поднимаюсь к вам.

С тех пор как мать переселилась на второй этаж, Мюневвер стало трудно подниматься наверх, чтобы поцеловать ей руку, не менее трудно, чем выйти на улицу. Она всегда с удовольствием выполняла эту церемонию. Но теперь ей было невмоготу. Еле подавляя стоны, Мюневвер, беспрерывно бормоча молитвы и перебирая пальцами четки, потащила свои непослушные ноги к стоявшей в углу тахте. Воздев руки и приложив их ко лбу, она сказала:

— Да будет с нами милость аллаха, сегодня ночью я видела во сне Седата.

Зехра-ханым что-то невнятно пробормотала в ответ.

— Он был в Антепе,— продолжала рассказывать Мюневвер,— и садился на лошадь своего отца.

— А лошадь была в яблоках?

— Нет,— подумав, сказала Мюневвер,— она была черная без пятен.

— Ну вот, совсем и не то. У отца-то была в яблоках,— проворчала Зехра.

Мюневвер замолчала. Она не любила длинных разговоров.

— Аллах милостив,— пробормотала она еще тише.— Не случилось ли с ним чего?

— И кто только надоумил его поехать в Антеп? — возмущенно заговорила Зехра.— Сидя у печки, куда как легко сад разводить. Но если курицу заставят за гусенком приглядывать, быть тому гусенку калекой. Разве это дело по нем? Сколько в ступе воду ни толки — все вода и будет. А если в баню войдешь, так и не мывшись, вспотеешь! — И Зехра тут же — в который раз! — принялась рассказывать старую историю: — Когда умер ваш отец...

Гюллю внесла утренний кофе и, поставив поднос на столик, сказала:

— Аптека была закрыта, но Ведат просил передать, чтобы вы не беспокоились, он переменит очки сегодня же.

Зехра-ханым словно очнулась. Она забыла, о чем только что говорила, и, вновь возвратясь мыслями к Ведату, проворчала:

— Что же выходит: я барин, ты барин, а корову доить некому? Одним словом, ты помри вместо меня, а я тебе скажу спасибо...

— ...Спасибо, дядюшка! — воскликнула Зехра. Она заметалась по своей маленькой комнатке, держа в руках коробку конфет. Зехра, как дитя, радовалась нежданному гостю и не знала, куда посадить Ведата, чем его угостить.

— Как вы меня отыскали? Ведь это так далеко от центра.

Ведат улыбнулся, но не ответил.

Зехра густо покраснела — перед ней вновь встали воспоминания о побеге из дому в ту дождливую ночь и о позоре, который она пережила, когда Реджеп покинул ее. Она ломала голову, как начать рассказывать обо всем этом дяде, но ничего не могла придумать. Растерянная и смущенная, боясь его вопросов, она поспешила опередить Ведата:

— Когда я ушла из дома...

— А что это за цветы? — перебил ее Ведат, указывая на один из горшков, стоящих на подоконнике.

— Это базилика, дядюшка.

— А это?

— Гвоздика.

Восседая на соломенной скамейке и закинув ногу на ногу, Ведат не спеша, по-хозяйски осматривался вокруг.

— Какой кофе вам подать?

— Ты же знаешь, я не люблю кофе.

Слова «знаешь» произносить, наверно, не следовало, оно напоминало о прошлом. Он не должен был говорить это слово. Ведат рассердился на себя.

— Ой, и в самом деле, ведь вы не пьете кофе,— попыталась засмеяться Зехра.— Как же я могла так скоро об этом забыть? Ведь с тех пор как я покинула дом...

— Сколько ты платишь за комнату? — с невозмутимым спокойствием перебил ее Ведат.

— Двадцать лир в месяц, дядюшка.

«Дорого? Вряд ли. Дешево? Черт его знает! Нет, лучше не говорить о деньгах!»

— Гм, ясно,— пробормотал Ведат.

Он поднялся, подошел к окну и, засунув руки в карманы, стал смотреть в сад. Сквозь листву просвечивало подернутое легкой дымкой небо.

— Это ваш сад?

— Наш, дядюшка.

«Красивый? Вряд ли. Большой? Черт его знает. Маленький? Если так сказать, то это будет вроде напоминания о бедности».

— А эти деревья приносят плоды?

— Да, и к тому же это абрикосы.

Он очень любил абрикосы.

Зехра поняла, что дядя не будет говорить о прошлом, успокоилась и доверчиво начала рассказывать, как зарабатывает себе на пропитание шитьем.

Не слушая ее, Ведат обдумывал, как бы получше сказать о том, что он собирается для нее сделать.

После некоторого молчания Зехра спросила:

— А что пишет дядя Седат? Есть от него какие-нибудь вести?

«Сказать «есть»? Не стоит. Придется долго рассказывать. Сказать «нет»? Тогда придется объяснять почему».

Он промолчал, потом вдруг спросил:

— Не дашь ли мне стакан воды?

Зехра тотчас же вскочила и убежала. Ей так хотелось хоть чем-то ответить на его участие, хоть чем-нибудь услужить ему. Пусть это будет хоть стакан воды.

Он с наслаждением большими глотками пил воду.

Как только она вышла из комнаты, Ведат вынул из кармана пакет и положил его на комод, поближе к стене, чтобы он не бросался в глаза. Теперь Ведат окончательно понял, что ничего не сможет сделать для Зехры. Стрела вылетела из лука! Возврата нет. Как и все люди, она будет влачить свою долю, гонясь за призраком счастья. Что поделаешь, надо помочь ей хоть деньгами.

Зехра начала расспрашивать о бабушке, о тете, о Гюллю.

— У них все в порядке.— Ведат поднялся: — Ну, мне пора!

Зехре так хотелось удержать его хоть ненадолго. Ей было так приятно видеть у себя в комнате гостя.

— Вы спешите? Ведь еще очень рано! — сказала она дрожащим голосом.

— Нет, уже пора!

Зехра знала, что упрашивать бесполезно. Ведь это дядя Ведат. А уж он такой... и с этим ничего не поделаешь...

Уже спустившись с лестницы, он остановился у двери. Начался дождь. Ведат надел шляпу. В его голове проносились слова, которые надо сказать на прощанье. Но он не мог их произнести.

«Если ты в чем-нибудь будешь нуждаться...— хотел он сказать, но тут же спохватился: — Ерунда! Она во многом будет нуждаться. Всегда ли? — спросил он себя.— Да, всегда!» Он хотел сказать: «Если тебе захочется повидаться со мной...» Но ведь, думал он, ей не просто захочется, это будет для нее необходимостью. И он вновь спрашивал себя: «Как она может это сделать? Прийти к нам в дом и нажать кнопку звонка? Нет,— думал он,— этого она не сможет.— И про себя решил: — Каждый месяц буду посылать ей деньги по почте».

— Я приду к тебе еще,— сказал он вслух. Но тут же пожалел о сказанном: «Снова приходить, тревожить ее и словно укорять за те деньги, которые я буду ей высылать».

Не дав Зехре ответить, он быстро проговорил:

— Пиши мне!

— Я буду писать, дядюшка. Мне так хочется излить...

...излить на бумаге все, что я не умею рассказать тебе: о моей возвышенной любви к тебе, о силе, которая таится в твоих загадочных зрачках, о тысяче и одной догадке, которые осеняют меня, когда ты смеешься. Быть может, мне удастся передать ту бурю чувств, которая поднимается во мне, опьяняет меня... Ах, как бы мне хотелось владеть изысканным слогом Поля Валери!

Положив голову ему на грудь, Ляле улыбалась своей милой детской улыбкой.

— Не грусти! И сам Валери не рассказал бы обо всем этом лучше тебя. Но даже и без этих слов я чувствую все, даже то, о чем ты не говоришь... Дорогой мой! — еле слышно шептала Ляле, целуя Седата в губы.— С тех пор как я помню себя, я всегда хотела, чтобы меня полюбил мужчина, готовый на все для своей возлюбленной. Я видела его даже в своих снах... Он сильный, смелый, он лучше всех — настоящий герой! И он всего себя, без остатка, посвятил мне, отдал мне всю свою жизнь. Я для него божество, единственная цель всех его помыслов и всех его действий. Мой герой... такой мужчина, у которого хочется спрятаться на груди, не зная страха и тревог.

Она остановилась, подняла голову и, посмотрев в глаза Седату, спросила:

— Это очень эгоистично?

Вся нежность, переполнявшая Седата, сосредоточилась в кончиках пальцев, которыми он перебирал мягкие волосы Ляле. Он сказал:

— Нет, моя любимая.

Уже несколько месяцев они встречались в маленькой комнате с низким потолком, приютившейся под самой крышей какого-то пансиона. Он нашел этот пансион в каком-то из темных тупичков Джихангира с помощью одного своего друга.

Сначала для Седата была невыносима даже мысль о том, чтобы подыскать комнату для встреч с Ляле. Он считал это пошлым и унизительным. Потом восстала его гордость: как, он должен скрывать под этой мерзкой крышей свою святую, свою огромную любовь, для которой, казалось, был тесен целый мир?

Когда он, пройдя через сырой мощеный дворик, впервые очутился в этой комнате, его охватило отвращение. Штукатурка во многих местах обвалилась. Единственное крошечное окошко, задернутое штопаной тюлевой занавеской, выходило на узкую улочку. У одной стены красовалось некое подобие тахты, сколоченной из ящиков, в каких обычно возят лимоны. Над тахтой висела фотография Акрополя. У другой стены стояла маленькая черная кровать, на которую он не мог смотреть без омерзения. В углу у двери высилась огромная кафельная печь. Ее цветные изразцы казались здесь совершенно неуместной роскошью. Словно это были руины какого-то дворца.

И все-таки Ляле нашла, что эта комната очень мила. Седат никак не мог этого понять. Когда же хозяйка пансиона закрыла за ними дверь, и они остались одни, Ляле, больше не боясь, что их могут увидеть, обняла Седата и надолго прильнула к его губам. Сколько мечтала она об этой минуте!

— Ты увидишь, мы не забудем эту комнату никогда. Она будет самым дорогим воспоминанием в нашей жизни. Даже в роскошных салонах мы будем скучать по этому маленькому темному гнездышку. Мы всегда, всегда будем о нем вспоминать! — говорила она.

Вот и сейчас ее переполняли те же чувства. Она была счастлива от того, что могла укрыться с любимым в этой комнате. Улицы и дома вокруг полны людей, а они так далеки от всего мира!

— Ты пойдешь ради меня на все? А? Скажи мне, пойдешь?

Седата радовала детская наивность Ляле и изумляла сила ее чувства, то и дело вырывавшегося наружу. Она жаждала все более и более тесных объятий, а он, совершенно пьяный от любви, не знал, что ему делать. Он лишь смутно понимал, что начинает переходить границу, которую всегда так старательно соблюдал.

Ляле с упрямой настойчивостью избалованного ребенка, которая так ему нравилась, снова повторила:

— Пойдешь ради меня на все?

— Конечно,— рассмеялся Седат.

— Ты будешь драться из-за меня?

— Буду!

— Будешь красть ради меня?

Пораженный Седат запнулся.

— Я? Ради тебя? Что ты говоришь? — спросил он заикаясь.

— Мне так хочется, чтобы ты понял. Вот представь себе: твоя Тюлип тяжело больна, ей угрожает смерть. Ты нигде не можешь достать денег, чтобы ее спасти. Есть только одна возможность спасти меня — украсть. Скажи, ты украл бы? А? Украл?

Пальцы Седата, погруженные в волосы Ляле, начали нервно скручивать тонкие пряди. Между ним и Ляле внезапно возникла какая-то отчужденность. Ему казалось, что над его головой пронесся сырой, пронизывающий ветер.

Несколько минут молчания показались ему вечностью.

— Какой ты еще ребенок, Тюлип! — сказал Седат, пытаясь снова улыбнуться.— Оставь эти нелепые мысли! Ну, к чему говорить о такой чепухе?

Слегка отстранив от себя Ляле, он поднялся на ноги.

— Хочешь пива?

У Ляле было такое лицо, словно она только что проснулась и не хочет расставаться с уходящим сновидением. Она взглянула на Седата затуманенным взором, а в глубине ее глаз сверкали искры любви.

Седат наполнил стакан пивом и залпом отпил половину. Вот уже два года, как он собирался и никак не мог решиться поговорить с отцом Ляле. И хотя ему хотелось жениться на Ляле как можно скорее, Седат все откладывал эту встречу, испытывая какой-то непонятный страх.

Уже дважды он, набравшись решимости, приступал к делу. В первый раз он дошел только до конторы отца Тюлип, а во второй — даже до дверей его дома. Но когда надо было войти и раз навсегда покончить со всем этим делом, он вдруг отступал.

Роскошный особняк и большая контора отца Тюлип действовали на него подавляюще. Эта бившая в глаза роскошь словно преднамеренно унижала его достоинство, достоинство учителя, получающего скромное жалованье. Он был убежден, что его духовное богатство делает его равным любому богачу и аристократу. И хотя Седат искренне верил в это, он все же не мог подавить в себе чувство нелепого страха, который наносил ему предательский удар в спину.

Чтобы скрыть от Ляле свою слабость, он придумывал всякие причины и отговорки и нередко начинал верить в них сам. Вскоре он должен был получить прибавку — это, конечно, немного, но все же он будет получать больше. А может быть, он вообще найдет другую работу и оставит школу. Ведь чтобы жениться на Ляле, он был просто обязан обеспечить ей хоть отчасти возможность вести тот образ жизни, к которому она привыкла.

— О чем ты задумался? — спросила Ляле.

— Ни о чем,— ответил он, встряхнув головой. Ляле подошла к нему и положила руки на его плечи.

— Нельзя так долго тянуть! Завтра же пойду и познакомлюсь с твоей матерью.

Седат изобразил на лице изумление. Он решил, что лучше будет не сердиться, а обратить все в шутку.

— Ну вот, придумала! Разве порядочные невесты так поступают?

— А вот и пойду! Не веришь?

— Что же ты скажешь моей матери? — вновь попытался он отшутиться.

— Я поцелую ей руку и скажу: «Мамочка, я невеста вашего сына. Если вы сможете для нас выделить комнату в вашем доме, то мы с Седатом поженимся».

— Недурно! Но только смотри проси, чтобы комнату дали наверху, нижняя нам не подойдет.

— Ладно, ладно... Вот увидишь, как обрадуется твоя мать.

Седат вдруг вспомнил, как женился Суат. Тот не показывал свою невесту родным до самого обручения. А Ляле хочет прямо прийти к его матери! При мысли об этой встрече он внутренне содрогнулся. Как объяснить это Ляле? Ведь она убеждена, что каждая мать похожа на ее добрую и приветливую маму. Попробуй растолковать ей, что Вефа — это не Таксим!

Да, он возьмет ее из Таксима и спустит с его высоты в свой мир. Но только он сделает это другим путем. Ведь для каждого дела есть свой путь.

Седат снова потянул Ляле к тахте:

— Присядь-ка лучше, не спеши. Через несколько недель я переговорю с твоим отцом.

— И вовсе ни к чему. Я все равно не выйду за тебя замуж,— надулась Ляле.

— Что ты, Тюлип?

Она смотрела прямо перед собой, делая вид, будто сердится на него, и от этого становилась более привлекательной.

— Я выйду замуж только за того, кто пойдет ради меня на все, и притом без колебаний...— проговорила она.

Взяв девушку за плечи, Седат привлек ее к себе.

— Любовь освящается добродетелью. Если бы я был низким человеком, то...

— То я все равно бы любила тебя,— прошептала Ляле, потянувшись к нему губами.

В дверь постучали. Послышался голос хозяйки:

— Можно войти?

Они отпрянули друг от друга. Седат встал и сказал недовольным тоном:

— Входите, мадам!

В открывшуюся дверь...

...в открывшуюся дверь он ворвался как вихрь и посмотрел на женщину, которая возилась у стола, собирая посуду.

— Здравствуй, невестка!

И шепнул брату на ухо:

— Вели ей убраться отсюда. Я должен тебе кое-что сказать.

Хайреттин положил газету на колени и равнодушно зевнул. Он не испытывал ни малейшего интереса к тому, что может сказать брат, и не скрывал этого. Между ними с некоторых пор возникла какая-то отчужденность. К тому же он только что плотно пообедал и в самом благодушном настроении смотрел, как его двухлетний сын играет на ковре.

— Вели же ей убраться отсюда, а то я потеряю терпение,— повторил Нуреттин.

Хайреттин медленно сложил газету и сунул ее в карман. Потом повернулся к жене и сказал:

— Нермин! Уложи ребенка спать, уже поздно.

Молодая женщина почувствовала, что произошли какие-то события. Она взглянула на Нуреттина.

— Принести вам кофе?

— Конечно. Только не очень сладкий. Да поскорее, дорогая невестка! Я не смогу задерживаться, у меня дела,— сказал Нуреттин, чтобы поскорее избавиться от нее.

Подняв ребенка с ковра, Нермин взяла в свободную руку грязные тарелки и вышла из комнаты.

Сгоравший от нетерпения Нуреттин сразу же начал рассказывать:

— Сегодня я пошел к Марике в дом свиданий на Тарлабаши, ну, к которой я тебя водил, когда ты еще не был женат. Так вот: сижу я в зале и смотрю в окно, ожидая, когда освободится моя девица. А я, как ты знаешь, не очень люблю ждать. Терпение мое готово было лопнуть. И вдруг я заметил, что у подъезда дома напротив остановился автомобиль. Знаешь, кто из него вышел...

Хайреттин почесал затылок и промолчал.

— Даже если будешь сорок лет ломать голову, все равно не отгадаешь,— все так же торопливо продолжал Нуреттин.— Я не поверил своим глазам! Она...

Хайреттин беспокойно задвигался. Хотя он пытался по-прежнему сохранять равнодушный вид, было ясно, что он заинтригован.

— Кто? — спросил он, не разнимая губ.

— Айтен!

— Какая Айтен?!

— Какая же еще может быть Айтен? Наша мачеха, жена нашего отца!

Хайреттин встал и сделал несколько шагов по комнате, волоча правую ногу. Он вдруг громко рыгнул, закашлялся и, наконец, произнес:

— Ну?

— Вот тебе и «ну»! С ней был молодой мужчина. Она пыталась прикрыть лицо шарфом. Но ветер сорвал шарф и растрепал ее золотистые волосы. Я успел заметить, что она выглядела очень радостной и возбужденной.

— Ты говоришь, что она вошла в дом? В какой же?

— Вот так вопрос! Какой же еще может быть там дом, дорогой, кроме тех, куда мужчины приводят своих женщин?

Хайреттин снова поскреб в затылке и судорожно вздохнул:

— Гм-гм-м! Что же теперь делать?

— Вот теперь-то мы и отомстим,— злорадно смеялся Нуреттин.

— Кому?

— Отцу. За то, что он так обвел нас с железом... Пусть знает старик, как плутовать со своими собственными детьми!

Хайреттин снова зашагал по комнате, волоча ногу. Он всегда ходил из угла в угол, когда что-либо обдумывал. Было похоже, что он больше думает ногами, чем головой.

— Нет, — сказал он, останавливаясь.

— Как это «нет»? — изумленно взглянул на него Нуреттин.

— Мы этого не сделаем!

— Почему?

— Это будет нехорошо.

— Нехорошо?! — закричал Нуреттин, выходя из себя.— Да ведь сам всевышний дал нам в руки такие карты! Если бы я не отомстил за это железо, то даже после смерти не сомкнул бы глаз. Ты говоришь — нехорошо? Ерунда! А обманывать своих детей — хорошо? И потом, ведь

тут дело идет о нашей семейной чести. Может, прикажешь церемониться с этой потаскухой, которая смешала с грязью честь нашей семьи? Подумать только, что эта дрянь считается нашей матерью! Я ей так насолю, что она будет помнить! Так мы и спасем честь отца и отомстим ему за наше железо. Одним камнем убьем двух птиц... Да разве можно упускать такой шанс?

Он встал, собираясь уходить.

— Нуреттин! — схватил его за руку Хайреттин.

— Ну что, что ты хочешь?

— Ты этого не сделаешь!

Хотя они и были близнецами, Нуреттин всегда подчинялся брату, словно тот был старше. Но на этот раз он заупрямился. Пытаясь вырвать руку, он кричал:

— Пусти меня и не вмешивайся в это дело!

— Нет! — повторил Хайреттин, не выпуская его.— Если старик узнает об этом, у него сердце не выдержит.

— Сердце не выдержит? Брось ты ерунду молоть! У него такая крепкая голова, что он может удержать на ней еще много рогов! Она, пожалуй, от этого только крепче станет.

— Нет, он не вынесет этого, Нуреттин!

— Не вынесет? Ого! Горькому баклажану и мороз нипочем... Чтобы у человека не выдержало сердце, надо, чтобы у него было сердце. Ведь если бы у него действительно было сердце, оно давно бы разорвалось. Когда ты мелешь такую ерунду, я словно вижу перед собой Седата. Может быть, ты тоже становишься таким же глупцом, как и он?

— Не приплетай, пожалуйста, дядю Седата.

— Да как же его сейчас не вспомнить? Ведь он всегда говорил: «Если тебя ударят по одной щеке — подставь другую». Его послушаешься, так быстро без щек останешься!

Нермин принесла кофе. Нуреттин колебался. Уйти, не выпив кофе, было бы просто невежливо, но и оставаться ему не хотелось. Он поспешно взял чашку и, не присаживаясь, поднес ее к губам. Боясь пролить кофе, он обжег губы...

...губы его шевелились. Он читал письмо Зехры: «У меня навернулись слезы на глазах, когда я увидела деньги, которые Вы незаметно оставили на комоде. Я и радовалась и долго, долго плакала. Вы меня простите, но это была радость нищего, который вдруг нашел в пыли великое сокровище.

Возле меня не было никого, кто бы мог вытереть мои слезы и успокоить меня. Я подумала, какая же я несчастная, что уже с детских лет мое лицо не знало улыбки. Я с детства очень одинока, и поэтому даже самое маленькое участие к моей судьбе заставляет мое сердце биться сильнее.

Ваше сострадание не могло меня не потрясти. Надеюсь, Вы не рассердитесь за то, что я пишу все это, но я думаю, что человеку, который сам привык разговаривать со стенами, нетрудно будет меня понять. Вы не представляете себе, как я обрадовалась, что Вы разрешили мне писать Вам. Я только теперь поняла, какое это счастье — иметь возможность излить свою душу близкому человеку.

Всю свою жизнь я была лишена такого счастья. Когда мы жили у бабушки, Вы почти не обращали на меня внимания, как, впрочем, и на других. Мы, дети, испытывали непонятный страх перед Вами. Простите меня за то, что я Вам это говорю, но мы были так малы и глупы! Мы не могли тогда понять, что по своим душевным качествам Вы превосходите даже дядю Седата. Дядя Седат иногда подзывал нас к себе и давал наставления. Вы же этого никогда не делали. Трудно сказать, осталось ли у меня сегодня в памяти хоть что-нибудь из тех наставлений. Но вот

сейчас я держу в руках то, что дали мне Вы. Нужно было пройти через много несчастий, чтобы понять, что истинная помощь заключается для человека не в наставлениях, а в той поддержке, которую Вы милостиво захотели оказать мне. Конечно, дело не только в Ваших деньгах, которые я держу сейчас в руках. Я смотрю на них и говорю самой себе: неужели в этом заключены все добродетели? И с горечью думаю: без денег человек не может быть даже добродетельным.

Я прошу прощения у памяти дяди Седата за то, что говорю так. Если бы он услышал мои слова, то, возможно, рассердился бы. Ведь он всегда повторял, что все счастье жизни заключено в человеческих добродетелях. Наверно, дядя Седат знал, что такое счастье. Но я спрашиваю себя: не странно ли, что все то время, пока я была добродетельна, я никогда не испытывала счастья? Быть может, это потому, что я несчастлива от природы? Мое детство и юность прошли как во сне. Я не знала, хорошо или плохо то, что я делаю. Но, поверьте, дорогой дядя, если я поступала плохо, то лишь потому, что не знала, как нужно поступать. Я знаю, что Вы поймете меня, я это чувствую. Мне кажется, что я тоже научилась понимать Вас. Но не сразу.

Когда дядя Седат уехал в Антеп, я почувствовала себя в доме бабушки совершенно осиротевшей. А ведь рядом были Вы. Но только мое падение помогло мне понять величие Вашей души».

Ведат порывисто поднялся с места. Широкими, твердыми шагами ходил он по комнате, стараясь подавить боль от мысли о том, как должна быть раздавлена и унижена Зехра, если она написала ему такое письмо.

Он снова склонил свое побледневшее лицо над письмом:

«Вы не дали мне ничего рассказать. А мне так хотелось, хоть я очень стеснялась, рассказать Вам обо всем! Кому рассказать об этом? Кто есть у меня, кроме Вас? Отец? Но я даже не произношу никогда его имени. Я считаю, что у меня его нет, да и не было никогда.

Но ведь человек устроен так, что он всегда ищет, кому бы поведать свои мысли. Одно время я думала, что нашла того, кому можно отдать свое сердце. Меня пленили добродетели дяди Седата. Потом пришла любовь. Я поверила в нее и изо всех сил привязалась к тому человеку. Но оказалось, что любовь, как и добродетель дяди Седата, всего лишь обманчивая иллюзия. И сейчас я радуюсь, что хоть и поздно, но поняла это.

Отныне и я буду такой же, как все: низкой эгоисткой, интриганкой, завистливой, подозрительной — словом, обычным человеком. Может быть, это и есть счастье, дорогой мой дядя?»

Прочитав письмо до конца, Ведат еще некоторое время продолжал смотреть на эти печальные строки. Он чувствовал, как тоска все сильнее сжимает его горло. Лицо его все больше бледнело, а зрачки загорались каким-то лихорадочным огнем. Во рту пересохло, ему становилось трудно дышать.

Словно ища спасения, он рванулся к окну. Стекла были покрыты инеем. В ночной темноте метались неясные тени. Медленно падал снег...

...падал снег. Стекла покрылись узором, словно их задернули тюлевой занавеской. Теперь комната казалась уютнее и привлекательнее, особенно благодаря красным огонькам, мелькавшим за приоткрытой печной дверцей. За окном завывал холодный северный ветер. И оттого, что на улице была такая стужа, оттого, что где-то там мела метель, тепло, исходившее от печки, было особенно приятно. Хотелось кого-то обнять, приласкать.

Молодая девушка написала на замерзшем стекле: «Ляле». А ниже огромными буквами: «Седат».

«Где он так задержался? Ему уже давно пора вернуться»,— тревожилась Ляле.

Прошел уже час с тех пор, как хозяйка пансиона поднялась к себе, оставив ее одну дожидаться Седата. «О чем же он может так долго говорить с отцом?» Ей казалось, что, раз она любит его, а он любит ее, этот разговор должен закончиться только согласием отца на их брак. Она и сама могла бы поговорить с отцом. Но Седат ей этого не разрешил. Он утверждал, что мужчины должны сами все решить между собой. «Какие глупости,— думала Ляле. И тут же оправдывала его: — Наверно, это оттого, что он жил в большой семье, привык к определенным обычаям и не мог от них сразу отказаться».

Ее мать знала об их любви. По-видимому, кое-что было известно и отцу. Все было подготовлено, и теперь оставалось произнести лишь это маленькое, но необходимое и священное слово.

Отец ее очень любит и всегда исполняет все ее желания. Как он обрадуется, когда узнает, что она собирается выйти замуж. Он давно мечтает увидеть ее замужней дамой, даже когда она была еще ребенком. Разве не придумал он нарядить свою Ляле невестой, когда ей было всего шесть лет, и в таком виде отправиться с ней на бал?..

Огоньки в печи начали угасать. Надо бы подбросить еще несколько поленьев. Она открыла дверь, подошла к лестнице, ведущей наверх, и крикнула:

— Мадам!

Ее щеки порозовели — из внутреннего дворика тянуло холодом. Она подождала несколько минут, потирая озябшие руки. Никакого ответа. В доме царило гнетущее безмолвие, словно в нем не было ни одной живой души.

Ляле поежилась и вернулась в комнату. Белое от снега окно постепенно начало темнеть. Снежинки, летевшие на стекло из грозной черной тучи, стали крупнее.

Прошло еще добрых полчаса, прежде чем раздался стук в дверь. Она радостно кинулась открывать, и перед ней предстал Седат, запорошенный снегом с головы до ног. Она не удержалась и начала хохотать:

— Ну и вид у тебя!

Седат совершенно окоченел. Его брови и ресницы обледенели, щеки покраснели.

— Я шел пешком,— сказал он.

Ляле удивилась:

— Почему?

Она принялась его раздевать, сняла пальто и ботинки, все время приговаривая:

— О дитя мое, о мой любимый! Но почему же ты шел пешком, почему не взял такси?

Пользуясь тем, что она болтала без умолку, Седат молчал. Оставив зиму за порогом и войдя в теплую комнату, он готов был расплакаться. А Ляле, повиснув на его шее и болтая ногами, словно ребенок, нежно ворковала:

— Чем же кончился наш разговор с отцом?

Седат не ответил. Он молчал, чтобы продлить эти мгновения. Он хотел лишь ощущать тепло прижавшейся к нему Ляле, смотреть на ее очаровательное разгоряченное лицо. Ему хотелось, чтобы эти секунды их близости, такой дорогой для него, длились вечно.

Но через некоторое время, чувствуя, что надо наконец что-то сказать, он тихонько прошептал:

— Мы не пришли к соглашению.

Руки Ляле разжались. Не веря своим ушам, она вскрикнула:

— Почему?

Это был не вопрос, это был крик души. Она мертвенно побледнела, и губы ее начали дрожать.

За окном кружились снежинки, становилось все темней.

Чувствуя себя раздавленным червяком, которого облепили муравьи, Седат со смертельной тоской в голосе пробормотал:

— Он потребовал, чтобы я бросил преподавание.

— Ну и что же?

— Он сказал, что я не смогу тебя прокормить на учительское жалованье, и потребовал, чтобы я работал при нем.

Ошеломленная Ляле все еще ничего не понимала.

— Ну и что же? А что было потом?

Седат молчал. Он не отрываясь смотрел в ее глаза. В них светилась мольба и надежда, что все окончится благополучно. Мысли Седата смешались. Он чувствовал себя совершенно разбитым. Ноги отказывались его держать.

Седат нарочно прошел этот длинный путь пешком. Шагая сквозь снежную бурю, он пытался победить самого себя. Но демон, сидевший внутри, не желал сдаваться, несмотря ни на что.

Ляле немного успокоилась. Не зная, смеяться ей или плакать, она прошептала дрожащими губами:

— Ты глупенький, Седат. Такой большой, а такой глупый.— Она обвила его шею руками и поцеловала в губы.— Почему ты такой? Такой, как те, о ком пишут в книгах? Я хорошо тебя поняла. Мне кажется, я узнала тебя еще тогда, когда читала книги в школе. Ты был героем, который поднимал упавших, человеком, который незаметно кладет в карман голодного кулечек с горячими каштанами, ты был тем, кто берет на себя вину сироты, которого должны прогнать из школы, ты разделял грусть старого дровосека и бросался навстречу бешеному псу, чтобы спасти маленькую девочку.

Охваченная желанием вновь и вновь целовать своего любимого, она потянула его за руку, поближе к себе.

— Еще немного,— говорила Ляле,— и ты заставил бы меня разочароваться в отце. Я подумала, что он был груб с тобой. Я знала, что этого не могло быть, но твой вид...

И она стала кататься по тахте, заливаясь громким смехом. Она снова была счастлива, снова радовалась жизни. Она без конца целовала Седата в щеки, в губы, в шею и хлопала в ладоши, словно маленький ребенок.

Ее поведение испугало Седата. Он растерялся. Не зная, что делать, он то спешил ответить на ее поцелуи, то отстранял ее от себя. Он вновь начинал терять власть над собой.

— А ты подумай, Седат, разве отец не прав? — сказала Ляле, вдруг став серьезной.— Разве мы могли бы прожить на жалованье учителя? И потом, отцу ведь действительно нужен помощник, особенно если это будет такой близкий человек, каким станешь ему ты. Я предчувствовала это давным-давно, но все никак не могла собраться тебе сказать.— Она посмотрела в глаза Седату.— А может быть, отец не объяснил тебе все как следует. Поверь, он даже больше нуждается в тебе, чем ты в нем.

В глазах Седата светилась любовь. Но в них было и что-то другое. Она не хотела этого замечать и снова беспечно рассмеялась.

— Я понимаю: ты не хочешь. Ну что же делать? Теперь, когда я знаю, как мы любим друг друга, я готова на все. Больше я ничего не хочу слушать и сама поговорю с отцом. Сегодня вечером, любимый, я до-

говорюсь обо всем. Ты увидишь, на что я способна ради того, чтобы стать твоей женой. Я решила твердо: сегодня я буду совсем твоя. Разве я всеми своими помыслами не принадлежу тебе? Осталось только надеть подвенечное платье, расписаться в книге и пожать руки каким-то там глупцам... Так не все ли равно?

Она спрыгнула с дивана, охваченная жаром слов, которые сама произнесла. Словно одержимая, она металась по комнате. Странная, неведомая ей доселе дрожь сотрясала все ее тело.

Стало еще темней. За окном бушевала снежная метель, слышалось завывание порывистого ветра. Теперь они уже с трудом различали друг друга.

— Ты любишь меня? — спросила Ляле.

— Очень,— ответил Седат.

Они замолчали, инстинктивно стремясь продлить это чудо, свершавшееся между ними в почти полной тьме. Но вдруг Ляле порывистым движением включила свет. Жмурясь от яркого света, они смотрели друг на друга. На их разгоряченных лицах была написана радость.

— Нет! — сказала Ляле и так же порывисто выключила лампу.

Все погрузилось в кромешную тьму. Седат больше не видел Ляле, но по шуршанию одежды понял, что она раздевается. Святая любовь стремилась освободиться от покровов. В комнате царило безмолвие. Словно в храме. С улицы доносилось завывание бури, и казалось, что где-то там, далеко-далеко звучит кифара Орфея. В печи догорали огоньки...

Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, не будите и не тревожьте возлюбленной! Если встретите возлюбленную мою, что скажете вы ей?..

Падение тонких шуршащих шелков. Легкий стон потревоженных пружин...

— Иди ко мне,— прошептала Ляле.

Он робко и неуверенно приблизился к ложу. В безмолвии комнаты было слышно горячее дыхание. Седат был уже совсем близко, рядом с тахтой. Но вот он остановился, глубоко вздохнул и протянул Ляле руку. Осторожно он сжал ее запястье и прошептал:

— Вставай!

Ее рука дрожала. Впервые в жизни Ляле была охвачена таким волнением. Она не сразу поняла, что сказал Седат. Потом, полная изумления, она покорно поднялась. Пытаясь собраться с силами, она улыбнулась, закинула руку на шею Седата и тихонько укусила кончик его уха.

— Одевайся,— срывающимся голосом прошептал обессиленный Седат.— Умоляю, одевайся скорее! Я пойду к твоему отцу еще раз, и, может быть, мне удастся его уговорить. Но сейчас одевайся! Умоляю! Скорее!

Буря за окном утихла. На стекле затрепетал едва заметный отблеск уличного фонаря.

Седат поцеловал девушку долгим поцелуем и проводил ее до входной двери. Потом, тихонько закрыв за нею дверь, он с поникшей головой, тяжело ступая, возвратился в комнату.

Теперь эта комната казалась ему пустой и неуютной, словно вместе с Ляле из нее исчезла вся мебель. Он опустился на тахту. Каких-нибудь полчаса назад он был здесь вместе с Ляле! Невыносимая тяжесть одиночества сразу обрушилась на его плечи. Губы его дрожали, веки горели... Огонь в печи погас, и за приоткрытой дверцей зиял мрак.

«Прощай, Тюлип! Я буду помнить тебя всю жизнь! Никогда не растрачу я той поэзии, которую ты вдохнула в меня! Я знаю, что в этой огромной бесконечной вселенной ты была моим единственным, неповторимым счастьем. Я так благодарен тебе! До самой могилы ты будешь

для меня всем — моей мыслью, моей совестью, моей силой. Прощай навсегда, моя единственная...»

Где-то стенные часы начали бить...

...часы начали бить одиннадцать.

— Еще рано,— сказал Джеват.— Давай пообедаем вместе, а потом пойдем в Торговую палату. К тому же...

Он не договорил. Дверь приоткрылась, и в нее заглянул бледный, озабоченный Суат. Прищурив глаза, он старался улыбаться.

— А, это ты, дорогой Суат? — вскочил Джеват.— Рад тебя видеть! Каким ветром тебя занесло?

Суат вертел в руках шляпу. Он искоса посмотрел на постороннего человека, сидевшего в кресле у стола.

Джеват подбежал к брату, взял его за руку и почти насильно потащил к креслу в углу. Он был действительно рад видеть брата.

— Это Ремзи, один из моих компаньонов,— сказал Джеват. Затем, повернувшись к Ремзи, представил ему: — Мой брат Суат, профессор. Посмотри-ка на него получше — это большой человек! Ты когда-нибудь в жизни видел профессора?

Суат благосклонно улыбался.

Ремзи вскочил и с подчеркнутой почтительностью пожал руку Суата. Он хорошо знал, как должен вести себя компаньон, и был в полном смысле этого слова «деловым» человеком.

— Добрый день, господин профессор! Для меня большая честь познакомиться с вами! В прошлом году я слышал вашу лекцию, и она принесла мне большую пользу.

Это была правда. Когда Ремзи еще только собирался стать компаньоном Джевата, он, прощупывая все его слабые места, узнал, что тот очень кичится своим братом, и побывал на его лекции.

— А, вы, наверно, слушали мою лекцию в купеческом клубе? — спросил Суат с деланным равнодушием.

— Да, господин профессор. Я тогда еще говорил Джевату, что до вашей лекции очень плохо разбирался в вопросах внешней торговли. Так сказать, очень туманно все себе представлял. Зато после лекции...

— Ну что, брат, пообедаем вместе? — спросил Джеват.— Как ты думаешь? — Он даже и не пытался скрывать, как гордится своим братом профессором.

Ремзи понимающе кивнул и, схватив шляпу, направился к двери.

— Ты меня извини, дорогой Джеват. Я оставлю вас вдвоем с профессором. После обеда встретимся в Торговой палате.

— Ладно.

Проводив Ремзи, Джеват спокойно развалился в кресле. Он небрежно нажал на кнопку звонка и велел принести кофе.

— Я был тут неподалеку, дай, думаю, зайду,— проговорил Суат.

— И хорошо сделал.

— К тому же... у меня есть к тебе одна просьба.

По лицу Джевата пробежала тень.

— Пожалуйста, дорогой, я к твоим услугам!

Суат немного помолчал, обернулся к окну и посмотрел на улицу. Он старался сделать вид, будто не придает большого значения тому, что собирается сказать.

Улица, уже успевшая взвалить на себя дневные тяготы, была наполнена обычным шумом.

Если бы не эти просьбы, думал Джеват, Суат был бы замечательным братом. Порядочный, рассудительный, с хорошим положением. Он всегда этакий важный. Он так хорошо держится. Этот брат придает ему, Джевату, особый шик, словно новая шляпа, золотые часы или купленное напоказ роскошное кресло.

Пока Суат медленно пил кофе, Джеват заговорил о том, что в последние дни он испытывает серьезные денежные затруднения. Его речь лилась, не останавливаясь, с удивительной легкостью. Он привычно заворачивал тысячи раз повторявшиеся слова в их неизменную обертку. И, как всегда, закончил так:

— Времена плохие. На рынке застой.

Суат беззвучно смеялся.

— Брат, мне нужно немного денег,— сказал он как бы невзначай.

Джеват стиснул зубы и, подавив раздражение, произнес:

— Не хочешь ли еще чашечку кофе?

— Нет, спасибо, я и так уже ощущаю его действие.

Джеват кашлянул, погладил лысину желтыми от табака пальцами и коротко спросил:

— Сколько?

— Так что-нибудь около двух тысяч лир.

Джеват снова кашлянул, подумал и, прищурив один глаз, хитро улыбнулся:

— Я дам тебе даже больше, чем ты просишь.

Он открыл один из ящиков стола и осторожно вынул оттуда какую-то бумагу. Надев очки, он неторопливо, строка за строкой, прочитал все, что там было написано. Затем пододвинул бумагу Суату:

— Подпиши это!

Суат взял бумагу, стараясь казаться равнодушным, пробежал ее глазами. Это было соглашение, по которому его доля земель в Антепе передавалась Джевату.

Суат поднял голову:

— Ну, хорошо, а как же Седат?

— Седату это дело не по плечу,— возразил Джеват.— Если он там еще похозяйничает несколько лет, то мы потеряем решительно все. Вы-то ничего не знаете, а я ночей не сплю, думая о нашем семейном достоянии. Я слежу за каждым шагом Седата. Он милый, хороший, но совершенно неопытный человек. В этих вопросах он смыслит не больше ребенка. Когда Седат пожелал заняться этим делом, мы ему не препятствовали. На большей части наших земель работали крестьяне. До того, как Седат поехал в Антеп, они регулярно присылали нам арендную плату. А теперь посмотри, что сделал Седат. Ты наверняка этому не обрадуешься! Вместо того, чтобы обратиться в жандармерию и в суд и выгнать крестьян из нашего имения, он попытался прийти с ними к соглашению и посулил им в подарок половину земли.

Суат слушал, не произнося ни слова. Все это его совершенно не интересовало. Он вовсе не хотел утруждать себя размышлениями об этом деле.

Джеват продолжал:

— То, что он творит,— идиотизм, чистейший идиотизм. Мало того что он не спросил нашего согласия, так он еще и сдержал свое обещание: он начал раздаривать землю. Увидев, что дело плохо, я сам обратился в суд. Мой иск скоро будет разбираться. Так вот: долю Мюневвер я купил еще три года назад, и, если хочешь, я могу купить и твою. Возможно, игра не стоит свеч, никто не знает, что из этого получится. Эта карта может оказаться битой. Но ради своих братьев я способен на все! Ведь я самый старший, и мой долг состоит в том, чтобы охранять ваши права. Если даже я потерплю убыток в несколько тысяч лир, то все-таки выполню по отношению к своей семье долг старшего брата.

Суат достал портсигар и закурил. Затем, пристально глядя на брата, он начал отвинчивать колпачок авторучки. Боясь выдать свое волнение, Джеват рылся в бумагах — он делал вид, будто что-то ищет.

Подписав соглашение и получив деньги, Суат поднялся и, слегка улыбаясь, сказал:

— Спасибо, брат, последние дни я был в весьма затруднительном положении.

Джеват задумался. Он думал о матери и о Ведате. Только бы удалось купить и их долю. Вот тогда было бы состряпано действительно выгодное дельце... Но Ведат отчаянный упрямец — с ним не так-то легко договориться. Что же касается матери, она...

...она, примостившись между тюками товаров, заполнявшими всю барку, испуганно смотрела на море. Огромные волны, вздымавшиеся за бортом, обдавали ее холодными брызгами. Море было черное и безграничное. Его гул, сливавшийся с криками чаек, уносился ввысь, в бесконечность темнеющего неба.

До нее доносилось напряженное отрывистое дыхание гребцов. Из ее закутка ей были хорошо видны их чалмы, наваленные друг на друга корзины, мешки, связки лука и кое-как пристроившиеся среди всего этого хаоса люди в шароварах, с насупленными, мрачными лицами...

Завывание ветра, качка, от которой так кружится голова, холодные, высоко вздымающиеся волны.

Джеват безмятежно спал на ее руках. А Зехра все думала и думала: «Где вы, залитые солнцем сады Антепа, мягкая теплая земля? Где вы, утренние зори, напоенные запахом трав и цветов?»

— Сестра!

— Что тебе?

— Я боюсь,— прошептала Гюллю. Она не выпускала из рук подол Зехры.

— Перестань хныкать и будь посмелее. Раз уж решила торговать верблюдами, делай ворота повыше.

Зехра закрыла глаза, чтобы не видеть всего, что их окружало. Лишь изредка она приоткрывала их, чтобы взглянуть на затылок мужа.

Вот уже столько лет она повсюду следовала за этим затылком, никогда не задумываясь над тем, куда он ее ведет. Затылок был толстый, крепкий. Он внушал доверие, и, следуя за ним, она не знала никаких страхов.

Когда Хаджи Джемалеттин брал ее в жены, она согласилась, не колеблясь ни минуты. С тех пор прошли годы... Нет, она не ошиблась! Она верила в этот затылок и была готова ехать за ним не только в Стамбул, но хоть на край света...

— Сестра!

— Ну чего тебе еще?

— Скоро мы приедем?

— До земли еще далеко, даже птицы в небе не слыхать. Так что перестань хныкать и терпеливо жди.

Хаджи-ага вынул из кармана табакерку розового дерева и, поглядывая вокруг, принялся скручивать папиросу. В его голове проносились тысячи вопросов. Ему предстояло так много сделать!

Прежде всего нужно было найти какой-то кров для семьи. С тех пор как они выехали из Антепа, прошло уже много дней, а они еще ни разу не уснули под крышей. Пора бы уж кончиться их невзгодам!

Хаджи не испытывал страха. Он был полон сил. Избавившись от земли, он был теперь готов обеими руками ухватиться за первое же подвернувшееся дело. Он мог нахально постучать в любую дверь, вскинуть на плечо любой топор. Он был уверен в своей силе.

Разве те, кто живет в столице, не такие же, как он, рабы всевышнего? Разве он не умеет кричать, как все османцы: «Да здравствует падишах!»? Ох, кончилось бы наконец это море, и они благополучно вступили бы на землю...

Гюллю никак не могла удержаться на месте. Барку раскачивало из стороны в сторону, и девочка, срываясь с тюков, то и дело падала на палубу. Она поднималась и опять карабкалась наверх.

— Держись за тюки, девочка! Хватит за своей тенью гоняться, посиди на месте! — прокричала Зехра.

Двое мужчин сидели, прислонясь спинами друг к другу. Один из них сказал:

— Ну и сердитое же это стамбульское море!

Небо все больше темнело. На бортах зажглись красный и зеленый фонари. Дувший с моря холодный ветер хлестал по щекам и пощипывал уши. Какой-то седобородый старик закрыл лицо большой грязной тряпкой.

Навострив уши и разинув рот, Гюллю слушала, что говорят вокруг. Все твердили на разные лады: «Море, море!» Она впервые в жизни слышала это слово, и неведомое «море» рисовалось в ее воображении загадочным чудовищем.

Один спросил другого:

— Интересно, есть ли в этом море рыба?..

— Скорее бы пришло лето,— мечтал кто-то.— Войти бы в море да помыться. Вот славно!

— Это правда! Недаром говорят: «Не ищи в море грязи». Откуда ей взяться, если воды тут без конца и без края.

— Вот погоди, как рассердится оно, тогда покажет свой характер. Еще возьмет да и перевернет барку!

— Такую огромную? Неужели оно может перевернуть такую барку?

— Так это же море! Против такой силы разве устоишь?

Гюллю шептала:

— Море, море...

Ее сердце сжималось от холода и страха. Она глядела то на Хаджи-агу, то на старшую сестру Зехру и, ухватившись за тюки, старалась укрыться от этого грозного чудовища, которого боялись даже взрослые.

«Море, море!» Ей так хотелось узнать — что же это за чудовище? Она не выдержала, тихонько сползла с тюка и подкралась к одному из гребцов.

— Дяденька,— сказала она человеку в чалме.

— Что тебе?

— А где море?

Человек, погружая весло в волны, засмеялся:

— Да неужто ты не видишь? Посмотри вокруг — вот море, девочка!

Широко раскрытые от страха глаза Гюллю сверлили темноту.

— Где?

Борясь с волнами, барка медленно приближалась к Сарайбурну. Огоньки на берегу становились все многочисленнее и ярче. Призрачные минареты Стамбула возникали из тьмы, словно мираж.

Радуясь, что берег уже близко, гребец весело погладил бороду и сказал:

— Открой глаза, девочка! Вот оно, море, бьющее в наши борта!

Гюллю еще шире раскрыла глаза, но так ничего и не увидела.

В Антепе...

«...В Антепе поправить дела будет не так уж просто, дорогой мой Ведат. С тех пор как я приехал сюда, я верчусь словно белка в колесе. С большинством крестьян я уже договорился. Пока что наши земли нельзя считать очень доходными. Но я нашел дельного управляющего, плачу ему хорошее жалованье, а он меня почитает прямо как отца. К людям нужно относиться по-человечески. Я хочу хорошо платить людям за ту работу, которую они для меня выполняют. Воображаю, как разозлился бы Джеват, если бы он узнал, сколько я плачу своим рабо-

чим. Но мне до этого нет дела. Единственный человек, с чьим мнением я считаюсь,— это ты. Я надеюсь, ты поймешь, что я прав, и успокаиваю себя этим.

Зарабатывать деньги!.. Да, конечно, это надо уметь. Но делать это надо так, чтобы не растрачивать взамен ни одной из своих добродетелей.

Что останется от наших душ, если мы получим различные блага и удобства ценою всех своих добродетелей? Я никогда не соглашусь отказаться от душевного богатства ради богатства материального. Я убежден, что можно стать богатым, сохранив свои добродетели, и надеюсь, что мы сумеем разбогатеть честным путем. Если бы я не верил в это, то разве приехал бы сюда, разве покинул бы Стамбул, в котором родился и вырос?

Напрасно ты упрекаешь меня в высокомерном отношении к окружающим. Я никем не пренебрегаю, никого не унижаю и себя не возношу. Я убежден, что иду по правильному пути. Это не только мой, но и общий путь всех людей.

Придет день, когда радость, красота и счастье станут достоянием всех. Я предчувствую этот грядущий день и жду его как праздник. И ты тоже, не правда ли? В обществе воцарится гармония и справедливость, и оно уже не позволит добиваться успехов тем, кто лишен добродетелей. Напиши мне, я хочу знать, думаешь ли ты так же, как и я?

Мне нужно знать, одобряешь ли то, что я сделал. Я отдал семье Али половину той земли, которую они обрабатывали уже много, много лет. Они обязались продолжать обрабатывать и другую часть, принадлежащую нам. Конечно, я буду оплачивать этот труд соответствующим образом, они очень бедные люди! Я точно не знаю, но, говорят, они приходятся нам какими-то дальними родственниками. Мать должна знать об этом.

С семьей Хасана дело обстоит по-другому. Он не хочет уходить с нашей земли, на которой давно осел. И я не нахожу, что он не прав. Ведь на протяжении многих лет они тянули эту тяжелую лямку, надрывались, построили дом, хлев, сарай. Я согласился отдать им участок земли, на котором все это построено, а также значительную часть их пашни. Мы еще не пришли к окончательному соглашению, но я надеюсь, что скоро договорюсь с ними.

Я весьма благодарен тебе за присланные деньги. Они так пригодились! Занимаясь сельским хозяйством, невозможно обойтись одной лишь землей. Для того чтобы пахать, сеять, убирать урожай, нужны деньги. Но я надеюсь, что эти затраты через короткое время принесут большие доходы.

Я уже изучил многое из того, что необходимо знать человеку, желающему разумно вести хозяйство. Здесь прекрасный воздух, прекрасная вода. Я начал толстеть. По утрам в одиночестве совершаю верховые прогулки. По вечерам играю в карты с несколькими местными учителями, с которыми я подружился. Учителя хотят приучить меня к алкоголю. Но я пока держусь.

Как раз вчера я хотел было выпить с ними несколько бокалов, но мой желудок отказался принять вино. Пить его способен не каждый.

Я очень соскучился по вас. Стамбул, наш дом, моя комната все время маячат передо мной. Чтобы развеять тоску, я стараюсь как можно больше работать.

Целую руки матери и старшей сестры.

А Гюльчин...»

...Гюльчин сказала:

— В наших силах покончить с невзгодами, все в наших руках, так говорит Ахмет.

Мюневвер, с тревогой глядя на дочь, старалась понять, о чем она говорит. Видно, все было очень серьезно, раз Гюльчин ни свет ни заря явилась к ним в дом, чтобы поговорить с матерью. Чувствовалось, что чаша терпения Гюльчин, на долю которой выпало столько несчастий, переполнилась. Как было Мюневвер не понять ее? Ахмет зарабатывал мало, и им никак не удавалось свести концы с концами. Через несколько месяцев Оя пойдет в школу. На это нужны деньги, а то, что они получили от Джевата за свою долю земли в Антепе, уже давно истрачено...

— Почему ты не хочешь жить с нами? — спросила Гюльчин.

— Жить с вами? Чтобы быть вам вечной обузой?!

Мюневвер поправила платок на голове. Под этой кровлей она жила так же, как и все другие. Ее требования были так скромны! Слава всевышнему, живя в доме своей матери, она ни в чем не испытывала нужды. Она привыкла к тому порядку, который был заведен в доме еще тогда, когда она была ребенком. Да и теперь он не слишком изменился. Как и тогда, когда ей было десять лет, весь этот привычный уклад жизни не тяготил ее сейчас, когда ей уже пятьдесят пять. Она ничего не знала и старалась ничего не знать, ни к чему не проявляла интереса, и ничто ее не тревожило.

— Почему ты решила, что будешь для нас обузой? Если ты согласишься жить с нами, мы все будем рады. Ты же знаешь, как привязана к тебе Оя. Ахмет говорит, что...

В дверь постучали, потом она немного приоткрылась. Не переступая порога, Ведат просунул в комнату голову и спросил:

— Как ты себя чувствуешь, сестра?

Приход Ведата всегда нарушал ее покой. Ведат взглянул на Гюльчин:

— Здравствуй, племянница!

Гюльчин прикусила губу. Она вдруг забеспокоилась, словно он уличил ее в чем-то неблаговидном.

— Здравствуйте! — слегка покраснев, пробормотала она.

Гюльчин не любила Ведата. С детских лет он внушал ей какой-то беспричинный страх. Гюльчин ни разу не слыхала от Ведата ни одного резкого слова. Если она обращалась к нему за помощью, он немедленно выполнял любую ее просьбу. И все-таки она не могла привыкнуть к нему, полюбить его. Из всех дядюшек она больше всего стеснялась Ведата. Он был для нее самым далеким. Почему? Она не смогла бы ответить.

Ведат отдавал близким все, за исключением своего расположения.

— Я иду на улицу, сестра, не надо ли тебе чего-нибудь?

— Нет, спасибо!

— Тогда до свидания!

— Всего хорошего!

Дверь тихо закрылась. За ней раздались твердые шаги Ведата.

Тогда Гюльчин возобновила разговор:

— Ты бы избавилась от всего этого, от необходимости получать милость из других рук, от вечного ожидания, что к тебе постучат в дверь и нарушат твой покой...

— Не говори так, дочь моя, он мне не чужой, он мой брат,— прервала ее Мюневвер.— Мне здесь живется вовсе не плохо. Я в своем доме, живу вместе с матерью и братом. Слава всевышнему, меня никто не тревожит. Все мои желания исполняются. Кроме того, и Гюллю помогает мне.

— Нет, ты чувствовала бы себя по-настоящему дома только у нас. Только у нас действительно исполнялись бы все твои желания. Матери следует жить под одной крышей со своей дочерью, со своим зятем и внучкой. Разве это не так?

... Мюневвер смущенно поеживалась и не знала, что сказать. Любовь, которую она питала к Гюльчин, была безгранична. Ради нее она была готова терпеть любые невзгоды. Но какой-то внутренний голос, какое-то непонятное чувство удерживало ее, мешало ей поступить так, как хотелось Гюльчин.

— Ахмет говорит,— снова начала Гюльчин,— что так же, как и в Антепе, можно произвести раздел нашего имущества и в Стамбуле. Он уже разговаривал с дядей Джеватом — тот давно готов к разделу. Он готов даже взять на себя все хлопоты, и совершенно бескорыстно. Теперь все дело за тобой — если ты согласишься, то и дядя Суат не будет возражать.

— Как же можно? — задумчиво проговорила Мюневвер.— Ведь это разные вещи. Земли в Антепе достались нам от отца — его нет в живых, и мы могли разделить наследство. Но ведь дом и лавки в Стамбуле принадлежат матери...

— Это просто смешно! Разве бабушка купила эти лавки за свои деньги? Где она их заработала? — словно школьница, хорошо вызубрившая свой урок, затараторила Гюльчин.— И лавки, и этот дом — все это принадлежало дедушке. Ахмет говорит, что нет никакой необходимости ждать, пока умрет бабушка, для того чтобы выделить долю каждому наследнику. Это вообще бессмысленный обычай — ждать, пока человек умрет. Не разумнее ли разделить имущество еще при жизни нашей бабушки и покончить с этим отвратительным обычаем? Разве Ахмет не прав, когда так говорит?

Мюневвер беспокойно задвигалась. Все это было ей не по душе, и она попыталась возразить дочери:

— Но если продать дом, то что же будет с матерью? Она останется на улице? Или ты заберешь ее в свои две комнаты?

— Мы и сами тогда в этих двух комнатах не останемся, и для бабушки найдется приличное жилье,— прервала Гюльчин.— На те деньги, которые окажутся у нас в руках, можно будет купить хороший домик. То же самое смогут сделать и бабушка с Ведатом. А избавиться от этой старой развалины не мешает.

— А сколько, ты думаешь, нам дадут? Ведь вон сколько мы получили за свою долю в Антепе, а деньги исчезли совсем незаметно, мы даже и не помним, на что их потратили.

— Ну, дядя Джеват все предусмотрел. Он говорит, что мы вполне сможем купить в кредит двухэтажный дом. Один этаж будем сдавать и в несколько лет расплатимся за дом.

— Боюсь я этих кредитов!

— Ну что ты, мама, есть о чем беспокоиться! Разве в наше время найдется хоть один человек, который жил бы без кредитов и долгов? Все в долгах...

«...в долгах по самое горло, дорогой Ведат. Я купил долю Джевата, Суата и Мюневвер. Мне хочется их пристыдить, но я не могу этого сделать. Не знаю, зачем они сыграли со мной такую злую шутку. Мне было очень тягостно предстать перед судьей. Что бы ни говорил адвокат Джевата, я не возражал ему и во всем соглашался. Я был не в силах на глазах у посторонних разбирать семейные дрязги. Что поделаешь, раз они так захотели — так тому и быть. Но когда я вспоминаю об отце, этом хорошем и трудолюбивом человеке, то мне становится стыдно за них, за такое пренебрежение к его памяти, и я просто из себя выхожу.

Но оставим в стороне мои огорчения и долги. Быть может, в конце концов все обернется хорошо. Теперь все земли отца принадлежат тебе, мне и матери, они в наших руках. Пиши мне почаще. Ты не можешь

себе представить, какую радость и удовольствие приносят мне твои письма.

Значит, тоска по родине существует на самом деле? Как ни стараюсь я побороть это чувство, но ничего не могу сделать. По вечерам, когда спускается темнота и все уходят домой, я остаюсь наедине с этим чувством, и тогда перечитываю твои письма, словно ищу в них спасения. Я даже не дотронулся ни до одной из тех книг, которые ты мне прислал. Я ничего не хочу читать, кроме твоих писем!

Какое счастье, что наш отец записал дом и лавки в Стамбуле на имя матери. Не будь этого, Джеват наверняка попытался бы продать и их. Я надеюсь, что ты меня не обвинишь в эгоизме за такие мысли. Так приятно думать, что в Стамбуле есть родной дом!

Я получил посланные тобой деньги. Ты настоящий брат! Мне уже скоро сорок, но до сих пор я продолжаю открывать совершенно неведомые мне доселе вещи. Как же много в мире непознанных истин! Я уже более не боюсь открыться тебе и излить всю свою душу. С кем же, кроме тебя, могу я поделиться своими горестями?

Я думал, что отношусь к тому же миру, к которому принадлежат здешние учителя. Ведь что бы я ни делал, что бы ни говорил, я тоже учитель. Но я ошибался. Они меня не понимают. С ними можно пить, играть в карты — и все. Как только за ними закрываются двери, я чувствую страшную пустоту, брат мой! У меня возникает такое чувство, словно я оказался совершенно один среди безбрежного моря. Вокруг — никого, лишь темное небо над моей головой. Если крикнешь — ни одно живое существо не услышит, если будешь стонать и биться — все равно никто не откликнется. Море так равнодушно, так безразлично ко всему! Где-то далеко у меня есть мать, есть ты, а здесь, во мне самом, есть мир идей. Но несмотря на все это, я чувствую себя страшно одиноким. Со всех сторон вода, и я не знаю, что делать, чтобы не утонуть. Как это говорил Рыфат, когда он приходил в отчаяние? Он склонял голову и говорил: «Кончено!» Помнишь, мне тогда полюбилось это слово. И вот сейчас я, как он, склонив голову, с глубоким вздохом говорю — кончено...»

— ...кончено! — сказал Рыфат. Ведат поднял брови.

— По-моему, нет никакой надежды,— продолжал Рыфат.— Сегодня утром мы с ним долго говорили. Я едва узнавал человека, который с детства был моим другом. У него такое же, как прежде, лицо, такие же глаза... но это совсем другой Седат. Это человек, растративший все свои душевные силы, человек, для которого все кончено. Когда он столкнулся с действительностью, его охватили страх и растерянность. Он разбит наголову. Его вера подорвана, его идеалы потерпели полное крушение.

Голос Рыфата дрогнул, и он сделал вид, что закашлялся.

— Я сделал все что мог,— печально заключил Рыфат и развел руками.

Ведат, как всегда, молча шагал по комнате. Вдруг он повернулся и, в упор взглянув на Рыфата, спросил:

— Ты думаешь, это непоправимо?

Рыфат неопределенно пожал плечами:

— Не знаю. Попробуй еще ты с ним поговорить. Но, по-моему, сейчас лучше всего было бы предоставить его самому себе. Он не сможет долго оставаться в таком состоянии.

Ведат сердито топнул ногой.

— Не сердись! — мягко сказал Рыфат.— Ведь все мы как-то живем. А для таких людей, как мы, жизнь не имеет слишком высокой цены. Этим я хочу сказать, что мы не обладаем той особой жизненной силой, которая заставляла бы нас цепляться за этот мир. Для нас жить

то же, что рождаться и умирать,— это нечто непознаваемое, *вещь в себе.*

— И умирать?

Рыфат попытался улыбнуться.

— Да, и умирать. Разве смерть, с которой мы сталкиваемся каждый день, не продолжает оставаться для нас *вещью в себе?* Она не подвластна человеку. Человек может лишь в страхе и смятении склонять перед ней голову. Лично для меня смерть означала бы уход от Бетховена, Брамса, Рахманинова, Бородина, Дебюсси. Она означала бы невозможность слушать бесконечную гармонию этих звуков. Только поэтому, собственно, меня и печалит смерть.

— Только из-за музыки? Ну, а небо, а море, а любовь?

— Я уже состарился и даже не решаюсь глядеть на все это.

Рыфат встал, подошел к Ведату и коснулся его плеча:

— Знаешь, иногда мне приходит в голову, что вселенная, возможно, принадлежит только им: небу и земле, слившимся в бесконечной гармонии любви. А мы, люди,— просто отзвуки страстных стонов, издаваемых небом и землей. Вот что мы такое! И мы еще гоняемся за тайнами мироздания, надеясь постичь истину!

В зеркале, висевшем на стене, Рыфат увидел искаженное гримасой боли лицо Ведата.

— Не отчаивайся! Даже те, у кого голова идет кругом от этого бешеного круговорота, все равно живут. Наш Седат тоже будет жить... Конечно, нелегко открыть глаза и смотреть не мигая после того, как они были закрыты много лет. Но вместо его ныне превращенных в прах идей появятся другие. А со временем и они тоже будут развеяны.

Ведат увидел в зеркале...

...увидел в зеркале, что он смущенно потирает руки, а в глазах его испуг. Он походил на внезапно возникшее привидение, которое готово исчезнуть при малейшем прикосновении. Он пытался встретиться взглядом с отражавшимися в зеркале глазами Ведата.

— Я тебя не побеспокоил? — пробормотал Седат.

— Я уже кончаю,— ответил Ведат, проводя бритвой по лицу.

— Можно присесть?

— Да, конечно, садись.

Седат отошел к креслу, стоявшему у кровати. Он выглядел еще более утомленным, чем в то праздничное утро, когда приехал в Стамбул. Его взгляд блуждал по вытканным на ковре оранжевым цветам.

— Ты сегодня уезжаешь?

— Да, только...

Он держал в руке конверт, стараясь не смять его своими дрожащими пальцами.

Ведат смочил лицо одеколоном и стал причесываться. Он готовился как-то прожить еще один день. В окне виднелось небо, затянутое дождевыми тучами.

Седат явно на что-то решился. Он поднял голову и сказал:

— Я хочу, чтобы ты мне помог.

Лицо Ведата озарилось радостью. Наконец-то! Вот то, чего он ждал долгие годы. Может быть, для Седата еще не все кончено?

Взгляд Седата беспомощно скользил по ковру. Он начал:

— Это письмо...— Но не закончил и запнулся. Он дрожал как в лихорадке. Он заговорил, все более повышая голос:— Я расскажу тебе обо всем. Вдруг ни с того ни с сего начать рассказывать о том, что я таил в себе на протяжении двадцати четырех лет,— немного смешно. Я понимаю. Ты прав, что так думаешь.

«Не выглядеть смешным — это главная его забота»,— решил Ведат, а вслух сказал:

— Я так не думаю.— Он вынул руки из карманов пижамы и закончил сердечным тоном:— Не мучь себя, я знаю все.

Седат застыл от изумления. Его глаза широко раскрылись. То заветное, что он так скрывал от всех целых двадцать четыре года, оказывается, не было тайной, по крайней мере для Ведата!

— Кроме того,— продолжал Ведат,— я считаю, что не следует посылать ей письмо.

Впервые в жизни Седату указывали, как он должен поступить. Он не привык к этому. Он всегда делал все, что считал правильным, и считал правильным все, что делал.

— Почему?

— Потому что она замужем.

— Она?! Вышла замуж?

— Да,— твердо сказал Ведат.— И у нее есть дети.

— И ты знаешь, за кого она вышла? — Его растерянность возрастала.— За кого?

— За одного из служащих своего отца. Но самое главное не в этом. Главное в том, чтобы ты наконец узнал подлинную цену своей иллюзии. Главное заключается в том, что ты ее никогда не любил!

Седат сразу пришел в себя. Вскочив с места, он закричал:

— Что ты говоришь?

Он весь дрожал.

Ведат спокойно поднял руку:

— Не горячись, дай мне закончить. Мы начали по-хорошему. Ты сам пришел ко мне, сам хотел раскрыть мне свое сердце. Ведь мы оба много лет ждали этого дня.

Седат заходил по комнате из угла в угол.

— Так что же, может быть, мы продолжим этот разговор? Может быть, ты сможешь выслушать меня спокойно, не действуя мне на нервы? — спросил Ведат.

Седат не ответил. Он не знал, что сказать. Он понимал лишь, что может только ходить вот так — взад и вперед.

Ведат долго и терпеливо ждал, а потом ласково сказал:

— Ну, хватит ходить, садись в это кресло.

Седат был в бешенстве. Но все же уселся в кресло.

— Слушай! Я хотел тебе сказать, что если бы ты действительно любил ее, то никогда бы от нее не уехал.

— Ты не знаешь,— снова вспылил Седат.— Ты многого не знаешь!

— Я знаю все.

— Нет, ты не знаешь.

— Нет, знаю! После того как ты уехал в Антеп, я говорил с ней.

— Как же ты осмелился? — Седат был готов окончательно взорваться.

— Она сама пришла ко мне и захотела со мной поговорить. Я не мог избежать этого разговора. К тому же у меня не было никаких причин его избегать.

— Что же она тебе сказала?

— Она боялась, что ты болен, и очень беспокоилась.

— Почему?

— Потому что она действительно любила тебя.

Лицо Седата снова стало растерянным. Потом он опять разозлился.

— Вот как? — вскричал он.— Может быть, она любила меня и тогда, когда выходила замуж за другого?

— Да!

— Для того чтобы поверить этому, нужно быть таким же глупцом, как ты.

— Было бы гораздо разумней, если бы ты верил в это, а не в свою придуманную любовь,— улыбнулся Ведат.— Она хотела поехать за тобой в Антеп и там разыскать тебя. Но я помешал этому, ибо знал, что ты ее не любишь.

— Как ты можешь так говорить! Я растратил всего себя потому, что люблю ее. Я бежал от нее, чтобы спасти ее же счастье!

— Счастье не в расставании, а в соединении.

Седат еще пытался защищаться:

— Если бы я остался с ней, я обрек бы ее на такую жизнь, которой она не в состоянии была выдержать. Моя совесть не позволила мне так поступить, но сердце мое разрывалось на части. Я уплатил эту страшную цену за то, чтобы идти по тому пути, которого требовали мои убеждения.

— Я знал, это давало тебе возможность гордиться собой, своим мужеством. Но гордость твоя была порождена не твоими добродетелями, а тем, что тебе очень хотелось выглядеть добродетельным. Подлинная добродетель — это безмолвная сила, о которой ты сам даже не подозреваешь. Ты еще с детства чувствовал, что не наделен этой силой, но, сколько я себя помню, ты всегда хотел, чтобы она у тебя была. А так как твоя голова была забита ложными идеями, это стремление завело тебя в тупик. Ты всегда жил в мире иллюзий, ложных представлений и вымышленных страхов. И не остановился даже перед тем, чтобы отстранить со своего пути девушку, которую мог бы действительно любить. Но даже и это не было главной ошибкой в твоей жизни. Если бы ты забыл наконец свою гордыню, то мог бы встретиться с другой девушкой, полюбить ее и быть счастливым. Но нет, ты сам пожелал создать первую и последнюю трагедию своей жизни, и был принужден до конца играть свою роль в этой драме. В мире много любящих. Но не гордость, а искренность порождает любовь...

Седат сидел, тяжело откинувшись на спинку кресла. Он закрыл глаза. У него был такой вид, словно все его жизненные силы внезапно иссякли. Он был совершенно подавлен.

— Столько лет! — шептал он.— Столько впустую прожитых лет! Я не должен был ехать в Антеп!

— Но ты был вынужден ехать. Ты не захотел пойти ни по одному из тех путей, по которым шли Джеват, Суат, Мюневвер или я. А пятый путь вел в Антеп.

И, не обращая больше внимания на то, слушает Седат или нет, Ведат продолжал, словно говоря сам с собой:

— Мы родились в трудное и сложное время, при бессмысленном режиме. В этом было наше несчастье, но нам следовало принять жизнь такой, какова она есть. При этом режиме могли жить только ни над чем не задумывающиеся, не слишком обремененные знаниями люди — люди-вещи. Вот тебе образец — Джеват. Он был именно такой вещью. И, поскольку он оставался примитивным существом, он полностью соответствовал существующему порядку. Он был лишен человеческих мыслей и желаний. Даже представление о счастье было у него, как у всех этих людей-вещей, самым примитивным. Это были не человеческие чувства, а чувства-вещи. Они не умели желать большего, чем счастья обладать вещами. Вот поэтому все эти люди могли шагать по своему пути. Суат тоже фактически ничем не отличался от Джевата. Он тоже примитивное существо, которое научилось кое-чему и кое-как, нахватавшись поверхностных знаний. Его успехи и неуспехи шли из тех же истоков, что и у Джевата. Пустота Мюневвер заполнялась религией. Я из-

брал путь обычного нормального человека, ты же был вынужден бороться с самим собой.

— А разве я не боролся? Разве я не противился? Разве я не пытался сделать все, что было в моих силах? — спросил Седат.

«У тебя не было сил, чтобы выиграть эту битву,— подумал Ведат, но так и не произнес этого вслух.— Ты достиг только того, что стал еще более жалким, чем Суат. У тебя не было истинной силы, той силы, которая действительно делает людей счастливыми».

Седат был оглушен. Он положил руку на плечо Ведата и долгим взглядом посмотрел ему в глаза. Он даже попытался улыбнуться, но не смог. Еле слышным голосом он проговорил:

— Как же ты презираешь меня!

— Нет,— ответил Ведат,— я никогда не презирал тебя. Просто мне захотелось встряхнуть тебя. Но, пожалуй, это надо было сделать еще двадцать пять лет назад... Прости меня, я, наверно, тебя расстроил.

— Нет, я спокоен.

Седат тихонько снял руку с плеча брата, сделал несколько шагов к двери и сказал:

— Но будь справедлив — ведь самое искреннее стремление достичь своих идеалов тоже не может уберечь человека от заблуждений.

Впервые в жизни Ведат выглядел растроганным.

— Истинная добродетель — это любовь,— примирительно ответил он.— Любовь включает в себя все добродетели.

Седат, сутулясь, подошел к двери. Остановившись, он посмотрел на Ведата тусклым взглядом и сказал:

— Прощай, брат, я всегда тебя любил.

Он вышел, тяжело ступая, и прикрыл за собой дверь.

Небо в окне было затянуто тучами. Все вокруг потемнело. Упали первые капли начинающегося дождя. Над крышей, сотрясая окна, пронеслась волна ветра. Внезапно раздался треск деревьев, раскачиваемых бурей.

Отблеск молнии озарил лицо Ведата. Его глаза смотрели куда-то вдаль, за пределы видимого. Он не стал одеваться и подошел к кровати. Ему захотелось уснуть...

...те, кто успел уснуть, не слыхали раздавшегося выстрела...

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ

# На реке Парана

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОЭТЕ

*Испанскому поэту Рафаэлю Альберти исполняется 60 лет. Дата, которую принято торжественно отмечать, воздавая юбиляру почести и увенчивая его лаврами. Но Альберти — поэт в изгнании. Горячая дань признания приходит к нему не из официальных протоколов, а из глубины сердца народа.*

*В течение двадцати лет лучший поэт Испании вынужден жить вдали от своей родины и своего народа. Сам по себе этот факт — приговор режиму, который на штыках итало-немецкого фашизма утвердился в 30-х годах в Испании.*

*Но дело не только в насильственном изгнании из страны лучших испанских прозаиков, поэтов, художников. Большая часть интеллигенции, живущей в самой Испании, уже многие годы находится в оппозиции к режиму, стремящемуся любыми средствами лишить художников возможности общения с народом.*

*Не прибегая к риторике, достаточно перечислить несколько красноречивых фактов, чтобы убедиться, насколько непримирим конфликт между испанской интеллигенцией и франкистским режимом. Убиты Федерико Гарсия Лорка и Мигель Эрнандес, умерли в изгнании два прославленных поэта современной Испании — Антонио Мачадо и Хуан Рамон Хименес. Вдали от родины погибли поэты более позднего поколения — Педро Салинас и Эмилио Прадос. В разных концах света, далеко от Испаний, но с «Испанией в сердце» живут многие испанские поэты. Среди них в Аргентине — изгнанный и преследуемый Рафаэль Альберти.*

*Да, можно не стыдясь, во весь голос говорить о высокой совести испанской поэзии, о достоинстве и мужестве испанских поэтов.*

*Шло время. В атмосфере изоляции от всего мира, террора, лжи и коррупции в самой Испании поднялось новое поколение испанских поэтов. Молодая испанская поэзия избрала свой путь к правде и нашла в себе силы для протеста. Она причиняет немало беспокойства фашистскому режиму и цензуре.*

*Эта поэзия заставила говорить о себе весь мир.*

*В формировании сознания нового поколения испанских поэтов немалую роль сыграл пример Рафаэля Альберти, за плечами которого большой творческий и жизненный путь, годы борьбы против фашизма и двадцать лет изгнания.*

*Рафаэль Альберти (как Пабло Неруда и Николас Гильен) — сверстник нашей эпохи, выразитель передовой современной мысли в поэзии. Его творчество нельзя рассматривать вне связи с историческим развитием народа и ходом мировой истории.*

*Как известно, творческий путь художника извилист, художнику иной раз свойственны и заблуждения. Но важно не это, важен результат поисков и раздумий. Поэзия Рафаэля Альберти шла нелегкими дорогами, но своей сущностью она неразрывно связана с судьбой испанского народа, с его борьбой.*

*Уже первая книга Альберти «Моряк на земле» (1924), получившая Национальную премию поэзии, имела одну особенность, которая отличала ее от модных тогда дека-*

*дентских течений: это был отказ от абстрактной игры мысли, возвращение к источникам народной поэзии. Правда, то, от чего Альберти отошел в своей первой книге, позднее проникло в его поэзию наряду, а часто и в противоречии с народными элементами его творчества. Но бурное развитие событий в Испании, рост влияния коммунистической партии, успехи Советского Союза, распространение пролетарской литературы, знакомство с произведениями Горького и Маяковского — все это не могло не сказаться на дальнейшем развитии творчества Альберти, на усилении социальной тенденции в его поэзии.*

*«Поэт на улице» — так назвал Альберти сборник своих гражданских стихов, изданный в 1936 году. Он был первым поэтом Испании, который вышел к народу, чтобы смешаться с ним и воспеть его подвиги. Эта книга завоевала Альберти огромную популярность, которая превратилась во всенародное признание в годы войны испанского народа за свою свободу и независимость, когда стихи Рафаэля Альберти стали оружием и лозунгом, символом веры и призывом к борьбе.*

*В беде проявляются подлинные человеческие качества. Долгие и нелегкие годы эмиграции, особенно нелегкие для поэта, живущего в капиталистической стране, Альберти всегда оставался верен избранному пути. Он ненавидит тиранию, беззаветно любит Испанию и верит в свой народ, в его борьбу и в его будущее. Поэт находит самые убийственные эпитеты для палачей народа, в острых сатирических стихах он клеймит американских империалистов, превративших Испанию в военно-стратегическую базу. В гражданском цикле стихов о Хуане Панадеро поэт воспел народ, его чувства и мысли, подвиги его героев.*

*Другая сторона творчества Альберти — лирика. Непревзойденные по мастерству «Оды к живописи», «Баллады и песни реки Парана» вошли в золотой фонд испанской и латиноамериканской поэзии.*

*В Советском Союзе любят и знают творчество Рафаэля Альберти. Его произведения не раз издавались в СССР. Его ценят и любят здесь как большого поэта, представителя прогрессивной испанской литературы и истинного друга страны социализма. Он был первым испанским писателем, посетившим Советский Союз. Это произошло в 1931 году, и вместе с ним тогда была его жена, писательница Мария-Тереса Леон. В 1934 году поэт присутствовал на I съезде советских писателей и познакомился с Горьким. Во время национально-революционной войны в Испании и после нее Альберти не раз приезжал в Советскую страну. Здесь у него и у Марии-Тересы Леон много читателей и друзей.*

*В день шестидесятилетия Альберти советские люди еще раз выражают свои симпатии поэту. Сейчас в Ленинграде готовится к изданию большая книга его стихов.*

*Есть друзья, которых не забывают, они навсегда остаются в сердце. Таков Рафаэль Альберти — живая история, человек, в котором сосредоточены благороднейшие черты его народа: достоинство, мужество, воля к борьбе, вера в правоту своего дела.*

***Сесар Арконада***

## Баллада о Доне Барбосильо

Беден дон Барбосильо.
Нищ.

Нищ под дождем и под ветром.
Нищ и под солнцем.

Идет от лошади к лошади
дон Барбосильо,
от виллы к вилле плетется —
нищ, одинок и затерян.

Хлеба он просит, хлеба,
хлеба кусок.

Что же дают Барбосильо?
Что?

Только глоток дождя,
солнца и ветра кусочки.
Вот и все, что ему дают.

Боже, как он одинок —
дон Барбосильо!

По краю оврага идет он,
проходит над водопоем —
нищ, одинок и затерян.

И небо так глухо, так глухо,
а река еще больше и глуше.

Садится над водопоем
дон Барбосильо.
И лает он в беспредельность.

■

## Баллада о бездельниках полей

Сидят, и сидят, и глядят,
сложа руки.

Им двадцать, им тридцать лет.
Сидят и глядят от скуки.

Куда глядят?
Никуда.
Что слушают?
Ничего.
О чем говорят, когда рот открывают,
сложа руки?
Свое одиночество лень
кладет на их лица, как тень.
Оттого, что их лоб без морщин,
а руки их вялы всегда
и не знают труда,
только вертят на пальце кольцо,—
каменеет лицо.

Нет газет. И всемирные волны
еле-еле доходят до них.

Да и если доходят, они их не слушают.
Ну а если и слушают, все же не слышат.

В мире ничтожней они,
чем эти коровы,
что вместе пасутся и смотрят на реку порою
и на жизнь отвечают мычаньем порою.

В мире ничтожней они,
чем овцы с их блеяньем,
чем колибри, сосущий цветы в их садах,
чем мельница, им подающая воду,
чем воришки, что мимо крадутся
и крадут у них фрукты.
В мире ничтожней они, чем воришки,
что мимо крадутся.

И сидят, и сидят, и глядят,
сложа руки.
Руки другие
устали за них.
А они — отдыхают.

Сидят отдыхают.

■

■ ■ ■

Красота для того, кто забыл
про усталость.

Красота — когда мучить нужда
перестала.

Если ты целый день лошадей
погоняешь,

если хлев ты еще до зари
расчищаешь,

если ходишь не прямо, не в рост,
а сгибаясь,—

где возникнет в полях красота
и — какая?

Завоюй красоту, чтоб она
расцветала,

и увидишь ее, позабыв
про усталость.

*Перевод с испанского О. САВИЧА*

ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ

# Дженни

РОМАН

*Перевод с английского*
*Н. ДАРУЗЕС*

## 1

Сумерки были словно забыты при быстрой смене времен года в этот октябрьский день — так стремительно наступила темнота, приведя за собой ночь. Стояла та пора, когда кроткое тепло лета, если оно слишком затянулось, всегда бывает побеждено жестокой силой зимы.

В середине утра ледяной ветер с Пидмонта на севере пронесся над пожелтевшими холмами, неистово бушуя под низко нависшими темными тучами и неся первые зимние холода городу Сэллисоу, окрестным полям и пастбищам в низинах. После полудня буря прошла, оставив безветрие в морозном воздухе под хмурым небом. И теперь, когда серый дневной свет быстро сменялся тьмой, высокий деревянный дом в два этажа слабо потрескивал от ночного холода, начинавшего схватывать бревна. Когда же наступит утро, желтые и красные хризантемы завянут и поникнут, побитые морозом зеленые листья начнут опадать с виноградных лоз, так буйно обвивавших летом беседку на заднем дворе.

Дженни Ройстер наклонилась вперед, сидя на стуле и все так же зорко глядя в окно на опустевшую улицу, прибавила огня в газовой печке. Потом она откинулась на спинку стула и, греясь в уютном тепле газовой печки, сложила руки на животе. Потом передвинула руки кверху, чтобы поддержать тяжелую грудь.

Еще несколько минут шевеля губами от одолевавших ее мыслей, Дженни тревожно ждала первого появления судьи Майло Рэйни. Она надеялась, что он появится раньше, чем на дворе стемнеет совсем,— ей хотелось заметить его вовремя, чтобы отпереть парадную дверь, как только он взойдет на крыльцо.

По Морнингсайд-стрит промчался автомобиль, и его фары на мгновение осветили густые кроны черных дубов перед домом, потом машина быстро скрылась из виду, и на улице стало еще темнее.

Неожиданно возникнув из ночного мрака, кто-то быстро подходил к дому.

Уверенная, что она узнала прямую фигуру судьи Рэйни, Дженни в одно мгновение вскочила на ноги и, легко неся свое полное тело, побежала в прихожую, включая по дороге свет. Она едва успела мимоходом посмотреться в зеркало и поправить пушистые каштановые волосы, прежде чем судья подошел к парадной двери.

Судья Рэйни топал ногами, чтобы прогнать озноб, и согревал теплым дыханием сложенные руки; он вошел в прихожую, не говоря ни слова. По характеру он был сдержан и на словах и на деле, и в силу этой его сдержанности редко кто видел, чтобы он вел себя экспансивно или неосмотрительно. Повесив шляпу и сняв пальто, он повернулся к Дженни с улыбкой на изрезанном морщинами лице.

— На одно я всегда могу надеяться, Дженни, приходя в ваш дом,— сказал он вместо приветствия, улыбаясь ей.— А исполнение надежд не менее приятно, чем ожидание.

— Что же это такое, Майло? — спросила Дженни.— Я не всегда понимаю, что вы хотите сказать, но мне нравится, как вы говорите.

— Вы каждый раз встречаете меня на пороге, Дженни. За все годы, что мы с вами знакомы, мне еще не приходилось стоять на крыльце и барабанить в дверь, как простому смертному. Вы всегда даете мне почувствовать, что я пользуюсь особыми привилегиями.

Дженни взяла у него пальто и повесила на вешалку под шляпой.

— Просто у меня такая манера оказывать вам услуги, Майло,— сказала она.— А мне нравится оказывать вам услуги. Это моя самая большая слабость.

— И я всегда буду это ценить, Дженни,— сказал судья, когда она снова повернулась к нему лицом.— Женская ласка — одно из немногих благ, которые дарованы человеку в этой жизни.

Судья Рэйни был высокого роста, худой, подвижной и нервный, на вид гораздо моложе своих лет. Хотя в его густых черных волосах уже проглядывала седина, держался он прямо и голос у него был звучный и уверенный. Он всегда одевался в старомодные темные костюмы, носил накрахмаленные белые рубашки, черные башмаки и каштанового цвета галстуки бабочкой. У него были десятки галстуков разной ширины и длины, но все — любых оттенков коричневого цвета. На левой руке он носил перстень с крупным бриллиантом и хвастался в шутку, что такая прихоть по средствам только холостяку.

— Ну, Дженни,— говорил он, не переставая улыбаться ей, и его звучный голос гремел на всю прихожую.— Я предсказываю, что в этом году у нас будет суровая зима, как в старое время, иногда, может быть, даже со снегом и крупой.

— Я бы ничуть не удивилась, Майло,— согласилась Дженни.— Всю мою жизнь я видела, что беды да несчастья не приходят поодиночке — они ползут целой вереницей, как эти дрянные муравьи к моей сахарнице.

— Если сахар такой же сладкий, как вы сами, Дженни, то я, честно говоря, не могу осуждать муравьев. А если судьба когда-нибудь завлечет меня в брачные сети, то я искренне надеюсь, что...

Погладив ее по щеке, судья Рэйни повернулся и шагнул через порог в натопленную гостиную. Дженни ненадолго задержалась в прихожей, чтобы взглянуть в зеркало на свое раскрасневшееся лицо и поправить каштановые волосы.

Когда она вошла в комнату, судья Рэйни грел руки над газовой печкой.

— Вы всегда мне говорите такие приятные слова,— сказала она, подходя ближе и заглядывая ему в глаза.— Где уж мне слушать что-нибудь насчет замужества, ведь я теперь всего-навсего толстая старуха, глядеть не на что. Вы не знаете, сколько раз я думала про себя, что если б мне вернуть мою молодость да к тому же хорошую фигуру...

Резко отвернувшись от судьи Рэйни и смахнув слезы пальцами, она подошла к креслу и села.

— Дженни, что это за разговор,— сказал он, неодобрительно хмурясь.— Готов сказать со всей прямотой и искренностью, что вы были бы самой завидной супругой. Собственно говоря, я легко могу себе предста-

вить, что некто является на этих днях в суд и подает заявление. На формальном языке закона это означает просто jus primae noctis *.

Дженни пристально глядела на него, моргая глазами.

— Это то же самое, что разрешение на брак?

— Нет. Это только относится к тому же предмету.

— Ну, Майло, перестаньте меня дразнить,— сказала она, краснея.— Не верю ни единому вашему слову. Столько есть хорошеньких девушек, с каждым днем все новые подрастают, выбирайте закрыв глаза, а время и место вам стоит только назначить, да вы и сами это знаете.

— Большинству из них придется еще многому учиться, а время не ждет. Вы понимаете, что я хочу сказать, Дженни. Юная внешность и восторженность не всегда дают то, что обещают. А мы с вами...

В комнате надолго воцарилось молчание, потом судья Рэйни отошел от печки и сел в кресло рядом с Дженни.

— Что бы ни случилось, Майло, я всегда буду вам благодарна,— сказала после паузы Дженни,—и в любое время, когда вы только захотите, я вам докажу свою благодарность, стоит вам слово сказать. Вы со мной достаточно хорошо знакомы, чтобы знать, какой я могу быть доброй, когда есть ради чего. Я такая, какая есть, и даже силой закона меня не переменишь. Я не такая, чтобы держать полный дом любимых кошечек и собачек и представляться, будто не нуждаюсь в мужском обществе. Если бы не вы, не знаю, как бы я перенесла все мои беды и печали. Иной раз думается, что одно только это жизнь для меня и приготовила — горе, неудачи да неприятности каждый день.

— Что такое, Дженни? — спросил он живо.— Расскажите мне, что случилось.

Мигая затуманившимися глазами, она провела обеими руками по лбу и раскрасневшимся щекам, словно стараясь разогнать свою печаль.

Судья наклонился к Дженни и в утешение потрепал ее по руке.

— Когда вы просили меня зайти к вам сегодня вечером по дороге домой, вы не сказали, в чем дело. Что такое, Дженни? Что случилось?

Левая рука Дженни бессильно упала на колени. Подняв правую, она махнула ею в сторону красной кирпичной церкви на соседнем участке.

— А что еще могло случиться, Майло,— отвечала она, в унынии понурив голову.— Вам это давно известно.

— Так они опять у вас были? — сказал он, глядя на Дженни и понимающе кивнул головой.— Это самое и случилось, Дженни?

— Да.— На мгновение она утомленно закрыла глаза.— Да,— повторила она. Когда она заговорила снова, ее голос звучал резко и гневно.— Эти самые придиры из церкви Тяжкого креста просто, кажется, все перепробовали, что только могли придумать, лишь бы наделать мне неприятностей. Все время, что я здесь живу, у меня не было ровно никаких хлопот с соседями. Миссис Клара Крокмор, что живет в желтом кирпичном доме рядом с моим, такая соседка, что лучше и желать нечего, мы с ней то и дело бываем друг у друга. И Норма Поуп, моя соседка со стороны двора, всегда дарит мне срезанные цветы из своего сада, меняется рецептами блюд и уж всегда поделится сплетнями, какие только доходят до ее улицы.

Но эти святоши, эти ханжи! Мне кажется, они не успокоятся до тех пор, пока не упрячут меня в тюрьму на всю жизнь или пока не зароют меня в могилу. В прошлый раз — это было после первого числа — они приходили и плели бог знает что про меня и Визи Гудвилли. Тогда они говорили, что грешно и стыдно мне сдавать ему комнату, потому что ночью мы с ним спим под одной кровлей. И что они собираются подать жалобу и начальнику полиции в Сэллисоу, и шерифу округа Индианола,

---

* Право первой ночи *(лат.)*.

и даже самому губернатору штата, чтобы меня арестовали, если я не заставлю Визи немедленно выехать и искать себе жилья в другом месте.

Остановившись и переведя дух, Дженни сложила руки на животе, потом передвинула их повыше.

— Бедняга Визи Гудвилли! — Слезы выступили у нее на глазах, когда она произнесла это имя.— Бедняга Визи Гудвилли! Другого настоящего дома у него на всем свете нет, а эти святоши хотят, чтобы он отсюда уехал. Всем известно, что это единственное место, которое он может назвать своим домом в те три зимних месяца, когда не ездит с балаганом и не зарабатывает на жизнь, показываясь публике во вставных номерах. Он даже не знает наверное, остались ли у него в живых какие-нибудь родственники, у которых он мог бы поселиться, а если и разыщет кого-нибудь из дальней родни, то он очень стеснил бы их, поселившись вместе с ними, даже если бы он хорошо платил за те три зимних месяца, когда у него мертвый сезон.

А вы знаете, как трудно было бы ему найти подходящую особу, такую же, как он сам, для того, чтобы жениться на ней или хотя бы жить просто так. Прежде всего, таких на свете вообще немного, и Визи говорит, что все девушки-лилипутки бывают помолвлены чуть ли не со дня рождения или вскоре после того, да и то не обходится без большой драки между самыми видными семьями, и денег это стоит порядочных. Он говорит, что давно уж бросил попытки сойтись с обыкновенной женщиной. Говорит, иной раз, когда он ездил с балаганом, бывало так, что обыкновенные женщины по секрету оказывали ему внимание, но ни за что не хотели появляться с ним на людях. Бедняга Визи Гудвилли! Не знаю, что бы он делал, если б я не подружилась с ним. Я очень рада, что родилась общительной и сердечной, иначе некому было бы позаботиться о Визи. Если он так сотворен, это еще не значит, что он не умеет ценить женскую ласку, как всякий другой мужчина.

Дженни стряхнула слезы с ресниц кончиками пальцев.

— Разумеется, все это совершенно верно,— сказал судья Рэйни.— Но что же случилось сегодня? Вы мне так и не рассказали.

— Майло, вот уже целый год так идет, раз за разом, не одно, так другое. Эти ханжи прикидываются, будто бы они такие уж набожные, а сами чего только не делают и не говорят исподтишка, лишь бы выселить меня из моего дома. Каждый раз, когда они со мной про это толкуют, они твердят, будто бог им внушил забрать мой участок и возвести на нем постройку для воскресной школы и что я будто бы оскверняю то, что ими уже заранее предназначено для святой цели. Они изо всех сил стараются меня уверить, будто бы все, что я делаю, грешно и стыдно. Я им сколько раз говорила: если им нужен мой дом, могут его забрать, только пусть заплатят мне мою цену. А они не хотят платить ни единого доллара. Говорят, если я их послушаюсь, то они обратят меня в свою веру и спасут мою душу, тогда я могу передать дом и участок церкви Тяжкого креста, не беспокоясь насчет будущей жизни.

Было время, когда я ходила в церковь и считалась доброй прихожанкой, но никто не заставлял меня отдать все, что я имею, и даже сам методистский проповедник не обещал спасти мою душу авансом, если я передам все свое имущество церкви. После того я ходила одно время на проповеди в церковь Истинной веры и иногда опускала в кружку четверть доллара. Но как-то пастор пригласил меня прогуляться с ним по лесу. И только мы вошли в лес, как он облапил меня и сказал, что если я ему угожу, то мне не понадобится больше опускать деньги в церковную кружку. А во всем остальном и методисты и сторонники Истинной веры обращались со мной по-честному, но только я уже научилась не смешивать религию с личной жизнью и с тех пор больше ни в чью церковь не хожу.

— Дженни,— напомнил ей судья Рэйни,— о чем же на сей раз говорили с вами эти люди из церкви Тяжкого креста?

— Сейчас скажу, Майло,— ответила она.— Мне только надо было к этому подвести, вот теперь я как раз и начинаю. Всем в нашем городе известно, что я бедная пожилая женщина и заработать на пропитание мне нечем, разве что сдавая комнаты, и родных у меня нет ни души, не на кого опереться. Кроме этого дома, у меня на всем свете нет ничего, и такая женщина, как я, только самой себе обязана тем, что имеет свой угол в старости. Я им владею вот уже двадцать лет и всегда берегла и прижимала каждый доллар с тех самых пор, как молоденькой девушкой начала зарабатывать себе на хлеб. А когда стала немного постарше и половчее да начала получше разбираться в жизни, тут уж и деньги пошли копиться побыстрей, и я выплатила долг по закладной и теперь могу владеть домом и участком безвозбранно и беспошлинно.

И ведь я здесь поселилась гораздо раньше, чем эти крикуны проповедники обратились к богу и построили свою церковь впритык к моему участку. Если кто имеет право жаловаться, так это я. Сами знаете, они построили эту церковь так близко к моему дому, что с утра до вечера у меня в кухне совсем темно. Я не побоюсь открыть рот и сказать, что стыдно и грешно этим святошам проделывать такие штуки.

Телефон в прихожей зазвонил так резко и пронзительно, что эхо пошло отдаваться по всему дому. Он все еще звонил, когда Бетти Вудраф выбежала на лестницу из своей комнаты на втором этаже.

Как всегда в это время дня, на Бетти были черные вельветовые брюки, яркий облегающий свитер и белые туфли без каблуков. Это была стройная девушка лет двадцати четырех, среднего роста, державшаяся очень прямо, с твердой округлой грудью и пышными светлыми волосами. Рот у нее был крупный, с полными губами, и, когда она улыбалась, ее синие глаза блестели ярче и живей. Что бы она ни надела, юбку или штаны, все это сидело хорошо и было старательно подобрано к ее слегка загорелой коже и каштановым волосам. Она выглядела гораздо моложе своих лет и, думая, что это прибавит ей солидности, выходя из дому, надевала большие очки в темной оправе. Мужчины, с которыми она знакомилась, обычно бывали приятно поражены ее серьезным и ученым видом и почти всегда спрашивали, не учительница ли она.

Бетти Вудраф целый год прослужила учительницей в городской школе Сэллисоу, первом ее месте после окончания колледжа, и все это время жила в доме Дженни Ройстер. Школьный совет остался доволен ее педагогическими талантами, и ей предложили продлить договор на второй год. Однако она отклонила это предложение, ответив, что, по ее мнению, она не подходит для профессии педагога.

Настоящей причиной, почему Бетти бросила преподавание, была ее неудачная и очень короткая помолвка с Монти Биско, футбольным тренером и преподавателем гимнастики в городской школе Сэллисоу. Вскоре после того как они встретились впервые, Бетти по уши влюбилась в Монти Биско, и через несколько недель они были уже помолвлены. Во все время их помолвки они встречались по несколько раз в неделю и по вечерам катались в машине Монти или бывали в кино под открытым небом на шоссе, недалеко от города. Монти не раз пытался овладеть ею, в своей машине или в гостиной Дженни, но Бетти неизменно говорила, что ему придется подождать, потому что она хочет остаться девушкой до свадьбы.

Вышло, однако, так, что накануне рождественских каникул, не предупредив Бетти ни единым словом, Монти Биско женился на другой учительнице, Мэйрите Йигер. На следующий день Монти сообщил Бетти, что Мэйрита беременна и ему пришлось жениться на ней, чтобы его не прогнали с работы, потому что она грозилась пожаловаться директору

школы. Когда Бетти, убитая горем, вся в слезах, спросила, зачем же он связался с Мэйритой Йигер, когда был помолвлен с ней, Бетти, он ответил, что при его атлетическом сложении ему трудно оставаться холостяком.

Бетти была так несчастна и убита горем, что до конца школьного года отказывалась от свиданий с кем бы то ни было. Лето она провела с родителями, которые жили в маленьком городке в южной части штата, но к первому сентября она вернулась в Сэллисоу и попросила Дженни отвести ей ту же комнату окнами на улицу, что и в прошлом году.

— Деточка,— смеясь и плача, сказала ей Дженни,— я так рада, что вы вернулись, что мне все равно, будете вы платить за комнату или нет. Мне вы нужны для компании гораздо больше, чем из-за денег. Во всяком случае, если вы не будете преподавать в школе, то найдете себе другую работу в городе. Такой хорошенькой девушке не приходится ходить с протянутой рукой. Я довольно прожила, столько-то о жизни знаю.

К концу второй недели, после того как Бетти вернулась в Сэллисоу, ей иногда звонили по телефону два-три раза в вечер. Однако никто не приходил к ней и не увозил ее куда-нибудь, а вместо того сама Бетти выходила из дому после телефонного звонка и уезжала в своей новой синей с белым машине, которую она купила летом. Часа через два или немногим позже она возвращалась и, оставив машину перед домом, разговаривала с Дженни или смотрела телевизор до нового телефонного звонка.

И судья Рэйни и Дженни молчали все время, пока Бетти разговаривала по телефону, и молча ждали, пока она пробежит по лестнице в свою комнату. Через несколько минут она опять сошла вниз, на этот раз в тяжелом зимнем пальто. Она остановилась на мгновение в дверях гостиной, улыбнулась, но ничего не сказала и, набросив на голову ярко-красный шарф, завязала его под подбородком. Потом, поправив большие черные очки в темной оправе, она выбежала из дому на улицу

## 2

Фары машины вспыхнули, и Бетти умчалась вверх по Морнингсайд-стрит во мрак ночи.

Судья Рэйни наклонился вперед, поставив локти на колени и грея ладони перед огнем. Он подождал, пока шум мотора не затих совсем.

— Что они говорили на этот раз, Дженни? — спросил он.— Что-нибудь про Бетти Вудраф?

Дженни кивнула.

— Что же именно они сказали?

Она сложила руки под грудью, приподняв ее, и уселась поудобнее.

— На этот раз пришли двое из церковного совета вместе с проповедником Клу. Они заявились нынче днем, постучались в дверь, я их впустила, и они стали греться перед печкой, а на стулья так и не сели, будто боялись схватить от меня какую-нибудь заразу, если сядут. Обогревшись хорошенько спереди и сзади, они встали на колени и помолились наскоро, но так бормотали, что я ни слова не разобрала. Ну да все равно, я уж знала, что это насчет меня, или Бетти, или нас обеих вместе. Потом проповедник Клу поднялся и сказал, что, если я не откажу от квартиры мисс Вудраф, то есть Бетти, меня арестуют и посадят в тюрьму.

— А он объяснил, почему они этим грозят?

— Он сказал, что Бетти теперь уже не та, что была в прошлом году, когда она преподавала в школе. Я хотела было объяснить ему, как это вышло в прошлом году, когда та, другая учительница обманом женила

на себе футбольного тренера и оставила Бетти в таком горе и унижении, и вполне естественно, что всякая женщина с характером будет искать развлечений до тех пор, пока не успокоится и не станет опять сама собой. А он орал все громче и громче и так брызгал слюной, что ему пришлось утирать рукой подбородок, и все твердил, что он про это самое и говорит. Он сказал, что всякий раз, как она выходит на улицу, с первого взгляда видно, что она собралась грешить и готова ввести в искушение любого мужчину в городе, все равно женатого или холостого, и что не много найдется мужчин, которые смогут устоять против соблазна, если девушка такая хорошенькая.

Долго он этак бормотал, а в конце концов взял да и выпалил, что она блудница. Когда проповедник так ее обозвал, я не вытерпела и сказала, что не очень-то вежливо называть так хорошенькую девушку, которая имеет высшее образование и новенький четырехместный «седан» и никогда худого слова никому не сказала, сколько я ее знаю. Он опять взбеленился и заплевал себе весь подбородок и сказал, что, как бы я ее ни называла, все равно она развратная женщина, с его точки зрения. Он еще и разное другое про нее говорил, мне уж и повторять совестно, даже и вам, хотя бы даже зажмурившись и в темноте. Я таких словечек не слыхивала с тех пор, как война кончилась и закрыли армейский лагерь в Саммер-Глэйд.

Судья Рэйни достал из кармана сюртука сигару и закурил ее.

— Откуда у проповедника Клу такие обширные сведения по этой части, Дженни? — спросил он.

— Я его и об этом спрашивала, Майло. Он сказал, что один из его прихожан держит мотель «Приятное времяпрепровождение» на шоссе милях в трех от города и он будто бы видел на прошлой неделе, как Бетти три раза входила в три разные комнаты с тремя разными мужчинами.

Судья Рэйни, выпустив к потолку струю сигарного дыма, наблюдал, как дым расходится по комнате.

— Лучше бы они переменили название пансионата на какое-нибудь другое, не столь завлекательное, а человеческую природу изменить не старались. По правде сказать, каждый раз, когда я проезжаю мимо пансионата «Приятное времяпрепровождение», у меня всегда возникают игривые мысли. И под присягой мне пришлось бы сознаться, что я не раз давал крюку и приезжал туда.

— Но ведь проповедник Клу вовсе не шутил, Майло. Он по-настоящему разозлился и вышел из себя. Он говорил, а сам все время хмурился, вытирал заплеванный подбородок и топал ногами. Он сказал, что считает своим долгом натравить закон на меня и Бетти и положить конец ее безобразному поведению.

— Дженни, сколько человек себя помнит, не говоря уже о писанной истории, всегда существовали привлекательные молодые женщины, такие, как Бетти Вудраф, и, поскольку их права твердо определены законом, всегда найдется кто-нибудь вроде меня для защиты их интересов. И можете быть уверены, что пути закона мне известны, поскольку всю мою сознательную жизнь я провел либо в судейском кресле, либо стоя перед ним. Закон есть несгибаемое орудие, управляемое гибкими умами. В пояснение позволю себе привести один-два примера.

Если Джон Доу взял у Ричарда Роу сто долларов с обязательством уплатить по первому требованию и не уплатил и у Ричарда имеется на руках долговая расписка, а Джон по какой угодно причине не может выполнить свое обязательство по отношению к Ричарду и если Ричард обращается за помощью в суд, то суду, естественно, полагается выдать законный ордер на арест Джона в том случае, если Джон откажется выполнить предписание об уплате, и, следовательно, как полагается по

закону, суд более чем вероятно принудит Джона выплатить долг Ричарду, даже если для погашения долга придется продать все имущество должника с публичного торга. Теперь, если вы меня слушали, вам ясно, что я имею в виду, называя закон несгибаемым орудием.

С другой стороны, однако, в суде имеется человеческая сторона, иначе говоря, гибкий ум; при условии, что дело подготовлено и ведется надлежащим образом, суд обычно признает тот факт, что природой одному полу дано право привлекать другой пол и сожительствовать с ним. Лично я сказал бы, что не дело суда определять такого рода условия и налагать ограничения и запреты. В это время и мысли, и внимание обеих сторон бывают достаточно заняты и незачем принуждать их копаться в куче судебных постановлений. Как бы то ни было, суд почти всегда проявляет достаточную гибкость мысли, сталкиваясь с такими случаями, и обычно выносит решение, что всякие действия подобного рода по самой своей природе подпадают под положения неписаного, но существующего праотца всех законов и потому не подлежат юрисдикции современных судов.

Судья Рэйни протянул руку и похлопал Дженни по плечу.

— Так что не огорчайтесь, Дженни. Не думайте, что я только теоретик, но не практик. Я как раз настроился на эти аспекты закона и не могу остановиться, пока завод не кончился. Что касается вас, Дженни, то надо вам знать, я отнюдь не склонен недооценивать опасность влияния фанатиков в религии и политике. Положитесь на меня как на своего поверенного, и пусть вас не беспокоят сегодняшние угрозы проповедника Клу и всех прочих. Я двадцать лет просидел в судейском кресле, пока не ушел с государственной службы и не занялся частной адвокатской практикой, и поэтому вы спокойно можете доверить мне защиту ваших интересов. В сущности, мне даже не терпится этим заняться.

— Так, значит, мне не надо говорить Бетти, чтобы она укладывалась и съезжала?

Он торжественно наклонил голову.

— Вот об этом я и толкую все время, Дженни.

— Даже если они еще раз придут и станут грозиться мне арестом и тюрьмой?

— Нет,— сказал он, опять наклонив голову.— Нет.

— Ну, у меня большое бремя с души скатилось,— сказала она, благодарно улыбаясь.— Пока вы тут говорили вот сейчас, мне не очень-то было понятно, что значат все эти громкие слова.— Она глубоко вздохнула от облегчения.— Я бы ничего не имела против того, чтобы посидеть в хорошей тюрьме новой стройки, но не в этом же свинарнике позади здания суда. Там у них в городской тюрьме просто приткнуться негде. Тюремщики со всей ихней сворой расхаживают взад и вперед целый день и глядят на тебя, что бы ты ни делала, а ночью отпирают дверь камеры и входят без приглашения. А почему я столько знаю про нашу городскую тюрьму, так это потому, что как-то раз — уже много лет назад — у нас избрали новую шайку политиканов управлять городом. И не успела я с ними хорошенько познакомиться, как они прикрыли мой пансион и посадили меня в эту самую каталажку. Мне влетело в двести долларов выбраться оттуда и снова открыть заведение. Вот теперь вы знаете, Майло, какое бремя у меня с души скатилось. Теперь-то я почтенная женщина на покое, и мне уж не к лицу опять садиться в эту тюрьму.

— И я рад, что сумел успокоить вас,— сказал судья Рэйни, глядя на часы.— Если вы меня угостите хорошей порцией обыкновенного пшеничного виски, я подкреплюсь, прежде чем выйти на холод. В такую погоду надо же мне чем-нибудь согреться.

Дженни выбежала из гостиной и очень скоро вернулась с бутылкой

виски, двумя стаканами и кувшином воды. Судья Рэйни щедрой рукой налил виски в оба стакана, но, когда Дженни хотела подлить воды из кувшина, он сурово нахмурился и резким движением отодвинул стакан.

— Нет, Дженни, нет,— сказал он твердо, все еще хмурясь.— Первый стакан мы выпьем за крепкую дружбу, а ее может укрепить только чистое виски.

Он подождал, пока она поставит кувшин на стол, потом сел на красный плюшевый диван и жестом пригласил ее сесть рядом. Они чокнулись стаканами и не спеша потягивали виски, слушая, как дом слабо потрескивает от ночного холода. Немного погодя, когда стаканы почти опустели, Дженни взяла бутылку и долила их. Потом, придвинувшись ближе к судье Рэйни, Дженни откинулась на спинку дивана.

— Дженни,— сказал судья спустя минуту-другую, положив руку ей на плечо,— Дженни, для того чтобы наша дружба отныне стала еще крепче, чтобы к ней ничего не примешивалось, самое лучшее будет вылить воду из кувшина на ваш любимый цветок.

— А откуда вы знаете, Майло, что у меня есть любимый цветок? — спросила она, тихонько смеясь и слегка вздрагивая тяжелой грудью.

Ничего не ответив, он с улыбкой смотрел на нее, а она смеялась все громче и громче.

— Майло, откуда вы знаете про мой любимый цветок? — не унималась она.

— Потому что я вылил на него кувшин воды в прошлый раз, когда был здесь, а я ничего приятного в жизни не забываю.

— Знаю я вашу манеру разговаривать, Майло,— сказала Дженни, живо махнув рукой. Она снова захихикала.— Но мне все равно это нравится, не могу не слушать, как вы говорите про меня такие приятные слова: это моя самая большая слабость.

Еще несколько минут они молча потягивали виски. Опять стало слышно слабое потрескивание дерева от ночного холода, и газовая печка жарко горела перед ними.

— Знаете что, Дженни? — сказал через некоторое время судья Рэйни, оборачиваясь и глядя на нее.— Я думаю, величайшая трагедия нашей жизни в том, что мы с вами не познакомились — поближе, конечно,— лет двадцать пять — тридцать тому назад. Я говорю про то время, когда вы были молоды и я тоже. Нисколько в этом не сомневаюсь — мы с вами вместе достигли бы вершины счастья и покоились бы на ложе блаженства и довольства.

Слезы выступили на глазах Дженни и скатились по ее круглым щекам. Она не стала утирать их.

— Я люблю слушать, когда вы так говорите, Майло. Всю бы ночь напролет слушала. Это моя самая большая слабость.

Судья Рэйни стряхнул пепел с сигары и снова зажег ее. Дым густым слоем плавал над их головами.

— Если б можно было начать жизнь сначала, я бы ее перетряхнул до основания,— сказал он, словно беседуя сам с собой.— Уж, верно, я не доживал бы свою жизнь так, как теперь, в большом пустом доме, где Сэм Моксли готовит мне еду, стелит постель и гладит мои брюки. Черт побери его черную шкуру! Следовало бы изгнать его из штатов за то, что он устроил мне такую жизнь, какой я живу все эти годы. Это все он виноват! Ничто в жизни не может заменить теплоту женского тела, ласковость и нежность прикосновения женщины, душевность ее утешений в долгие темные часы ночи. Я одинокий человек — забытый богом одинокий человек!

— Майло,— сказала Дженни ласково,— Майло, вы можете на ночь остаться здесь. Со мной вы не будете одиноким.— Она потянулась к судье и крепко пожала ему руку.— Ведь вы останетесь, Майло?

Он быстро повернул голову и взглянул на Дженни. Поднявшись с дивана, он подошел к окну, потом повернул обратно.

— Майло...

— Нет,— твердым голосом ответил он, не глядя на Дженни.— Нет,— повторил он еще раз.

— Я вам приготовлю вкусный ужин, Майло. Можете скушать жареного цыпленка с рисом или кусочек ветчины под винным соусом, а не то бифштекс по-деревенски. И я уж позабочусь, чтоб вы как следует выспались, это я вам обещаю.

Несколько минут прошли в молчании, а судья все еще боялся взглянуть на Дженни.

— Майло, разве вам этого не хочется? — услышал он ее голос.

— Нет. Сэм будет стряпать для меня ужин, а он всегда его готовит к определенному времени.

— Нам стоит только позвонить Сэму Моксли и сказать, что вы нынче домой не вернетесь. Ведь это не так трудно, Майло.

— Сэм теперь в кухне и не услышит звонка. Он с каждым днем все больше глохнет.

— А как было бы хорошо, если бы вы у меня остались,— ласково уговаривала его Дженни.— Ведь вы знаете, Майло, как мне нравится вам услуживать. Это самая большая моя слабость.

Она встала и налила себе и гостю еще по стаканчику виски. Передавая судье Рэйни его стакан, она подошла к нему вплотную и заглянула в глаза.

— Это ничего, я буду звонить и звонить до тех пор, пока Сэм Моксли не подойдет к телефону. Мне это совсем не трудно. А кроме того, скажу прямо, мне нынче хочется показать вам, какая у меня душа широкая.

Мимо дома стрелой промчался автомобиль, и его фары на мгновение осветили окно. Судья Рэйни снова сел на диван и, потягивая виски, уставился на дрожащее пламя газовой печки.

Дженни, уже успокоившись, тихо и степенно уселась рядом с ним. Откинувшись на спинку дивана, она сложила руки на животе и устроилась поудобнее. Она доверчиво улыбалась своим мыслям.

— Майло,— сказала она немного погодя,— Майло, вы не знаете, как я рада, что мне не придется выгонять Бетти Вудраф из дому. Мне нужны деньги, которые она платит за комнату, это во-первых, но есть и еще кое-что поважнее. Если бы я проделала такую штуку, велела бы ей от меня съехать, я бы не знала, куда глаза девать со стыда, я бы чувствовала себя предательницей перед всем женским полом. В прошлом я жила такой жизнью, что не могу по совести осуждать Бетти за ее поступки и за ее поведение. Если хотите знать, так я ею восхищаюсь, сказать по правде.

— В личной жизни, Дженни, мы живем только правдой. Все остальное лишь притворство и обман для чужих глаз.

— Вот этого уж никто про нее не скажет. Бетти никогда никого не обманула, а вот про Мэйриту Йигер, что подцепила футбольного тренера, никак этого сказать нельзя. В конце концов для Бетти оно, может, и к лучшему, что ее бросили, потому что теперь она проявила свой настоящий характер. Она теперь доказала самой себе, что может нравиться мужчинам, а в этом каждой женщине хочется убедиться, все равно сознательно или бессознательно. Это такая вещь, о которой многие женщины узнают слишком поздно, когда это им уже ни к чему. А вы знаете, Майло, почему я так восхищаюсь Бетти?

Судья задумчиво посмотрел на Дженни, но ничего не ответил.

— Вы знаете почему, Майло, и другие мужчины в городе тоже успели это узнать. Именно поэтому столько их и звонит день за днем —

дома они не видят того внимания, какое им нужно. Я на этот счет кое-что знаю, она мне доверяет и назвала мне некоторых из этих мужчин, вы бы их ни на минуту не осудили, кабы посмотрели, какие у них жены.

Парадная дверь отворилась, и кто-то вошел в прихожую. Не слышно было, чтобы машина Бетти проехала по улице и остановилась перед домом, и в дверь никто не стучался.

Немного погодя в прихожей кто-то сильно зашаркал ногами, и в дверях гостиной появился Визи Гудвилли. Робко и неуверенно потирая озябшие руки, он смотрел на Дженни, радостно ухмылялся, дрожа от озноба всем телом. Он стоял, весь съежившись от холода, моргая темными глазками на ярком свету, и казался еще меньше и миниатюрнее, чем всегда. Обычно, возвратившись домой после игры в покер в городском пожарном депо, а не то из какой-нибудь пивной или бильярдной в центре города, он подбегал к Дженни, обнимал ее и глядел на нее снизу вверх, как ребенок. Но когда у Дженни в гостиной сидели гости, он всегда смущался, не зная, как себя держать, пока Дженни ему не скажет, что́ от него требуется.

— Ничего, Визи,— сказала Дженни, улыбаясь ему и кивком приглашая войти в комнату.— Я просто сижу тут и занимаю разговором судью Рэйни. Входи и грейся. Должно быть, ты весь замерз, как сосулька, на таком холоде.

Благодарно ухмыляясь, Визи вошел в гостиную.

— Для таких маленьких, как я, ночь будет уж очень холодная,— сказал он, потирая руки перед теплой печкой.— Не хотелось бы мне остаться нынче на морозе и совсем замерзнуть. Я и так весь съежился, ничего от меня не осталось, похвастаться даже нечем.

Повернув голову, он в первый раз взглянул на судью Рэйни.

— Что ж, здравствуй, Шорти *,— сказал судья Рэйни с приветливой улыбкой.— Anguis in herba **.

— Я тоже могу вас ругнуть,— сердито взглянув на судью, отвечал Шорти,— только если я выругаюсь, вы-то поймете, как я вас обозвал.

— Что это значит, Майло? — спросила Дженни.

— Это я просто дружески напомнил Шорти, что он опасен, как змея в траве.

— Ах вы крючкотвор! — закричал Шорти.— Чего же вы не живете где-нибудь за границей? Там бы понимали, что вы говорите!

— Ну, Визи, не выходи из себя,— ласково уговаривала его Дженни.

— Я не выхожу из себя. Я-то сдержусь, только пусть он не говорит со мной на непонятном языке. Мне это надоело. Каждый раз как мы встречаемся, он говорит что-нибудь на этом иностранном языке просто потому, что это меня злит.

— Ну, Визи,— ласково повторила Дженни еще раз,— не будем ссориться. Я уговорила судью Рэйни остаться и перекусить с нами. Пока я готовлю ужин, вы бы перекинулись с ним в карты по-дружески, вот было бы мило с вашей стороны...

— Нет уж! — выкрикнул Шорти своим тонким голоском.— Только не я! Не стану я ни во что играть, даже пасьянс не стану раскладывать с этим крючком, он и в покер плутует!

## 3

Дженни и судья Рэйни после ужина ушли из столовой наверх, а Бетти с Визи Гудвилли сидели в гостиной и смотрели по телевизору состязание борцов. Судья Рэйни уже закурил последнюю перед сном сигару,

* Коротышка *(англ.)*.

** Latet anguis in herba *(лат.)* — «Таится змея в траве» (Вергилий, «Третья эклога»).

и запах табака, медленно расходясь по прихожей, проникал в гостиную.

Бетти, глядя на двух дюжих атлетов, была настроена тревожно и чувствовала себя окончательно несчастной. Каждое движение их мускулистых тел напоминало ей Монти Биско, и она не могла не думать о том, где он сейчас и что делает.

Бетти понимала, что она все еще влюблена в Монти, вопреки всему, что произошло, и желала его больше, чем когда бы то ни было. Она давно уже поняла, что если бы не была влюблена в него, как она думала, всерьез и надолго, то никогда не вернулась бы в Сэллисоу. Вместо того она уехала бы как можно дальше и постаралась бы его забыть. Она вернулась в Сэллисоу для того, чтобы быть ближе к нему, но в то же время чувствовала, что надо было бы его помучить как следует. Ночь за ночью, каждый раз как она встречалась с другими мужчинами, она думала о близости с Монти, но тем не менее ей хотелось, чтобы он о ее встречах знал, был глубоко уязвлен и ревновал ее. А после она возвращалась в свою комнату и, бросившись на кровать, отчаянно рыдала.

Немного погодя экран телевизора расплылся и помутнел перед нею, и Бетти закрыла глаза, силясь удержать слезы. Однако она не попросила переменить программу, зная, что Шорти Гудвилли больше всего любит смотреть борьбу и бокс.

Было уже около десяти часов, и на чистом небе высыпали звезды. В окне над вершинами дубов, росших по обеим сторонам Морнингсайд-стрит, ярким шаром поднималась луна. Если даже к утру не станет холоднее, можно предсказать наверное, что лужайки и крыши на рассвете будут покрыты белым слоем инея.

Шорти Гудвилли сидел на самом краешке стула, болтая ногами, и восторженно вскрикивал, глядя на борцов на экране. Он восхищался огромным ростом борцов и тем, как они щеголяли своей мускульной силой. Никогда в жизни он не весил больше пятидесяти фунтов, и росту в нем было ровно три фута. Однако он ухитрился прибавить себе еще около трех вершков, нося башмаки на толстой подошве, сделанные по особому заказу.

С тех пор как ему исполнилось семнадцать лет и врачи сказали его родителям, что он больше не вырастет, Шорти Гудвилли разъезжал по стране с балаганом или цирком. Мать плакала и умоляла его остаться, когда он решил уехать из дому, зато отец только пожал ему руку и ничего не сказал. В течение всех этих лет он получал хорошие деньги за то, что его показывали вместе с другими лилипутами и карликами, и каждый год он откладывал порядочную часть этих денег на старость. Из-за крохотного роста и нежелания общаться с людьми нормальных размеров почти все другие лилипуты во время зимнего сезона жили вместе в маленьком городке штата Флорида.

Шорти ни разу не съездил на родину навестить отца с матерью из боязни стеснить их, и теперь, после стольких лет разлуки, он не знал даже, живы они или нет. И все-таки он никогда не забывал послать матери рождественскую открытку, но только без обратного адреса.

Однажды летом, когда балаган целую неделю давал представления в Сэллисоу, Шорти познакомился с Дженни Ройстер, и та сразу же им заинтересовалась. Дженни, по-матерински его жалея, заговорила с ним после одного из представлений и пригласила к себе в гости. Сначала Шорти не решался идти к незнакомой женщине в незнакомом городе, но Дженни настаивала и убеждала, обещая, что угостит его хорошим ужином, а потом он уйдет или останется, как захочет сам. Был уже первый час ночи, когда он приехал к ней в такси после представления, и остался до полудня следующего дня, когда ему надо было возвращаться на работу.

В ту ночь в доме Дженни они быстро сблизились, и с тех пор Шорти каждую зиму снимал у нее комнату на три месяца. Теперь, когда ему скоро должно было исполниться тридцать лет, все привычки у него уже установились, он не мог обходиться без Дженни и без ее горячей любви и надеялся, что для него всегда найдется комната в ее доме и что ее пыл никогда не остынет.

Телефон в прихожей зазвонил, и Бетти встала и вышла из комнаты. Через несколько минут она вернулась, надела пальто и отыскала шарф.

— Бетти, вы пропустите самую интересную часть состязания,— сказал Шорти, неодобрительно покосившись на нее.— Время у них истекает, сейчас они начнут лупить друг друга по чем попало. Того, что в белых трусах, пожалуй, объявят победителем, он, по-моему, уже включен в программу на будущую неделю, ну а я держу за того, что в черных трусах. Вы посмотрите только, какие у него мускулы! Он бы одной рукой дух из меня вышиб! Хотелось бы мне быть такого роста, чтобы попасть на этот ринг! Я бы им задал звону!

Не глядя больше на борцов, Бетти накинула свой красный шарф на голову и стала завязывать его под подбородком.

— Наподдай ему в живот! — кричал Шорти, соскальзывая со стула и в возбуждении подскакивая на месте.— Сломай ему шею! Оторви ему руку и стукни его этой самой рукой по голове!

Бетти надела темные очки и ушла в прихожую. Выйдя на улицу и усевшись в машину, она завела мотор, дав полный газ, так что мотор громко зафыркал в холоде ночи. Потом она включила фары и поехала по Морнингсайд-стрит, направляясь к пансионатам на шоссе штата Джорджия.

Судья поднял руку борца в белых трусах, объявляя его победителем. Зрители вокруг ринга негодующе закричали, а мгновением позже побежденный борец, перебежав ринг, сшиб судью и начал топтать его ногами. Изображение на экране постепенно бледнело и наконец совсем исчезло. Некоторое время свет мерцал, потом дали следующий номер программы. Двое мужчин, одетые ковбоями, начали стрелять друг в друга.

Учащенно дыша от возбуждения, Шорти все еще стоял перед экраном телевизора, крепко стиснув свои крохотные кулачки, когда в парадную дверь начали громко стучать. Стук становился все громче и настойчивей, он прислушался, потом выключил телевизор и пошел в прихожую посмотреть, кто это стучится в такое позднее время.

Как только Шорти открыл дверь, в лицо ему ударил порыв холодного ветра, и Сэм Моксли вошел в прихожую.

Сэм был в потрепанном черном дождевике, шею его обматывало полотнище желтой шерстяной материи. Это был высокий ширококостный негр лет шестидесяти, с правильными чертами лица и седеющими коротко остриженными волосами. Держался он смирно, говорил тихо, но силы и энергии у него оставалось еще довольно. В молодости он был женат, но жена его рано умерла бездетной. После этого Сэм всегда говорил, что на всем свете у него нет близких людей и от жизни он хочет только одного — до конца дней работать для судьи Рэйни. Последние тридцать лет он был слугой и садовником у судьи Рэйни и с гордостью и усердием смотрел за домом и садом, а также и за самим судьей.

— Добрый вечер, мистер Шорти,— сказал Сэм, наклоняясь и глядя на него сверху вниз.

Шорти взобрался на стул у стены, чтобы находиться в более выгодном положении, разговаривая с Сэмом.

— Ты зачем сюда явился? — спросил Шорти.

Сэм начал разматывать длинное полотнище желтой материи, которое он всегда носил в холодную погоду, чтобы не застудить горло. Акку-

ратно сложив шарф, он убрал его в карман и снял тяжелый черный дождевик. Потом начал энергично потирать руки одна о другую, отогревая онемевшие пальцы.

— И холодная же ночь для нас, негров,— сказал Сэм, слегка вздрагивая. Когда он заговорил, его белые зубы блеснули в свете лампы.— И для белых она ни чуточки не лучше, так я думаю. Такой мороз всякого до костей проберет, не разбирая, какого цвета кожа. Да только в это время года от холода никому не уйти — как белохвостому кролику на гороховом поле от желтого гончего пса.

— Знаю я, как на улице холодно, нечего мне про это рассказывать,— сказал Шорти.— Ты лучше расскажи, зачем ты сюда пришел?

— Вам бы следовало это знать, мистер Шорти.

— Откуда я знаю, чего тебе надо.

— Я пришел затем, чтобы доставить мистера Майло домой.

— А он за тобой посылал?

— Нет, мистер Майло за мной не посылал.

— Так почему же ты думаешь, что он захочет идти домой? Уходика ты лучше, Сэм Моксли, и оставь его в покое. Он наверху и уже лег в кровать.

— Именно так я и думал с самого начала,— сказал Сэм огорченно.— Так я и знал. Так я и предчувствовал.

— Что же ты теперь намерен делать?

— Я намерен исполнить свой долг. Вы позовите мисс Дженни, и пусть она поднимает его потихоньку-полегоньку, чтобы не очень его потревожить в такое позднее время.

— Нет уж! — запротестовал Шорти, мотая головой.— Не стану я ее звать, а не то она обозлится и начнет ругать меня. Судья Рэйни поужинал и ушел наверх курить сигару и устраиваться на ночь. Уж лучше бы ты оставил его в покое, а не то тебе же будет хуже.

— Я знаю свой долг и пришел сюда затем, чтобы его исполнить.

Пройдя мимо Шорти в конец коридора, Сэм остановился у лестницы.

— Мисс Дженни! Мисс Дженни! — громко позвал он.— Это Сэм Моксли здесь внизу! Я пришел за мистером Майло, чтобы взять его домой. Вы слышите меня, мисс Дженни?

Повсюду в доме было тихо. Шорти слез со стула.

— Разве вы не слышите меня, мисс Дженни? — еще громче начал Сэм.— Это Сэм Моксли здесь внизу, я уже пришел за мистером Майло.

Скрипнула дверь, и Дженни, запахивая поплотнее цветастый розовый халат, появилась на верхней площадке лестницы. Ее каштановые волосы распустились, и она поправляла их рукой, силясь рассмотреть высокую фигуру Сэма внизу под лестницей.

— Здравствуйте, мисс Дженни,— сказал Сэм, глядя вверх и улыбаясь ей.— Как вы себя чувствуете нынче?

— Что тебе здесь понадобилось, Сэм Моксли? — сердито спросила Дженни.— Разве ты не знаешь, как сейчас поздно? Ты бы должен понимать и не беспокоить судью Рэйни в такое время.

— Извините, что беспокою его и вас, мисс Дженни, но иначе я никак не могу,— твердым голосом отвечал Сэм.— Мне, право же, очень жаль, но я должен доставить мистера Майло домой, что бы вы ни говорили. Я вот уже тридцать лет хожу за ним днем и ночью и теперь прямо-таки обязан остаться при нем. Если вы будете любезны передать, что я велел ему встать с постели и сойти вниз, то я ни минуты лишней не задержусь тут.

— Судья Рэйни не маленький и знает, что делает, Сэм Моксли, он имеет право остаться там, где хочет. Если ты не уйдешь и не оставишь его в покое, он может рассердиться, и тогда уж тебе не поздоровится.

— Я все понимаю, что вы говорите, мисс Дженни, оно, может быть, и правда, но для меня значения не имеет. Я обещал мистеру Майло ходить за ним до самой смерти и слову своему не изменю. Вот это самое я и делаю тут — держу свое слово.

Подождав немного, Сэм Моксли стал подниматься по лестнице.

— Ты за это потеряешь свое место, Сэм Моксли,— предупредила его Дженни, отступая назад.— Погоди только, судья Рэйни сам тебе это скажет. Пожалеешь тогда, что меня не послушался.

— Может, оно так, мисс Дженни, не стану с вами спорить,— отвечал он, поднимаясь по лестнице,— но сперва я должен выполнить свой долг. Я во всю ночь ни на минуту глаз не сомкну, если его не выполню.

Дженни, плотно запахнув розовый халат, все отступала и отступала от лестницы, пока не остановилась в дверях комнаты.

— Последний раз тебя предупреждаю, Сэм Моксли, и ты лучше меня послушай. Пожалеешь еще, что на старости лет потерял такое хорошее место. Некому будет кормить тебя по три раза в день, да и ночью крова над головой никто не даст. Будешь просить милостыню на улице и жалеть, что не послушался меня.

— Я слышу, что вы говорите, мисс Дженни, только для меня это значения не имеет,— отвечал Сэм решительно.— Что ж, буду ходить голодный и оборванный, если уж так придется.

Сэм протянул руку за дверь и в темноте долго шарил по стенке, пока не нашел выключатель. Он повернул его, и секундой позже судья Рэйни сел в кровати, моргая от яркого света.

— Добрый вечер, мистер Майло,— степенно сказал Сэм.

— Черт бы побрал твою черную шкуру, Сэм Моксли! — прикрикнул на него судья Рэйни.— Что тебе здесь понадобилось? Я за тобой не посылал! Что с тобой такое? Ты, верно, рехнулся? Не видишь, что ли, что я сплю?

— Мне не надо видеть это, мистер Майло. Я это и так чувствую. Я уже понял, что должно случиться, после того как мисс Дженни позвонила по телефону и не велела готовить вам ужин, потому что она сама его приготовит. Вы же мне сами говорили, что когда леди собирается готовить для вас ужин и оставляет вас ночевать, то это верный знак, что дело пахнет не одним только ужином После того как мисс Дженни сказала мне это по телефону, я подождал ровно столько времени, чтобы дать вам поужинать и выкурить сигару, а потом скорей побежал сюда. Я уж знаю, когда приходит время выполнить свой долг, ведь вы же сами заставили меня пообещать, на случай ежели попадете в такую вот переделку. Не беда поболтать вечерком с доброй знакомой в гостиной, а вот остаться ночевать у нее в доме — это и до беды может довести. Вы же сами сколько раз мне это говорили, мистер Майло, и я вам обещал, что всегда приду за вами и заберу вас домой, пока не поздно.

— Ах ты африканская рожа! — сердито сказал судья Рэйни.— Пускай я ничего другого не сделаю, но в суд я пойду, и пусть тебе вручат повестку о выселении. Зашлют тебя в Африку, в такие дебри, что ты и света божьего не увидишь. Вот уже тридцать лет ты мне жить не даешь, ну и хватит с меня.

— Это все правда, мистер Майло. Я всегда так и поступал, как вы говорите. И я вот как вам благодарен за то, что вы позволяете мне ходить за собой.

Сэм нашел носки судьи Рэйни и откинул в сторону одеяло. Он успел надеть один носок судье на ногу раньше, чем тот отпихнул его от кровати. Потом, нырнув вперед, он крепко прижал локтем ногу судьи Рэйни и натянул второй носок. Крепко держа судью Рэйни, Сэм впихнул его ноги в штанины.

— Слышишь, что я говорю, Сэм Моксли? — закричал на него судья Рэйни, пыхтя и фыркая от напряжения.— Говорят тебе, мне надоело, что ты мной командуешь и во все лезешь! Надоело мне все время есть твою стряпню! И не нравится мне, что ты с меня снимаешь костюм, когда надо его погладить! И еще! Не нравится мне тоже, что ты каждое утро стягиваешь с меня одеяло и заставляешь вставать к завтраку!

Сэм застегивал на судье рубашку.

— Да, сэр, мистер Майло, я все слышу. И верю каждому вашему слову. Ничего, вы себе говорите все, что вам хочется. А теперь вам только надо встать на ноги, и я вам заправлю сорочку в штаны. Только не выпячивайте живот, пока я застегиваю вам пояс. Я уж и так тороплюсь изо всех сил, лишь бы нам поскорей отправиться домой. Вот ваш галстук, а если не хотите, то и не надевайте, я могу положить его к себе в карман. Скажите только, куда вы девали ваши ботинки, после того как сняли, и я их разыщу и надену вам.

— Удивляюсь вам, Майло,— сказала Дженни, стоя в дверях.— Вот уж никогда не думала, чтобы вы позволили кому-нибудь командовать собой. Неужели у вас совсем характера нет?

Шорти Гудвилли протиснулся в дверь рядом с Дженни, чтобы хорошенько разглядеть, что тут делается.

Сэм отыскал ботинки судьи под кроватью. Надев ботинки ему на ноги и крепко завязав шнурки, Сэм подал судье пиджак.

— Отстань, смола негритянская! — выбранил его судья Рэйни, стоя посреди комнаты в полном облачении.— Последний раз ты меня этак поднимаешь среди ночи. Первое, что я сделаю завтра утром, это добьюсь, чтобы тебе вручили повестку, как lunatico inquriendo *. Тогда засадят тебя, куда следовало засадить еще тридцать лет назад. Я сам виноват, что раньше не отправил тебя в сумасшедший дом.

— Говорите себе все, что вам хочется, мистер Майло. Я на ваши слова не обижаюсь. Вы уж столько раз мне твердили это самое, что я очень хорошо понимаю, что оно значит. А полоумным меня и раньше никогда не считали, да и на этот раз вряд ли сочтут.

Крепко ухватив судью под руку, Сэм повел его из спальни в прихожую. Дженни и Шорти вышли за ними на площадку.

— Не могу себе представить, почему вы позволяете Сэму Моксли так собой командовать,— сказала Дженни резким обиженным голосом, когда они стали спускаться по лестнице,— если только не вы сами все подстроили, чтобы не оставаться здесь на ночь. А если не это, всякий подумал бы, что уж такой-то человек, как вы, сумеет настоять на своем. И все-таки мне не нравится, что вы меня оставили на бобах, после того как я приготовила вам ужин и рассчитывала, что вы останетесь у меня на всю ночь. Теперь выходит, что это еще новое несчастье на мою голову. А ведь как будто я имею право на внимание после всех моих хлопот.

Смущенно опустив голову, судья Рэйни спускался вместе с Сэмом по лестнице. Избегая ожесточенного взгляда Дженни, он не произнес ни слова, пока Сэм подавал ему шляпу и надевал на него пальто.

За это время Дженни и Шорти тоже успели сойти с лестницы. Шорти поскорей залез на стул, боясь упустить что-нибудь из происходящего.

Перед тем как выйти на улицу, судья Рэйни обернулся и взглянул на Дженни, но, увидев ее разгневанное лицо, так и не сказал ни слова. Она же только собралась что-то ему сказать, как Сэм выпихнул его на улицу и закрыл за собой дверь.

После того, как они ушли, Дженни долго стояла неподвижно, глядя на парадную дверь с изумлением на круглом раскрасневшемся лице. Вдруг она нагнулась, схватила горшок с цветами и изо всех сил швыр-

---

* По подозрению в сумасшествии *(лат.)*.

нула его в дверь. Осколки горшка и обломки цветущих веток усыпали пол в прихожей.

Даже не взглянув на то, что она натворила, Дженни плотно запахнула розовый цветастый халат вокруг своих мощных бедер и пошла наверх. Не пройдя еще и половины пути, она вдруг остановилась и обернулась. Шорти глядел на нее, радостно ухмыляясь.

— Не знаю, почему бы это,— сказала она обиженным тоном,— как только мне захочется оказать кому-нибудь внимание, а это моя самая большая слабость, непременно что-нибудь да случится. Никогда ничего из этого не выходит.

Она опять стала подниматься по лестнице на второй этаж. Дойдя почти до самого верха, она остановилась и поглядела вниз, на Шорти. Тот все еще стоял у лестницы в надежде, что его позовут.

— Визи,— позвала Дженни, поманив его рукой.— Визи, иди со мной наверх.



## 4

Дженни Ройстер в цветастом розовом халате и стоптанных желтых шлепанцах гладила в кухне свою любимую блузку, когда Клара Крокмор вышла из своего дома, перебежала двор и легонько постучалась с черного хода.

Была середина утра, между десятью и одиннадцатью часами, дул мягкий юго-восточный ветерок, и солнце жарко светило после холодной ночи. Дженни была одна в кухне, она тихонько напевала что-то и чувствовала себя свободно и легко, не стесненная лифчиком и корсетом. В это утро она не дала себе труда причесать и уложить свои пушистые каштановые волосы, и они космами падали ей на шею. Как всегда в это время дня, Бетти Вудраф еще спала в своей комнате наверху.

Возвращаясь домой очень поздно, большей частью в полночь, а то и в два-три часа утра, Бетти повадилась спать целое утро, а потом читать лежа в постели чуть не весь день. После этого она спускалась в кухню, жарила себе хлеб и варила кофе. В середине дня принимала ванну, одевалась в свое лучшее платье для прогулки и медленно шла в центр города, на площадь к зданию суда. Там она проводила час-другой, не спеша делала нужные покупки или сидела в аптеке у стойки с газированной водой. Теперь она уже знала почти всех дельцов, адвокатов и учителей в Сэллисоу и всегда была любезна и приветлива, если с ней заговаривали в магазине, но никогда не останавливалась поговорить с кем бы то ни было на улице. Бетти неизменно возвращалась домой на Морнингсайд-стрит засветло и переодевалась к вечеру в брюки и свитер.

Шорти Гудвилли после завтрака ушел в город посмотреть, нет ли ему писем на почте. Хождение за письмами всегда занимало много времени, и, кроме того, это стало для него переживанием, доставляющим удовольствие каждый день. Люди любопытствовали насчет Шорти, часто останавливали его на улице или приглашали в бар распить бутылочку пива. Каждому хотелось послушать его рассказы про лилипутов и карликов, которых он знал лично, и рассказать ему про свои знакомства с циркачами.

Шорти любил получать письма и часами носить их в кармане нераспечатанными, представляя себе, что в них может быть написано, и потому он никогда не терял надежды, что кто-нибудь ему напишет. Однако бывало, что за несколько недель он не получал ни одного письма. Состоя платным членом клуба «Маленькие люди Соединенных Штатов», Шорти знал, что раз в месяц должен обязательно получить клуб-

ный журнал. Изредка приходил циркуляр от директора компании балаганов с изменениями в маршруте будущего турне. Иной раз он бывал очень доволен, получив открытку от кого-нибудь из лилипутов, зимовавших во Флориде. В сущности, Шорти получал больше писем, когда разъезжал с балаганом, потому что Дженни часто ему писала о том, как она скучает и как ей одиноко в доме без него.

Отворив дверь Кларе Крокмор и улыбнувшись ей обычной беглой улыбкой, но не обменявшись с ней ни словом, Дженни вернулась к гладильной доске, чтобы не торопясь догладить блузку.

Дженни и Клара так привыкли ходить друг к другу в гости в любое время дня и виделись так часто из недели в неделю, что иной раз, встречаясь, не разговаривали по получасу. Однако обе они были довольны этим молчанием, и им просто нравилось составлять компанию друг другу, пока одной из них не вздумается заговорить.

Когда Клара направлялась через всю кухню к стулу, Дженни кивком головы указала ей на кофейник, стоявший на плите. Клара подошла к плите и налила себе чашку горячего кофе с сахаром и сливками. Потом она уселась, скрестив ноги и с удобством откинувшись на спинку стула. Прихлебывая кофе, она терпеливо ждала, пока Дженни неторопливо и старательно гладила блузку.

Клара Крокмор была вдова лет около пятидесяти, немногим моложе Дженни, с очень светлыми, всегда аккуратно причесанными и завитыми волосами. Она была маленькая, изящная, с ярко-голубыми глазами и ямочками на щеках, и фигура у нее до сих пор оставалась такой же, как в молодости. Если Клара и не вышла во второй раз замуж, то вовсе не потому, что ей этого не хотелось. Она часто говорила Дженни: она надеется, что ей не придется провести остаток своей жизни в одиночестве, а уж в крайнем случае не побоится выйти за порог своего дома и подцепить какого-нибудь мужчину, какой попадется навстречу. Совсем недавно, под видом шутки, а на самом деле вполне серьезно, она сказала, что если кто-нибудь не поторопится сделать ей предложение, то она пустит к себе жильца.

В течение тех пяти лет, которые прошли после смерти ее мужа Джорджа Крокмора, Клара жила одна в соседнем доме и посвящала много времени уходу за цветами в саду позади дома. Кроме того, она была искусная швея и гордилась тем, что сама кроила и шила себе платья. Джордж Крокмор много лет прослужил кассиром в банке и благодаря своей предусмотрительности и умению вести денежные дела смог оставить Кларе большую страховую премию и сбережения, так что она всю свою остальную жизнь могла прожить не нуждаясь. Ее двухэтажный кирпичный дом был оплачен полностью, и автомобиль у нее был дорогой, последней модели.

Дженни кончила гладить блузку, к полному своему удовольствию, и, подняв ее на руках и одобрительно оглядев, повесила на вешалку, чтобы не измять, когда понесет наверх, в свою комнату. После этого она выбрала одну из бумажных юбок, выстиранных накануне, и раскинула ее на гладильной доске. Прежде чем снова приняться за глаженье, она оглянулась на Клару, выразительно приподняв брови, что означало готовность к разговору.

— Ужас какой мороз был нынче ночью, правда, Дженни?

Клара выпалила это с такой быстротой, которая давала понять, что все это время она только и дожидалась минуты начать беседу.

— Видела ты хоть что-нибудь похожее так рано осенью, Дженни? Я в жизни ничего подобного не видела, сколько себя помню.

— Страшный был мороз,— согласилась Дженни, мерно кивая головой.— Просто страшный.

Осторожно приподняв подол юбки, Клара положила ногу на ногу, потом вытянула ногу кверху, рассматривая тонкую лодыжку.

— Старость, что ли, подходит,— говорила Клара, наклоняясь и поглаживая икру,— но зима как будто становится все холодней и холодней с каждым годом. Если будут еще такие заморозки, как прошлой ночью, придется поехать в центр города и купить себе еще одно одеяло потеплее. Сказать по правде... то есть... ну, каждую зиму я все больше и больше зябну по ночам, с тех пор как Джордж умер.— Она замолчала и опять принялась растирать икру.— Всего обиднее в этом вчерашнем морозе то, что после всех моих летних трудов и забот у меня наутро ни единого цветочка в саду не осталось. Так это меня расстроило, хоть плачь.

Когда Клара кончила говорить и умолкла, Дженни закивала головой в знак согласия.

— У меня пропали этой ночью все мои красные и желтые хризантемы, все до единой,— сказала Дженни со вздохом.— А таких красивых мне еще ни разу не удавалось вырастить. Уж не знаю почему, только ухаживать за цветами и за всякими растениями — самая моя большая слабость. Просто стыд и срам, что холода завернули так рано. Погода точно назло нам испортилась, а то, пожалуй, еще недели три не было бы таких жестоких заморозков. Я только одному рада. Все мои цветы в горшках я внесла в дом вчера вечером, а если б забыла и оставила в саду, их побило бы морозом. Просто хоть ложись да помирай, так жалко было бы, если бы они пропали.

— У тебя, Дженни, прелесть какие цветы в горшках,— сказала Клара.— Я всегда на них любуюсь.

— И я тоже всегда любуюсь на те цветы, что ты разводишь за домом.

Дженни продолжала гладить юбку, а Клара допивала кофе, поглядывая на Дженни поверх края чашки. Минуты проходили в молчании.

Клара встала со стула и понесла чашку с блюдечком к раковине. Она довольно долго простояла к Дженни спиной, старательно моя и полоща чашку с блюдечком в горячей воде. Кончив вытирать их посудным полотенцем, она обернулась и посмотрела на Дженни.

Дженни весело напевала про себя, водя утюгом взад и вперед по юбке.

— Не знаю, правда или нет, только я слышала, что твои жильцы у тебя не останутся,— сказала Клара, стараясь, чтобы голос звучал как можно естественнее.— Я очень удивилась, когда это услышала, и никак не могла решить, правда это или нет.

Дженни поставила утюг, с размаху стукнув им по доске. Она сразу перестала петь, но не подняла глаз от юбки, которую гладила.

— Что такое ты слышала? — спросила она у Клары немного погодя.— Как ты сказала?

— Ну, я слышала, что твои жильцы, может быть, переедут от тебя куда-нибудь в другое место. Да ведь я уже говорила, неизвестно, правда это или нет...

Медленно обернувшись, Дженни посмотрела Кларе прямо в глаза. Лицо Дженни покраснело, и губы слегка вздрагивали. Словно подкошенная внезапной болезнью, она опустила руку на гладильную доску и оперлась на нее всей тяжестью.

— Где это ты такое слышала? — спросила Дженни резким и дрожащим голосом.— Кто это шляется по городу и сплетничает на мой счет? От кого ты слышала такую гадость? Я хочу все знать.

Опустив глаза и избегая гневного взгляда Дженни, Клара вернулась к своему стулу и села. Дженни бросила гладильную доску и, перейдя через всю кухню, остановилась перед Кларой.

— Ну выкладывай, не стесняйся,— сказала Дженни.

— Что ж, Дженни, я думаю, теперь чуть ли не весь город про это слыхал,— сказала Клара.— Я-то уж, во всяком случае, последняя узнаю, что говорят.

— А когда ты это слышала?

— Нынче утром.

— Кто тебе сказал?

— Норма Поуп.

— А что она говорила?

— Ну, я была у себя в саду вот только что, а она подошла к забору и начала про это рассказывать, не знаю только, от кого она слыхала. Думаю, какая-нибудь соседка рассказала. Знаешь ведь, Дженни, как такие слухи разносятся с одной улицы на другую. Это уж всегда так бывает. Самый пустяк подхватят и разнесут по всему городу, как пожар по ветру.

Запахнув цветастый розовый халат, Дженни тяжело опустилась на первый попавшийся стул и вздохнула тяжелым, глубоким вздохом. Ее круглое полное лицо раскраснелось еще сильнее.

— Ну-ну, не стесняйся, рассказывай все, что ты слыхала, Клара,— сказала Дженни натянутым тоном, стискивая руки на животе.— Я хочу точно знать все, что говорили, все, до последнего слова. Что про меня говорили, Клара?

Клара приподняла юбку и переложила ногу с одной на другую.

— Право, я тут ни при чем, и винить меня не за что,— принужденно начала Клара. Наклонившись вперед, она растирала икру во время разговора.— Я только повторила то, что мне сказали другие: Норма Поуп. Мы с тобой все это время дружили, были хорошими соседками, ты же знаешь, за твоей спиной я ничего такого не стала бы говорить, чего не скажу тебе прямо в глаза. У меня, может, есть свои недостатки, но я не из таких подруг.

Клара выпрямилась и начала вертеть верхнюю пуговицу на платье.

— Я и не говорю, что обижаюсь на тебя, я хочу только знать, что ты про меня слышала.

— Ну так вот,— сказала Клара, все еще избегая глядеть на Дженни,— ну так вот, я слыхала—я ведь только повторяю слово в слово то, что мне говорила Норма Поуп нынче утром,— так вот, Норма говорила, будто некоторые люди... то есть она слыхала, будто кое-кто собирается наделать тебе таких неприятностей, что тебе придется продать свой дом и уехать из города, если ты не заставишь Бетти Вудраф немедленно съехать с квартиры.

Дженни еще плотней завернулась в розовый халат и спокойно улыбнулась. В первый раз за все время разговора она откинулась на спинку стула.

— Я больше ничуть не беспокоюсь насчет этих святош из церкви Тяжкого креста, что напротив,— ответила она.— Мой адвокат сказал...

— Дженни, ведь это не святоши говорили про то, что я слышала...

— А кто же еще станет про меня такое говорить?

— Это те женщины, которые узнали, что их мужья встречаются с Бетти Вудраф в пансионатах на шоссе.

Моргая глазами, Дженни смотрела на Клару и не видела ее.

— Жизнь моя — это сплошные беды и несчастья, не одно, так другое,— сказала она, помолчав,— и похоже, что конца этому не будет, пока я не помру. Я думала, все мои неприятности кончатся, когда я уйду на покой. В прежнее время, когда я была еще молоденькая и мужчины за мной гонялись, вот уж не приходилось беспокоиться, что обо мне говорят. Все, что сейчас творится, только доказывает, что одно дело, когда женщина молодая и красивая, и другое, когда она состарится и подурнеет, с ней совсем иначе обращаются. Что еще ты слыхала?

— Ну...

— Не стесняйся, Клара, выкладывай.

— Ну, говорили, будто Бетти Вудраф каждый божий день ходит в центр города выставлять себя напоказ и в конце концов всегда подцепит не одного мужчину, так другого, каждую ночь ездит по пансионатам и ведет себя скандально. Говорят, она потому может соблазнить любого мужчину, что держит себя с ними по-особенному, прямо-таки неприлично. Что это значит, не знаю, но догадываюсь. Как бы там ни было, говорят еще, что во всем этом ты виновата: мужчине стоит только позвонить тебе на дом, поговорить с Бетти, и через четверть часа она выезжает на свидание с ним куда угодно.

Дженни поджала губы.

— Еще что, Клара?

— Это почти и все, разве вот только говорят еще, будто бы она тому, что знает, выучилась от тебя.

— Ты следила бы за собой, Клара, а за своим поведением я и сама услежу! Я теперь почтенная женщина на покое, ничуть не хуже других! А кроме того, каждая девушка обязана знать, как обращаться с мужчиной.

— Дженни, не злись на меня за то, что я тебе про это рассказала,— начала Клара.— Ты же сама говорила, что хочешь знать все, что я слышала, а ведь я только передала то, что Норма Поуп слышала от кого-то.

— Я имею право сердиться на всякого, кто не считает меня за порядочную женщину на покое, гордости у меня не меньше, чем у других прочих. А если я по своей доброте что-нибудь и посоветую Бетти с глазу на глаз, так это уж, во всяком случае, никого не касается. Для нас, женщин, разговор по душам — такое же обыкновенное дело, как для мужчин выпивка, сама знаешь. Кроме того, для Бетти большой удар, что ее бросил этот футбольный тренер, надо же кому-нибудь вроде меня помочь ей стать на ноги. Некоторые девушки после такого удара и мужчину к себе не подпустят, так и останутся в старых девах, а другие в конце концов выйдут на улицу просить, чтобы им доллар разменяли. Я не желаю Бетти ни того, ни другого.

Она замолчала, тяжело и часто дыша.

— Ну, рассказывай остальное, Клара. Что еще ты про меня слышала?

— Больше я уж ничего не помню,— осторожно отвечала Клара.

— Это верно? — настаивала Дженни.— Больше так-таки ничего про меня и не говорили?

— Ну, может, и еще кое-что было.

— Что такое?

— Ну, кто-то там сказал, что если ты сейчас пожилая женщина на покое, то это еще не значит, что ты бросила прежние свои повадки, и жить рядом с церковью тебе совсем не к лицу.

Дженни вскочила с места и принялась расхаживать по кухне взад и вперед. Она так разволновалась, что даже не заметила, как один из желтых шлепанцев соскочил у нее с ноги.

— Знаю я отлично, откуда эта мерзкая сплетня пошла,— с горечью заговорила Дженни.— Все эти ханжи из церкви Тяжкого креста да еще проповедник Клу. Никто другой не стал бы говорить про меня такие гадости. Они сюда приходили вчера и грозили мне всякими неприятностями, если я не прогоню Бетти с квартиры. Это для них предлог оттягать мой участок, чтоб поставить на нем пристройку к церкви. Вот именно потому я и упираюсь и ни за что не соглашусь! Я им покажу! Даже если они одумаются и станут давать больше, чем я прошу, я теперь ни за что не продам им свой дом! Я их проучу!

Заметив наконец, что она потеряла один из желтых шлепанцев, Дженни остановилась и, окинув взглядом кухню, увидела его. Не нагибаясь, она сунула ногу в шлепанец и снова зашагала по кухне.

— Нипочем не уступлю, уж я знаю, как сделать по-своему. Скажу Бетти Вудраф, пусть живет у меня хоть десять лет, если ей хочется, и еще найду таких жилиц, как она, столько напущу, что ни единой свободной кровати не останется. А когда будет у меня в доме полно жилиц, так, наверно, пожалеют эти святоши со своим проповедником, что говорили про меня всякие гадости. Этот дом ославит весь город лет на сто.

Слезы уже стояли у нее в глазах, и она принялась рыдать так, что сотрясалось все ее тучное тело. Ничего не видя от слез, она подошла к стулу Клары и упала на колени. Клара обняла ее и в утешение похлопывала по спине. Плача, как малое дитя, Дженни уткнулась лицом в колени Клары.

— Не плачь так, Дженни,— нежно сказала Клара, гладя ее по спутанным каштановым волосам.—Не стоит расстраиваться и терять голову из-за таких людей. Дом твой, никто тебя из него не выселит. Имеешь право жить здесь, сколько тебе вздумается.

Дженни отвернула край розового халата и прижала его к лицу.

— Иной раз мне кажется, будто у меня ни одного друга нет на всем белом свете,— прорыдала она, судорожно всхлипывая.— Люди со мной обращаются, как с негодной старой шваброй, которую пора выбросить на помойку. Когда я была молоденькой и хорошенькой девушкой, никто ко мне так гадко не относился. А когда я состарилась да расплылась и пришлось мне уйти на покой, никто не хочет обращаться со мной по-хорошему. Как же они думают, куда женщине деваться, когда она уходит на покой? Надо же мне где-то жить, ведь правда? А разве я не скопила деньги и не заплатила за свой дом, чтобы жить в нем на покое? Ведь заплатила же! Так почему же мне нельзя жить в своем собственном доме, жить и дышать, как всем другим людям?

— Да, Дженни,— успокоительно повторила Клара.— Да, Дженни.

— Это просто стыд и срам так обращаться с человеком, как они со мной обращаются. На сорок миль в окружности не было мужчины, который не гонялся бы за мной, когда я была молода и хороша, а теперь, когда я состарилась и подурнела, они хотят от меня отделаться. Я привыкла получать все, что ни попрошу, когда была молоденькой девушкой, а теперь они не дают мне жить в моем собственном доме, который я купила на свои собственные деньги. Могла бы я назвать кое-кого из этих самых мужчин, которые, бывало, проводили со мной время, когда они еще не уверовали в бога и не примкнули к этой церкви, и я умела им угодить, можешь мне поверить, а теперь все они против меня, такие стали ханжи и стараются выжить меня из города. До того это меня злит, просто плюнуть хочется!

— Дженни, я тебе друг, ты всегда можешь на меня рассчитывать,— сказала Клара, все так же нежно поглаживая ее по волосам.— Брось-ка расстраиваться из-за того, что люди говорят. Про всякую женщину когда-нибудь да сплетничают, вот теперь пришел и твой черед.

Вытерев слезы, Дженни подошла к плите и налила кофе в чашку. Она положила туда несколько ложек сахару и начала так энергично его размешивать, что кофе выплеснулся на ее розовый халат.

— Смотри же, Клара, помни, что я тебе сказала,— заговорила Дженни настойчивым тоном.— Я решила, что не выгоню Бетти Вудраф из моего дома. Не так давно эти ханжи со своим проповедником хотели, чтобы я выгнала Визи Гудвилли из своего дома, однако он все еще тут. Это когда они говорили, что мне грешно и безнравственно жить с Визи под одной крышей. Не знаю, с чего это они взяли — ведь я на ночь всегда спускаю шторы, ну а если и так, женщина имеет право заниматься сво-

ими личными делами, когда ей вздумается. Я лет тридцать пять так живу, не меньше, и теперь ни от чего такого отказываться не собираюсь.

Клара встала и вышла на середину комнаты.

— Мне пора домой, — сказала она. — Скоро уж полдень.

Она пошла к черному ходу, но, сделав несколько шагов, остановилась.

— Дженни, если что-нибудь случится, я хочу сказать, если Визи Гудвилли придется выехать из твоего дома... — Клара до того нервничала и волновалась, что ей пришлось замолчать и перевести дух, не докончив фразы. — Ну вот, у меня в доме есть свободная комната, он может в нее переехать.

— Это уж такая низость, Клара Крокмор, что я в жизни ничего подобного не слыхивала! Я знаю, что у тебя на уме! Ты меня не проведешь! Стараешься переманить Визи к себе в дом! Думаешь, что можешь отбить его у меня, верно? Ну а я тебе вот что скажу, Клара Крокмор! Он мой — и я не позволю тебе его переманить!

Дженни бросилась к Кларе, не дав ей добраться до двери. Клара не успела еще открыть дверь, как Дженни вцепилась ей в короткие светлые волосы обеими руками и принялась дергать их так, что у той моталась голова. Клара, не в силах вырваться, пронзительно визжа, тянула и дергала розовый халат Дженни, пока совсем его не сорвала. Дженни попробовала тоже сорвать с Клары платье, и обе они повалились на пол. Клара, более проворная, сумела вырваться и отворить дверь. Не оглядываясь назад, она скатилась по ступенькам крыльца и бросилась к себе во двор.

Отбежав на безопасное расстояние, Клара остановилась и оглянулась. Дженни стояла на крыльце, зажав в руке лоскут розового халата.

— Не смей подходить к моему дому, пока я жива, ты, подлая, скверная тварь! — кричала Дженни Кларе. — Ноги твоей чтобы не было в моем доме, а не то я все твои желтые космы повыдеру! Сорву с тебя все твои тряпки, будешь голая, как вареная курица! И разговаривать с тобой больше не желаю! А будешь Визи Гудвилли к себе в дом переманивать — задушу, если поймаю! Мужчину у меня никто не отобьет, пока он мне самой нужен!

## 5

Как раз перед сумерками проповедник Клу положил свой чемодан в машину и, сгорбившись и сжавшись за рулем, в надежде, что его не узнают, пока он едет по городу, торопливо проехал по городской площади. Его тревога почти улеглась, когда он достиг городской черты, хотя он все еще нервничал и волновался.

Он повернул на шоссе, ведущее к Саммер-Глэйд, маленькому городку на равнине. Жаркое солнце весь день светило с ясного неба, и в конце дня ветер переменился с юго-восточного на юго-западный. С наступлением ночи ветерок с Мексиканского залива принес тепло и туман.

Проповедник Клу весь день строил планы и обдумывал то, к чему так стремился, потом, утвердившись в своем решении, нетерпеливо ждал, когда стемнеет. Он убедил себя, что его долг, как проповедника, узнать о жизни все, что только возможно, и строить свои проповеди на реальной основе личного опыта и наблюдения. После этого ему уже нетрудно было убедить себя в том, что он должен провести ночь в мотеле, чтобы из первых рук составить представление об этой, особенной стороне жизни.

Каждый раз, услышав о том, как Бетти Вудраф ездит в пансионат «Приятное времяпрепровождение», проповедник Клу испытывал сильное, неотразимое желание отправиться туда самому. Несколько раз,

спрятавшись за живой изгородью церковного двора, он подглядывал, как Бетти выходит из дома Дженни Ройстер и уезжает в ночную темноту, а однажды он погнался за ней в своей машине, чтобы узнать, куда она едет. Проследив за Бетти, он возвращался домой и не спал всю ночь, часами ворочаясь в кровати, терзаемый опустошительными мыслями о ней.

На шоссе между Сэллисоу и Саммер-Глэйд стояло около десятка пансионатов, одни — веселые и новые, другие — полуразвалившиеся, ветхие домишки, и каждый раз, когда он проезжал мимо одного из них, его все больше тревожило и волновало то, что он собирался сделать.

В некоторые из пансионатов поновей к ночи съезжались постояльцы, и он видел, как мужчины и женщины высаживались из своих машин и входили в комнаты. И хотя он чувствовал себя все более и более одиноким, ему было приятно думать, что скоро он и сам войдет в одну из этих комнат. Когда он доехал до Саммер-Глэйд и торопливо повернул обратно в Сэллисоу, было уже темно, и в пансионатах зажглись огни и яркие электрические вывески.

Проповедник Клу был еще молодой человек, моложе тридцати лет, с редкими черными волосами и бледной вялой кожей. Роста он был маленького, немногим больше пяти футов, худой и щуплый телом. По натуре нервный и возбудимый, он легко волновался и приходил в раж от собственных проповедей. Бывали случаи, когда он вопил и выкликал с таким жаром, что к концу проповеди терял голос и едва мог говорить хриплым шепотом. В такие минуты, когда его слов нельзя было расслышать, он возбужденно подпрыгивал и подскакивал, а иногда, бросившись на пол, катался по нему до полного изнеможения. Благословив и отпустив паству, он обычно бывал весь в поту, а его синий костюм оказывался измят и весь в пыли.

Он родился в нижней части округа Индианола в поселке, где гнали скипидар: отец его был кочегаром на перегонном заводе, а мать — вольнонаемной стряпухой и подавальщицей, и ему ни разу не пришлось побывать дальше чем за сорок миль от места своего рождения. Два года он ходил в школу, потом пошел работать на лесопилку, и у него не было возможности подготовиться к пасторскому служению. Тем не менее в двадцать три года, став напористым церковным сборщиком, сильным и пламенным оратором, на собрании верующих он обратился к богу и с тех пор успешно проповедовал слово божие. С особенным успехом он собирал деньги на построение церквей.

Некоторые прихожане церкви Тяжкого креста говорили между собой, что было бы гораздо лучше, если бы их проповедник имел жену и детей, хотя бы для соблюдения приличий, но до сих пор он не проявлял никакой склонности к браку. Один из членов церковного совета заговорил с ним как-то раз на эту тему, намекнув, что неженатому проповеднику всегда угрожает опасность быть замешанным в какой-нибудь скандал, но проповедник так взволновался и расстроился, что больше этого вопроса уже не касались.

Ближе всего проповедник Клу подошел к женитьбе в тот вечер, когда ему случилось провожать домой после спевки молоденькую солистку из церковного хора. Они так долго сидели в машине перед ее домом, что отец девушки вышел на улицу и застал их любезничающими на заднем сиденье. Он до того изумился, что поскорее отошел в сторонку, подумав, что по ошибке заглянул не в ту машину. Однако, постояв и поразмыслив, он, хотя и не узнал проповедника Клу, все же почувствовал твердую уверенность, что узнал его старую желтую машину, и вернулся посмотреть еще раз. Они все еще любезничали, и на этот раз отец прикрикнул на них и светил в машину фонариком до тех пор, пока проповедник Клу не пришел в себя.

Почти целый час после того как проповедник Клу вылез из машины, шли разговоры и споры, угрозы и оправдания. Однако девушка была слишком молода для замужества, даже получить разрешение на брак в ее возрасте было бы невозможно, и проповедник Клу дал слово, что не только не станет за ней больше ухаживать, но и не будет провожать ее домой после спевки. Но все равно отец забрал ее из церковного хора, так что ни в каких таких спевках она больше не участвовала.

Доехав до пансионата «Приятное времяпрепровождение», проповедник Клу без всяких колебаний направил машину по ярко освещенной подъездной дороге. Перед пансионатом уже стояло несколько машин, и он увидел, как Стэнли Причард отпирает дверь комнаты для только что приехавших мужчины и женщины. Остановив машину перед конторой, проповедник Клу в тревоге стал дожидаться возвращения Стэнли.

Стэнли Причард, владелец и директор пансионата, был верным прихожанином церкви Тяжкого креста и, не говоря уже о том, что проповедник заранее решил поехать в этот пансионат, он думал, что благоразумнее будет провести ночь там, где его знают. Хотя ему не приходила в голову мысль о каких-либо осложнениях или неприятностях, он впервые остановился в пансионате и чувствовал себя в безопасности, находясь под защитой одного из своих прихожан.

Пока он дожидался в машине, в голове у него с лихорадочной быстротой проносились мысли о том, что он собирался сделать. Он надеялся, что Стэнли вернется в контору без задержки: теперь, когда уже стемнело и он действительно попал в пансионат, ему не терпелось поскорей занять комнату на ночь.

Наконец, прокопавшись, как показалось проповеднику, излишне долго, Стэнли Причард вернулся в контору. Через несколько минут, заметив, что Стэнли смотрит на него в окно, он вылез из машины и вошел в дом. Стэнли посмотрел на него неузнающим взглядом, когда он вошел в маленькую контору и закрыл за собой дверь.

— Это я,— сказал проповедник Клу, застенчиво ухмыльнувшись. Нервным движением руки он пригладил редкие черные волосы.— Проповедник Клу.

— Провалиться мне! — сказал Стэнли, выходя вперед и пожимая ему руку.— Вот так сюрприз, проповедник Клу. Когда я увидел вашу машину на дороге, то подумал, что это какой-нибудь турист хочет прицениться к комнатам на ночь, и в голову не приходило, что это вы.

Засунув руки в карманы, проповедник Клу усмехнулся, судорожно кривя губы.

— Думаю, что я и есть турист,— сказал он.

Озадаченный Стэнли посмотрел на него вопросительно.

— Как же так, проповедник Клу? Разве вы можете быть туристом?

— Что ж, я вам объясню, мистер Причард,— начал тот, беспокойно улыбаясь.— Последнее время я много думал и пришел к заключению, что должен изучить жизнь и поведение людей, странствующих по дорогам Америки в наше время. Это новый и совсем особый образ жизни, и бдительный проповедник не может заниматься своим делом, не собрав таких сведений и не изучив всех важных перемен в обычаях и нравах. Вот почему я и решил поехать к вам, чтобы получить сведения из первых рук.

— Так вы и вправду хотите переночевать здесь, в пансионате? — спросил Стэнли.

— Ну, конечно, мистер Причард.

— А с вами никого нет, вы совсем один?

— Да, разумеется. Я один.

— Глупо, с моей стороны, было спрашивать,— сказал Стэнли, коротко рассмеявшись от смущения.— И вы не подумайте, проповедник

Клу, будто я имел в виду что-нибудь такое... Я просто привык задавать туристам этот вопрос, а то, знаете ли, иной раз бывает, сдашь туристу одиночную комнату, и не успеешь оглянуться, а женщина уж тут как тут снует взад-вперед, то в комнату, то из комнаты, а бывает, что и на всю ночь останется. Вот почему я всегда стараюсь выяснить наперед, не двое ли их, и тогда уж плата будет двойная. А когда человек уже вошел в комнату и запер за собой дверь, из него не так легко выколотить еще доллар-другой.

— Сколько мне это будет стоить? — спросил проповедник, вынимая руки из карманов и переминаясь с ноги на ногу.

— Вам? — отвечал Стэнли, мотнув головой. — Вам это ничего не будет стоить, проповедник Клу. Я только объяснил, как мне приходится поступать с обыкновенными туристами. Я вам отведу самый лучший номер, какой у меня имеется, ведь это для меня большая честь, что вы остановились в пансионате «Приятное времяпрепровождение». Кроме того, со своего проповедника я и вообще не хочу ничего брать. Как это можно!

— Но я не могу вам обязываться...

— Никому вы не обязываетесь, проповедник Клу. Вы оказываете мне большую честь, да и комнат свободных у меня в это время года много. Большой наплыв туристов еще не начался, а вот через месяц много народа поедет мимо нас во Флориду. Но я люблю все-таки, чтобы и до начала сезона у меня как можно больше комнат было занято, это полезно для дела. Когда средний турист увидит, что пансионат всегда полон и перед домом стоит много машин, то это даст его мыслям благоприятный оборот: ему и самому захочется остановиться.

Стэнли зашел за конторку и достал ключ из шкафчика на стене.

— Я отведу вам номер двадцать четвертый, проповедник Клу,— сказал он.— Как я уже говорил, я хочу дать вам лучший номер в пансионате. Кроме того, он в дальнем конце двора, там тихо и вроде бы изолированно, вас не будет беспокоить хождение взад и вперед. Мне хочется как следует о вас позаботиться, вот почему я не помещу вас в самой толчее; ведь некоторые люди, стоит им попасть в пансионат, начинают вести себя совсем по-другому. Об этой странности в человеческом характере я не знал, пока не начал толкаться среди публики.

— Вот это, между прочим, я и хотел узнать...

— Могу вам сказать, что я многое понял, наблюдая, как люди ведут себя в пансионате. Что верно, то верно: мужчины пьют куда больше виски, а женщины в номере пансионата становятся куда распущеннее, чем у себя дома. Мужчины стучатся в дверь к незнакомому человеку и прямо из себя выходят, ругаются на чем свет стоит, если ты не хлебнешь виски из их фляги, приходилось видеть тоже, как женщины бегают наполовину одетые и сами напрашиваются, чтобы мужчины заглянули под другую половину.

— Не в моих правилах пить виски,— ни минуты не медля, отрезал проповедник.

— Я знаю, что не в ваших, а если кто-нибудь к вам пристанет с этим, так вы сразу же дайте мне знать. Я вовсе не хочу, чтобы с вами что-нибудь этакое случилось, проповедник Клу. А теперь садитесь в вашу машину и поезжайте за мной на другой конец двора. Я вам покажу, как попасть в вашу комнату.

Следуя за указующей рукой Стэнли Причарда, проповедник Клу подкатил свою запыленную рыжую машину к двери номера двадцать четвертого. Достав из машины свой чемодан, он внес его в номер.

Стэнли уже включил и свет и электрическую печку и теперь спускал шторы на окне. В одном углу стоял телевизор, в другом — маленький холодильник, а у стола — два дубовых кресла. Широкая кровать, заст-

ланная ярко-оранжевым покрывалом, занимала почти все остальное место в комнате. Был тут еще ковер во всю комнату и несколько ламп под абажурами.

Проповедник Клу, разинув рот от удивления, поставил чемодан на пол и загляделся на кровать.

— Никогда в жизни не видел такой широкой кровати,— сказал он, подходя к ней ближе.— Я и не знал, что бывают такие. Почти вдвое шире любой кровати, какую мне приходилось видеть. Она такая широкая, что в ней могут спать трое, а то и четверо.

— Довольно и двоих, проповедник Клу,— слегка улыбнувшись, сказал Стэнли.— Если больше двоих, остальным придется взять другую комнату.

— Так для чего же кровати делают такими широкими?— спросил он.

— Что ж, я вам объясню, проповедник Клу. С тех пор как я открыл пансионат и начал толкаться среди публики, я понял, что время от времени привычки у людей меняются, и одна из новых привычек — это спанье в таких вот широких кроватях. Еще не так давно все туристы говорили, что им нужны две кровати в номере, и приходилось таким ставить две кровати, чтобы угодить публике и дать ей то, что она желает. Прошло совсем немного времени, и вдруг туристы стали требовать вот такие широкие кровати, и мне пришлось спешно приобретать их, чтобы не остаться в убытке. Если вы сумеете объяснить мне, почему люди так скоро меняют свои привычки, значит, вы знаете о человеческой природе больше моего.

Проповедник только покачал головой.

— Я уже начинаю узнавать больше, чем знал когда-либо.

— И этого еще мало,— продолжал Стэнли.— Вы, может быть, мне не поверите, но некоторым туристам непременно подавай кровать еще шире этой. Вчера вечером останавливается один турист и заявляет, что им с женой требуется кровать королевских размеров, а у меня нет шире вот этой, что вы видите. Само собой, откуда же я могу узнать, действительно это его жена с ним или еще какая-нибудь женщина, так что был рад-радехонек, что он не остался у меня, а поехал дальше по шоссе искать пансионат с такой кроватью, какая ему требовалась. Может, я и ошибаюсь, только эта женщина, что с ним была, не походила на его жену, да и вообще вела себя не как замужняя, а я не желаю, чтобы этого сорта люди останавливались в моем пансионате. На этот счет я очень строг и слежу за этим каждую минуту, так чтобы можно было сразу же прекратить безобразие, пока оно еще не началось.

Он передал проповеднику Клу ключ от номера.

— Тут как раз через дорогу есть хорошенькое чистенькое кафе, на случай если вам захочется перекусить,— сказал ему Стэнли.— Совсем недалеко, только перебежать дорогу, вам даже и машина не потребуется.

— Я поужинал, перед тем как выехать за город,— сказал проповедник.— Больше ничего не хочу.— Он начал беспокойно расхаживать взад и вперед по комнате. Ему не терпелось, чтобы Стэнли поскорей ушел и оставил его одного.— Да и вообще говоря, я никогда много не ем.

— Что ж, может, вам все-таки захочется выпить там чашечку кофе.— Стэнли замолчал и подмигнул ему.— Там есть очень хорошенькие официантки, можно сесть за стойку и полюбоваться на них.

Проповедник повернулся и взглянул на Стэнли, но ничего не сказал.

— Ну, а если вам что-нибудь потребуется,— сказал Стэнли, направляясь к двери,— вы только позвоните по телефону.

Проповедник с трудом глотнул слюну.

— А если захотите посмотреть телевизор, вам надо только включить его. Это бесплатно, входит в цену номера.

Он повернул голову и посмотрел в угол.

— А если захотите вызвать по телефону городской номер, прямо набирайте его сами. Пришлось поставить телефон по новой системе, потому что многие туристы деловой складки требуют такого рода изоляции, чтобы их не подслушивал кто-нибудь из конторы, когда они ведут деловые переговоры. Конечно, если это междугородный разговор, телефонная компания меня уведомит, и я зайду получить с вас плату. Хотя к вам-то, я знаю, мне не придется заходить и беспокоить вас из-за этого, вы же не станете никому звонить по междугородному телефону.

— Да, так далеко я никому звонить не буду,— быстро отозвался проповедник Клу.

— Ну, мне пора обратно в контору,— сказал наконец Стэнли. Он подошел к двери и отворил ее.— Может, в контору кто-нибудь заглянул как раз сейчас спросить насчет комнаты, а мне не хотелось бы, чтобы он уехал и дал заработать другому пансионату. В нашем деле каждый доллар имеет значение. На шоссе столько нынче развелось пансионатов и в ту и в другую сторону от города, что каждый вечер идет грызня — зуб за зуб.

Стэнли вышел и прикрыл за собой дверь. Потом опять распахнул ее настежь.

— Да, помню, было еще что-то важное, о чем я хотел вам сказать, проповедник Клу. Если придет охота поговорить и понадобится собеседник, вы прямо заходите в контору. Не стесняйтесь на этот счет, я-то знаю, каково человеку сидеть в комнате одному. Вот почему я и приглашаю вас: приходите в контору, если вам захочется поговорить. Я там пробуду до полуночи.

После того как дверь наконец закрылась, проповедник, уверившись, что Стэнли Причард действительно ушел, присел на широкую кровать. Он посмотрел на часы, потом на блестящий новенький телефонный аппарат на столике перед кроватью. Стараясь сосредоточиться на том, что он собирался сделать, он никак не мог забыть рассказ Стэнли про ту пару, которая останавливалась в пансионате вчера ночью. Лучше бы уж Стэнли ничего такого не рассказывал.

Вскочив с места, он в волнении прошелся несколько раз по комнате взад и вперед. Шагая по ковру, он услышал женский смех из соседней комнаты и остановился, прислушиваясь. Чем дольше Клу прислушивался к этому беззаботному смеху, тем больше он волновался. Пока он пытался представить себе, какая она и что сейчас делает, смех перешел в девическое взвизгивание. Весь дрожа, он подошел к изножью кровати и остановился, глядя на нее. Еще минута, и он бросился на кровать и схватил подушку. Зажмурив глаза и уткнувшись лицом в подушку, он стиснул ее изо всех сил. Через некоторое время он окончательно разволновался, сел в кровати и снова посмотрел на часы. Было около восьми вечера.

— Я отступать не собираюсь,— сказал он вслух. У него были опасения насчет того, что он собирался делать, но теперь его подбодрил звук собственного голоса. Передвинувшись на край широкой кровати, он протянул руку за телефонным справочником и начал его листать.— Я знаю, что делаю, и отступать не собираюсь.

Разыскав номер в справочнике, он дрожащей рукой снял телефонную трубку и набрал номер.

Ему было слышно, как телефон звонит и звонит раз за разом, но никто не отвечал, пока наконец он не услышал голос Бетти Вудраф так ясно, как будто она сидела рядом с ним. Он знал, что собирается ей сказать, но во рту у него пересохло и язык не слушался, когда он попытался

заговорить; он побоялся, как бы Бетти не положила трубку, если он не поторопится и не начнет говорить.

— Мисс Вудраф... Мисс Вудраф...— еле слышно выговорил он в трубку.

После этого он услышал ее голос, звучавший как будто за тысячу миль; она спросила, кто говорит.

— Это говорит Том,— ответил он с жаром, стараясь сдержать дрожь в голосе.— Это я, Том, меня зовут Том. А вам я позвонил потому... ну... я хочу вас видеть — и сейчас же!

Дрожь в пальцах передалась дальше и пошла по рукам до самых плеч, когда она спросила, как его имя полностью. Единственно, что приходило ему в голову, была его фамилия, а он знал, что она не приедет в пансионат, если узнает, кто он такой.

— Я Том, Том, это я — Том! — отчаянно твердил он.— Меня все знают! И вы меня знаете! Я же Том!

Бетти не отвечала, и он, вскочив с кровати, встал перед телефонным столиком, теперь дрожа всем телом. Почувствовав, что и лицо и спина под рубашкой у него взмокли от пота, он вытер лоб рукой. Хоть он и дошел до потери рассудка, но все же знал, что не позволит себе солгать.

— Я говорю правду, вы должны мне поверить! Я в номере двадцать четвертом, в пансионате «Приятное времяпрепровождение»... на шоссе... все знают, где это... мисс Вудраф... Бетти... я, Том... я вам звоню потому...

После этого на другом конце провода долго молчали, и он напряженно ждал, что же она скажет. Все его тело трепетало от волнения, пока он ждал. И наконец он понял, что ее уже нет у телефона и больше говорить с ним она не будет.

Дрожа от слабости, он сел на кровать и все же как-то ухитрился положить трубку на место, не уронив ее. Тяжело и часто дыша, он не сводил глаз с телефона.

— Я не солгал,— громко сказал он самому себе.— Я сказал правду. Неправды я не говорил. Никто не может меня в этом обвинить. В этом я не грешен. Я не солгал.

Потом он встал и начал мерить комнату нетерпеливыми шагами, расхаживая от одной стены до другой. Не было никакой возможности узнать, приедет ли она к нему, и он мог только ждать и надеяться, что она скоро будет здесь. Он не знал, что делать, если она не приедет.

## 6

Стэнли Причард сидел за своим столом в конторе, читая вечернюю газету, когда блестящий синий с белым автомобиль свернул на дорогу к пансионату и, не замедляя скорости, пронесся в дальний конец двора. Сочетание цветов было не из редких, и такие машины Стэнли видел каждый вечер.

Окинув автомобиль быстрым взглядом и предположив, что это машина какого-нибудь туриста, который возвращается к себе в номер после обеда в ресторане, Стэнли опять взялся за газету. Был девятый час вечера, в воздухе стоял легкий туман, и многие туристы, привыкшие вставать рано, уже легли спать. У него в пансионате оставались еще свободные комнаты, но дело шло к ночи, и он уже не надеялся сдать сегодня хотя бы одну.

Через некоторое время Стэнли дочитал газету и отложил ее в сторону. Заметив, что начинает сонно позевывать, он встал и прошелся по

комнате к окну, чтобы немножко встряхнуться. Наблюдая легковые машины и грузовики, мчавшиеся по шоссе в ночном тумане, он начал думать про синий с белым автомобиль и попытался вспомнить, у кого же из туристов была машина именно такой расцветки. Чем больше он думал, тем больше убеждался, что ни у кого из сегодняшних туристов не было точно такой машины, и все же он был уверен, что видит этот самый автомобиль не впервые.

Подстрекаемый любопытством и подозрениями, он вышел из конторы и зашагал по дороге, усыпанной гравием. Ему хорошо видна была каждая машина на ярко освещенном дворе, и он зашагал быстрее, стремясь найти ту, которую искал.

Стэнли увидел синюю с белым машину, только зайдя в самый конец двора, там она и стояла, отведенная как можно дальше от других машин. Она оказалась не только знакомой, но он припомнил и ее номер, потому что всего неделю назад он записал его у себя в конторе. Убежденный, что Бетти Вудраф находится в одной из комнат пансионата, хотя он не имел представления в которой, он решил это узнать и позвонить шерифу, чтобы ее немедленно арестовали.

Стэнли поспешил вернуться в контору и сразу позвонил шерифу округа. На его звонок ответил помощник шерифа.

— Говорит Стэнли Причард, владелец пансионата «Приятное времяпрепровождение». У меня здесь в одной из комнат находится женщина, которая не зарегистрирована. Это та самая, что была здесь три раза на прошлой неделе, и я намерен положить этому конец. Я требую, чтобы шериф приехал сюда как можно скорее, арестовал бы ее и посадил в тюрьму. Она нарушает закон и не зарегистрирована и мало ли что еще. Во всяком случае, есть закон против того, чем она занимается.

— Вы говорите, что вы владелец заведения, мистер Причард? — с интересом спросил помощник шерифа.

— Конечно, владелец, а кроме того, и директор. Весь город меня знает. Передайте шерифу, что я сказал...

— Я вас не знаю, мистер Причард, но слышал про ваш пансионат,— прервал его помощник шерифа.— Название звучит хорошо: «Приятное времяпрепровождение». Он стоит на дороге в Саммер-Глэйд, милях в трех от Сэллисоу, вы выбрали отличное название. Каждый раз об этом думаю, как проезжаю мимо. Один мой приятель рассказывал, что ночевал там одну ночь с неделю тому назад и отлично провел время. Говорит, что скоро опять туда собирается.

— Вот как? — сказал Стэнли, повышая голос.— Именно насчет этого я и звоню сейчас в контору шерифу. Я держу пансионат для настоящих туристов и намерен положить конец всем беззакониям, которые тут творятся вот уже несколько недель.

— Вы подпишете жалобу, мистер Причард?

— Конечно подпишу! Хоть двадцать жалоб! Так вы скажите шерифу, что я прошу его приехать поскорей, арестовать ее и забрать в тюрьму.

— Одно вам следует знать, мистер Причард,— сказал помощник шерифа, помолчав.

— Что именно вы имеете в виду?

— Ну, ведь это не шутка ошибиться в таком деле. Очень много людей, состоящих в законном браке, останавливается нынче в пансионатах, и они не любят, чтобы их беспокоили. Вот почему вам бы лучше сначала проверить все как следует и действовать наверняка. Незаконный арест вещь очень серьезная, за такие штуки люди платились большими деньгами по суду. Если хотите послушать моего совета, повесьте телефонную трубку и подумайте об этом сколько-нибудь. Можете позвонить мне позже.

— Думать мне тут нечего, я знаю, что делаю,— раздраженно ответил Стэнли.— Я решил положить конец тому, что здесь происходит, и никаких уговоров слушать не желаю. Я держу приличный пансионат для туристов и намерен следить за тем, чтобы он оставался приличным. Я плачу налоги и знаю свои права. Если я не могу добиться помощи от шерифа, так я и сам управлюсь. Разыщу эту женщину и...

— Хорошо, мистер Причард. В каком она номере?

— Не знаю, в каком, это дело шерифа ее найти. За это он и получает большое жалованье из средств налогоплательщиков. Год назад я помогал выбирать Клинта Хафмена на эту должность, потому что он обещался следить, чтобы законы выполнялись, а теперь я требую, чтоб он делал свое дело, за это ему и деньги платят. Если он хочет остаться шерифом округа Индианола на второй срок...

— Хорошо, хорошо, мистер Причард! — отвечал помощник, стараясь перекричать Стэнли.— Не выходите из себя и не кричите так! Я свяжусь с шерифом Хафменом и передам ему вашу жалобу. А вы сядьте и остыньте немного, пока кто-нибудь не приедет для расследования.

И, прежде чем Стэнли успел сказать что-нибудь, помощник шерифа положил трубку.

Стэнли достал отмычку и сунул ее в карман. Не отходя от стола, он выдвинул ящик и посмотрел номер машины, записанной им на клочке бумаги неделю тому назад. Он был совершенно уверен, что машина та самая и что Бетти Вудраф и сейчас где-нибудь тут, в пансионате.

Из конторы он вышел во двор и стал расхаживать взад и вперед по усыпанной гравием дороге, с нетерпением дожидаясь прибытия Клинта Хафмена. Сквозь дымку тумана он следил за белой с синим машиной, твердо решив, что не даст Бетти Вудраф улизнуть до того, пока шериф приедет и арестует ее. Шагая взад и вперед, он начал раздумывать, в какой из комнат они ее найдут. В пансионате было тридцать комнат, и восемнадцать из них были заняты на ночь. И только тут, неожиданно вспомнив, что одну комнату занимает проповедник Клу, он остановился как вкопанный.

До этой самой минуты он ни разу не вспомнил, что проповедник находится здесь, а теперь встревожился. Уж лучше бы проповедник заехал в пансионат когда-нибудь в другое время, но только не в эту ночь, и он колебался, не попросить ли проповедника Клу одеться и уехать, пока не прибыл шериф. Он понимал, как это было бы неприятно для проповедника, если б тот узнал, что тут происходит.

Стэнли все еще стоял на том же месте, решая, что ему делать, когда машина шерифа свернула на дорогу к пансионату. Помощник шерифа, который вел машину, поставил ее поперек дороги, загородив единственный выезд со двора.

Шериф Клинт Хафмен вышел из автомобиля и потянулся, расправив плечи. Это был крупный мужчина, веселый и общительный по манере, мускулистый и широкогрудый. Хотя он был выбран шерифом округа Индианола на первый срок, но почти всю жизнь стоял на страже закона и до этого служил и судебным исполнителем, и начальником тюрьмы. Теперь, когда он занимал политический пост, он старался быть как можно снисходительнее при расследовании жалоб по уголовным делам и, насколько возможно, избегал арестов, желая расположить к себе избирателей в виду будущих выборов.

— Ну, Стэнли, как вы себя чувствуете в такой прекрасный вечер? — говорил Клинт, пожимая руку Стэнли.— Выглядите вы прекрасно. Надеюсь, и ваша жена тоже хорошо себя чувствует.

Прежде чем Стэнли успел ответить, Клинт продолжал:

— Чтобы приехать сюда, Стэнли, мне пришлось встать из-за стола и бросить отличную партию в покер в пожарном депо, но надо вам ска-

зать, что я поехал с радостью, узнав, что это по вашему вызову. Я уже два раза обставил судью Рэйни, а в конце партии обыграл бы и Шорти Гудвилли. И если это дельце в вашем прекрасном пансионате не отнимет слишком много времени, то я еще успею вернуться в депо, пока игру не кончили. Ну а что такое могло здесь случиться, Стэнли? Искренне надеюсь, ничего серьезного.

— В одной из комнат находится женщина, и я требую, чтоб ее арестовали и отправили в тюрьму. Хочу положить конец тому, что здесь творится. Ее зовут Бетти Вудраф, она живет в доме Дженни Ройстер на Морнингсайд-стрит, рядом с церковью Тяжкого креста. В прошлом году она была учительницей у нас в Сэллисоу, ну а теперь она все что угодно, только не учительница. Вы понимаете, что я хочу сказать. На прошлой неделе она была тут три раза, это я могу сказать наверное и, насколько мне известно...

Лицо Клинта приняло грустное выражение, и он медленно покачал головой.

— В чем дело? — спросил его Стэнли.— Что это вы так качаете головой?

Клинт сдвинул шляпу на затылок, глядя на Стэнли все с тем же печальным выражением.

— Стэнли, я должен вам кое-что сказать. Если вы настаиваете на своей жалобе, я буду вынужден арестовать эту женщину, потому что дал присягу стоять на страже закона, пока хватит сил. Но, говоря по совести, не думаю, чтобы это было правильно.

— Почему же нет?

— Я вам отвечу начистоту, как мужчина мужчине, Стэнли. Вы этим не приобретете себе новых друзей и уж, конечно, потеряете кое-кого из старых. Пока что я знаю эту прекрасную молодую девицу только с виду, да и то издали, а вам не хуже моего известно, что она очень хорошенькая. А ведь никому не понравится, что с хорошенькой девушкой обращаются грубо, притесняют ее и сажают в тюрьму за то, что она ведет себя так, как ей положено самой природой. Почему вы не оставите ее в покое, Стэнли? Это было бы более достойно мужчины. Сколько я слышал, она никому вреда не делает, и очень многие мужчины в Сэллисоу будут против вас, если вы доведете до конца то, о чем говорите.

— Это не имеет никакого отношения к тому, о чем я говорю. Она здесь в моем пансионате и нарушает закон.

— О каком законе вы говорите? — спросил Клинт.

— Я не знаю, как он называется, но это самое она и проделывает, во всяком случае.

— Погодите-ка минутку, Стэнли. Остановитесь и подумайте. Половина людей на свете — женщины, и если вы начнете придираться к одной из них за то, что она женщина, вы ни черта этим не докажете, сами знаете.

— Я могу доказать, что она непорядочная женщина.

— А можете вы доказать, что какая-нибудь другая женщина — порядочная?

— Это не одно и то же.

— Ну хорошо, а какие у вас доказательства?

— Она находится в одной из комнат. Хватит и этого.

— А в других комнатах тоже есть женщины, черт их возьми,— сказал Клинт.— Какая же между ними разница — только та, что одни заплатили два доллара за разрешение на брак, а другие — нет. Будьте же благоразумны, Стэнли. Мы с вами давние друзья, я очень ценю ваш голос и голос вашей жены и буду говорить с вами по-честному. Сами знаете, я такой человек, у меня что на уме, то и на языке. Если вы только послушаете моего совета насчет...

— Никто меня не отговорит, если я знаю, что поступаю правильно,— упрямо твердил Стэнли.— Я человек верующий, прихожанин церкви Тяжкого креста и тоже не люблю кривить душой. Я вас приглашал не для того, чтобы спорить. Я требую, чтобы ее арестовали.

Клинт надвинул шляпу на лоб.

— Вы это серьезно?

— Да, серьезно!

— Хорошо,— сказал Клинт унылым голосом.— Хорошо.

Он сделал знак своему помощнику, стоявшему рядом с машиной.

— Идем, Джо. Давайте начинать.

Они двинулись по дороге сквозь туман, хрустя каблуками по гравию.

— В которой комнате находится эта молодая особа? — спросил Клинт без всякого энтузиазма.

— Не знаю,— сознался Стэнли.— Двенадцать номеров нынче свободны, а остальные восемнадцать заняты.

— Лучше бы, черт побери, все они сегодня стояли пустые,— пробормотал Клинт, расшвыривая носками ботинок гравий.

Они постучались в первую дверь. Когда ее отперли, на пороге стоял мужчина, блестя лысиной. Он спросил, что им нужно.

— Вы один? — спросил его Клинт.

— Нет,— отвечал тот ворчливо.— А что?

— Кто тут с вами?

— Моя жена. Дальше что?

Клинт обернулся и взглянул на Стэнли.

— Это она?

Стэнли подошел к двери и увидел пожилую женщину, смотревшую телевизионную передачу.

— Нет,— ответил Стэнли, поспешно отступая назад.

— Что же это значит все-таки? — спросил мужчина.

— Простите, что мы вас побеспокоили,— сказал Стэнли извиняющимся тоном, все еще пятясь назад.— Вышла ошибка. Больше этого не случится.

— А как же это случилось в первый раз? — спросил лысый, малопомалу разгораясь гневом.— Я ведь к вам не лезу, когда вы смотрите телевизор? А к чему все эти личные вопросы? Не для того я платил деньги за эту комнату, чтобы ко мне приставали. И кто вы такой, черт вас возьми?

— Досадная ошибка,— сказал Стэнли,— но я вам обещаю, что это не повторится. Вы продолжайте заниматься тем, чем занимались.

Отойдя от дверей первой комнаты, они подошли ко второй. Помощнику шерифа пришлось постучаться в нее несколько раз, прежде чем им открыли.

— Что вам нужно? — спросил толстяк в нижней рубашке, отворив дверь.

— Кто тут с вами? — спросил его Клинт.

— А вы кто такие? — сказал толстяк, распахивая дверь настежь и сердито глядя на них.— Какого черта вы суете нос не в свое дело?

Клинт достал из кармана значок шерифа и протянул ему на ладони. Грузный мужчина нагнулся, разглядывая значок.

— Что все это значит? — сказал он.

— Это ваша жена тут с вами? — спросил Клинт.

— Ну да. Моя жена. Ну а дальше что?

Стэнли, поднявшись на цыпочки, заглянул через плечо мужчины и увидел темноволосую девушку, которая сидела на кровати, натянув простыню до самого подбородка. На вид ей казалось лет восемнадцать, и заметно было, что она испугана допросом. Отступив назад, Стэнли толкнул Клинта локтем и кивнул головой.

— Она еще слишком молода, чтобы быть за кем-нибудь замужем, а меньше всего за этим типом, но эта не та, которую мы ищем,— сказал он Клинту.— Придется искать дальше.

— Черт, до чего мне не нравится так пугать людей,— сказал Клинт, когда они подходили к следующей двери.— Прежде всего, по закону так делать не полагается. Я буду чувствовать себя дурак дураком, если кто-нибудь попросит меня предъявить ордер на арест. Джо, вы и Стэнли ступайте вперед и обследуйте остальные комнаты. А я пойду за вами.

Когда они добрались до номера двадцать четвертого, Стэнли проскользнул мимо, не постучавшись, и направился к следующей двери. Клинт, поравнявшись с ним, схватил его за руку.

— Постойте-ка,— сказал он.— Погодите одну минутку. Почему вы не заглянули в ту комнату?

— Не стоит заходить в номер двадцать четвертый,— сказал Стэнли, силясь вырвать руку и подойти к следующей двери.

— Почему же не стоит, Стэнли?

— Потому что там проповедник Клу.

— А что он там делает?

— Ну, я, право, не знаю,— ответил Стэнли, все еще порываясь к следующей двери.— Уж так ему вздумалось. Он сказал, что хочет изучать жизнь в пансионате, и я ему отвел эту комнату на ночь бесплатно. Он теперь спит, и незачем его беспокоить. Кроме того, мне будет трудно объяснить ему, в чем дело.

— Джо, отоприте эту дверь,— сказал Клинт своему помощнику.— Если Стэнли вообще нужно это расследование, то я проведу его на совесть, по всем правилам. Отоприте номер двадцать четвертый, Джо.

— Погодите минутку, Клинт,— не на шутку взмолился Стэнли.— Не надо этого. Пожалуйста, не надо. Проповедник Клу расстроится. Он никогда еще не ночевал в пансионатах и не привык к таким вещам. Ведь все проповедники на один лад, сами знаете.

Клинт локтем оттолкнул Стэнли в сторону.

— Делайте, что я вам сказал, Джо, отворяйте дверь.

Тот постучался в дверь, но никто не ответил. Он постучался еще раз, погромче, но когда и на этот стук не ответили, Джо спросил у Стэнли отмычку. Стэнли упирался, но в конце концов все же отдал ее.

Когда дверь была взломана и распахнута настежь, они увидели проповедника Клу, который пытался спрятаться за жиденькими оконными занавесками. Бетти Вудраф в больших очках с ученым и невозмутимым видом сидела на кровати, обхватив колени руками, и глядела на вошедших, упершись подбородком в колени.

— Тут что-то совсем не то! — взволнованно сказал Стэнли.— Закройте дверь! Не смотрите! Закройте дверь!

Джо не дал Стэнли закрыть комнату, просунув ногу в дверь. Стэнли повернулся и хотел было оттолкнуть Клинта подальше от двери.

— Уходите, Клинт,— упрашивал он.— Не смотрите!

— Руки прочь! — грубо приказал Клинт, отталкивая Стэнли.— Я шериф! Вы не имеете права меня толкать!

— Но ведь это проповедник Клу с ней в комнате! — протестовал Стэнли.— Вы не можете его арестовать! Это же проповедник!

— Помните, говорить буду я,— сказал ему Клинт.— Ведь вы же сами просили арестовать ее, обещали, что подпишете жалобу.

— Но это совсем другое дело, я не знал...

— А разве я не пробовал вас урезонить? Разве я не говорил вам, что по закону так делать не полагается? Но вам вздумалось заупрямиться. Отлично. Проповедника я не арестую, но я вызову его на суд как свидетеля против этой особы.

— Но ведь ему будут задавать всякие каверзные вопросы — знаете, какого рода вопросы бывают у адвокатов,— и ему придется говорить правду, потому что он духовное лицо. Весь город узнает, что он был с ней здесь, в номере пансионата!

— Конечно узнает! — сказал Клинт, кивнув головой.— Вы правы, как никогда в жизни.

— Погодите минутку, постойте,— сказал Стэнли.— Я сейчас вызову моего адвоката. По закону я имею на это право. Сейчас пойду в контору и сразу же ему позвоню.

— Ступайте звоните,— сказал Клинт.— Я могу подождать еще немного.

Стэнли побежал на передний двор пансионата.

— Джо, не выпускайте этих людей из комнаты, пока я не вернусь,— сказал Клинт своему помощнику.— Пойду посмотрю, что там делает Стэнли.

Когда Клинт дошел до конторы, Стэнли уже набрал номер. Он ждал долго, но ему никто не ответил.

— Вот всегда так бывает,— пожаловался Стэнли.— Если адвокат тебе нужен до зарезу, его никогда не застанешь.

— Если вам нужен дельный юридический совет, то позвоните судье Майло Рэйни,— подсказал ему Клинт.— Он вам сразу скажет, чего надо держаться. И, кстати, я вам могу сказать, где вы его найдете. Позвоните в пожарное депо. Они там все еще играют в покер.

Несколько минут Стэнли был в нерешимости, но как только ему вспомнился проповедник Клу, он больше не стал раздумывать. Он позвонил в пожарное депо и попросил к телефону судью Рэйни. Прошло не более минуты или двух, как судья Рэйни взял трубку.

— Говорит Стэнли Причард из пансионата «Приятное времяпрепровождение», на шоссе Саммер-Глэйд,— начал он, волнуясь.— Судья Рэйни, мне нужен юридический совет.

— Когда вы мне уплатите гонорар, Стэнли?

— А сколько нужно платить?

— Двадцать пять долларов.

— Это слишком дорого за простой разговор.

— Сколько же, по-вашему, будет довольно?

— Ну, пять долларов, самое большее — десять.

— Если дельный юридический совет в такое время, когда стряслась беда, по-вашему, стоит не дороже этого, то я вам дам совет бесплатно: найдите себе жулика адвокатишку, он с радостью возьмет ваши паршивые деньги и по дешевке даст вам совет, какого вы заслуживаете.

— Хорошо, судья Рэйни, я уплачу вам двадцать пять долларов,— поспешил согласиться Стэнли.— Я заплачу вам завтра утром.

— Наличными, Стэнли, наличными.

— Хорошо, судья Рэйни. С утра я первым долгом уплачу вам наличными.

— Ну, так что же вас беспокоит, Стэнли? Голос у вас какой-то встревоженный.

— Шериф Хафмен здесь, в моем пансионате, и я требую, чтобы он арестовал Бетти Вудраф и посадил ее в тюрьму. Он говорит, если ее арестуют, то проповеднику Клу придется выступить в суде свидетелем. А я не хочу, чтобы проповедника Клу впутывали в такое безобразие...

— Погодите, Стэнли. Не так быстро. Кому, вы говорите, придется быть свидетелем?

— Проповеднику Клу.

— А что проповедник Клу делает там у вас с Бетти Вудраф? — спросил судья Рэйни.

— Ну, это трудно объяснить — тут ничего не разберешь. Я знал, что проповедник Клу находится в номере двадцать четвертом, а что она тоже там, этого я не знал. Я позвал Клинта Хафмена, чтобы он ее арестовал, а насчет проповедника Клу я ничего не знал. Во всяком случае, дело плохо, судья Рэйни.

— Чего же вы хотите, Стэнли?

— Я хочу, чтобы Клинт Хафмен арестовал Бетти Вудраф и посадил ее в тюрьму, но только чтобы проповеднику Клу не пришлось из-за этого таскаться по судам. Его репутация пострадает, если...

— Ну так чего же вам больше хочется, Стэнли? Подумайте и решите.

— Я хочу, чтобы ее арестовали, а его оставили в покое.

— Хорошо, Стэнли,— спокойно ответил судья Рэйни.— Я вижу, что вы находитесь в состоянии полной растерянности, и потому дам вам совет. Вы уже согласились уплатить мне двадцать пять долларов гонорара наличными завтра утром и потому имеете право получить от меня совет.

— Какой, судья Рэйни? — живо спросил он.

— Возьмите обратно вашу жалобу на Бетти Вудраф.

— Этого я не сделаю! — крикнул Стэнли.

— Даже после того, как вы обратились к адвокату, согласились уплатить за консультацию и получили дельный юридический совет?

— Нет, сэр! Я этого не сделаю!

— Отлично, Стэнли. Я хорошо понял, что вы сказали. Завтра утром я отправлюсь в суд и предъявлю проповеднику Клу обвинение в том, что он заманил Бетти Вудраф в пансионат с явно неблаговидной целью. Потом вам вручат вызов в суд и придется еще доказывать, что ваш пансионат не представляет собой опасности для общества, а иначе его опечатают и закроют. Вдобавок вас обвинят в том, что вы содержите заведение, пользующееся дурной репутацией. А кроме того, я рассчитываю получить завтра утром эти самые двадцать пять долларов. Я думаю, этим ситуация приблизительно исчерпывается. Будут вопросы, Стэнли?

— Погодите минутку, судья Рэйни! — кричал Стэнли, от волнения повышая голос.— Не надо! Прекратите все это. Я принесу вам деньги завтра, с самого утра!

— А как же быть с Бетти Вудраф, Стэнли?

Стэнли взглянул на Клинта Хафмена. Держась вполне непринужденно и не проявляя никакого интереса к разговору, Клинт изучал дорожную карту. Его палец медленно двигался по развернутой карте, исследуя живописную дорогу к Флориде.

— Судья Рэйни... я уже не прошу, чтобы ее арестовали.

— Вы передумали?

— Да,— сказал Стэнли слабым голосом.— Я передумал. Ничего не надо делать. Пусть все остается так, как есть. Я и шерифу так скажу. Не надо мне никаких неприятностей.

— А что скажет на это Клинт Хафмен? — спросил судья Рэйни.— Может быть, он думает, что по долгу службы обязан принять меры по вашей жалобе, Стэнли?

— Вот он! — Стэнли сунул Клинту телефонную трубку.— Поговорите с ним сами! И скажите ему, что я никакой жалобы подавать не собираюсь!

Сначала Клинт неторопливо и аккуратно свернул карту дорог и положил ее на стол, потом взял трубку у Стэнли.

— Ну как там, судья Рэйни? — сказал он.

— Скоро вы вернетесь сюда заканчивать партию, черт вас возьми? Вы у меня выиграли три доллара, и я хочу вернуть свои деньги. Ну, поторопитесь, Клинт. Мне уже давно пора ужинать, я проголодался и хочу домой.

— Я буду через десять минут, судья Рэйни,— сказал он, кладя трубку на место.

Не дожидаясь Стэнли, Клинт быстро прошел в конец двора, без стука вошел в комнату и кивнул Бетти Вудраф.

— Вам бы лучше поторопиться домой, мисс,— сказал он, улыбаясь и отворяя перед нею дверь.— Поздновато становится для такой хорошенькой девушки разгуливать без провожатых.

## 7

Телефон в прихожей на нижнем этаже звонил вот уже несколько минут почти без перерыва, и, хотя его резкий звон был слышен по всему дому, Бетти не выходила из своей комнаты на звонки.

Вечер был еще не поздний, всего половина десятого, а Бетти обычно подходила к телефону до полуночи, а то и позже. Дженни знала, что Бетти сидит у себя в комнате, потому что она вернулась домой вскоре после девяти. Шорти Гудвилли не мог подойти к телефону — он все еще был в городе, где играл в покер в пожарном депо, и вместо того, чтобы самой ответить на звонок, чего она не делала последние несколько недель, потому что вечером вызывали всегда одну только Бетти, Дженни вышла из своей спальни и пошла по коридору стучаться в дверь к Бетти.

Но еще не дойдя до комнаты Бетти, Дженни услышала громкие рыдания. Поэтому она вошла не постучавшись, остановилась на минутку в темноте и прислушалась, прежде чем зажечь свет.

Бетти, повалившись на кровать вниз лицом, судорожно всхлипывала. Она обхватила руками подушку, прижалась к ней и зарылась в нее лицом, словно ничто другое на свете не могло ее утешить. Она сбросила белые туфли без каблуков, красный шелковый шарф свалился у нее с головы, но зимнего пальто она так и не сняла. Черная кожаная сумочка валялась на полу в дальнем конце комнаты, словно ее швырнули об стенку. Ключ от машины, губная помада, мелкие деньги были рассыпаны на полу.

Подбежав к кровати и присев на край рядом с девушкой, Дженни попробовала успокоить ее, похлопывая в утешение по спине и гладя по встрепанным волосам. Уткнувшись еще глубже лицом в подушки, Бетти рыдала так, что все ее тело вздрагивало.

— Что случилось, детка? — ласково спросила Дженни, наклонившись над ней и пытаясь заглянуть ей в лицо.— Скажите Дженни, в чем дело, милая. Раньше я никогда не видела вас в таком расстройстве. Что за беда с вами стряслась? Какой-нибудь мужчина обидел? Мне вы можете рассказать. Вы всегда мне были как родная дочь, и я хочу, чтобы вы доверились мне. Ну, расскажите Дженни все, деточка.

Только мотнув головой и еще глубже зарывшись лицом в мокрую подушку, Бетти продолжала безутешно рыдать.

Сбегав в ванную и намочив полотенце холодной водой, Дженни принесла его Бетти и приложила к ее пылающим щекам и лбу. Через некоторое время Дженни смогла повернуть Бетти на бок и освежить ей лицо прохладным мокрым полотенцем. Скоро девушка открыла глаза.

— Никогда в жизни не слыхала, чтобы так плакали,— сказала Дженни, ласково отводя волосы с лица Бетти.— Будто с вами случилось такое, хуже чего на свете не бывает, деточка. До того жалостно было слушать, просто сил нет. А ведь я и не знала бы ничего, если бы телефон не зазвонил, надо же было пойти узнать, почему вы не подходите и не отвечаете на звонки. А теперь он замолчал, но, должно быть, скоро опять зазвонит. Когда я услышала звонок, то он звонил так, будто кому-то нужно очень вас видеть. Может быть, это только мое воображение, но звонок

бывает совсем другой, когда вы кому-то очень нужны. Знаете, какой тогда бывает звонок, а особенно, если вы ждете и надеетесь, что кто-то вам позвонит. Вот такие звонки я больше всего люблю. Уже подходя к телефону, вы чувствуете, что звонят не попусту.

— Нет! — крикнула Бетти, ударяя стиснутым кулаком по кровати, и яростно замотала головой.— Нет! Я не подойду! Никогда! И не говорите мне! Я не хочу ничего слышать! Никогда больше не подойду к телефону! Никогда! Никогда!

Дженни посмотрела на нее с удивлением. Бетти все мотала головой.

— Никогда? — недоверчиво сказала Дженни.— Что это вы так странно говорите, деточка. Так уж и никогда! Вы это серьезно? В чем дело, милая? Скажите мне, что случилось. Вы же знаете, Дженни можно все сказать, я пойму.

Бетти снова зарыдала. Обхватив руками подушку, она судорожно сжала ее.

— Право, не знаю, что теперь и думать,— сказала Дженни, покачивая головой.— Я совсем одурела и растерялась. Вы же всегда подходили к телефону — а теперь говорите такое. Я же знаю, всего час или два назад вы подходили в последний раз к телефону — ведь я слышала, как вы с кем-то разговаривали, а потом сейчас же ушли из дому. Что это нашло на вас так сразу, деточка?

— Нет, нет, я никогда больше не подойду к телефону! — крикнула Бетти.— Никогда! Никогда!

Дженни приложила руку к разгоряченному лицу Бетти и погладила ей лоб нежно и ласково.

— Кто-нибудь обидел вас, милая? — спросила она Бетти.— Это самое с вами и случилось? На всех почти мужчин можно положиться, они вас не обидят, когда вы им нужны, только в это время они и будут обращаться с вами по-хорошему. Но бывает иной раз, наткнешься на мужчину, в котором черт сидит. Бог его знает, отчего это так, сказать не могу, но только это верно. От таких мужчин надо держаться подальше, прямо бежать от них, пока они не начали кусаться и драться, даже если придется выскочить в окно. Ведь ничего такого с вами не случилось, деточка?

Бетти опять замотала головой.

— Тогда это что-нибудь с тем футбольным тренером в школе, от этого вы так расстроились?

Она подождала, но Бетти не ответила ей.

— Думаю, что это имеет к нему отношение, не знаю только, какое именно,— сказала Дженни.— Он просто скотина, что так поступил с вами, но если вы все еще любите его, тут уж ничем не поможешь. Я знаю, каково это, если никто другой вам не нужен. Я так же вот отношусь к судье Майло Рэйни, а до сих пор мне приходится довольствоваться Визи Гудвилли. Во всяком случае, после того как вы вернулись в город, я поняла, что вы еще не забыли этого футбольного тренера. Если вы из-за него расстраиваетесь, я прямо пойду к Монти Биско и посмотрю, что можно сделать. Если мужчину заставили жениться обманом, так он недолго проживет с женой.

Бетти раз за разом качала головой, и слезы ручьем текли по ее лицу.

— Ну, если беда не в этом, я просто не знаю, что и подумать,— говорила Дженни.— Вы должны мне сказать, милая, не могу же я позволить, чтобы вы так горевали и выплакали себе все глаза. Сами знаете, вы можете рассказать Дженни все на свете, ведь я за последние тридцать — тридцать пять лет пережила все, что только приходится на женскую долю, и знаю все неприятности, какие сыплются женщине на голову. Больше того, я за свою жизнь испытала все беды и несчастья, о которых вы читали в книжках, и знаю, каково это, когда некому слово сказать.

Ну же, я отсюда не уйду, пока вы мне не расскажете, в чем дело, отчего вы так расстроились.

Бетти открыла глаза и взглянула на Дженни. Та опять отвела с ее лица спутанные светлые волосы.

— Это отвратительно! Ужасно! — Бетти замолчала, кусая губы и стараясь удержать слезы.— Я сама себя ненавижу! Мне хочется умереть! После этого я и жить не хочу! Я бы покончила с собой, если бы знала как! Лучше умереть!

— Послушайте! Разве у вас в этом месяце ничего не было?

Бетти мотнула головой.

— Тогда помолчите и не болтайте зря, что хотите покончить с собой. Вы только потому это сказали, что расстроены, деточка. Не годится так говорить молоденькой девушке. Да вы этого и не думаете.

— Нет, думаю! Лучше бы я умерла! Это просто ужас! Я себя ненавижу!

— Милая, посмотрите на меня! — сурово заговорила Дженни.— Вы красивая, молодая девушка, у вас есть все для того, чтобы жить дальше. Я много старше вас и настолько же опытней. Если вы думаете, что в чем-нибудь ошиблись, всегда можно это исправить. Всегда есть время исправить что бы то ни было — для такой молоденькой и хорошенькой, как вы.

— Я ошиблась, а теперь уже слишком поздно,— сказала Бетти, вытирая слезы полотенцем.— Вела себя, как дура, с тех самых пор как вернулась в Сэллисоу. Я сама не понимала, что делаю, я была не в своем уме. Надо было быть не в своем уме, чтобы встречаться со всеми этими мужчинами, как встречалась я. Не знаю, что со мной стряслось, не могу поверить, что я это делала. Как я могла? Я не такая — никогда раньше не была такой. Когда думаю об этом теперь — похоже, что я была в бреду и не понимала, что делаю. Вот почему я так себе ненавистна теперь. Вот почему мне хотелось бы умереть. Как вспомню всех этих мужчин, мне становится до того стыдно! Это ужас! Но я сама не понимаю, почему я так себя вела!

Бетти замолчала, переводя дыхание, и взглянула на Дженни.

— Нет! — сказала она минутой позже.— Неправда! Я знаю почему. Это из-за Монти.— Она отвернулась, глядя в сторону. Взяв Дженни за руку, она крепко сжала ее.— Когда я поняла, что он моим не будет, я просто не могла не вести себя дурно. Я старалась быть дрянью — старалась, как только могла. Потому что мне хотелось посильней его обидеть. Я бы теперь что угодно отдала, лишь бы взять все это обратно, лишь бы этого со мной не случилось. Я не хочу быть дрянью — и никогда не хотела. Я хочу быть хорошей и чтоб Монти был мой. А теперь слишком поздно, весь город узнает, что я делала, и Монти тоже узнает. Ему расскажут все, до последнего слова. Что Монти обо мне подумает теперь? Разве я могу ему нравиться после этого?

— А откуда он и все остальные в городе это узнают? — спросила Дженни.— Почему вам так кажется?

Бетти рассказала ей про телефонный звонок какого-то, как ей показалось, знакомого, про то, как она поехала в пансионат «Приятное времяпрепровождение» и очутилась в одной комнате с проповедником Клу. Дженни сидела, не говоря ни слова, пока Бетти не кончила рассказывать про то, как шериф Хафмен с помощником взломали дверь в комнату и как Стэнли Причард раздумал и уже не требовал, чтобы ее арестовали, поговорив с судьей Рэйни по телефону.

— Иной раз мне думается, что уж слишком много людей на этом свете заботится о благе человечества,— торжественно изрекла Дженни.— Всем остальным жилось бы куда лучше, если б можно было убрать кое-кого из них.

Подтвердив кивком свою мысль и сложив руки на животе, Дженни уселась поудобнее.

— Во всяком случае, я рада, что у кого-то нашлось довольно здравого смысла, чтобы позвонить Майло и отменить то, что они собирались с вами сделать,— одобрительно заметила она.— Если дело касается всяких уловок закона, так Майло на этом собаку съел. Это ему повезло в жизни, что он двадцать лет пробыл судьей. Теперь он знает в законе такие ходы и выходы, какие другому и в голову не придут.

— Но все равно все услышат про то, что случилось в пансионате,— сказала Бетти.

Как будто не слыша слов Бетти, Дженни уставилась неподвижным взглядом в дальний угол комнаты на желтые и красные розы обоев. Ее лицо хмурилось все больше и больше.

— Ну можно ли себе представить что-нибудь подобное? — вдруг воскликнула Дженни, словно поняв наконец, что произошло в пансионате. Порывистым движением она поджала руки, сложенные на животе.— Это просто стыд и срам, что шериф Хафмен взломал дверь в комнату, даже если его подбил на это Стэнли Причард. Как подумаешь, для женщины нигде на свете укромного уголка не осталось. А что еще хуже, так это то, что некоторым мужчинам непременно хочется арестовать женщину только за то, что она женщина. По-моему, в этом никакого смысла нет. Они ведут себя, точь-в-точь как те люди, которые хотят перебить всех кроликов на свете и все-таки не могут обойтись без перчаток из кроличьего пуха, едва только ударят зимние холода.

Но кто бы мог подумать, что проповедник Клу отправится в пансионат и станет звонить вам по телефону? Да еще скажет, что его зовут Том, и выманит вас в пансионат, так и не сообщив вам, кто он такой на самом деле. Я знала, что его зовут Томас, но первый раз слышу, что он зовет себя Том. Кроме того, имя Том звучит не очень-то прилично для проповедника, даже если он проповедует в этой самой церкви Тяжкого креста.

Глубоко вздохнув, Дженни задумчиво посмотрела в дальний угол комнаты. Ей было удивительно, как это она не догадалась накануне, что проповедник Клу собирается ухаживать за Бетти, когда он явился сюда и угрожал ей арестом, если она не выгонит Бетти из дому.

— Это я виновата, что не сообразила сразу, в чем дело, и не предупредила вас насчет него,— немного погодя сказала она, глядя на Бетти и покачивая головой.— Должно быть, нюх потеряла, с тех пор как живу на покое. Ведь уж это-то я знаю о мужчинах давно, с тех пор как сама была молоденькой девушкой, и всегда оно оказывалось верно, без ошибок и без промахов. Вот потому и проповедник Клу не исключение, а все равно что первый прохожий, которого вы встретите по дороге в город. Когда мужчине приспичит развлекаться, он уж до этого дорвется, сколько бы речек ни пришлось перейти вброд и сколько заборов ни пришлось бы одолеть. И если башмаки у него насквозь промокнут и штаны раздерутся о колючую проволоку, он ни перед чем не остановится, пока не попадет, куда ему надо. Вы это и сами узнаете, деточка, когда станете постарше.

Дженни остановилась на минутку и улыбнулась.

— Но проповедник Клу! Не могу себе представить! Этот сморчок! Только вчера он был здесь, в этом самом доме, такой благочестивый, все внушал мне, чтобы я вас выгнала. А потом, вечером, ему приспичило, он и выманил вас в пансионат, чтоб ему там было посвободнее. Одно я знаю наверное. Если он еще когда-нибудь вздумает прийти в мой дом, я с ним так поговорю, что он не скоро забудет. Я ему скажу такое, что у него уши сгорят от стыда.

Бетти закрыла лицо руками.

— Но ведь это теперь не поможет,— сказала она убитым голосом.—

Не знаю, что со мной будет. Я до того глупо себя вела. Просто не знаю, как я этого не понимала. Я так несчастна, мне так стыдно, я просто не знаю, что мне делать. Лучше бы мне умереть, чем жить дальше и так себя чувствовать! Я покончу с собой!

Шорти Гудвилли подошел к дверям и несколько раз постучался, но так легко, что Дженни не сразу его услышала.

— В чем дело, Визи? — спросила она, обернувшись и взглянув на него.

— Бетти просят к телефону,— сказал он.— Не знаю, кто это хочет с ней говорить. Он не сказал.

Бетти, услышав его, снова громко зарыдала.

— Что с ней такое? — спросил Шорти.

— Не твое дело, Визи. Скажи там, чтобы повесили трубку и больше не звонили по этому телефону.— Дженни говорила сердито и громко.— И скажи там, кто бы это ни был, что это Дженни Ройстер так распорядилась и что она не шутит.

— А почему? — спросил Шорти.

— Тебя это не касается! — громко прикрикнула она.— Делай так, как я велела, а потом вернись сюда и помоги мне. Мне надо уложить Бетти в постель и поухаживать за ней. Нервы у нее совсем расшатались.

— Но, может быть, Бетти хочет...

— Ничего не может быть! Ты меня слышал?

Шорти попятился от дверей и побежал вниз по лестнице к телефону в прихожей. Пронзительный звук его голоса разносился по всему дому.

Когда Шорти вернулся, Дженни уже сняла с Бетти пальто и силилась стянуть с нее свитер через голову.

— Подержи ее за руки, пока я сниму свитер,— сказала ему Дженни.— Влезь на кровать, так тебе будет удобнее.

— Почему вы ее раздеваете? — спросил Шорти, стоя на кровати.

— Потому что она совсем без сил и нуждается в уходе, вот почему.

Сняв с Бетти свитер, Дженни расстегнула на ней всю остальную одежду.

— Ступай в мою комнату и принеси мне коробочку с пилюлями, ту, что на туалетном столике,— сказала она Шорти.— И принеси еще стакан воды.

Дженни уже раздевала Бетти, когда Шорти вернулся в комнату. Приподняв ей голову, Дженни дала ей принять снотворное и выпить глоток воды.

— Какая она красивая,— восхищенно заметила Дженни, глядя на лежавшую Бетти.— Поглядеть, так просто картинка. Нарисовать бы ее на календаре да повесить на стенку, чтобы все любовались.

Шорти влез на стул и стал на сиденье, чтобы лучше видеть.

— По совести сказать, я никого из мужчин не осуждаю за то, что они к ней так липнут,— заметила Дженни,— да и кто отказался бы, если б мог глазком взглянуть на нее сейчас?

Дженни повернулась к Шорти и смерила его строгим взглядом.

— Но только ты не забирай себе ничего такого в голову, Визи. Ты теперь мой и, пожалуйста, помни это.— Она задумчиво посмотрела на Бетти.— Не очень-то приятно в этом сознаваться, но, кажется, я не была такой хорошенькой в ее возрасте. Я всегда была широковата в бедрах и толстовата сзади и, сколько я себя помню, с годами все это только хуже становится.

— Почему же вы ей не позволяете подходить к телефону? — немного погодя спросил Шорти.

— Нечего теперь задавать вопросы,— сказала она ему.— Для этого и потом будет сколько угодно времени. Откинь покрывало, а я ее уложу в постель и укрою хорошенько.

Визи слез со стула, взобрался на кровать и откинул покрывало.

— А почему вы не надели на нее ночную рубашку? — спросил он Дженни.

— На этот раз ей не понадобится ночная рубашка,— сказала Дженни, укрывая девушку одеялом.— Она теперь сразу заснет. Снотворное вот-вот начнет действовать. А когда она проснется утром после крепкого сна, расстроенные нервы опять успокоятся, и она снова станет сама собой. Обожаю хорошую дозу снотворного, когда надо успокоиться после каких-нибудь передряг.

Дженни придвинула стул к кровати и села поближе к Бетти.

— Визи,— сказала она через некоторое время, понизив голос до шепота,— ступай вниз и подожди меня в гостиной. А если телефон опять зазвонит, не забудь, что я тебе сказала. Все равно, кто бы это ни был, говори, что Дженни Ройстер не велела больше сюда звонить.

После того как Визи вышел из комнаты, она еще раз вытерла Бетти лицо мокрым полотенцем.

— Ну, а теперь отдохните и дайте Дженни за вами поухаживать, деточка,— сказала она мягко.— На сегодня хватит с вас неприятностей, а сейчас вам надо уснуть и хорошенько выспаться за ночь. Ну же, закройте ваши глазки, и пусть вам приснится все самое приятное, что только бывает на свете.

— Но что же мне делать? — сонно спросила Бетти. Ее глаза закрылись, и она спокойно дышала.— Я такая несчастная, мне так стыдно, я вела себя так глупо... Мне надо было уехать куда-нибудь, я знаю, что надо было, не знаю только — куда. Но я не хочу уезжать от Монти... я хочу остаться там, где он... может, если б он только знал... если бы я могла ему сказать... Монти...

Дженни нагнулась и осторожно поцеловала ее в щеку.

Убедившись, что Бетти заснула, Дженни на цыпочках пересекла комнату и погасила свет. Потом она притворила дверь как можно тише и пошла по коридору к лестнице.

## 8

Когда Дженни спустилась вниз и вошла в гостиную, Шорти Гудвилли сидел в дальнем углу комнаты, радостно ухмыляясь и болтая ногами, далеко не достававшими до полу.

Вместо того чтобы смотреть телевизор, чем Шорти обычно занимался в это время, он даже не включил его. Он уже успел выкурить несколько сигарет, и дым густыми слоями плавал по комнате. Дженни собралась было сказать ему, чтобы он вел себя поаккуратнее и не ронял пепел на ковер, как вдруг увидела незнакомую черноволосую девушку, которая сидела на стуле у окна.

Сначала Дженни остановилась в изумлении и вгляделась в девушку пристальнее, потом, убедившись, что никогда прежде не видела незнакомки, она подошла к Шорти.

— Визи, кто это такая? — спросила Дженни, нагнувшись к нему и понизив голос.

— Не знаю,— ответил он ей, осклабившись и энергично болтая короткими ногами, не достававшими до полу.— Она мне не сказала, как ее зовут.

Даже разговаривая с Дженни, он не переставал улыбаться черноволосой девушке. Та заботливо одернула юбку, натянув ее на колени.

— Что она тут делает? — спросила Дженни шепотом.— Что ей нужно?

Шорти выпустил дым кверху.

— Она постучалась в дверь, и я ей отпер. Она сказала, что ищет, где бы ей остановиться, и я подумал, что, может, вы ей захотите сдать комнату. Она сказала, кто-то в городе ей говорил про вас. Я ей сказал, что у вас есть две свободные комнаты и, может быть, вы ей сдадите одну, только я не знаю, сколько вы с нее возьмете. А вы сами всегда говорите, что вам хочется сдать побольше комнат. Чемодан у нее с собой, она хоть сейчас останется. Не то будет уж очень поздно, если она пойдет еще куда-нибудь искать комнату.

Опустив свое полное тело на красный плюшевый диван, Дженни приветливо улыбнулась девушке.

— Ну что ж, пока у меня в доме есть свободные комнаты, я всегда готова бросить все на свете и потолковать на этот счет,— заговорила Дженни своим обычным голосом. Она сложила руки на животе и уселась поудобнее.— Не так-то легко свести концы с концами в наше время, когда только прокормиться и то стоит ужасно дорого. Это просто стыд и срам, что лавочники дерут такие деньги за свои паршивые товары, да еще и обвешивают. Пришлось бы мне просить милостыню на улице, если бы я не получала время от времени хоть что-нибудь со своих комнат. Нынче для почтенной женщины на покое, вот как я, нет другого способа заработать прилично на жизнь. Если б был другой способ, я бы уж узнала про него.

Девушка наклонилась вперед на своем стуле.

— Ведь вы миссис Ройстер, правда? — спросила она.

— Деточка, я мисс Ройстер, мисс Дженни Ройстер. Не знаю, как вы, а я никогда не была замужем. И все-таки не могу сказать, чтобы я этого стыдилась. Это просто одно из несчастий моей жизни. Я все еще ношу свою девическую фамилию, и больше ничего девического во мне не осталось. Но все равно, если вы мне покажете замужнюю женщину, которая столько раз стелила себе постель и ложилась в нее, сколько я, то я вас угощу на обед самым лучшим цыпленком, какого сумею приготовить.

— О, я тоже не была замужем, мисс Ройстер. И я вовсе не собиралась задавать вам такие вопросы.

— Деточка, я теперь почтенная женщина на покое,— уверила ее Дженни,— и в настоящее время моя жизнь такая же приличная, как у всякого другого. И я желаю, чтобы это всем было известно.

— Но ведь вы сдадите мне комнату, не правда ли? — тревожно спросила девушка, стискивая руки на коленях.— Я целый день ищу себе комнату и просто не знаю, что мне делать, если...

— Сперва вы расскажите мне что-нибудь про себя, а потом уж я решу, как мне поступить,— осторожно ответила Дженни. Она обернулась и, строго нахмурившись, смотрела на Шорти до тех пор, пока он не перестал болтать ногами.— Я всегда сдаю с разбором, а не кому попало, мне хочется знать наверное, что под моей крышей нет неподходящих жильцов. Все в городе знают, что я добрая и сердечная, но всему есть границы, вот потому мне и приходится быть разборчивой. Кроме того, есть такие люди в нашем городе, которые завели себе привычку придираться ко всем, кому я сдаю комнату, вот почему мне и надо знать все о моих жильцах заранее. Ну, для начала вы можете сказать мне, как вас зовут и откуда вы приехали.

Черноволосая девушка, стиснув колени и сложив на них руки, подвинулась на самый краешек стула.

— Меня зовут Лоуэна Нели,— сказала она, волнуясь.— Я приехала в Сэллисоу...

— Какое хорошенькое имя для девушки! — воскликнула Дженни. Она передвинула повыше руки, сложенные на животе, и устроилась поудобнее.— Подумать только о таком хорошеньком имени и то уже приятно. Не помню, чтобы я когда-нибудь раньше слышала такое имя, и вряд ли

я теперь его забуду. Лоуэна Нели, Лоуэна Нели. Оно, в самом деле, звучит очень мило и приятно и к тому же очень идет такой хорошенькой девушке, как вы. Стоит только вспомнить все эти заурядные, простые имена для девушек — вроде Этель, Берта, Нэнси и даже Шарлотта,— мне даже грустно становится, как-то падаешь духом... Это просто стыд и срам, что девушкам приходится жить с такими именами, какие некоторым из них навязывают. Мне никогда не нравилось, что меня зовут Дженни, но раз я такая, тут уж ничего не поделаешь. Каждый раз как, бывало, придумаю себе имя покрасивее и попрошу, чтобы меня так и называли, люди мне говорят, что Дженни мне больше подходит, и ни за что не хотят звать меня по-другому. Я просто завидую вам, что у вас такое хорошенькое имя. Лоуэна Нели, Лоуэна Нели.

Девушка понимающе улыбнулась.

— А теперь давайте дальше, расскажите мне еще что-нибудь про себя,— сказала Дженни.

— Так вот, я приехала в Сэллисоу нынче утром на автобусе и везде искала себе комнату. Я заходила в десятки домов. Прочла все объявления в газете, смотрела вывески на домах, но нигде ничего не нашла. Одни сначала говорили, что у них сдаются комнаты, потом отказывали, неизвестно почему. Или говорили мне, что они решили больше не сдавать комнат или что плата будет мне не по карману. И так было везде, куда бы я ни зашла. Я так устала и отчаялась, что совсем не знала, как мне быть, и наконец вернулась на автобусную остановку и села отдохнуть. Должно быть, я заплакала, и тут один шофер такси спросил, что со мной случилось. Я ему рассказала, и он на это ответил, что если кто-нибудь в городе и сдаст мне комнату, так это вы. Я не была уверена, можно ли на него положиться, а теперь очень рада, что послушала его.

— В Сэллисоу есть такие шоферы, которым можно верить, а есть и такие, которым верить нельзя, это вы должны запомнить на будущее время. Одно могу сказать, на этот раз вам попался шофер из надежных. А теперь скажите, откуда вы приехали?

— Я приехала из Дженкинстауна, это милях в тридцати пяти отсюда. В округе Пальметто.

— Я знаю про Дженкинстаун, слыхала про него,— сказала Дженни,— но все как-то не было времени съездить туда и посмотреть самой. Говорят, там разводят много арбузов и дынь. Арбузы я не так люблю, зато дыни просто обожаю. У меня слюнки текут, как только про них подумаю. Каждый год я жду не дождусь, пока дыни поспеют, а потом объедаюсь ими все лето. Это единственное, что мне никогда в жизни не надоедало.

— Мой отец разводит дыни на своей ферме под Дженкинстауном,— опять улыбнувшись, сказала Лоуэна.— Каждый год он засеивает дынями целые акры. Когда я жила дома, я помогала собирать их и грузить на машины. Иногда он собирал больше, чем мог продать, и остаток приходилось скармливать свиньям.

— Вот это стыд и срам! Кормить дынями свиней, когда я сама готова объедаться ими по-свински!

Закрыв глаза и словно думая о своих любимых дынях, Дженни сложила руки на животе.

— Ну, расскажите мне еще что-нибудь про себя,— сказала она немного погодя.— Почему вы приехали в Сэллисоу и стали искать комнату?

— Я хочу найти какую-нибудь конторскую работу,— вся просияв, отвечала Лоуэна.— Два года я училась в коммерческом колледже, и теперь мне хочется получить место секретаря. Я хорошо знаю стенографию, могу писать на машинке все что угодно, умею вести отчетность. И на всяких счетных машинах я тоже могу работать. Всему этому я

научилась в коммерческом колледже. Дженкинстаун такой маленький город, что там вообще очень трудно получить работу. Я и решила поехать в Сэллисоу, я знаю, что могу найти здесь место получше.

Дженни медленно покачала головой.

— Не знаю, как вам сказать. Сэллисоу не такой уж большой город. В нем живет всего тысяч пять человек, и из года в год он никак не становится больше. Вот почему здесь не так-то легко найти работу. Но я не хочу вас разочаровывать. Молодежь вроде вас всегда находит то, что ищет. Думаю, что докторам и адвокатам часто приходится искать заместительниц девушкам, которые почему-нибудь бросают работу — выходят замуж, рожают или еще что-нибудь. Потом, у нас есть электрическая и газовая компании, банки, правительственные учреждения. Если подумать как следует, так, по-моему, когда вы познакомитесь поближе с кем-нибудь из наших воротил в здании суда...

Дженни остановилась, не договорив того, что хотела сказать. В тишине гостиной она задумчиво глядела на темноволосую девушку. Во время разговора были минуты, когда Лоуэна держалась застенчиво и замкнуто, словно чего-то боялась и тревожилась, но когда она улыбалась, то вся ее повадка делалась наивной и доверчивой, как у беззаботной девочки-школьницы. Чем дольше Дженни смотрела на нее, тем привлекательней и трогательней она казалась. Густые волосы Лоуэны были черные с синим отливом, кожа смуглая, словно от загара. Она была тоненькой, среднего роста, с изящными руками и мягкими чертами лица и выглядела не старше двадцати с чем-нибудь лет.

— Я, право, любуюсь вашими прелестными черными волосами,— сказала Дженни с завистливой ноткой в голосе. Ее тяжелая грудь поднялась и опустилась с глубоким вздохом.— Может, вы еще слишком молоды и не знаете, какое это счастье иметь такие красивые волосы. Вы видите, чем меня наделила природа, и вам остается только спросить, если хотите знать, какое это было горе и несчастье. Мне просто стыдно за свои тусклые каштановые волосы по сравнению с прелестными вашими. Я все перепробовала, что только в голову приходило и что под руку попадало, лишь бы они выглядели хоть немножечко получше, но ничего не помогает. Всегда они получаются вот такие, как сейчас. Сколько я денег потратила на всякие полоскания, краски, промывания и на все, что только продается в аптеках, а они все-таки выглядят бог знает как, если не хуже. Поверьте моему слову, Лоуэна, вам надо благодарить свою счастливую звезду за то, что у вас такие волосы.

Лоуэна улыбнулась.

— Я очень рада, что вам нравятся мои волосы.

— Мне они очень нравятся,— сказала Дженни с чувством. Несколько минут она молчала, пристально глядя на девушку из своего угла.— Только не помню, чтобы я видела у кого-нибудь такую темную кожу, как у вас. То есть кроме как у настоящих негритянок.— Она опять помолчала, потом прибавила: — Я хочу сказать, у мулаток.

Сжав руки еще крепче, Лоуэна тревожно улыбнулась.

— Это потому, что я отчасти индианка,— сказала она.— Отец моей матери... мой дедушка...

— Понимаю,— заметила Дженни, еще пристальнее разглядывая девушку и медленно кивая головой.— Понимаю,— повторила она еще раз.— Сама бы я нипочем этого не распознала, если бы вы не сказали мне. По совести говоря, я уж начала сомневаться. Столько везде видишь мулатов, что просто диву даешься, какое нынче пошло смешение рас. Во всяком случае, настоящих индейцев, говорят, осталось не так уж много в этой части страны. Я слыхала, что совсем недавно их было много, пока они не начали смешиваться с белыми. А может, и наоборот — белые с

ними, оно больше похоже на правду. Да ничего другого и ждать не приходится, кроме смешения, такова уж человеческая природа, стоит только посмотреть на всех этих мулатов в Сэллисоу, сразу увидишь, как это верно. Много идет разговоров насчет того, чтобы белые и негры держались подальше друг от друга и не смешивались, но ведь это только одна болтовня. Это днем слышишь такие разговоры, а как ночь придет, они больше ничего не значат. Сама знаю, если б я была мужчиной...

В прихожей громко и настойчиво зазвонил телефон. Дженни хотела было не обращать на него внимания и не подходить к нему, в уверенности, что это вызывают Бетти, но звонки повторялись раз за разом, и ее это раздражало.

— Визи, подойди к телефону и, кто бы ни звонил, скажи, что никто в этом доме с ним разговаривать не станет, а если он позвонит еще хоть раз, я с ним церемониться не буду. И скажи ему, что это велела передать Дженни Ройстер.

Встав со стула и просеменив через гостиную своими короткими ножками, Шорти вышел в прихожую. Поговорив с кем-то по телефону, он вернулся и стал в дверях.

— Это судья Рэйни, он сказал...

— Что?

— Судья Рэйни сказал...

— Майло Рэйни! — воскликнула Дженни.— Этот трус, этот старый мошенник! Взбеленился он, что ли, что такие штуки проделывает! Вот уж никогда не думала, что он станет звонить Бетти Вудраф! Оказывается, он не лучше других мужчин в городе! Дай-ка я с ним поговорю! Я ему скажу такое, что он до старости не забудет!

Дженни уже поднялась с дивана, как вдруг заметила, что Шорти отрицательно мотает головой.

— Судья Рэйни не говорил, что хочет разговаривать с Бетти, это насчет вас.

— Насчет меня? — спросила Дженни, смягчившись. Она тяжело опустилась на диван.— Хочет со мной говорить?

— Он вот что сказал: чтоб я спросил вас, не можете ли вы зайти к нему ненадолго. Он сказал, что ему нужно поговорить с вами о чем-то очень важном.

Глубоко вздохнув, Дженни откинулась на спинку дивана и сложила руки на животе.

— Ну, это совсем другое дело. Скажи Майло, что я буду у него, как только освобожусь, мне остается тут кое-что закончить. Только не смей передавать того, что я минуту назад говорила.

Шорти, вернувшись в гостиную и взобравшись на стул, что-то ворчал себе под нос.

— Ну, Визи, что в этот раз сказал тебе Майло на своем непонятном языке?

— Он сказал «компас-не-компас» *, что-то в этом роде.

— Не обижайся, Визи. Это он обращается с тобой по-дружески и хочет показать, что ты ему нравишься.

— Как-нибудь на днях я ему придумаю такое прозвище, что он взбесится, на каком бы языке ни говорил.

Недоумевая, о чем это судье понадобилось говорить с ней, Дженни нервно постукивала пальцами по подлокотнику дивана.

— Ведь вы все-таки сдадите мне комнату, мисс Ройстер? — услышала она вопрос Лоуэны.

Шорти, опять ухмыляясь, начал болтать ногами под стулом.

— Ну что ж,— ответила Дженни, глядя со своего места на Лоуэну и

---

* Non compos mentis — не в своем уме (*лат.*).

кивая ей,— мне кажется, вы очень порядочная девушка, и я решила сдать вам комнату.

— Спасибо, мисс Ройстер,— живо ответила Лоуэна.

— Но вы должны мне обещать одну вещь, в сущности, даже две.

— Какие же?

— Я хочу, чтобы вы обещали мне запирать вашу дверь на ночь — обязательно. Это вот Визи Гудвилли, он мой любимый постоялец. Хоть он и маленького роста, это еще ничего не значит, понятия у него как у настоящего мужчины. И я вовсе не желаю слышать, как жильцы топают наверху, бегая из комнаты в комнату. Этого я не потерплю. А еще вы должны обещать, что если у вас будут свидания с посторонними мужчинами, так пускай они видятся с вами в этой гостиной или ведут вас в кино или еще куда-нибудь. Но только чтобы вы не уходили одна из дому, чтобы встретиться с мужчиной где-то еще. Из-за этого у меня уже были неприятности, и я твердо решила положить этому конец.

Лоуэна взглянула на Шорти, потом снова перевела взгляд на Дженни.

— А какого рода эти меблированные комнаты? — спросила она тревожно.

— В высшей степени приличные и респектабельные,— обиженно ответила Дженни.— И с этих пор только для порядочных девушек.

Лоуэна натянуто улыбнулась.

— Надеюсь, вы не подумали, что я непорядочная. И конечно я не хотела бы жить в доме, который не считается приличным.

— Деточка, я очень рада, что вы это говорите. Вам только остается доказать, какая вы хорошая.

Дженни встала с дивана.

— Я теперь очень тороплюсь. Мне надо пойти сделать один визит, пока еще не очень поздно. Насчет платы мы уговоримся утром, когда будет свободное время. С платой все будет по-честному. Можете положиться на меня, я лишнего не возьму.

Джении обернулась и подозвала Шорти.

— Визи, покажи Лоуэне, как пройти в ту свободную комнату, что напротив Бетти. А по дороге покажи ей, кстати, где ванная. И когда поднимешься наверх, постарайся не шуметь — совсем не шуметь! — я хочу, чтобы Бетти не будили до самого утра. И еще одно, Визи. Как только ты покажешь ей, куда идти, немедленно вернись сюда, в гостиную, и смотри что-нибудь по телевизору. И не уходи отсюда. Если тебе захочется спать до моего прихода, можешь прилечь на диване и вздремнуть. Смотри же держись подальше от верхнего этажа, пока меня нет дома.

Выйдя из гостиной, Дженни подождала внизу у лестницы, пока Лоуэна не возьмет свой чемодан. Шорти уже начал подниматься на второй этаж, когда Дженни положила руку на плечо Лоуэны.

— Погодите минутку,— сказала ей Дженни.

Она пристально разглядывала Лоуэну в ярком свете прихожей.

— В чем дело? — беспокойно спросила Лоуэна, переводя дыхание и ставя чемодан на пол.— Почему вы на меня так смотрите?

Дженни все разглядывала ее испытующим взглядом.

— Любопытно было бы знать,— с расстановкой сказала Дженни, вертя головой то в одну, то в другую сторону.— Просто ужасно хотелось бы мне знать. Вас никогда не принимали за мулатку... за негритянку?

Губы Лоуэны задрожали.

— Свет в гостиной немножко тусклый,— сказала Дженни,— я вас плохо разглядела, пока мы не вышли сюда.

— Зачем вы про это спросили? — сказала Лоуэна, и слезы выступили у нее на глазах. На мгновение она закусила губу.— Зачем?

— Не знаю,— ответила Дженни, качая головой.— Не знаю, зачем я об этом спросила. Должно быть, это было первое, что пришло мне в голову.

— Я же вам сказала,— быстро заговорила Лоуэна, стараясь удержать слезы. Она опять закусила губу.— Не надо было про это спрашивать!

Дженни протянула руку и погладила ее по плечу.

— Деточка, мне очень жаль, что я про это спросила,— сказала Дженни, подходя ближе и похлопывая ее по руке,— я же не хотела вас расстраивать. Всегда говорю первое, что в голову взбредет, а потом жалею. Но я никогда до сих пор не видела индианок и просто не могла не поинтересоваться на этот счет. Все равно, мне кажется, тут кто угодно мог ошибиться, столько у нас в стране развелось мулатов, и с каждым днем их все больше становится.

Лоуэна попятилась так, что Дженни не могла до нее дотянуться. Рука Дженни повисла в воздухе.

— Я горжусь тем, что я есть! — с трудом выговорила она.— И все равно гордилась бы, кем бы я ни была — негритянкой или индианкой! Горжусь не меньше, чем вы или кто угодно из белых!

Подхватив чемодан, Лоуэна быстро побежала вверх по лестнице. Она заплакала, добежав до второго этажа, где Шорти поджидал ее, чтобы показать ей дорогу к комнате в конце коридора.

Дженни стояла внизу под лестницей и смотрела на Лоуэну, пока та не скрылась из виду. Слезы выступили на глазах у Дженни, и ей пришлось вытереть их, чтобы хоть что-нибудь видеть. После этого она надела пальто и вышла из дому.

## 9

Судья Рэйни щедрой рукой налил виски в стакан и подал его Дженни. В стакане лежал кубик льда, но воды в нем не было.

— Это не для того, чтобы вы согрелись,— сказал он торжественно.— А для того, чтобы вокруг вашей головы появилось сияние и я бы им любовался.

— Я не захватила с собой мой любимый горшок с цветами, чтобы полить его, Майло,— сказала она, смеясь так, что затряслись груди.— Я ушла из дому второпях и совсем забыла про него. Уж очень меня разволновал ваш личный вызов по телефону.

Он налил себе виски и бросил в стакан маленький кубик льда.

— Вам не понадобится ваш горшок с цветами нынче вечером, Дженни,— сказал судья без улыбки, усаживаясь в кресле перед камином.— И воды сегодня не будет, чтобы поливать его. Скаредный кусочек льда — вот и все, что следует класть в стаканчик виски.

Отхлебнув виски и поставив стакан на столик рядом с собой, судья Рэйни достал кочергу из-под очага и энергично помешал горящие уголья на решетке. Искры вихрем полетели в трубу, и пламя осветило их лица красным блеском.

Ночь была холодная, но не морозная, и от камина в библиотеке стало тепло и уютно. У судьи Рэйни было большое собрание законов, и почти все книги он держал у себя дома, чтобы они были у него под рукой по вечерам. Кроме того, его адвокатская контора на восточной стороне городской площади была настолько мала, что в ней едва хватало места для конторских книг и текущих дел.

Глядя на него в молчании, Дженни удивлялась, почему он сегодня такой серьезный и озабоченный. За все годы знакомства с ним она никогда не видела его настолько погруженным в мысли и так глубоко взволнованным. Он ни разу не улыбнулся за все время, что она с ним сидела.

— Дженни,— через некоторое время сказал он, не глядя на нее,— мне нужно поговорить с вами об очень важном деле.— Он раз за разом ударял по углям на решетке. Кружась роем, искры летели в трубу.— Вот почему я и попросил вас прийти сюда сегодня вечером — даже в такой поздний час. Будь это обычное дело, вы знаете, я бы сам пришел к вам, но тут я решил, что нам понадобится уединение для такого важного разговора.

Дженни наклонилась вперед.

— Что такое, Майло?

Судья Рэйни положил кочергу на место и откинулся на спинку глубокого кожаного кресла. Он долго раскуривал свежую сигару, словно обдумывая то, что собирался сказать, и решая, как лучше изложить это.

— О чем это, Майло? — настаивала она.

Он выпустил дым к потолку.

— Дженни, как раз перед возвращением домой до меня дошли очень тревожные слухи...

— Если это про Бетти Вудраф, так я уже все знаю, Майло. И к тому же из первых рук. Бетти недавно вернулась домой и рассказала мне все, что случилось нынче вечером в этом пансионате. Она была так расстроена, что мне пришлось уложить ее в постель и дать ей снотворное, чтобы нервы у нее пришли в порядок, и теперь, я думаю, она успокоится. Это вас она должна благодарить за то, что вы остановили Стэнли Причарда и шерифа Хафмена и не позволили им поступить с ней так, как они хотели,— и я тоже благодарю вас. Грешно и стыдно было бы запереть такую девушку в нашу ужасную тюрьму. Знаю я эту тюрьму. Все то же, что было и двадцать лет назад, только еще хуже. Шерифы и тюремщики всю ночь таскались бы к ней в камеру, а бедной девушке так-таки не дали бы и слова сказать. Но вот чего я не могу переварить — как это у проповедника Клу хватило наглости поехать в пансионат и...

Судья Рэйни покачивал головой и делал рукой знаки, пытаясь остановить ее.

— Нет, Дженни, нет,— перебил он ее наконец.— Послушайте меня. Не спешите с выводами. Совсем не то. Инцидент, о котором вы говорите, исчерпан, и с ним покончено. Он теперь в прошлом, и о нем можно позабыть. Такого рода вещи всегда возможны. После некоторого интервала о них обычно забывают. Разумеется, есть разные степени публичного скандала, но обыкновенно такие пустячные эскапады скоропреходящи и не имеют последствий. Если бы каждого из жителей Сэллисоу призывали к ответу за любые провинности и нарушения закона и изгоняли бы за них из города, то в результате нельзя было бы найти трех игроков, чтобы составить партию в покер. Вот что хорошо у нас в Сэллисоу: мы скоро прощаем и забываем всякие нарушения морали.

Он затянулся сигарой и выпустил кверху клуб дыма.

— Так вот, минуту назад вы упомянули проповедника Клу. Лучшего сборщика пожертвований в церкви Тяжкого креста никогда еще не было, а люди вряд ли изменят отношение к нему из-за каких-то мелких человеческих слабостей. По крайней мере, до тех пор, пока не выполнят свою грандиозную программу строительства, а там, может быть, они и сами попросят его выехать из города.

— Они не получат моего участка, пока не дадут мне мою цену,— решительно сказала Дженни.— А если будут приставать ко мне с этим, так я, может, еще передумаю и совсем не продам, ни за какую цену. Нынче утром я говорила Кларе Крокмор...

— Это можно обсудить в другое время и в другом месте,— прервал ее судья, нетерпеливо махнув рукой.— А теперь, Дженни, позвольте мне кончить свою речь. Вообще говоря, у людей в Сэллисоу существует тра-

диция терпимости и снисходительности по отношению к так называемой моральной неустойчивости. Вы прожили в Сэллисоу достаточно долго, чтобы знать, насколько это верно. И если вы вспомните собственную молодость, то поймете это скорее всякого другого. Не может быть и речи о том, что наши люди нетерпимы к человеческим слабостям,— и это потому, что у каждого из нас их очень много.

— Но, Майло, если вы говорите не о Бетти Вудраф и не о проповеднике Клу, то я никак не пойму...

Судья Рэйни раскуривал сигару так долго, что над его головой поднялось целое облако дыма.

— Дженни, я пытаюсь логически подойти к очень важному делу. Я хочу, чтобы вы были к этому вполне подготовлены.

— Да, Майло.— Она насторожилась.— Что это такое?

— Вот что. Сегодня вечером, как раз когда я собрался домой, мне позвонил Дэйд Уомэк. Вы не хуже меня знаете, кто он такой. И оба мы знаем, что его надо принимать всерьез и уж конечно нельзя игнорировать. Благодаря знанию законов, соединенному с высокоразвитым инстинктом приобретателя, он сумел провести ряд удачных операций по закладу недвижимости — все это в строгом согласии с буквой закона — и разбогател. Теперь Дэйд Уомэк очень богатый человек, быть может, самый богатый в округе Индианола. Такого рода богатство дает власть.

Мало того, Дэйд тонкий юрист и ловкий политик; он последние пятнадцать лет единолично управлял нашим городом, управляет им и по сей час. Не забывайте этого. На каждых выборах именно он проводит мэра и подбирает членов муниципалитета. Если Дэйду потребуется что-нибудь сделать, ему стоит только отдать приказ, и мэр с советниками бросаются опрометью, словно вспугнутые кролики с бобового поля. Если Дэйду нужно проложить новую улицу или закрыть проезд для успешного проведения какой-нибудь операции с недвижимостью, никто в Сэллисоу не окажется настолько безрассудным, чтобы противоречить ему. Находились в прошлом такие люди, которые пытались бороться с ним, но у них либо конфисковали все имущество по суду или как-нибудь иначе, либо они сами выехали из округа Индианола, пока еще можно было выехать. Это одна сторона личности Дэйда Уомэка. А другую сторону можно описать очень кратко. Он и сам вам скажет, что ненавидит негров, мулатов и все прочие разновидности черной расы, как проповедники ненавидят грех.

— Что все это значит, Майло? — в недоумении спросила Дженни.— Я, конечно, знаю про Дэйда Уомэка. Но мне непонятно, почему...

— Дженни, я объясню вам как можно проще, о чем я толкую. Дэйд сказал мне сегодня, что какая-то мулатка весь этот день пыталась выдать себя за белую и снять комнату по эту сторону Пичтри-стрит. Вы знаете, Дженни, что в Сэллисоу этого не допускает обычай. Во всяком случае, до самой последней минуты эту мулатку, по его словам, прогоняли отовсюду, куда бы она ни заходила. Дэйду сообщили, что какой-то шофер такси, очевидно пьяный или не сообразивший, в чем дело, привез ее к вашему дому, Дженни. И, кстати сказать, этого шофера уже уволили с работы, и он уже выслан из города — за то, что посадил мулатку в такси, предназначенное только для белых. Вот как скоро все это сделалось. Теперь вы поняли, Дженни, о чем я толкую?

Дженни сразу выпрямилась в своем кресле, и ее лицо вспыхнуло.

— Она имеет право быть тем, что она есть! — гневно сказала Дженни.— А Дэйд Уомэк лжет! Она не негритянка, она — индианка! Она сама мне это сказала! А кроме того, мне все равно, кто она такая и что про нее говорят! Она достаточно хороша, чтобы жить в моем доме!

Судья Рэйни достал кочергу и поворошил уголья на решетке.

— Дженни...— начал он.

— Такие речи меня просто бесят! — сказала она, вся покраснев и разволновавшись от гнева.— А теперь я до того взбесилась, что и слов не нахожу!

— Дженни,— начал он опять спокойным тоном.— Дженни, не так важно, кем вы ее считаете или что она о себе говорит, дело в том, что, с точки зрения Дэйда Уомэка, она мулатка, которая пытается выдать себя за белую, и только это одно имеет значение...

— А я знаю, кто из белых в Сэллисоу первым начнет бегать за ней, да и не только он один! — прервала его Дженни, повысив голос.— Я так разозлилась, просто плюнуть хочется!

— Дженни, она, быть может, индианка или другой расы, но это дела не меняет, если кожа у нее не такая белая, как у Дэйда Уомэка. Люди в Сэллисоу могут быть очень терпимыми в отношении политики, религии и морали, но они не проявят ни капли терпимости к негритянской расе до тех пор, пока существует на свете Дэйд Уомэк для того, чтобы будоражить их ум и чувство. Еще не родился на свет человек, который был бы нетерпимее Дэйда Уомэка. Так вот, Дженни, не забудьте того, что я вам сказал. Я знаю, о чем говорю. Не пренебрегите моими словами.

Глубоко вздохнув, Дженни откинулась на спинку кресла.

— Что он может сделать? — помолчав с минуту, спросила она.

— Он ни перед чем не остановится, Дженни.

— Но вы должны бы все-таки знать, Майло.

— Не знаю. Право, не знаю.

— Но ведь вы могли бы остановить его, Майло?

— Нет, Дженни, не мог бы.

— Но почему же?

Затянувшись сигарой несколько раз подряд, судья Рэйни мрачно покачал головой.

— Дженни, ни у кого из Сэллисоу или во всем округе Индианола, по правде говоря, нет воли и власти, чтобы остановить Дэйда Уомэка в таком деле, и он это знает. Обычно я могу найти какой-то выход, чтобы решить дело, или примирить тяжущиеся стороны, или затянуть судопроизводство ad infinitum *, но я беспомощен, как новорожденный младенец, когда речь идет о расовой проблеме в городе Дэйда Уомэка. Я не могу позволить себе выступить в открытую против него, каковы бы ни были мои личные настроения. Меня бойкотировали бы всю жизнь, до конца моих дней. Здесь моя родина, здесь у меня есть адвокатская практика, и я должен здесь жить. По этой причине, что бы мы с вами о нем ни думали...

— Он сукин сын, вот кто он такой!

— Вы можете называть его сукиным сыном, ханжой, фанатиком, демагогом и как вам угодно, но факт остается фактом — он действительно умеет воздействовать на ум и чувства простых людей, а простых людей в округе Индианола в девять раз больше, чем всяких других. Я видел много раз в прошлом, как Дэйд проявлял свою власть над людьми: эта сила действует безотказно, словно часовой механизм, и так же легко заводится.

— Не знаю, что мне и думать,— сказала Дженни, глядя на судью Рэйни и растерянно качая головой.— Знаю, что надо вас слушаться, потому что вы юрист да и ко мне хорошо относитесь, но я просто не могу сделать гадость кому-либо вроде Лоуэны и выгнать ее из дому.

— Это ее имя? — спросил он.

Дженни улыбнулась.

---

* До бесконечности *(лат.)*.

— Лоуэна, Лоуэна Нели. Такое хорошенькое имя для девушки, правда, Майло?

Он сразу согласился.

— Звучит очень мило.

— Она и сама милая! И такая изящная, и голос у нее такой мягкий. Вы бы посмотрели, какие у нее прелестные черные волосы и как они блестят и переливаются на свету. Мои каштановые волосы по сравнению с ними просто ни на что не похожи.

— Ну, Дженни, не надо так себя чернить,— остановил ее судья Рэйни, нахмурившись.— А откуда эта девушка?

— Из Дженкинстауна, в округе Пальметто.

— Я помню те времена, когда в округе Пальметто было еще много индейцев. И здесь, в округе Индианола, тоже. Вот откуда пошло и название нашего округа. А Сэллисоу назвали сами индейцы, название осталось и после того, как появились белые поселенцы и заняли их землю.

— Лоуэна говорила, что ее дедушка был индеец.

— Что она делает в Сэллисоу?

— Она хочет искать конторской работы. Говорит, что два года проучилась в коммерческом колледже и хорошо знает дело. Я ей говорила про газовую и электрическую компании и про управление округа.

Судья Рэйни прервал ее, махнув рукой.

— Дженни, ей никогда не найти такой работы в Сэллисоу. Об этом не может быть и речи. Во всяком случае, после того шума, который поднял из-за нее Дэйд Уомэк. Если она возьмется за домашнюю работу вроде уборки и стряпни и снимет комнату по другую сторону Пичтри-стрит — ну что ж, тогда никаких осложнений не будет. Если бы вы посоветовали ей что-нибудь по этой части, то это было бы лучше для нее.

Дженни долго сидела, уставившись на пылающие угли.

— Иной раз мне бывает стыдно за свою расу,— немного спустя сказала она, стискивая руки на животе и приподнимая их кверху.— Это уж верней верного. Белые люди могут быть всех подлей.

— Ну, Дженни,— сказал судья, наклоняясь к ней и похлопывая ее по руке,— не изводитесь так и не волнуйтесь из-за этого. Не в первый раз такое случилось в Сэллисоу да и не в последний. Как бы сильно это ни волновало, существуют вещи, которых нельзя изменить по желанию. Не так легко искоренить предрассудки в умах таких людей, как Дэйд Уомэк.

— Я имею такое же право думать и чувствовать по-своему, как и он.

— Вы можете иметь это право, Дженни, но у вас нет той власти претворить ваши мысли и чувства в жизнь, какая есть у него.

— Майло, вы говорите так, будто вы на его стороне.

— Нет, я не на его стороне. Я избираю тот путь, который мне продиктован разумом, и вам советую то же. Терпимость, о которой вы говорите, должна прийти когда-нибудь, но завтра ее еще не будет. А тем временем...

— Не тем временем, а немедленно — вот о чем я думаю,— решительным тоном заявила она.— И вам меня не разубедить.

— Что вы хотите сказать, Дженни?

— Я твердо решила, что меня не заставят выгнать эту девушку на улицу только потому, что так велит Дэйд Уомэк. И я думаю то, что говорю. Сперва они заставляли меня выгнать из дому Визи Гудвилли, потом Бетти Вудраф, а теперь Лоуэну Нели. Я буду отстаивать ее так же, как отстаивала Визи и Бетти. Лоуэна может уехать из моего дома, если хочет, но я ее выгонять не собираюсь.

— Послушайте меня, Дженни. Это совершенно другое дело. Оно не имеет никакого отношения к подлости. Наши люди научились быть терпимыми в некоторых отношениях, но...

— Это мой собственный дом, и я имею право...

Телефон на столе резко зазвонил. Судья Рэйни вздрогнул и выпрямился. Несколько времени он смотрел на телефон, не дотрагиваясь до трубки, и его подбородок вздрагивал от волнения. Телефон зазвонил во второй раз, как только судья взялся за трубку.

— Майло Рэйни у телефона.

— Здравствуйте, Майло! Это говорит Дэйд Уомэк.

Судья Рэйни взглянул на Дженни, потом быстро отвел глаза в сторону.

— А, здравствуйте, Дэйд,— приветливо ответил он.— Рад вас слышать. Как вы поживаете? Вся ваша семья здорова? Как поживает миссис Уомэк?

— Отлично, отлично, Майло, благодарю вас. Лучше и быть не может. А вы?

— Я пока еще жив, Дэйд.

— Отлично, отлично, Майло. Кстати, вот почему я вам звоню: мне тут пришло в голову, не хотите ли вы поохотиться со мной на перепелок как-нибудь на той неделе? Говорят, сейчас в округе Пальметто можно очень хорошо поохотиться, а мне просто противно думать, что все эти жирные куропатки сидят себе на своих жирных задах,— я этого не могу так оставить. Мы возьмем с собой Бэрджа Коббера и Гарри Драммонда, чтобы не пустовала машина. А чтобы от них была хоть какая-нибудь польза, мы заставим их захватить для нас несколько бутылок виски. Как это вам нравится, Майло?

— Очень нравится, Дэйд. Замечательно! Мне давно хочется уехать подальше от конторы и подышать свежим деревенским воздухом. Дайте знать, в какой день вы собираетесь поехать. Я раздобуду патронов для своего дробовика.

— Отлично, отлично, Майло. Я позвоню вам в начале той недели и скажу, в какой день мы поедем.

— Буду ждать вашего звонка. Всего хорошего, Дэйд.

Улыбаясь, судья Рэйни наклонился к столу, чтобы положить трубку на место.

— Кстати, Майло, я хотел спросить вас еще кое о чем, прежде чем повешу трубку.

Судья Рэйни опустился в кресло, и улыбка бесследно исчезла с его лица.

— Что такое, Дэйд?

— Я интересуюсь, удалось ли вам поговорить с мисс Ройстер. Вы знаете — насчет этой негритянки, о которой я вам говорил. Пожалуй, сегодня уже слишком поздно выселять ее из дома Дженни Ройстер, сейчас уже около полуночи. Но завтра будет как раз вовремя — так что она должна выехать оттуда и поселиться по ту сторону Пичтри-стрит к заходу солнца. Хорошенько поговорите с Дженни Ройстер. Майло, внушите ей, какое это серьезное дело. Она достаточно долго прожила здесь и должна теперь знать, что думают и как поступают белые люди в Сэллисоу, когда происходит что-нибудь подобное. Я знаю, Дженни Ройстер ваша клиентка, и мне не хочется, чтобы вышли неприятности, когда дело касается вас лично. Действуйте как знаете, Майло, но только чтобы Дженни Ройстер поняла, что ни одна негритянка не может поселиться и жить где-либо на нашей стороне Пичтри-стрит. Согласны, Майло?

— Согласен, Дэйд.

— Отлично, отлично, Майло. Позвоните мне завтра, когда все будет улажено. Всего хорошего, Майло, всего хорошего!

— Всего хорошего, Дэйд!

— Что он сказал? — тревожно спросила Дженни, после того как он положил трубку на место.

Судья Рэйни наклонился вперед и поколотил кочергой уголья на решетке. Он казался усталым и постаревшим при свете пламени, падавшем на его изрезанное морщинами лицо.

— Майло, что он сказал? — настаивала Дженни.

— Дженни,— начал он медленно,— Дженни, я знаю, почему вы не хотите выгонять эту девушку из вашего дома, и я восхищаюсь вашей стойкостью. Наша страна была бы лучше, если б в ней было больше таких людей, как вы. Но вот что я хочу сказать вам сейчас: я думаю, самое разумное было бы удалить ее из вашего дома завтра же — еще до захода солнца. В сущности, я на этом настаиваю. Я уже прошел через все это и теперь, в моем возрасте, не намерен идти против течения.

Он повернулся и строго взглянул на нее.

— Дженни, отделайтесь от нее — удалите ее из своего дома завтра же, до захода солнца! Слышите, Дженни?

Она молчала. Ее губы были крепко сжаты.

— Дженни! Вы меня слышали?

— Да, я вас слышала.

— И что же, вы это сделаете?

— Нет.

Сэм Моксли вошел в библиотеку и смел с решетки золу. После этого, гремя совком и шаркая ногами, он подбросил угля в огонь. Выпрямившись и охая от усталости, он долго разглядывал часы на каминной доске, вертя головой и молча высчитывая, который час. Бормоча что-то неразборчивое, но про себя, а не вслух, он направился к дверям. Проходя мимо кресла Дженни, он повернул голову и посмотрел на нее сверху вниз, как на незнакомую, словно никогда прежде ее не видел.

## 10

Был уже первый час ночи, когда Дженни, выйдя из большого белого дома судьи Рэйни в начале Морнингсайд-стрит, медленно шла домой в ночной тишине. Сырая вечерняя мгла рассеялась, и теперь только клочья тумана бродили по лужайкам и мостовой.

Дженни жила всего в двух кварталах от дома судьи, и когда он предложил проводить ее и присмотреть, чтобы она дошла до дома благополучно, она ему не позволила, сказав, что хочет идти одна. Он возражал, говоря, что ей не следует ходить одной по улице в такой поздний час, но Дженни настояла на своем.

Почти во всех домах по обеим сторонам Морнингсайд-стрит к этому времени погасли огни, но фонари на углах горели ярко, и Дженни нисколько не боялась идти по улице в такой поздний час. Кроме того, она все еще была так расстроена и встревожена угрозами Дэйда Уомэка и настояниями судьи как можно скорее удалить из дома Лоуэну Нели, что даже и не думала бояться.

Миновав мрачную церковь Тяжкого креста, отчасти скрытую густой листвой черных дубов, Дженни дошла до своего дома и уже стала подниматься на веранду. Но, еще не дойдя до верхней ступеньки, она услышала быстрое шарканье ног и резкий скрип стула. Вздрогнув от этих звуков и испугавшись впервые после того, как она ушла из дома судьи, Дженни остановилась на месте. Сердце у нее колотилось от волнения, пока она соображала, скоро ли прибегут соседи, если позвать их на помощь.

Стоя на ступеньках веранды и раздумывая, что ей делать, Дженни заметила, что кто-то поднялся со стула и направляется к ней. Свет в прихожей и гостиной еще горел, но на веранду падал только слабый

отблеск. Сначала она подумала, что это Шорти Гудвилли дожидается ее возвращения от судьи Рэйни, но, увидев высокую плотную фигуру мужчины и не узнавая его в темноте, она испугалась по-настоящему.

— Кто это? — вскрикнула она, торопясь вбежать на веранду, добраться до двери и благополучно попасть в дом.— Что вы здесь делаете?

После того, что произошло у судьи Рэйни, единственным человеком, который мог очутиться здесь в такое позднее время, был, как ей представлялось, Дэйд Уомэк. Тут она пожалела, что не позволила судье проводить ее домой.

— Кто это? — окликнула она опять.

Теперь Дженни уже добралась до дверей.

— Вы Дэйд Уомэк?

— Мисс Ройстер... это я... Монти Биско.

Когда она открыла дверь, яркий свет из прихожей упал прямо на Монти. Прошел почти год с тех пор, как Дженни видела его в последний раз, и она уже успела забыть, какой он большой, высокий и мускулистый. Она разглядела, что на правой щеке у него по-прежнему виден шрам, нанесенный башмаком какого-то футболиста, и что фигура у него все такая же плотная. Монти смотрел на нее с нерешительной улыбкой.

— Я Монти Биско, мисс Ройстер,— сказал он, видя, что она не спускает с него глаз.— Ведь вы меня помните?

Открыв дверь пошире, она ступила на порог.

— Что вы здесь делаете в такой поздний час? — сердито спросила она. Узнав, кто он такой, она почувствовала себя легче, но все же еще задыхалась от волнения.— Вы напугали меня чуть не до смерти, Монти Биско. Для чего вы выкидываете такие шутки? Что вам нужно?

— Мисс Ройстер, я не хотел вас пугать,— оправдывался он хриплым голосом.— Честное слово, не хотел. Извините меня. Но мне надо с вами поговорить, мисс Ройстер. Вот почему я дождался, пока вы придете домой. Это очень важно.

— Неужели вы не могли дождаться приличного времени и прийти днем, Монти Биско, вместо того чтобы являться среди ночи и пугать меня до полусмерти?

— Я не мог ждать. Мне очень нужно было повидать вас нынче же ночью.

— Насчет чего?

— Это насчет Бетти... Бетти Вудраф.

— Так что же насчет Бетти?

— Ну, Бетти живет у вас в доме, вот почему я и думал...

Дженни распахнула дверь настежь. Наконец-то вздохнув свободно, она остановилась и сурово посмотрела на него при ярком свете. А он то засовывал руки глубоко в карманы, то снова их вытаскивал.

— У вас прямо-таки ослиное нахальство, Монти Биско. Заявиться сюда, после того как вы так бессовестно поступили с бедной девушкой год тому назад. Если уж ума не хватает, так вы бы хоть постыдились показываться в этом доме, после того как бросили Бетти и женились на той, другой учительнице. Или по крайней мере хоть бы оставили Бетти в покое. О чем теперь разговаривать? От разговоров, во всяком случае, ничего не изменится. Слишком поздно. Того, что вы сделали, уже не исправишь.

— Мисс Ройстер, в прошлом году я попал в переплет, это верно. И ничего не мог поделать. Говорю по совести. Вы должны мне поверить, мисс Ройстер. Пришлось так сделать, чтобы не потерять работу тренера в школе. Если бы она им рассказала...

— Кто кому и что рассказал бы?

— Если бы Мэйрита сказала директору школы, что она от меня беременна. Это чистая правда, мисс Ройстер.

— Если хотите знать правду еще почище, Монти Биско, так я вам ее скажу. Одно вы все-таки могли бы сделать.

— Что же это такое, мисс Ройстер?

— Лучше бы вам попасть в переделку с Бетти Вудраф, а не с той, другой учительницей — вот что.

— Мне бы очень хотелось, чтобы так оно и вышло, мисс Ройстер,— сказал он серьезно. Опустив глаза, он шаркал тяжелым башмаком взад и вперед по полу веранды.— Я сколько раз пробовал поговорить с Бетти на этот счет, но она и слушать меня не хотела.

Дженни засмеялась.

— Поговорить об этом! Поговорить! Говорить, говорить, говорить! Вы что думаете, девушка состоит из одних ушей? Может, вы и замечательный инструктор по футболу, и мускулы у вас, как у годовалого бычка перед кормушкой, да зато в голове у вас мозгу не хватило, чтобы не только разговоры разговаривать. Как вы думаете, чего она ждала все время, пока вы разговаривали? Перемены погоды? Если б вы пошевелили мозгами и проявили хоть сколько-нибудь мужества, она бы пошла с вами, как всякая другая девушка. Поживете подольше, так, может, когда-нибудь и узнаете, что если девушка идет с мужчиной, так она надеется не на одни разговоры. А иначе она сидела бы дома, завивала бы волосы или читала бы книжку. Бетти Вудраф встречалась со многими мужчинами, после того как этой осенью вернулась в Сэллисоу, и вовсе не для того, чтобы слушать их разговоры.

Беспокойно ежась, Монти засунул руки глубоко в карманы.

— Вот именно об этом я и хочу поговорить с вами, мисс Ройстер,— сказал он, переминаясь с ноги на ногу.— Именно об этом. Если вы впустите меня в дом только на одну...

Он сделал шаг к дверям.

— Не знаю уж, стоит ли впускать вас в дом,— с сомнением в голосе сказала Дженни, глядя на его беспокойные движения.— Я не уверена, что это будет разумно. А кроме того, от всех этих разговоров ровнехонько ничего не изменится.

— Но ведь мне надо поговорить с вами, мисс Ройстер, и не могу же я вот так держать вас, стоя на веранде. Если бы мы могли присесть где-нибудь на минутку, чтобы я мог рассказать вам...

Она прервала его, махнув рукой.

— Не вижу никакой разницы, так или иначе — все равно, что бы вы ни сказали и где бы вы это ни сказали, но если хотите, можете зайти в дом ненадолго. Я еще никому не отказывала в гостеприимстве и на этот раз не откажу. Но вам придется поскорее выложить, что там у вас на уме, потому что мне давно пора спать. Ну, входите, что ли.

Монти радостно устремился вслед за Дженни в прихожую, закрыв за собой дверь, и вместе с нею вошел в гостиную. В ярком свете комнаты он казался еще крупнее, чем всегда. Ростом он был выше шести футов, плотного сложения, с длинными руками и ногами, и его короткие черные волосы торчали на голове, как щетина. На нем была серая кожаная куртка и измятые коричневые брюки. Воротник его красной рубашки был расстегнут.

— Садитесь,— нелюбезно сказала ему Дженни и сама села на красный плюшевый диван.— На любой стул, какой вам нравится.

Слегка ухмыльнувшись, Монти сел на первый попавшийся стул. Ноги он засунул как можно дальше под стул.

Дженни сложила руки на животе, передвинула их кверху и подозрительно взглянула на Монти.

— Я вас слушаю.

— Мисс Ройстер...— начал он.

Дженни тут же оборвала его.

— Но только если вы думаете, что еще раз сумеете провести меня или Бетти Вудраф, то вы нисколько не поумнели. Один раз вы обманули Бетти, но во второй раз вам это ни за что не удастся. Ну начинайте, а я послушаю, что вы хотите мне сказать.

Наклонившись вперед на стуле и ссутулив широкие плечи, Монти провел всей пятерней по черным щетинистым волосам и облизал языком сухие губы.

— Я хочу повидать Бетти, мисс Ройстер.— Он опять облизал губы.— За этим я и пришел.

Прежде чем ответить что-нибудь, Дженни долго смотрела на него. Она еще крепче сжала руки на животе и опять передвинула их кверху.

— Повидать? Для чего это?

— Мисс Ройстер, это вот для чего. Недавно я был в центре города и слышал много разговоров насчет того, что произошло сегодня вечером в одном пансионате. И все разговоры были про Бетти. Я и раньше слышал, что она часто встречается с мужчинами, после того как вернулась в Сэллисоу, но я думал, что это были самые обыкновенные свидания, вроде тех, что бывали у меня с ней. Но то, что я слышал в городе, совсем меняет дело. Говорят, она каждый вечер ездила в какой-нибудь из пансионатов на шоссе и каждый раз встречалась с другим мужчиной. В городе как будто все об этом знают, но мне трудно поверить тому, что люди про нее говорят. Для меня это уж очень большая неожиданность. Она не была такая, когда я встречался с ней в прошлом году.

— Ну так что же?

— Так вот поэтому я и пришел повидаться с ней сегодня. Я подумал, может быть...

Дженни откинулась назад и засмеялась.

— Монти Биско, вы говорите, как семилетний мальчишка, который раздарил все свои конфеты, а потом хнычет и просит отдать их обратно.— Она опять засмеялась.— Теперь я знаю, зачем вы здесь. Вам хочется этих конфет, пока они еще не все съедены.

— Не совсем так,— сказал он, отодвигаясь на край стула.— Я не то хотел сказать, мисс Ройстер. Я хочу сказать Бетти, что я решил бросить тренерскую работу в школе, как только у нас состоится последний футбольный матч в сезоне. Это будет всего через три недели. Вот что я задумал: уехать куда-нибудь далеко, вроде Тенесси или Арканзаса, или даже в Техас и найти другую тренерскую работу. И я хочу взять с собой Бетти — и жениться на ней.

— Вы как будто совсем с ума сошли, Монти Биско. Ведь вы уже женаты на той, другой учительнице. Ни Бетти Вудраф, ни другая маломальски разумная девушка не убежит с женатым человеком.

— Но ведь я разведусь с Мэйритой. Я уже говорил об этом с адвокатом, и он сказал, что найдет сколько угодно оснований для развода. Он сказал, что за двести долларов может меня развести. А потом, как только я получу развод, мы с Бетти поженимся.

— Это вы так думаете. А теперь я вам скажу, что я думаю. Бетти Вудраф не пойдет за вас после того, как вы с ней так поступили. Столько-то рассудка у нее найдется, хоть гордости и совсем не оказалось.

— Я по ней с ума схожу, мисс Ройстер,— сказал Монти, беспокойно ерзая на стуле.

Дженни молчала, наблюдая за ним.

— Я все что угодно сделаю, если она уедет со мной и выйдет за меня замуж.

— Я вам посоветую одно, что вы можете сделать,— сказала ему Дженни.

— Что же это, мисс Ройстер? — спросил он с надеждой.

— Встать и уйти домой. Мне давно пора ложиться, я устала и хочу спать. Даже если вы просидите тут всю ночь и отболтаете себе весь язык, я все равно не посоветую Бетти уехать из города и сделать хотя бы один шаг куда бы то ни было с женатым человеком, который уже обманул ее один раз.— Дженни не спеша поднялась всем своим полным телом с дивана и встала на ноги. Повернувшись к Монти спиной, она пошла к двери.— А я ложусь спать. Спокойной ночи!

Засунув руки в карманы, Монти смотрел, как Дженни гасит свет в гостиной. Потом он поплелся за ней в прихожую.

— Мисс Ройстер, не моя вина, что я теперь женат,— говорил он в отчаянии.— Прежде всего, я не просил ее выходить за меня. Она пригрозила мне, что, если я на ней не женюсь, она скажет директору и школьному совету, что у нее будет ребенок и что я его отец. Они бы меня уволили. Вот почему мне и пришлось жениться.

— Ну и что же, родила она ребенка?

— Нет.

— И Бетти Вудраф тоже не собирается рожать. Так что вам нисколько не поможет, если вы будете тут топтаться и твердить, что вы хотите на ней жениться не по той, так по другой причине. Ну, я уже вам сказала один раз и еще повторю. Спокойной ночи, Монти Биско!

Монти подошел к лестнице и остановился, глядя на площадку второго этажа. Дженни видела, как он поставил ногу на первую ступеньку.

— Не смейте этого делать, Монти Биско! — услышал он голос Дженни у себя за спиной.— Не смейте!

Он оглянулся на нее через плечо.

— Вы меня не остановите, мисс Ройстер. Во всяком случае, это не ваше дело.

Он успел подняться еще на одну ступеньку, когда Дженни забежала вперед и обеими руками схватила его за плечо. Монти легко высвободился, шевельнув плечом.

— Я пришел повидаться с Бетти, и я повидаюсь.

И он двинулся вверх по лестнице.

— Визи! Визи! — крикнула Дженни во весь голос.— Иди скорей, Визи! Помоги мне остановить его! Монти Биско хочет вломиться к Бетти в комнату! Скорей, Визи!

— Незачем его звать, это не поможет,— сказал Монти, оборачиваясь и глядя на Дженни сверху вниз.— Он такой маленький, что и ведра с водой не донесет, а будет волочить его по полу.

Шорти Гудвилли выбежал на площадку лестницы, прежде чем Монти успел подняться на второй этаж. Он стоял на площадке в коротенькой ночной рубашке, моргая глазами от яркого света.

— В чем дело? — спросил Шорти.

— Не пускай его туда, Визи! — вопила Дженни и торопливо шагала вверх по лестнице, спеша изо всех сил.— Не пускай его ни на одну ступеньку дальше! Он хочет вломиться туда и залезть к Бетти в постель!

Монти остановился посреди лестницы и взглянул на Шорти.

— Что вы тут делаете, Монти? — спросил его Шорти.— Что вам тут нужно?

— Прочь с дороги, пока я тебя не треснул, Шорти,— угрожающе сказал ему Монти.— Мне совсем не хочется колотить такого маленького, как ты. Ну, убирайся прочь с дороги, я же тебе сказал!

— Не слушай его, Визи! — кричала Дженни.

К этому времени она почти добралась до площадки, еще мгновение — и она бросилась вперед и обеими руками обхватила ноги Монти.

Монти не сумел высвободиться и, потеряв равновесие, упал и перелетел через Дженни. Она выпустила его ноги, и Монти покатился вниз по лестнице, молотя руками по воздуху и стукаясь головой о ступеньки.

Он растянулся плашмя на полу прихожей и с минуту не мог прийти в себя.

Дженни и Шорти подбежали к нему прежде, чем он успел подняться на ноги. Ощупав голову и потерев глаза, Монти встал на колени, потом медленно поднялся на ноги. Увидев, что Шорти загородил от него лестницу, Монти взял его на руки и поставил посреди прихожей.

— Смотри, Шорти. Если хочешь себе добра, стой там, где стоишь.

Обернувшись снова к лестнице, он увидел, что Дженни стоит на нижней ступеньке, преграждая ему дорогу. Вся красная и сердитая, она смотрела на него с вызовом.

— Убирайтесь вон из моего дома, Монти Биско! — сказала она ему.

— Лучше вы убирайтесь с моей дороги! — ответил он.

— Мне наплевать, что вы такой крупный и что вы так крупно разговариваете,— решительно сказала Дженни. — Вы не пойдете наверх к Бетти. Я это твердо решила, Монти Биско. Я дала Бетти большую дозу снотворного, чтобы нервы у нее успокоились. Я, может, и не святая кое в чем, но вот этого я не потерплю. Вы не обращали на Бетти никакого внимания целый год, пока не услыхали про нее все эти сплетни, и теперь явились сюда, чтобы залезть к ней в постель. Вот настоящая причина, почему вы нынче сюда явились, а это все вранье насчет того, будто вы хотите развестись и жениться на ней. Но ничего этого не будет!

Не говоря ни слова, Монти легонько оттолкнул ее в сторону и снова стал подниматься по лестнице, настороженно оглядываясь, на случай если бы Дженни вздумала еще раз схватить его за ноги. Не успел он добраться до второго этажа, как Дженни подбежала к телефону. Она старалась как можно быстрее набрать нужный номер.

— Что это вы делаете? — крикнул Монти сверху.

— Звоню в полицию,— спокойно ответила она. Потом обратилась к Шорти.— Визи, беги на улицу и как можно громче зови соседей на помощь, если он не даст мне позвонить.

Запахнув на себе поплотнее ночную рубашку, Шорти открыл парадную дверь и выбежал на улицу.

— Не надо, мисс Ройстер! — попросил Монти. Он с тоской взглянул на дверь Бетти в конце коридора, потом посмотрел вниз.— Пожалуйста, не надо, мисс Ройстер! Ведь я тогда сразу же потеряю работу в школе. Не зовите полицию!

Он бросился бежать вниз по лестнице.

— Монти Биско, если вы не уберетесь из моего дома к тому времени, как там подойдут к телефону, вас, конечно, выгонят с этой вашей тренерской работы, потому что я, честное слово, так прямо и скажу полиции, зачем вы полезли наверх, туда, где комната Бетти. Это вас проучит раз и навсегда.

— Хорошо, мисс Ройстер, я уйду,— сказал он хрипло.— Пожалуйста, не говорите ничего полиции.

Следя за Дженни, стоявшей у телефона, и больше не заговаривая с ней, Монти торопливо прошел через прихожую. Дойдя до двери, он пробежал через веранду и скатился с крыльца на улицу.

Дженни подождала, пока звук его шагов не замер вдали, потом положила трубку на место. Выйдя на веранду, она постояла там, пока Шорти не подошел к дому, запахивая на себе ночную рубашку. Накрепко заперев дверь и погасив свет в прихожей, Дженни и Шорти отправились наверх спать.

Дойдя до середины лестницы, Дженни вдруг остановилась и схватила Шорти за руку.

— Слушай-ка! — сказала она строго.— Я, кажется, велела тебе оставаться внизу в гостиной и дожидаться моего возвращения! Что ты

делал наверху все это время? Почему ты меня ослушался, Визи Гудвилли?

— Дженни, я вам говорю истинную правду. Было так поздно, и я так озяб, что мне просто нужно было лечь в постель и забраться под одеяло, чтоб согреться. Это чистая правда, Дженни.

— Не знаю, верить тебе или нет,— с сомнением сказала Дженни.— Знаю я твои повадки, и надо мне было подумать да подумать, прежде чем уйти, а не оставлять тебя в доме вместе с новой жиличкой.— Она выпустила его руку и подтолкнула его по лестнице.— Ступай ложись спать. Я уж позабочусь, чтобы впредь этого не случилось.

## II

В воздухе стало тепло не по сезону. Новая резкая перемена погоды была необычной для такого позднего времени: обыкновенно в октябре, после первых осенних заморозков, погода оставалась свежей и солнечной до начала зимних дождей в декабре. А теперь, во второй раз на одной неделе, температура переходила из одной крайности в другую.

Темные грозовые тучи собрались в то утро на южном горизонте вскоре после рассвета и быстро пронеслись над низинами и пастбищами с такими же пыльными вихрями и порывами ветра, точно перед началом летней грозы. Однако дождь не пошел, позже утром угроза ливня и вовсе миновала. Вместо этого теплый влажный туман с Мексиканского залива навис над страной, как мокрое серое одеяло, не давая солнцу пробиться к земле. В полдень, когда легкий ветерок разнес по улицам почти летнее тепло, люди начали открывать двери и окна своих домов.

Многие из торговцев в Сэллисоу, у которых магазины готового платья выходили на центральную площадь, разгуливали взад и вперед по тротуару без пиджаков, жалуясь друг другу на неожиданное возвращение теплой погоды. Некоторые рассуждали о том, что климат меняется, другие поносили науку за то, что она нарушила установленный веками круговорот природы. Останавливаясь время от времени и сокрушенно покачивая головой, лавочники с грустью смотрели на свои витрины с теплой одеждой, думая о том, что их лавки пустуют без покупателей, и гадая, сколько времени это продлится, пока погода не вернется к норме. Как им было хорошо известно по долголетнему опыту, сельские жители не поедут в город покупать зимнюю одежду, пока стоит теплая погода.

У городского пожарного депо на южной стороне центральной площади пожарный без пиджака сладко дремал на полуденном пригреве, прислонив стул к кирпичной стене.

Адвокат в одной из контор второго этажа на восточной стороне площади, дожидаясь возобновления судебного заседания после перерыва, оставался недвижим вот уже целых полчаса, упершись ногами в открытое окно.

Съев свой завтрак из бумажного мешка, водитель такси оставил машину у обочины тротуара и растянулся на лужайке перед зданием суда, прикрыв газетой лицо от голубей. Он спал уже довольно долго.

На западной стороне площади в кафе Джонни Реба, стены которого были декорированы звездно-полосатыми флагами, выключили отопление и включили вентилятор, и все, завтракавшие за стойкой, заказали себе чай со льдом вместо горячего кофе.

Лоуэна Нели была в центре города с десяти часов утра, она ходила из одной конторы в другую в поисках работы и уже успела устать и пасть духом. Однако она решила не бросать поисков, пока ей не удастся найти работу.

Когда Лоуэна вошла в контору Клива Мэнграма по продаже и страхованию недвижимости, она еще надеялась найти такое место, какого ей хотелось, но Клив ей сказал, что у него в конторе уже есть секретарша и никого больше ему не требуется. Секретарша Клива как раз ушла завтракать, и в маленькой конторе в это время никого больше не было. Лоуэна уже повернулась к выходу, но тут Клив схватил ее за руку.

— Погодите минутку,— сказал он,— мне нужно спросить вас кое о чем. Подите-ка сюда.

Крепко держа Лоуэну за руку, Клив тянул ее назад, пока они не очутились за перегородкой, откуда их не видно было прохожим с улицы.

— Что вы хотите у меня спросить? — сказала Лоуэна, силясь вырвать у него руку.— Если у вас нет для меня работы...

— Не волнуйтесь,— сказал Клив, таща ее все дальше за перегородку.— Вам не из-за чего беспокоиться.

Она все вырывалась, силясь освободиться от его хватки.

— Как вас зовут? — спросил он.

— Лоуэна Нели.

— Давно ли вы в Сэллисоу?

— Со вчерашнего дня.

— Откуда вы приехали?

— Из округа Пальметто.

— Вы не можете получить такую работу, какую вам хочется. Во всяком случае, не в этом городе. Вы только зря тратите время. Но я могу устроить для вас кое-что другое. И с удовольствием это сделаю. Ну как, вы согласны?

— О какой работе вы говорите?

— Моей жене нужна помощница по хозяйству. Вы получите хорошее жалованье, и комната для вас тоже найдется. Комната будет бесплатная, я ничего с вас не возьму. Все отлично уладится. Я уговорю жену нанять вас. Она сейчас приедет в центр искать прислугу. Вам надо только согласиться, и тогда все отлично уладится. Ну как?

— Я не хочу быть прислугой. Я ищу конторской работы.

Клив обнял ее и рывком притянул к себе. Лоуэна пыталась вырваться и выбежать на улицу, но он был гораздо сильнее. Она закрыла глаза, чувствуя его горячее дыхание на своем лице и шее.

— Пустите меня,— умоляла она, задыхаясь в его объятиях.— Пожалуйста, пустите.

— Напрасно вы так говорите,— сказал он.— Не беспокойтесь, все будет в порядке.

Она не заметила, как он расстегнул на ней платье, пока не почувствовала, что его руки бесстыдно скользят по ее нагому телу. Как только Лоуэна это почувствовала, она начала еще отчаяннее вырываться и отталкивать его. Он стиснул ее еще крепче, так что она не могла пошевельнуться.

— Я хочу вам кое-что сказать,— заговорил он, дыша ей в лицо.— Давно уж мне не приходилось видеть таких красоток. Я все поджидал, что подвернется кто-нибудь вроде вас. Вы как раз мне подходите. И если вы будете со мной милы, я о вас позабочусь. У меня всегда была слабость к таким девушкам — цвет кожи у вас мне как раз по вкусу. Скажите только слово, и я тоже буду к вам ласков и позабочусь о вас. Ну как, согласны?

Лоуэна покачала головой, отказываясь отвечать.

— Не качайте головой, это вам не поможет,— сказал ей Клив.— Я не выпущу вас отсюда, пока вы не ответите, и ответ должен быть такой, какой полагается.

— Если вы меня не пустите, я закричу,— сказала Лоуэна.

— Что ж, кричи. Кричи сколько влезет. Только если ты попробуешь, я сумею тебя унять.

Она чувствовала, что он возится с ее одеждой, но от слабости не могла пошевельнуться и даже не пыталась остановить его.

— Ты не пожалеешь,— слышала она.— Я все для тебя сделаю, что надо. Ты только будь со мной мила, и я о тебе позабочусь. Слышишь? Я тебе обещаю.

— Что вам от меня нужно? — наконец спросила она.

— А ты как думаешь, что мне нужно? То самое, что нужно всякому от такой красивой девушки. Не буду же я тебе растолковывать, сама знаешь, о чем я говорю. Сказал я тебе, что мне нравится цвет твоей кожи и с каждой минутой нравится все больше.

— Пожалуйста, пустите меня, не держите здесь,— умоляла она.— Я вовсе не такая.

— Для меня все такие, если они мне нравятся.

— Нет, не надо...

— В чем дело? Я для тебя недостаточно хорош?

— Не знаю... только, пожалуйста, пустите меня.

— Можешь твердить свое сколько влезет, я все равно сделаю с тобой что хочу.

Обняв ее одной рукой за талию, а другой подхватив под колени, Клив опустился с ней на пол. Когда он придвинулся вплотную, Лоуэна заплакала.

— Тебе не из-за чего плакать,— сказал он ей.— Будешь со мной по-хорошему, так не пожалеешь. Я тебе обещал и не обману.

Кто-то отворил дверь конторы и вошел в нее с улицы, и Клив быстро зажал девушке рот рукой, чтобы она не закричала. Перегородка была выше человеческого роста, и он не мог увидеть, кто вошел. Пока он ждал, в надежде, что вошедший в контору скоро уйдет, послышался стук каблуков по не застланному ковром полу.

— Клив! Где ты, Клив?

Как только Клив услышал голос жены, он рывком поднял Лоуэну на ноги и подтолкнул ее к задней двери. Жена опять позвала его, когда он открыл дверь и выпихнул девушку в переулок. Обернувшись, он увидел на полу ее туфли и сумочку. Клив поднял их с пола и вышвырнул вслед за ней, потом захлопнул дверь, прежде чем жена успела заглянуть за перегородку.

Ошеломленная, вся дрожа, Лоуэна пробежала часть пути по переулку и только потом остановилась застегнуть платье и откинуть волосы со лба. В переулке никого не было, ее никто не видел, и она прислонилась к стене одного из строений и постояла, пока не собралась с силами и не почувствовала, что сможет дойти до конца переулка.

Хотя Лоуэна все еще не нашла работы, она была слишком взволнована, чтобы искать дальше после того, что случилось в конторе Клива Мэнграма по продаже и страхованию недвижимости,— она понимала, что ей придется подождать до завтра и тогда начать поиски снова.

Лоуэна и сама не знала, до чего она ослабела и проголодалась, пока не вышла из переулка на другую сторону городской площади. Было уже около двух часов дня, а она еще ничего не ела после завтрака ранним утром. Всего за несколько домов отсюда был ресторан, и ей слышалась музыка пианолы-автомата, звучавшая приветливо и зазывающе.

Войдя в кафе «Джонни Реб», Лоуэна едва успела сделать несколько шагов от двери, как Бад Парди, владелец кафе, поспешно вышел из-за кассы и остановился перед ней. Ни слова не было сказано, и она, не понимая, что значит такое поведение, попыталась обойти его.

Бад Парди опять встал перед ней и на этот раз поднял руку, не давая ей пройти. Музыка звучала по-прежнему громко, но смех и говор

шумных посетителей, сидевших в кафе, постепенно затихли — все оборачивались и смотрели на нее.

Все так же не опуская руки, Бад придвинулся ближе. Лоуэне пришлось отступить.

— Ну? — сказал он грубо.

Удивленная его грубостью, она не нашлась, что ответить.

— Что вы тут делаете? — все так же грубо спросил Бад.— Что вам нужно?

— Я зашла съесть что-нибудь.

— Здесь вам есть нельзя.

— Почему же?

— А вы сами не понимаете?

Она покачала головой.

— Не знаю, что вы хотите сказать.

— Сейчас узнаете. Я имею право отказать, кому мне вздумается. Он указал на большую картонную вывеску, висевшую позади кассы.

— Если вы не ослепли, так на этой вывеске все написано. Поглядите хорошенько, а потом убирайтесь отсюда.

— Не понимаю,— сказала она растерянно.

Громкая музыка вдруг умолкла, и Лоуэне стало слышно, как смеются посетители у стойки.

— Если вы и теперь не понимаете, в чем дело,— с коротким смешком сказал Бад,— так думайте поскорей. А по-моему, вы просто дурака валяете и стараетесь извернуться.

Опустив руку, Бад повернул голову и взглянул на посетителей за стойкой. Они следили за ним, дожидаясь, что будет дальше. Тогда он повысил голос так, чтобы всем было слышно, и опять взглянул на нее.

— Давно ли вы в городе?

— Со вчерашнего дня.

— Откуда вы приехали?

— Из округа Пальметто.

— Что-то непохоже. Вы ведете себя так, будто приехали откуда-нибудь с севера. Как вас зовут?

— Лоуэна... Лоуэна Нели.

— Ну, я не знаю, как водится там, откуда вы в самом деле приехали, зато знаю, как водится у нас. Это город для белых. А теперь убирайтесь отсюда, вам же сказано.

Музыка вдруг оглушительно загремела снова. Посетители кафе все еще глядели на нее, но их смеха она уже не слышала. Их лица словно уплывали куда-то, пока не стали неразличимы.

Снова подняв руку, Бад Парди подтолкнул Лоуэну назад к дверям. Выйдя на улицу, он опустил руку и взглянул на Лоуэну оценивающим взглядом. И тут он в первый раз улыбнулся ей. Лоуэна отступила назад, он двинулся к ней.

— Погодите минутку,— сказал он, подмигивая ей.— Не уходите пока. Мне нужно вам сказать кое-что.

Лоуэна взглянула на него, не говоря ни слова.

— Здесь, на улице, я вас гораздо лучше разглядел,— сказал он, понижая голос до интимности.— Вами, право, можно увлечься, Лоуэна. Давайте потолкуем немножко на этот счет. Что вы скажете?

Бад подождал ее ответа, но она промолчала.

— Позвольте мне вам сказать, Лоуэна. Я рад, что вы зашли сейчас в кафе. Право, рад. Потому что, если бы вы не зашли, я бы вас так и не узнал. Давайте встретимся нынче вечером, повеселимся вдвоем. Ну так как же?

Лоуэна попятилась от него. Оглянувшись через плечо на посетителей кафе, следивших за ним в окно, Бад поравнялся с Лоуэной. Они уже

миновали кафе Джонни Реба и шли мимо одной из лавок готового платья. Официантка и кое-кто из посетителей вышли из кафе и глядели им вслед.

— Что же вы молчите? — спросил Бад.— Перестаньте на меня сердиться. Вот увидимся вечером, я с вами помирюсь, что-нибудь подарю вам за это.

— Пожалуйста, оставьте меня в покое,— сказала она.

— Я вам кое-что хочу сказать. Прямо говорю, мне нравится цвет вашей кожи, и нравится все больше и больше. Я неравнодушен к девушкам с таким цветом кожи. Он мне как раз по вкусу.

Она шла дальше, словно не слышала ни единого слова.

— Набиваете себе цену, да? Ведете себя так, будто вы слишком хороши для меня, да? Но вам меня не провести. Сразу видно, что вы тоже не прочь гульнуть, как и всякая другая. Так как же насчет свидания? А? Придете, что ли? Мне, знаете ли, нравится цвет вашей кожи. Придете сюда вечером, часам к десяти? Это когда я закрываю кафе. Тогда все будет в порядке. Никого не останется, кроме меня. Идите кругом к задней двери. Я вас буду ждать. Так не забудьте же — к десяти часам вечера.

Лоуэна, все так же не отвечая ему, прибавила шагу.

— Почему же вы не хотите со мной иметь дело? — уговаривал он ее.— Не пожалеете. Я всегда любил таких девушек. Ваш тип как раз подходит. Так вы вернетесь к десяти часам? Ведь придете? Ну скажите, что придете.

К этому времени они дошли до перекрестка, и Лоуэна почти бежала, пытаясь отвязаться от него. Бад дошел за ней до края тротуара и здесь остановился.

— Послушайте! — громко окликнул он ее, когда она уже переходила улицу.— Вы, должно быть, та самая, о ком я слышал! То-то вы и нос дерете перед белыми! Не хотите, чтобы вас принимали за мулатку! Ну да ведь я вижу, с кем имею дело!

Лоуэна не оглянулась.

Перебежав через городскую площадь, она пошла по Морнингсайд-стрит к дому Дженни Ройстер, в четырех кварталах от площади. Слезы набегали ей на глаза, и она несколько раз останавливалась и вытирала их, чтобы лучше видеть, куда идет. Она старалась не думать о том, как Бад Парди обошелся с ней в кафе, и о том, как он разговаривал с ней на улице, однако знала, что никогда не сможет этого забыть.

Медленно идя по улице и думая о том, что она так и не смогла найти работу, Лоуэна чувствовала себя такой несчастной и выбитой из колеи, что пожалела, зачем она приехала в Сэллисоу. Ни в одной конторе у нее не спросили даже, где она училась и что умеет делать, нигде ей даже не предложили оставить заявление. Каждый раз, как она входила в контору, кто-нибудь вставал ей навстречу и говорил, что никаких вакансий у них нет. Даже в газовой и электрической компаниях, которым принадлежала самая большая контора в городе, ей сказали, что все заявления о найме на работу заполняются в главной конторе, а у них в отделении нет под рукой бланков для этого.

Свернув с городской площади, Лоуэна не встретила на улице ни души, пока не прошла полдороги к дому Дженни Ройстер. Она услышала чей-то веселый свист и, подняв глаза, увидела, что навстречу ей идет Шорти Гудвилли. Теперь было уже поздно переходить на другую сторону улицы, чтобы уклониться от разговора с ним.

Шорти направлялся в центр города, торопливо семеня короткими ножками и громко насвистывая. В это время дня он по привычке ходил в центр города играть на бильярде, стоя на скамье с разрешения прочих игроков, и выпивать несколько бутылок пива в каком-нибудь баре. Потом обычно играли в покер в городском пожарном депо, после того как кон-

чалось заседание в суде, и Шорти любил сыграть партию-другую, пока не наступало время возвращаться домой к ужину, который Дженни всегда оставляла ему по вечерам.

Лоуэна кивнула Шорти, бегло улыбнулась и хотела пройти мимо, не останавливаясь. Однако он встал поперек тротуара, и ей пришлось остановиться.

— Здравствуйте, Лоуэна,— сказал он, глядя снизу вверх и дружелюбно ухмыляясь.

— Здравствуйте,— ответила она.

— Где вы были?

— В центре города.

— Что же вы так рано возвращаетесь? Разве не нашли работу?

Она покачала головой.

— Нет.

— Не нашли? — сочувственно сказал он своим тоненьким голоском.— Ну это очень жалко, Лоуэна. Но ведь вы не надеялись, я думаю, найти работу так сразу. На это нужно время, а мне говорили, что чем лучше работа, тем трудней ее найти. Слыхали вы про такую теорию?

Она не хотела плакать, но ей все же пришлось утереть слезы, катившиеся по щекам.

— Вы из-за этого и плачете, что не удалось найти работу сразу?

Она взглянула на него и ничего не ответила.

— Не горюйте, Лоуэна,— сказал Шорти, дотягиваясь до ее руки, чтобы пожать ее в утешение.— Через несколько дней вы найдете работу, какую хотите. Говорят, всегда находишь работу, когда на это всего меньше надеешься. Слыхали вы про такую теорию?

Шорти ждал ответа, не выпуская ее руки, но когда она промолчала, он обнял ее и прижался к ней. Головой он уткнулся ей в живот.

— Я вам скажу, что я сделаю,— сказал он, поднимая голову и заглядывая ей в лицо.— Пойду сейчас в центр города и порасспрошу там кое-кого насчет работы. Это самый лучший способ — зайти и поговорить. А если я нынче найду что-нибудь верное, я вам скажу, как только вернусь домой.

Лоуэна оттолкнула его.

— Нет, не надо,— отказалась она.— Пожалуйста, не делайте ничего этого!

— Почему же? — спросил Шорти.— Что тут такого? Ведь вам нужна работа? Почему же я не могу вам помочь? Вы же сами говорили Дженни вчера вечером. Я это слышал.

— Теперь я не уверена... Я сама не знаю, что мне делать,— сказала Лоуэна и пошла дальше.— Но только, пожалуйста, не надо ничего этого. Я не хочу.

И прежде чем он успел сказать ей еще хоть слово, она быстро ушла.

— Странная манера разговаривать,— громко сказал Шорти самому себе, потом повернулся и опять зашагал к центру города.

## 12

Подходя к дому Дженни Ройстер, Лоуэна подняла глаза и увидела, что Бетти Вудраф сходит с крыльца, неся чемодан и охапку одежды.

Вслед за Бетти, взволнованно говоря что-то и не умолкая ни на минуту, Дженни пересекла веранду, двигаясь настолько быстро, насколько ей позволяло ее полное тело, и сбежала с крыльца по ступенькам к синей с белым машине, стоявшей перед домом. Было жарко, парило, и Джен-

ни, не привыкшая столько двигаться и волноваться, обеими руками смахивала пот, струившийся по ее щекам и шее.

Бетти поставила чемодан в машину и небрежно швырнула одежду на заднее сиденье. Она несла еще пару туфель, и когда одна туфля упала на тротуар, подняла ее и тоже бросила в машину.

Завидев подходящую к дому Лоуэну, Дженни отчаянно замахала ей обеими руками, чтобы та поторопилась.

— Идите сюда скорей, Лоуэна, помогите мне остановить ее! — возбужденно кричала Дженни.— Нам надо удержать Бетти, не дать ей уехать! Она сама не знает, что делает! Боюсь, это снотворное подействовало ей на голову! Она ничего слушать не хочет!

Когда Лоуэна поравнялась с Дженни, Бетти уже шла обратно к дому за остальными вещами.

— В чем дело? — спросила Лоуэна.

— Ох, это ужас, просто ужас! — воскликнула Дженни, вытирая потное лицо обеими руками.— Бетти хочет забрать все свои платья и уехать! Нам надо ее остановить! Надо что-то сделать! Нельзя дать ей уехать ради ее же блага! Бедная девочка прямо-таки не в своем уме! Посмотрите только, что она делает!

— Почему она уезжает?

— Ах, я не знаю — она и сама не знает! Вот до чего она дошла! Надо нам что-то сделать, чтобы она пришла в себя!

Теперь Бетти уже успела войти в дом, а Дженни следом за ней добежала только до ступенек веранды. Она тяжело дышала и досадливо смахивала пот с лица обеими руками.

— Вы не сделаете такой глупости, Бетти Вудраф! — кричала она вслед Бетти в открытую дверь.— Я вас не пущу! Слышите? Вы останетесь у меня, тут вам и место! Да вы слышите или нет?

Не успела она подняться на веранду, чтобы удержать Бетти, как та вышла из двери, неся еще один чемодан и тяжелое зимнее пальто. Дженни, упустив время схватить ее за руку, опять бросилась к машине.

— Все равно, что бы вы ни говорили, Бетти Вудраф,— встревоженно закричала Дженни, увидев, как Бетти швырнула на заднее сиденье свое зимнее пальто,— я не могу вас так отпустить, я всю жизнь себе не прощу, если сейчас не остановлю вас. Слышите?

— Я вам сказала, что у меня все решено,— спокойно ответила Бетти, поворачиваясь к ней лицом.— Что бы вы ни говорили, это теперь ничему не поможет и не заставит меня переменить решение. Времени у меня было достаточно, я все обдумала и знаю, что делать. Я уезжаю, Дженни, вот и все, и говорить больше не о чем.

— Нет, вы не уедете!

— Нет, уеду!

— Даже если я против?

— Да.

— Деточка, послушайте вы меня, несчастную старуху,— умоляла она со слезами.— Пожалуйста, не срывайтесь так с места и не уезжайте. Если вы уедете, все у нас пойдет прахом. Я этого просто не вынесу. Скорей всего умру от сердечного припадка. Давайте вернемся в дом, сядем и потолкуем. Ведь вы, деточка, не откажете несчастной старухе?

— Я уже сказала вам, Дженни, что твердо решила уехать, и уеду. И толковать нет никакого смысла. Я вела себя так глупо, что мне стыдно смотреть на себя в зеркало. Мне надо уехать куда-нибудь и постараться забыть все, что случилось. Я хочу уехать туда, где никто меня не знает и где никогда обо мне не слыхали, чтобы я смогла стать совсем другим человеком. Я ни одного дня не могу оставаться сама с собой — такая, какой я была. Уехать — это единственное, что мне теперь осталось, Дженни. Вот почему я должна уехать.

— Деточка, да послушайте же вы меня,— уговаривала ее Дженни.— Вы это переживете. Я знаю, что вы чувствуете, но не вечно же так будет. И люди не станут о вас сплетничать, как вы думаете. Даю вам честное слово, что примусь за дело и положу конец всяким сплетням, если услышу хоть единое слово о том, что с вами было. А пройдет еще несколько дней, болтовня прекратится, и про вас совсем ничего не будут говорить. Поговорят и перестанут, а я прожила столько, что хорошо знаю, как прекращать такие разговоры и как начинать их. Вдобавок, я возьму на себя вину за то, что довела вас до такой жизни.

— Ничем этим теперь уже не поможешь,— упрямо твердила Бетти.— Слишком поздно — ничего уже мне не поможет. Я поставила себя в глупое положение. Мне нужно уехать и стать совсем другим человеком.

— Послушайте меня, деточка. Вы не сделали ничего такого, чего не делали бы многие другие женщины. Что-нибудь в этом роде непременно бывает с каждой, рано или поздно. Спросите любую девушку, правда это или нет.

Дженни шагнула к Лоуэне и, схватив ее за руку, притянула ближе к себе.

— Лоуэна, расскажите ей про себя, расскажите ей, что и вы могли бы потерять голову из-за мужчины, не теперь, так раньше. Вот Бетти и увидит, что я говорю правду. Подите и скажите ей.

— Но я, право, не знаю... не знаю, что сказать,— упиралась Лоуэна.

Недовольная и раздраженная Дженни оттолкнула Лоуэну и повернулась к Бетти.

— Так поглядите же на меня, дорогая. Лучшего примера не найдете. Может, сейчас вы этого и не подумаете, глядя на меня, но было время, и еще не так давно, когда люди говорили обо мне как нельзя хуже. А теперь сами видите, я почтенная женщина на покое.

— Мне все равно, что будут обо мне говорить в Сэллисоу после этого,— ответила ей Бетти все так же упрямо и решительно.— Пускай говорят обо мне все, что им угодно. Какое мне до этого дело — плохо или хорошо, но они будут говорить о том, какой я была, а не о том, какой я стану. Кроме того, меня здесь уже не будет, и я ничего этого не услышу.

— Если вам все равно, что про вас скажут, так зачем же уезжать, деточка?

Бетти ей не ответила.

— Я знаю, в чем вся беда,— сказала Дженни, подумав с минуту.— Все другие разговоры ничего не значат. Как же я раньше этого не поняла! Это все тот футбольный тренер из школы — этот Монти Биско. Вот в чем беда. Вы так и не забыли того, что было год назад, и все еще страдаете из-за Монти. Это прямо-таки грешно и стыдно. Я бы ни на что не посмотрела и отхлестала бы по щекам эту двуличную учительницу за то, что она обманом женила его на себе. А еще того лучше, я прогнала бы ее пинками в зад и гнала бы отсюда до Саммер-Глэйд и обратно, а может, еще так и сделаю, дайте только мне разозлиться как следует. Я теперь верно знаю, что она вовсе не была беременна, ни тогда, ни после. Мне рассказали всю правду вчера ночью.

— О чем это вы говорите? — с любопытством спросила Бетти.

— Деточка, вы этого не знаете, потому что вы лежали как мертвая, а ведь Монти Биско приходил сюда вчера ночью и просил, чтобы я пустила его к вам в комнату. Я его не пустила, а он все-таки полез наверх, и пришлось мне грозить полицией, чтоб он унялся. Я сама вам закатила такую дозу снотворного, не могла же я допустить, чтобы он полез к вам в постель, когда вы лежали без памяти. Так вот, деточка, если вы вернетесь в дом, мы сядем и поговорим, и даю вам честное слово...

— Я не хочу его больше видеть, не хочу больше слышать его имени,— с горечью сказала Бетти.

— Деточка, я понимаю, почему вы так говорите. Это все ваша гордость. У каждой женщины она есть и должна быть, но одной гордости мало, чтобы женщина была счастлива. Вы только погодите и подумайте минутку, до чего это верно. Так вот, я знаю, как надо за это дело взяться самым приличным образом, чтобы и гордость ваша осталась при вас и чтобы Монти вы не упустили. Вам только надо меня слушать, у меня есть нюх на такие дела, знаю, как они делаются. Я поговорю с Монти Биско, а после того как я с ним разделаюсь, сами увидите, он к вам на четвереньках приползет и будет просить, чтоб вы к нему вернулись. Вот как это просто. И не беспокойтесь насчет того, что он женат. Другие разводятся и не по такой важной причине, как Монти Биско, а я уж позабочусь, чтобы судья Рэйни его развел, даже если это будет последнее доброе дело в моей жизни. А потом вы и оглянуться не успеете, как выйдете за него замуж. В этом я вам даю мое честное слово. Ну, деточка, может, вы отнесете ваши вещи обратно в дом и останетесь?

— Я уже сказала вам, что с ним у меня все кончено, и это серьезно,— не сдаваясь, ответила Бетти.— Не стоит об этом говорить. Я больше ему не поверю. Да и как верить? Все время, что я была с ним помолвлена, он тайком от меня ухаживал за Мэйритой Йигер. А теперь я рада, что так случилось. Поделом ему. Надеюсь, он так и останется ее мужем и никогда не получит развода. Такие люди, как он, заслужили свое несчастье, и я надеюсь, что он будет страдать каждую минуту, сколько бы ни прожил после этого.

Дженни приподняла полу халата и вытерла потное лицо. Она и растерялась и устала после стольких стараний уговорить Бетти.

— Ну что ж, если вы и вправду так к нему относитесь, пожалуй, я тут ничем не смогу помочь,— сказала она с грустью.— Я старалась, но больше ничего такого не приходит в голову, чтобы вы его простили и остались тут...

Она обернулась и, продолжая говорить, задумчиво посмотрела на Лоуэну.

— Может, это хороший урок всем нам на пользу. Запомните его, Лоуэна, и не допускайте, чтобы с вами случилось то же. Вам не придется переживать ничего такого, если вы будете остерегаться. А когда вы добьетесь своего и выйдете за кого хотите, так смотрите ухаживайте за ним сами, чтобы какая-нибудь другая женщина не сманила его за вашей спиной. Это одно-единственное, что я ненавижу в женщинах, и не побоюсь сказать им прямо в глаза, хоть я и сама женщина. Да ведь и правда, на них никак нельзя положиться, чтобы они оставили чужого мужа в покое.

В первый раз слегка улыбнувшись, Дженни положила руку на плечо Бетти.

— Больше не могу с вами спорить, деточка. Я вся вымоталась от этих разговоров. Мне жалко, что вы уезжаете, но в конце концов вы поступаете правильно. Если хотите знать чистую правду, я никогда не чувствовала особенного уважения к этим школьным тренерам — футбольным и всяким другим. Я знаю, о чем говорю, потому что в свое время мне приходилось с ними иметь дело. Мне всегда думалось, что для взрослого мужчины это пустяковая работа. Только и знают что гонять мячик с мальчишками с утра до вечера, а как ночь придет, так гоняются за бабами, словно собака за курами. Уж по мне лучше простой человек, такой, чтобы ночью лежал в кровати, и каждый раз, как повернешься. так знаешь, что он тут, рядом.

Бетти обвила руками толстую шею Дженни и нежно ее обняла.

— Мне очень не хочется уезжать от вас, Дженни, вы были так доб-

ры и ласковы ко мне. Но я больше не могу оставаться в Сэллисоу. Мне нужно уехать отсюда, уехать куда-нибудь в другое место, где меня никто не знает. Но я всегда останусь вам благодарна, Дженни, и никогда вас не забуду. И если у меня жизнь наладится, я дам вам знать. А если нет...

Дженни крепко обняла ее, словно старалась отсрочить разлуку. Слезы выступили у нее на глазах.

— Не говорите этого, деточка. Такая девушка, как вы, всегда найдется и сумеет устроить свою жизнь.

Бетти пыталась высвободиться из ее объятий и подойти к своей машине, но руки Дженни крепко держали ее.

— Куда же вы поедете, деточка? — рыдала она, вздрагивая всем телом.— Как же я узнаю, где вы и что вы делаете? Как же мне вас разыскать?

— Я сяду в машину — и поеду все вперед и вперед. Не знаю еще куда. Сейчас мне это все равно. Может быть, поеду во Флориду, а может быть, в Калифорнию. Но со мной ничего не случится, Дженни. Не беспокойтесь обо мне. Ведь вы сумели о себе позаботиться, а если сумели вы, то сумею и я. Прощайте, Дженни.

Наконец ей удалось освободиться.

— Прощайте, деточка,— говорила Дженни, обливаясь слезами.— Не позволяйте больше никогда, чтобы другая учительница отбила у вас мужчину. Для любой женщины это самый верный и быстрый способ потерять веру в себя.

Пожав руку Лоуэне и наскоро обняв ее, Бетти села в машину. Она уже завела мотор и только что собралась тронуться с места, как вдруг Дженни бросилась вперед и подбежала к дверце машины.

— Деточка, обещайте мне! Если бы вы передумали и захотели вернуться или мужчина вам попался такой, что не оправдал себя, приезжайте прямо к бедной старухе Дженни. Обещайте мне это, деточка!

— Я и этого не забуду,— сказала ей Бетти.— Буду помнить.

Дженни в отчаянии припала к дверце.

— И еще одно, деточка. Я ведь очень сентиментальная, и если вы будете посылать мне открытки к рождеству, Четвертому июля и ко всем другим праздникам, то я это сумею оценить. Вы ведь не забудете бедную старуху Дженни.

— Не забуду.

Автомобиль медленно двинулся вперед. Обливаясь слезами, Дженни цеплялась за дверцу машины, которая двигалась все быстрее и быстрее. Дженни чуть не бежала, но в конце концов не смогла держаться вровень с машиной, и ее руки соскользнули с дверцы. И все-таки, провожая машину, она добежала до угла улицы.

После этого белый с синим автомобиль быстро помчался по Морнингсайд-стрит, направляясь к шоссе. В одиночестве стоя посреди улицы и тяжело дыша, Дженни удрученно глядела ему вслед, пока он не скрылся из виду.

Очень нескоро после того, как за поворотом исчезла машина Бетти, Дженни вернулась на тротуар, где ждала ее Лоуэна. Не стараясь больше удержать слезы, она кивнула Лоуэне и медленно поплелась к дому. Ни слова не было сказано, пока они не вошли в дом и не затворились в гостиной.

— Покамест это самый печальный день в моей жизни! — воскликнула Дженни, падая на диван лицом вниз и молотя кулаками по красному плюшевому сиденью.— Я верно знаю, что больше никогда не увижу Бетти Вудраф — не увижу до самой смерти, а она была мне как родная дочь. Сколько ни случалось со мной бед и несчастий, но хуже этого покамест не бывало.

Через некоторое время она поднялась, села на диване и обвела

взглядом комнату, стулья, стол, картины на стене, словно стараясь припомнить, какого из сокровищ не хватает на привычном месте. В заключение она беспомощно взглянула на Лоуэну потускневшими от горя глазами.

— Лоуэна, деточка, вы не можете себе представить, до чего мне грустно было смотреть, как Бетти уезжает навсегда. Это все равно что отдать кого-нибудь из близких гробовщику, чтобы он похоронил его на кладбище. Может быть, даже хуже, потому что она еще жива, а для меня она все равно что умерла.

Она сделала Лоуэне знак подойти ближе.

— Лоуэна, деточка, сядьте рядом со мной и держите меня за руку. В такое время я просто не в силах быть одна. Мне нужно чувствовать, что рядом со мной кто-то есть.

И как только Лоуэна подошла к дивану и села, Дженни обняла ее.

— Деточка, обещайте мне, что вы никогда не уедете и не бросите меня вот так,— упрашивала она, отчаянно цепляясь за Лоуэну.— Если хотите знать истинную правду, я такая мягкосердечная и чувствительная, что просто лягу и умру, если вы уедете, как уехала Бетти Вудраф, и оставите меня совсем одну. Только женщины вроде меня знают, каково это жить совсем одной на свете.

Она вытерла слезы рукой.

— У меня остался еще Визи Гудвилли, это верно, но он со мной не все время, потому что восемь или девять месяцев в году он разъезжает с балаганом, и всегда надо бояться, что он там свяжется с какой-нибудь лилипуткой и больше не вернется. И судья Рэйни тоже, боюсь, так и не соберется на мне жениться. Он не раз намекал на это прежде, а теперь время идет день за днем, а он все не говорит прямо, что женится. В моем возрасте я просто не могу жить одна круглый год. В мои лета даже почтенной женщине на покое вроде меня приходится жалеть, что она не вышла замуж, пока еще наружность у нее была приличная. В таком возрасте выйдешь за кого угодно, даже если он лентяй и ничтожество и совсем никуда не годится. Но теперь, пожалуй, мне уж не на что надеяться, разве только случится что-нибудь из ряду вон, вот почему я и хочу, чтобы вы остались со мной для компании.

Телефон в прихожей резко зазвонил, Дженни не двинулась с места. Он зазвонил во второй раз, потом в третий, и только тогда она выпрямилась, досадливо нахмурясь. Она была уверена, что это звонят Бетти, и решила не отвечать на звонок.

Но телефон звонил раз за разом, все настойчивей и упорней.

— Я подойду вместо вас,— сказала Лоуэна, вставая.

Схватив Лоуэну за руку, Дженни толкнула ее назад, к дивану.

— Нет,— сказала Дженни, сурово взглянув на нее.— Не надо этого, деточка. Лучше мне самой подойти. Я знаю, что сказать, если это звонят Бетти Вудраф. Я не хочу, чтобы такие люди разговаривали с вами.

Телефон звонил все время, пока она шла через гостиную в прихожую. Дженни успела уже рассердиться, когда взяла трубку и села на стул рядом с телефоном.

— Я не знаю, кто вы такой, и мне это все равно, но ее здесь нет и не будет, и я не желаю, чтобы ей звонили по этому телефону! — Голос ее звучал резко и громко.— А теперь повесьте трубку и больше сюда не звоните!

На том конце провода некоторое время молчали.

— Кому это вы говорите, Дженни? — услышала она голос судьи Рэйни.

— Ах ты боже мой! — воскликнула она.— Я не знала, что это вы, Майло. Вы же понимаете, я не стала бы так говорить с вами, если бы знала. Я думала, это кто-нибудь звонит Бетти Вудраф.— Она начала

рассказывать ему про отъезд Бетти и про то, что она больше не вернется в Сэллисоу.— Бетти уложилась, села в машину и...

Судья Рэйни прервал ее:

— Дженни, где сейчас Лоуэна Нели?

— Лоуэна тут в доме, со мной, Майло. Она для меня большое утешение теперь, когда Бетти уехала и...

— Послушайте меня, Дженни,— отрывисто заговорил он.— У меня не хватит времени прийти сейчас к вам и переговорить об этом, потому что день быстро проходит, вторая половина уже идет к концу. Придется решать по телефону. Дело срочное, и я вас попрошу слушать внимательнее, Дженни. Препираться сейчас тоже некогда — надо действовать, Дженни.

— Майло, я понимаю, о чем вы говорите, но я на это не согласна. Я вам сказала вчера ночью, что не собираюсь прогонять Лоуэну из дома, и не прогоню. Когда меня заставляли выгнать из дому Визи Гудвилли и Бетти Вудраф...

— Дженни, я уже говорил вам, что речь идет не о человеческой низости, прошу вас выкинуть это из головы. Некоторым людям у нас в городе свойственны расовые предрассудки, и пока что эти предрассудки ничем не искоренишь. Когда вы с ними сталкиваетесь, уступок ждать нечего. Вот с чем мы имеем дело и вот почему этот вопрос важен. Как вам известно, некоторые люди в Сэллисоу...

— Мне все равно, что говорят и думают некоторые. Я так решила и от своего не отступлюсь. Я умею быть упрямой не хуже всякого другого.

— Дженни, пожалуйста, выслушайте меня,— уговаривал ее судья Рэйни.— После вчерашней ночи кое-что случилось. Появилась возможность уладить неприятности с этой девушкой — с Лоуэной Нели — и, может быть, найти решение, приемлемое для всех заинтересованных. Это было бы лучшим выходом для всех. Я всегда стараюсь добиться ясного решения в пользу моего клиента, но когда это невозможно, а в данном случае ситуация именно такова, полюбовное соглашение — самый разумный способ уладить дело. Я говорю с вами как ваш поверенный, а также и как ваш старый друг, и мне хотелось бы, чтобы вы поступили так, как я советую.

— Не понимаю, о чем вы говорите, Майло,— растерянно ответила Дженни.— Я никогда ничего не понимала в законах и во всех этих юридических выражениях, обычно не понимаю даже и что говорят адвокаты. Для меня все они словно косноязычные.

— Если вы будете слушать меня внимательно, то я объясню вам все ясно и понятно,— терпеливо сказал судья.— Придется изложить дело в нескольких словах, потому что время не терпит и уходит с каждой минутой. Вы слушаете внимательно, Дженни?

— Да, слушаю,— сказала она.

— Хорошо. Теперь не забудьте, что я прошу вас принять мой совет. Я целый день провозился с этим делом и хочу довести его до успешного конца. Как вам известно, Дэйд Уомэк сказал мне вчера ночью, чтобы эта девушка, Лоуэна, выехала из вашего дома сегодня к заходу солнца и подыскала себе квартиру по другую сторону Пичтри-стрит, если хочет остаться в городе. Вы слушаете, Дженни?

— Я слышу.

— Так вот, она почти весь день пробыла в центре города, искала секретарскую работу не в одной, так в другой конторе. Дэйд пустил слух, что она мулатка, которая выдает себя за белую, и теперь никто в Сэллисоу не даст ей такой работы, какую она ищет. У меня только что был еще один разговор с Дэйдом, вот почему я и звоню вам сейчас. И скажу вам откровенно и прямо, Дженни. Дэйд ее еще не видел, но

слышал о ней от тех, кто ее видел, и желает, чтобы она немедленно явилась к нему в контору. Он собирается поговорить с ней лично.

— Для чего это? — подозрительно спросила Дженни.— О чем поговорить?

— Вам не трудно догадаться, Дженни.

— Я никаких догадок не строю, я слушаю.

— Так вот,— сказал судья Рэйни, помолчав,— на основании того, что он слышал о Лоуэне, Дэйд говорит, что мог бы и сам о ней позаботиться. У него много квартир и домов в негритянском квартале города, и если она ему понравится и пойдет ему навстречу, то он разрешит ей поселиться в одном из самых лучших домов. Так вот, самое существенное здесь то, что все ваши неприятности уладятся, если вы сейчас же пошлете ее в контору к Дэйду.

— Еще что? — холодно спросила Дженни.

— Дженни, я весь день вел переговоры с Дэйдом и могу вам сказать, что он по-прежнему тверд в своем решении, чтобы эта девушка оставила ваш дом и переселилась на другой конец города. Откровенно говоря, сам я в безвыходном положении. Вот почему я думаю, что такое решение вопроса будет лучше всего и для вас, и для всех заинтересованных. Я готов с этим согласиться и настоятельно советую вам поступить так же. Ну, Дженни, пошлете вы Лоуэну в контору к Дэйду, чтобы он поговорил с ней?

— Нет, не пошлю! — ответила она без колебаний.— Ни за что не пошлю! Если Лоуэна хочет поступить на содержание к Дэйду Уомэку или кому другому, это ее дело. Но не я помогу ей сделать первый шаг по этой дорожке. И можете передать Дэйду Уомэку, что я так и сказала. Повторите ему дважды, чтобы он расслышал как следует. Если она годится ему в содержанки, то годится и мне в жилицы. Скажите ему и это, пока вы занимаетесь его делами. Пускай она будет мулатка, индианка или еще кто-нибудь, а для меня она просто Лоуэна Нели, и она может жить у меня в доме сколько ей угодно.

— Дженни, я вас понимаю, но бывают времена, когда самое разумное — это идти на компромисс. И я убежден, что сейчас как раз такое время. А подобный компромисс...

— Я на это не согласна, Майло! А вы меня хорошо знаете! Я — такая, какая есть, и меня не переделаешь!

## 13

Был уже пятый час дня, когда Дэйд Уомэк вышел из кабинета судьи по уголовным делам в кирпичном правительственном здании с колоннадой и пошел по дорожке, пересекающей лужайку по диагонали. Оттуда он не спеша свернул к бару Гарри на восточной стороне городской площади. Даже в это время дня было еще жарко и душно, набухшая влагой серая туча все так же висела над землей, и Дэйд, сняв свое пальто, перебросил его через руку. Прохожих на улице было довольно много, но Дэйд с головой ушел в свои мысли и ни разу не остановился, чтобы поговорить с кем-нибудь.

Всегда осторожный и осмотрительный в такого рода делах, Дэйд потратил довольно много времени, просматривая планы и документы на право владения домом, который он собирался приобрести.

В это утро он решил дать взаймы пять тысяч долларов под первую закладную на домовладение в негритянском квартале по ту сторону Пичтри-стрит и остался очень доволен видами на будущее. Владелец дома недавно потерпел убытки в делах и, поскольку банк торопил его с уплатой, уже приходил к Дэйду Уомэку занять денег на срочное пога-

шение долга. Дом был двухэтажный, стоял на бойком месте, и построили его всего пять лет назад. В верхнем этаже — шесть двухкомнатных квартир, и все они были заняты, а в нижнем помещались процветающий ресторан, бильярдная, парикмахерская и бакалейная торговля.

Года через два-три, когда Дэйд приобретет во владение этот доходный дом — а он был уверен, что приобретет его, если не уплатят по закладной, или иным путем,— ему будет принадлежать весь квартал. Дэйду уже принадлежала почти половина домов в негритянском районе Сэллисоу, что давало возможность получать около половины квартирной платы с двух тысяч негров, живших по ту сторону Пичтри-стрит. Он говорил, что цель всей его жизни состоит в том, чтобы все негры в Сэллисоу платили ему за квартиру, и до сих пор не дал ни одному негру поселиться в других кварталах города.

Кроме Гарри Хокси, владельца и бармена, в баре сидели и пили пиво еще несколько человек, когда вошел Дэйд.

— Хелло, Гарри,— поздоровался Дэйд гулким басом и бросил пальто на стул.— Пошевеливайся, надо же нам принять срочные меры! — Он снял шляпу и отшвырнул ее в сторону.— Эй, Джордж, Билл, Джо, Фред! — Прищурив глаза, он взглянул на человека, сидевшего в дальнем углу бара.— Кто это там прячется? Кто-нибудь знакомый? Или какая-нибудь убогая деревенщина из Саммер-Глэйд или Пиви-Крик?

— Это я, Хаустон Брасли,— заговорил тот.— Как поживаете, Дэйд?

— Отлично, отлично, Хаустон, лучше некуда,— ответил Дэйд своим громким голосом.— Как здоровье миссис Брасли?

— Ничего себе, она здорова, Дэйд.

— Отлично, отлично, рад это слышать, Хаустон.

Облокотившись на стойку, он поманил к себе Гарри Хокси.

— Гарри, принесите бутылку моего виски из задней комнаты и угостите этих джентльменов настоящим мужским напитком. Как-то не хочется, чтобы такие замечательные люди обходились без выпивки. Стыдно смотреть, как они сидят и лакают подкрашенную водицу из лимонадных бутылок — даже если они методисты и баптисты. Мне совесть не позволит выпить хоть глоток виски, когда у них нет ничего, кроме пива, чтобы прополоскать горло.

— Дэйд, на этот раз мне придется налить виски в пивные кружки,— извиняющимся тоном сказал Гарри.— Надеюсь, что вы не обидитесь, мне и самому это неприятно. Говорят, по городу со вчерашнего дня рыщет правительственный агент, а я не могу рисковать потерей патента. Вы знаете, как быстро отбирают патент, если откроется, что бар торгует чем-нибудь, кроме пива и виноградного вина распивочно.

— Черт возьми, Гарри! Наливать мое виски в пивные кружки! Да вы рехнулись, что ли?

— Я знаю, что виски ваше собственное, Дэйд, и, чтобы сделать вам одолжение, держу его здесь для вас, но не могу же я рисковать, имея дело с агентом. Если меня поймают со спиртным на стойке, мне могут и не вернуть патента. Надеюсь, что доживу до тех времен, когда здравомыслящая часть населения проголосует за то, чтобы снова была введена распивочная продажа виски, а эти правительственные лавки закрыты. Мне нынешние порядки не нравятся так же, как и всякому другому. А все эти святоши голосуют за сухой закон, сами же горькие пьяницы...

— Слышал я эту печальную историю и раньше, Гарри, а вы и посейчас разговариваете как пресвитерианец,— сказал Дэйд, махнув рукой.— Если вы такой трус, так действуйте — наливайте виски в пивные кружки. Это лучше, чем держать спиртное в лимонадных бутылках, а потом сосать его, как младенец молоко.

Дэйд обернулся и подмигнул стоявшим рядом мужчинам.

— И бывают же такие разини, смотреть жалко. Если бы Гарри нашел хорошего адвоката, не пришлось бы ему беспокоиться из-за таких пустяков. С хорошим адвокатом и Гарри не сидел бы в тюрьме, и пивную бы не закрыли. Только, сдается мне, такие разини никогда ничему не научатся. Верно, Джо?

— А кто у Гарри адвокат? — спросил Джо, быстро наклоняя голову, потому что Гарри Хокси замахнулся на него салфеткой.

— Кто у Гарри адвокат? — во всеуслышание повторил Дэйд.— Я думал, это всем в городе известно. Судья Майло Рэйни, разумеется.— Он облокотился на стойку и с хитрым видом кивнул головой.— А знаете почему?

— Ну почему, Дэйд? — спросил кто-то.

— Может, не надо бы говорить. Как бы Гарри не сконфузился, при нем неловко.

— Валяй, Дэйд,— сказал Джо.— Мне это нипочем. Я был ночным сторожем в общежитии больничных сиделок.

— Ну, если, по-вашему, можно, так я расскажу. Потому что Гарри платит судье услугами одной из тех мулаток, которых он содержит в негритянском квартале. Гарри знает, что со мной ему этим не расплатиться, он знает, что я разборчив, не возьму то, что мне другие подсовывают.

Гарри пошел в заднюю комнату и достал бутылку виски из запаса Дэйда. Вернувшись, он налил виски в пивные кружки и поставил их на стойку.

— Я слыхал, вы собираетесь завести себе новую девчонку, Дэйд,— сказал Гарри, усердно вытирая стойку.— Говорят, в город только что приехала настоящая красотка.

— Верно, да не совсем, Гарри,— сказал Дэйд.— Я еще не видал той, о которой вы говорите, но мне про нее рассказывали, и я уже начинаю волноваться.— Он взял со стойки кружку и отпил глоток виски.— Скоро узнаю про нее побольше. Я уже велел ей прийти ко мне в контору для личной беседы. Я всегда рад познакомиться с новыми людьми в городе.

— Это я от всех слышу про Дэйда Уомэка,— сказал кто-то.— Он настоящий друг.

— Я всем друг, пока меня не трогают,— это предостережение тем, кто сидит здесь в баре. И пусть к ней никто не пристает, я об этом и слышать не желаю, пока сам еще не решил, как с ней быть.

Дэйд переводил взгляд с одного из присутствующих на другого, но все молчали. Отхлебнув виски из кружки, он выпрямился и посмотрел на стенные часы.

— Разве может кто-нибудь сказать точно, когда сегодня сядет солнце, при такой облачной погоде, какая стоит сейчас? — спросил Дэйд, разглядывая циферблат.— Как раз когда мне нужно узнать такую простую вещь, солнца даже не видно.

— Дэйд, я могу сбегать домой и посмотреть, в какое время мои куры сядут на насест,— сказал один.— Точнее этого я вряд ли узнаю.

— У моей жены есть календарь, где указано точное время,— сказал другой.— Но если я сейчас пойду домой, она меня не выпустит до завтрашнего утра.

Дэйд обернулся и взглянул на Гарри Хокси.

— Вы-то уж должны бы знать такую простую вещь, Гарри.

— Должен бы, но не знаю. Хотя могу узнать. Это есть где-то здесь, в сегодняшней газете. Они каждый день печатают время восхода и захода.— Он листал газету, пока не нашел то, что искал.— Вот оно: пять тридцать пять,— сказал он через минуту.— Это время на носу, Дэйд. Ровно в пять часов тридцать пять минут сегодня.

— Отлично, отлично, Гарри,— ответил Дэйд.— Теперь поднесите всем еще моего виски — на этот раз двойную порцию. Налейте и себе тоже, но только вам придется пить из пивной кружки, как и нам всем.

Пока Гарри Хокси наливал виски, Дэйд наклонился к Джорджу Саутхарду, положив руку ему на плечо.

— Джордж, сейчас половина пятого,— сказал он шепотом.— Зайдите ко мне в контору через четверть часа. Ровно в четыре сорок пять. Не заходите с улицы через парадную дверь, пройдите по черной лестнице с переулка, чтобы никто вас не видел. И приходите с Хаустоном Брасли. Только вы да он, больше никого не надо. У меня будет к вам разговор. Очень важный. Да смотрите не опаздывайте.

Джордж кивнул.

— И никому об этом не заикайтесь, кроме Хаустона. У меня есть на это причины. Понятно?

Джордж выразительно кивнул.

Допив остальное виски, Дэйд взял шляпу и пальто и вышел из бара, не сказав больше ни слова. Торопливо шагая, он подошел к двухэтажному дому рядом с баром, а там, перепрыгивая через две ступеньки зараз, поднялся в свою контору на втором этаже.

Говард Ньюхаузер, младший компаньон Дэйда, стоял у окна и смотрел на площадь перед домом, но, услышав, что Дэйд вошел в контору, сразу же повернулся к нему. Говард был серьезный молодой человек лет двадцати семи, сдавший государственные экзамены на адвоката в прошлом году после окончания юридической школы. Он был темноволосый, представительный, с приветливой улыбкой и располагающими манерами и до сих пор еще оставался холостым.

— Есть что-нибудь новое? — спросил Дэйд, пересекая комнату.

— Ничего, Дэйд,— сразу же откликнулся Говард.

— Заходил кто-нибудь после меня?

— Никого не было, Дэйд.

— А эта мулатка?

Говард покачал головой.

— По телефону звонили?

— Нет.

— Вы хотите сказать, что и Майло Рэйни не звонил?

— Нет, Дэйд.

— Ну тогда вопрос решен! Решен, черт возьми! Что он вообразил о себе, кто он такой? Времени у него было вполне достаточно!

Дэйд отшвырнул ногой корзинку для бумаг.

— Ему меня не провести, черт возьми!

Он сел и мельком взглянул на бумаги и документы, в беспорядке раскиданные по столу. Потом собрал их в стопку и отодвинул в сторону.

— Говард, через несколько минут ко мне должны прийти,— проговорил он, не поднимая глаз.— Я велел Джорджу Саутхарду и Хаустону Брасли явиться сюда в четыре сорок пять. И еще я узнал, когда сегодня заходит солнце.

Говард сел по другую сторону стола и начал вертеть в пальцах скрепки для бумаг, сгибая и перегибая их на разные лады.

— Что с вами такое? — недовольно спросил Дэйд, глядя на него через стол.— Чего ради вы тут расселись?

Рывком придвинув стул ближе, Говард наклонился над столом.

— Дэйд, не думаю, чтобы это была удачная мысль,— заговорил он медленно и решительно. В эту минуту он смотрел серьезно и взволнованно, как никогда.— Это опасно, Дэйд. Я не шучу. Это дурно и несправедливо. Лучше бы вам этого не делать.

Схватив пачку документов, Дэйд хлопнул ими по столу. Потом откинулся на спинку стула и уперся ногами в выдвинутый ящик стола.

Закинув руки за голову и глубоко вздохнув, он уставился на Говарда пронзительным взглядом. Его серо-голубые глаза смотрели жестко, не мигая.

— Какого дьявола! — сказал он хрипло.— Что за чушь вы плетете?

— Я говорю серьезно, Дэйд.— Говард держался твердо и независимо.— Это опасная затея. Существуют другие, более разумные способы добиваться своего. Вам это известно. Если вы считаете нужным это сделать, найдите другой путь. То, о чем вы говорите, равносильно самоубийству. Вас это может погубить.

— Что это вы слюни распустили? — крикнул Дэйд, пинком ноги задвигая ящик и выпрямляясь на стуле.— Разве так вас нынче учат разговаривать в юридических школах?

— Может быть, это и слюняво, Дэйд, но, как мне кажется, гораздо вернее, чем тот риск, на какой вы собираетесь идти. Мне самому неприятно так говорить с вами, ведь я только младший компаньон, у вас гораздо больше опыта, чем у меня, и все же я не могу молчать. Я собираюсь жить в Сэллисоу, обзавестись здесь в будущем адвокатской практикой, и это одна из причин, почему я против. Люди будут считать, что и я в этом участвовал, ведь всем известно, что мы с вами компаньоны. Я не желаю иметь никакого отношения к этому делу, и если б я мог, то пресек бы это. Рано или поздно кто-нибудь проговорится, и тогда всем станет известно, что за кулисами стояли вы. Всегда кто-нибудь разболтает. Вам это известно. Ничего в этом нет хорошего. Бросьте это дело, Дэйд, откажитесь от него. Есть же другие методы.

— Черт возьми, Говард Ньюхаузер, если вам не нравится то, что я делаю, так подавайте заявление и убирайтесь ко всем чертям из этой конторы!

— Я уйду, Дэйд, если вы не бросите вашей затеи,— сказал ему Говард.— Придется уйти, Дэйд.

Дэйд Уомэк долго молчал, не сводя глаз с Говарда. Закурив сигарету, он швырнул спичку мимо пепельницы.

— Послушайте, сынок,— заговорил Дэйд с широкой улыбкой на красном лице.— Слушайте меня. Мы с вами не станем из-за этого ссориться. Мне отлично известно, как разговаривает молодежь, и меня нисколько не волнует то, что вы сказали. Вашему возрасту полагается иметь, как говорится, высокие идеалы, и вы думаете, что их надо подкреплять смелыми выходками и мальчишескими речами об уходе. Все это в порядке вещей, я понимаю. Со временем вы станете более рассудительным и благоразумным и постепенно научитесь ценить практическую сторону жизни так же, как и все мы.

Дэйд наклонился вперед над столом.

— Так вот, вы сказали ваше слово, теперь моя очередь, и я скажу кое-что для вашей же пользы. Я живу в этом городе куда дольше вашего и за это время научился управлять им. Каждым городом кому-то приходится управлять, а этот город — мой, и я управляю им так, как мне угодно. Вот почему меня никто не запугает. Зарубите себе на носу! Никто!

Говард бросил исковерканные скрепки в корзину для бумаг.

— Слышал, что я сказал, сынок?

— Я вас слышал.

— Ну и что же?

Говард молчал.

— Отлично, отлично, сынок,— улыбаясь, заговорил Дэйд.— Бросьте и думать насчет ухода. Пока вы меня держитесь, вам предстоит прекрасное будущее. В несколько лет я могу вас сделать богатым человеком. Могу даже твердо обещать вам это. Вот до чего я в этом уверен. И я говорю не о крохоборстве, не о возне с пятидолларовыми клиентами

в какой-нибудь адвокатской конторе. Это годится для неудачников. Я говорю о больших деньгах, о толстых пачках банковых билетов. Я разработал план эксплуатации домовладений по ту сторону Пичтри-стрит, и он уже начинает давать большие дивиденды. Я уже давно задумал сосредоточить негров в этом районе и обвести их границей так, чтобы они шагу не могли сделать за эту черту, не положив деньги в мой карман. Я скупил все домовладения вокруг негритянского квартала, пущенные в продажу за неуплату налогов и просрочку закладных, а теперь скупаю дома внутри квартала. Держа их в такой тесноте и нажимая то здесь, то там, я могу постепенно повышать квартирную плату. Скоро настанет время, когда каждый негр в негритянском квартале города будет платить мне за квартиру столько, сколько я захочу. Теперь вы понимаете, почему мне в помощники нужен способный молодой человек, именно такой, как вы?

Дэйд замолчал, но Говард ему не ответил.

— Теперь, сынок, вернемся к тому, с чего мы начали. Я не позволю какой-то приезжей мулатке выдавать себя за белую и снимать комнату по эту сторону Пичтри-стрит. Если хоть одной из них это удастся, она создаст прецедент, тогда и другим мулаткам взбредет в голову проделать то же самое. Это никуда не годится. Это погубит план, над которым я работаю. Вот почему я не раз предупреждал всех, кого следует, чтобы эту мулатку выгнали из дома Дженни Ройстер еще сегодня, к заходу солнца. Майло Рэйни об этом знает, и Дженни Ройстер тоже знает. Все, кому следует, получили предупреждение.

— Я не уверен, что вы правы и что она действительно негритянка,— сказал ему Говард.— Я думаю, что она отчасти индианка. Сегодня я видел ее на улице.

— Какого черта! — начал Дэйд, повышая голос.— С моей точки зрения, она все-таки мулатка, которая выдает себя... Ведь она не чисто белая? Нет? Отчасти африканская негритянка или отчасти американская индианка — это все равно. Какой смысл в таких увертках? Она цветная, как бы вы это ни называли.

— Дэйд, законодательством установлено...

— К черту, что бы там ни было установлено этими идиотами! — Дэйд, вскочив на ноги, оперся на стол.— Я сам устанавливаю законы в Сэллисоу и в округе Индианола! — Выпрямившись и посмеиваясь про себя, он указал пальцем на Говарда.— Законом установлено, что бить свою жену — уголовное преступление в одних штатах, наказуемый проступок — в других, а то и просто оскорбление действием. Вы думаете, законы это такая святость, что никто их не нарушает? Где там! Скажите мне правду, сынок. Могли бы вы показать под присягой, что знаете такого человека, который никогда не бил свою жену в прошлом, не бьет ее в настоящем и не станет бить в будущем? Нет! А если бы и показали, то это было бы лжесвидетельством, сами знаете!

— Дэйд, я не могу с вами спорить на таких основаниях.

— Хорошо. Мы выяснили этот вопрос. О том, что я собираюсь делать, спорить не приходится.

— Но я все же не думаю...

Дэйд прошелся вдоль стола и повернул обратно.

— Послушайте, сынок. Скажите мне вот что. И помните, отвечать мне нужно правду. Откуда вам столько известно про эту мулатку и с чего это вы взялись ее защищать?

— Я ее видел один раз,— ответил Говард.— Я видел ее сегодня в полдень на улице.

— Вот оно что! Вы для себя ее приглядели, так, что ли? Когда вы несколько минут назад подняли из-за нее такой шум, я так и подумал.

Вы побоялись, что я вышлю ее из города, верно? Хотите, чтоб она тут осталась, чтобы вам можно было за ней бегать?

Говард слегка улыбнулся.

— Ну, Дэйд, это уже из другой оперы.

— Не огорчайтесь, сынок,— сказал ему Дэйд и, обойдя вокруг стола, похлопал его по плечу.— Я думал, что моя заявка первая, а теперь вижу, что вы меня опередили. Во всяком случае, она просто переберется на другой конец города, по ту сторону Пичтри-стрит. Там вам будет гораздо удобнее гоняться за ней, чем в нашем районе, во всяком случае.

Послышался стук в дверь, и Джордж Саутхард и Хаустон Брасли вошли в контору. Но прежде чем кто-нибудь успел заговорить, зазвонил телефон.

Дэйд указал на дверь соседнего кабинета.

— Говард, проводите их туда, и пусть подождут, пока я кончу говорить по телефону. И дверь закройте.

Телефон звонил, не умолкая, но Дэйд подождал, пока все трое не вышли в соседнюю комнату и закрыли за собой дверь. Только после этого он сел за стол и взял телефонную трубку.

— У телефона Дэйд Уомэк,— сказал он громким голосом.

— Здравствуйте, Дэйд. Это говорит Майло Рэйни. Как поживаете?

— Отлично, отлично, Майло. Лучше некуда. А вы?

— Так же, как всегда, Дэйд. Я звоню вам...

— И давно пора,— сухо заметил Дэйд.— Я целый день ждал вашего звонка. Думал, вы позвоните гораздо раньше. А кроме того, эта мулатка так и не явилась ко мне в контору. Я ее ждал.

— Дэйд, сколько я ни старался, но так и не мог убедить Дженни Ройстер содействовать нам хоть чем-нибудь. Она ничего и слушать не хочет. Вчера ночью я пригласил ее к себе и говорил с ней два часа, а сегодня звонил ей по телефону. Я передал ей то, что вы говорили, но она все стоит на своем. И точно так же вышло, когда я передал ей, что вы велели прислать эту девушку к вам в контору.

— Майло, разве вы не имеете влияния на ваших клиентов?

— Я уговаривал ее, как только мог, но тут она упрямится, словно норовистый мул. Знаете, какие бывают женщины? Если им это надо, они глухи, как пень.

— Все это никуда не годится, Майло,— сказал Дэйд.— Очень жаль это слышать.

— Дэйд, дайте мне еще несколько дней,— упрашивал судья Рэйни.— Я уверен, что уговорю ее прислушаться к голосу разума, если вы дадите время. Всего несколько дней...

— А знаете ли вы, Майло, в котором часу сегодня заходит солнце?

— Нет... не совсем точно.

— А я знаю. В пять тридцать пять. Это точно.

## 14

С мертвенно-бледным, почти серым лицом, встревоженный и осунувшийся, проповедник Клу оставил свою пыльную машину на стоянке возле церкви и, устало шаркая подошвами, направился к дому Дженни Ройстер рядом с церковью. Его темно-синий костюм, смятый и обвисший, был весь в пуху, нечесаные черные волосы космами падали на лоб. Вид у него был совершенно обескураженный и унылый.

Проповедник Клу уложил свой скудный гардероб и прочие пожитки в чемоданы и картонки, потом в сундук и поставил на заднее сиденье

машины. Библия с указателем и двадцать два тома готовых проповедей, требников, свадебных и надгробных речей стояли на переднем сиденье в отдельной большой картонке.

Шестой час был в самом начале, и воздух впервые за этот день стал прохладным и освежающим. Некоторые из обывателей Морнингсайд-стрит расположились отдыхать на верандах, другие прохаживались во дворе, пользуясь хорошей погодой. Небо все еще хмурилось, солнце садилось за серые тучи, и потому сумерки наступали гораздо быстрее, чем обычно.

Проповедник Клу, дойдя до дома Дженни Ройстер, прошел на цыпочках через веранду и робко постучался в парадную дверь. Никто ему не ответил. Он приложил ухо к дверной щели, но ничего не расслышал. Встревожившись и почти теряя рассудок, он постучал еще раз, сильнее. Приняв решение ждать у двери, пока кто-нибудь не подойдет, он напряженно прислушивался к звукам шагов в прихожей.

Он все еще упорно стучался, когда Дженни вдруг открыла дверь. Второпях сбежав с лестницы посмотреть, кто это стучится, она вся раскраснелась и запыхалась.

Последние полчаса Дженни провела наверху, в комнате Лоуэны. Увидев, как Лоуэна устала и расстроена после целого дня беготни по городу, а главное, после безуспешных поисков работы, она уговорила девушку лечь в постель. Дженни приготовила для нее большую чашку куриного бульона, потом подала ей толстый ломоть ветчины с горячей подливкой. Лоуэна все ждала удобной минуты рассказать Дженни о том, что случилось в кафе «Джонни Реб», но, как только она пообедала, Дженни заставила ее принять снотворное, и после этого девушка почувствовала такую усталость и сонливость, что уже не пыталась разговаривать.

Сначала, открыв дверь, Дженни была так удивлена приходом проповедника Клу, что остановилась как вкопанная, уставясь на него.

— Здравствуйте, мисс Ройстер,— сказал он, беспокойно моргая глазами.— Я не хотел вас тревожить, но если вы ничего не имеете против, я бы попросил уделить мне несколько минут для разговора наедине.

— Здравствуйте, проповедник Клу,— рассеянно ответила она.

— Так могу я поговорить с вами? — настаивал он.

— О чем это? — начала Дженни, хмурясь.— Я не ожидала увидеть вас в моем доме после того, что произошло.

Шаркнув подошвами по полу, он переступил с ноги на ногу.

— Мисс Ройстер, если вы позволите мне войти в дом...

— Хорошо, пусть обо мне не говорят, что я захлопываю дверь перед проповедником и не пускаю его в дом. Но если это насчет уступки вам моего дома, для того чтобы срыть его и построить на моем участке воскресную школу, то разговор будет ни к чему, все равно что на ветер. Напрасно только потратите время да и меня еще больше обозлите. Я не собираюсь ходить вокруг да около, а если я что решила, то это уж твердо. Передумывать — это слабость, и я горжусь тем, что у меня ее нет.

— Нет, нет, мисс Ройстер,— поспешил он уверить ее.— Дело совсем не в том, я даже и поминать про то не стану.

— А я тоже не собираюсь сидеть здесь и слушать, как придираются к моим жильцам. Довольно, я наслушалась болтовни и больше ни одного слова слышать не хочу. Дом мой собственный, и никто мне не может указать, кому можно жить в нем, а кому нельзя.

— Мисс Ройстер, это совершенно не то,— сказал он торжественным тоном, мрачно глядя на нее.— Клянусь богом, это чистая правда.

— Тогда добро пожаловать в дом, проповедник Клу,— сказала она, дружелюбно улыбаясь, и отступила в сторону, давая ему пройти.— Если уж не верить священнику, когда он клянется богом, то не знаю, кому еще можно верить на этом свете.

Ступая легкими шагами, Дженни повела проповедника в гостиную и включила свет. На улице все еще медлил серый день, но в доме начинало уже темнеть.

Не в пример прежним своим визитам, когда он оставался все время на ногах и только для молитвы опускался на колени, проповедник Клу с готовностью опустился в предложенное ему кресло. Сама хозяйка села на красный плюшевый диван и устроилась поудобнее, сложив руки на животе, а потом передвинув их повыше, чтобы чувствовать себя свободнее.

— Я сижу и дожидаюсь, чтобы вы помолились для начала, как всегда делали прежде,— сказала она после нескольких минут молчания.— Если хотите молиться, так молитесь, я ничего против не имею. Сколько я знаю священников, они всегда читают молитвы перед даровым обедом и молитвой же платят за все, что надеются получить даром. Это единственные люди, которые зарабатывают хорошие деньги, молясь о том, чтобы получить что-нибудь совсем даром. Может, вам это неизвестно, но всем нам приходится работать, как каторжным, и урезывать себя во всем, чтобы только-только прокормиться и не остаться без крова над головой.

— Я совсем не собирался читать молитву,— ответил он с удивлением.— Сейчас в этом нет никакой надобности.

— Тогда начинайте сразу и говорите прямо, о чем вы собирались со мной толковать. О чем вы говорить не будете, вы уже сказали.

Он передвинулся на самый краешек стула, крепко стиснув руки.

— Мисс Ройстер, я пропал,— взволнованно начал он и вытер рот и подбородок тыльной стороной руки.— Я окончательно погиб. Хуже этого ничего не могло случиться с таким человеком, как я.

— После того, что случилось вчера ночью в пансионате, меня это не очень удивляет,— сурово ответила она.

Проповедник Клу глубоко вздохнул, словно собираясь с духом.

— Мне только что пришлось отказаться от места проповедника в церкви Тяжкого креста.— Он опять вытер рукой губы и подбородок.— Сегодня на тайном заседании церковного совета постановили, что мне запрещается здесь читать проповеди. Сказали, что после такого скандала мне вряд ли удастся себя обелить. А кроме того, велели мне выехать из города и больше никогда не возвращаться.

— Ну и дела! — воскликнула Дженни, широко раскрывая глаза.— Вот это ловко! Никак не думала, что они так скоры на руку!

— Для такого человека, как я, это просто ужасно, мисс Ройстер. Это вредит моей репутации.

Она неторопливо кивнула.

— Я рада это слышать из первых рук, разнообразия ради. Обыкновенно мне приходится дожидаться, пока сплетня не дойдет с одного конца города до другого.

Проповедник Клу откинулся назад, втиснувшись глубже в кресло.

— Не знаю, что со мной станет, мисс Ройстер. Не знаю, что мне делать. Не знаю, куда и податься. Совсем зашел в тупик. Мне еще некогда было помолиться, но боюсь, что и это теперь не поможет. Одно только приходит в голову — уехать куда-нибудь, где еще не знают о скандале, и собирать деньги на новую церковь. Если бы я был помоложе, я бы мог уехать куда-нибудь и заняться пропитания ради сельским хозяйством, пока шум не уляжется, но, пожалуй, здоровья у меня на это не хватит. Для такой работы я всегда был слишком слаб.

Дженни, покачивая головой, глядела на него с состраданием.

— Во всяком случае, я больше гожусь на то, чтобы собирать деньги на церковь,— продолжал он.— Это, кажется, единственное, что мне дается без труда, думаю, что у меня от рождения есть к этому способ-

ность. Вот почему я и хочу, чтобы это стало делом всей моей жизни. Единственное затруднение в том, что теперь мне придется начинать с самого начала, опять собирать деньги и опять строить новую церковь кирпичик за кирпичиком, а я не знаю такого места, где бы люди хотели строить новую церковь. Похоже на то, что церквей в наше время уже настроили достаточно. Может быть, мне придется уехать куда-нибудь, снять курятник и разводить кур, пока я не смогу вернуться к делу всей своей жизни. Разводить кур, должно быть, не так уж трудно.

Дженни впервые в жизни пожалела его и теперь соображала, что она может сделать, чтобы помочь ему. У нее была одна свободная комната, где он мог бы жить даром, а один лишний едок за столом не так уж обременил бы ее.

— Просто стыд и срам! — сказала она сочувственно.— Вот уж никогда не думала, что у проповедника бывают в жизни такие же беды и несчастья, как и у нас, обыкновенных людей. Положим, церковный совет имеет такое же право нанимать и увольнять, как любой лавочник или еще кто-нибудь в этом роде, а все как-то кажется, что это не очень-то благочестиво, после того как вы столько трудились, чтобы собрать деньги и отстроить такую красивую церковь.

Дженни крепче поджала руки на животе.

— Проповедник Клу, откровенно говоря, мне прямо-таки жалко вас. Я всегда была добрая, и у меня это просто слабость — жалеть людей. Когда мне некого жалеть, у меня все внутри словно сохнет. Вот почему мне сейчас так вас жалко. Если хотите знать по правде, что я сейчас чувствую, так я вам скажу откровенно. Если б вы перешли на диван, сели рядом со мной и шепнули, чего вам больше всего хочется, я по своей доброте постаралась бы для вас, ни в чем не отказала бы.

Она глядела на него в ожидании ответа, и в комнате надолго воцарилось молчание. Он взглянул было на нее, но тут же опустил глаза, потом вместо того, чтобы ответить что-нибудь, еще глубже забился в кресло. Проходила минута за минутой, и Дженни начала беспокойно постукивать пальцами по красному плюшевому дивану. Лицо у нее вспыхнуло.

— Если вы не понимаете намека,— сказала она сурово,— так я могу вам сказать, что у меня на душе есть и еще кое-что. Вам бы следовало быть поосторожнее и вести себя осмотрительнее в этом пансионате. Это было просто ужасно для Бетти Вудраф, а ведь во всем только вы один виноваты. Бедная девушка совсем расстроилась. Она вернулась из пансионата чуть ли не в истерике, после того как вы ее опозорили перед Клинтом Хафменом и Стэнли Причардом. Чтобы ее успокоить, пришлось мне вчера ночью дать ей снотворное, а то она уже начала говорить о самоубийстве. А хуже всего то, что теперь она уехала, и это ваша вина.

— Для того я сюда и пришел,— сказал проповедник Клу, ерзая в кресле.

— Повидаться с Бетти?

Он кивнул.

— Я хотел извиниться перед мисс Вудраф в том, что вышел такой скандал, и сказать, как я об этом сожалею. Я думаю, может, после того, как я извинюсь, она согласится со мной уехать, поскольку мы оба замешаны в этом скандале. Если она со мной поедет, то и мне будет легче выехать из города. Во-первых, у нее машина лучше моей, свою я продам, а в ее хорошей мы уедем. Шины на моем автомобиле совсем износились, а у нее почти новые. Если она согласна, мы уедем куда-нибудь вместе и...

Пока он говорил, Дженни все время покачивала головой.

— Она уехала. Уже уехала.

— Что вы говорите, мисс Ройстер? — Он выпрямился в кресле.— Куда уехала? Разве мисс Вудраф переехала на другую квартиру?

— Теперь Бетти, должно быть, милях в ста от Сэллисоу и едет все дальше и дальше. Я отговаривала ее как только могла, но она уложила все свои вещи и уехала на своей машине еще днем. Она сказала, что больше не вернется в Сэллисоу, пока жива. Вот оттого я такая печальная и убитая — как подумаю, что никогда больше не увижу Бетти Вудраф. Она мне была прямо как родная дочь! Никогда я не утешусь! А все вы виноваты!

Дженни утерла слезы на глазах.

— Куда она уехала? — спросил проповедник Клу, в отчаянии ломая руки.— Скажите мне, куда она уехала, я разыщу. Сяду в свою машину и поеду ее догонять.

Дженни вся сотрясалась от рыданий.

— Оставьте ее в покое, проповедник Клу! Не смейте больше приставать к Бетти Вудраф. Я бы вам не сказала, куда она уехала, даже если б была при последнем издыхании. Бросьте и не старайтесь ее разыскать!

Обозленный и взволнованный, проповедник Клу сердито глядел на Дженни, словно она была виновата во всем, что произошло, и кровь впервые за все время прилила к его бледному лицу.

— Это просто непорядочно так говорить,— сказал он и поджал губы.— Это просто не по-дружески, с вашей стороны, так поступать.

— А я и не желаю дружить с тем, из-за кого Бетти Вудраф пришлось уехать. И пускай будет непорядочно, мне на это наплевать.

— Послушайте, мисс Ройстер! Я не для того пришел к вам в дом, чтобы вы со мной так разговаривали.

— А я и не приглашала вас к себе в дом! — сердито крикнула Дженни.— Можете встать с места, выйти и отправиться куда вам угодно! Я не намерена терпеть ваши разговоры! Только что я была настроена по-хорошему, предлагала вам познакомиться со мной поближе, но вы не пожелали понять намека, а ведь этого ни одна женщина не стерпит. А если б вы пожелали, я уже подумывала, не пустить ли вас бесплатно в свободную комнату. А теперь я рада, что вы про это не заикнулись.

— Вы мерзкая старуха! Вот вы кто, мисс Ройстер! Никакой доброты в вас нет!

— Я могу быть доброй ко всем на свете, а через минуту перемениться и стать злой как ведьма! Сейчас я как раз такая! Злая как ведьма!

Проповедник Клу вскочил с места и глядел на Дженни, беспокойно моргая глазами.

— Вы и есть такая! — крикнул он.— Злая как ведьма!

— И, если хотите знать правду, с каждой минутой я злюсь все больше. И начинаю думать, что никакой вы не проповедник, по правде сказать. А еще, скажу вам по правде, я начинаю думать, что такого мошенника, как вы, в нашем городе до сих пор не бывало. Я все удивлялась, почему вы не называете себя преподобным Клу, как другие священники. А вы всё — проповедник Клу да проповедник Клу. И это очень подозрительно. Вся ваша забота — лишь бы взвинтить людей, довести до того, чтобы они сами раскрыли перед вами кошельки, а вы бы туда запустили лапу и взяли сколько вам требуется. Вы точь-в-точь бродячий лоточник, который открывает флакон с хорошими духами и дает понюхать, а потом подсовывает гнилые чулки — только их наденешь, а петля спущена. Знаю я вас! И хватит с меня! Убирайтесь вон из моего дома!

В гостиной запахло дымом. Как только Дженни почуяла этот запах, первой ее мыслью было, что Шорти Гудвилли уронил горящую сигарету на обивку мягкого кресла. Она перевернула все подушки, старательно осмотрела красный плюшевый диван и все-таки не нашла ничего такого,

что горело бы. Проповедник Клу тоже почуял этот запах и начал принюхиваться, обводя взглядом гостиную. Запах дыма напоминал сначала запах тлеющих листьев, но через некоторое время стал похож на запах сосновых поленьев, горящих в камине.

— Если бы вы не были женщиной, я бы вас выругал,— сказал проповедник Клу, расхаживая взад и вперед по гостиной.

— Пожалуйста, ругайтесь сколько влезет. Мне даже хочется, чтобы вы начали поскорей, а я тогда вас отругаю вдвое крепче и втрое скорей вашего. Услышите такую брань, какой в жизни не слыхивали, и до самой смерти не позабудете. И не думайте, будто я не умею ругаться. Теперь я почтенная женщина на покое, но могу и забыться, если подвернется хороший предлог.

— Я всегда думал, что вы нечестивая грешница.

— А мне только и не хватало случая, чтоб это доказать!

Проповедник Клу все еще стоял посредине гостиной, как вдруг перед домом послышались взволнованные голоса. Минутой позже на улице кто-то громко закричал.

Дженни встала и подошла к окну посмотреть, из-за чего поднялся такой переполох. Но не успела она выглянуть в окно, как кто-то распахнул парадную дверь и вбежал в прихожую.

— Дженни, Дженни! Где ты, Дженни?

Она сразу узнала голос Клары Крокмор.

— Дженни! Дженни! — опять позвала ее Клара взволнованным голосом.

— Что такое случилось, Клара? — спросила Дженни, направляясь в прихожую.— Что ты так волнуешься?

Они столкнулись на пороге гостиной.

— Пожар, Дженни! Пожар! Твой дом горит! Вся задняя стена в огне. Выходи скорей, Дженни!

— Так вот чем это пахнет,— сказала Дженни с каким-то тупым равнодушием.— То-то мне и показалось, что запах какой-то странный.

— Ведь это твой дом, Дженни! Он горит! Весь в огне! Выбирайся скорее!

Теперь дым уже валом валил в прихожую, и сквозь тонкие стены слышно было потрескивание пламени. Крики на улице стали громче, и в отдалении, на вышке пожарного депо, зазвонил колокол.

— Надо же мне спасти хоть мои любимые вещи! — крикнула Дженни, бросаясь обратно в гостиную.— В этой комнате все мои статуэтки и диванные подушки!

Клара Крокмор побежала за Дженни и силой вытащила ее назад в прихожую. Как раз в эту минуту в дом вбежало несколько человек.

Проповедник Клу опрометью промчался через прихожую и вмиг очутился в безопасности на улице.

— Уведите ее отсюда! — крикнул кто-то. Двое мужчин схватили Дженни и поволокли ее через прихожую на веранду.

Издали послышался рев сирен — пожарные машины мчались по Морнингсайд-стрит. Большая толпа уже собралась перед домом, а соседи поливали из садовых шлангов свои крыши и веранды, чтобы их дома не загорелись от летящих искр.

— Надо же мне хоть что-нибудь спасти! — протестовала Дженни, силясь высвободить руки.— Как же можно, чтобы у меня все сгорело!

И не успели мужчины ее остановить, как Дженни нагнулась и подхватила два горшка с цветами. Прижав оба горшка к груди, она уже не противилась больше, когда ее выводили из прихожей на веранду. Как раз в ту минуту, когда они сходили с крыльца во двор, пламя стеной ворвалось из кухни в прихожую.

— Не знаю, удалось ли мне спасти мой любимый цветок,— рассеян-

но говорила Дженни, в то время как ее волокли со двора на улицу, подталкивая в спину.— Все случилось так быстро, что мне некогда было разбирать, который цветок мой любимый.

Пожарные начали поливать из шлангов соседние строения, чтобы пожар ограничился домом Дженни Ройстер. Беспрерывно обдавая потоками воды стены и крышу соседней церкви, пожарным удалось отстоять ее от огня. Дом Клары Крокмор был довольно далеко и потому вне опасности, но несколько деревьев перед ним загорелось, и пожарным пришлось направить на них струю воды, чтобы сбить огонь.

Дженни стояла посреди улицы, крепко прижимая к себе оба горшка с цветами, когда крыша с оглушительным треском рухнула и провалилась на верхний этаж дома. Огромный столб черного дыма и крутящихся искр взвился над костром из пылающих сосновых бревен и потрескивающих кровельных дранок.

Вдруг Дженни пронзительно вскрикнула.

— Боже мой! — вопила она, бросаясь к дому.— Боже! Боже! Она там! Спит наверху! Спасите ее кто-нибудь!

Мужчины, стоявшие на улице, схватили Дженни и оттащили ее подальше от горящего дома.

— Кто у вас там? — спросил ее один из них.— О ком вы говорите?

— Лоуэна, Лоуэна Нели! Я дала ей большую дозу снотворного! Сама она не проснется, не сможет спастись! Что я наделала! Спасите ее! Ради бога, спасите!

— Мисс Ройстер, в этот дом уже никто не может войти,— сказал ей кто-то из мужчин.— Слишком поздно. Счастье еще, что вам удалось выбраться, прежде чем провалилась крыша.

— Но как же Лоуэна... Она там... ведь снотворное...

Женщины увели Дженни на ту сторону улицы и усадили ее на обочину тротуара. Дженни заплакала навзрыд, не в силах сдержаться. Клара Крокмор села рядом с ней, стараясь ее утешить.

— Покуда я жива, не прощу себе, что забыла про Лоуэну,— рыдала Дженни.— Пускай мой дом сгорел бы десять раз подряд, только бы спасти ее, вернуть к жизни! Лоуэна! Лоуэна! Нет мне прощения! Это все из-за меня! Я виновата!

— Ну, Дженни, успокойся же,— уговаривала ее Клара,— перестань, не надо так говорить.

Дженни закрыла лицо руками и некоторое время плакала неслышно, без рыданий.

— Это такой ужас, не знаю теперь, что и думать о себе. Я только что отчаянно поругалась с проповедником Клу, а это все случилось так быстро, что я не успела ничего сообразить. Еще мне хотелось спасти мои любимые статуэтки и диванные подушки, только мне не дали вернуться в дом и взять их. А в смерти Лоуэны все-таки я виновата. Я ее уложила в кровать, потому что она так устала, так была расстроена. Она весь день ходила по городу не евши, и я думала, что поступаю правильно. Я ее покормила, потом дала ей снотворное! Это все из-за меня! Я виновата!

— Перестань, Дженни,— сказала Клара, похлопывая ее по руке.— Вовсе не ты виновата. Тут уж ничем нельзя было помочь. И нечего себя винить.

Клара взглянула на одного из мужчин, стоявших рядом.

— А мне кажется, что есть виноватый,— сказала она ему.— Не думаю, чтобы это был несчастный случай. От обыкновенного пожара дом не сгорел бы так скоро.

— Почему вы так думаете, миссис Крокмор? — спросил тот, подходя ближе.— Эти старые деревянные дома горят как бумага, только спичку поднести. Если уж в таком доме начался пожар, его не потушишь.

— Я знаю, почему мне так подумалось,— сказала ему Клара.— Я так разволновалась, что только сейчас про это вспомнила. Я видела, как двое мужчин побежали за угол дома мисс Ройстер, а вскоре после этого заметила, что горит кухня и черное крыльцо. Я этого никогда в жизни не забуду.

— А вы знаете, кто они такие, миссис Крокмор, эти двое мужчин, о которых вы говорите?

— Нет. Было уже слишком темно, чтобы узнать их в лицо. Но я видела их. Вот в этом я уверена.

— Что ж, могло быть и так,— сказал тот и, повернувшись, стал смотреть на горящий дом.— Всего-то и нужно галлон-другой керосина, чтобы такой пожар разгорелся.

Потом он обернулся и взглянул на Клару и Дженни.

— Но кому понадобилось поджигать дом мисс Ройстер? — сказал он.— Кому и зачем это могло понадобиться?

## 15

Далеко не все в городе сбежались смотреть, как горит дом Дженни Ройстер, но казалось, что не меньше половины населения, и белых и негров, столпилось на одном квартале Морнингсайд-стрит по обе стороны от дома.

Пламя отражалось от облачного неба, бросая яркий красный отсвет на весь город, и люди на машинах и пешком торопились взглянуть на бушующий пожар. Дым клубился над головой и плыл по улицам к окружающим город полям и пастбищам.

Мужчины, привлеченные пожаром, забрались на крыши ближних домов, чтобы не упустить ничего; много женщин с детьми толпилось на верандах и крылечках, возбужденно разговаривая о пожаре; молодые люди и мальчишки залезли на заборы, деревья и телеграфные столбы, чтобы лучше видеть.

Потревоженные непривычным шумом и суматохой не меньше, чем самим пожаром, окрестные собаки лаяли и выли без умолку. Кто-то в соседнем доме забыл выключить радио, и хриплая музыка джаза гремела все громче и громче. Время от времени среди всего этого шума вскрикивал от испуга ребенок.

Все городские пожарные машины прибыли в полном составе, и пожарные работали, направляя потоки воды из шлангов прямо на огонь. Под напором воды ярксе красно-желтое пламя сухих сосновых балок понемногу уступало место густым облакам черного дыма, смешанного с белым паром. Через некоторое время от дома остались только груды тлеющих углей в перепутанном ворохе кроватных пружин, расплавленного стекла и чугунных труб вместе с покривившимся холодильником и кухонной плитой. Над всем этим уныло торчала высокая печная труба, словно наспех воздвигнутый надгробный памятник.

Без ослепительной яркости огня улица сразу стала темной и мрачной. Голоса звучали приглушенно, и собаки впервые перестали лаять. Кто-то вдруг выключил ревущее радио, и сразу после этого люди стали расходиться, пропадая во мраке. Пожарные заливали водой пепелище, готовясь искать обгорелые останки Лоуэны Нели.

Закутавшись в розовое одеяло, принесенное кем-то из соседнего дома, Дженни все еще сидела на обочине тротуара, заливаясь горьким плачем, когда из города прибежал Шорти. Она была слишком оглушена и ошеломлена, чтобы сразу узнать его в этом тусклом свете, и сочла его просто за мальчишку, которому захотелось пролезть поближе к машинам и пожарным.

Шорти задыхался и был не в силах выговорить ни слова, пробежав бегом всю дорогу от бильярдной в центре города; сначала он только стоял, беспомощно глядя на дымящиеся развалины дома.

— Что я сделала! Никогда себе не прощу! — стонала Дженни, заливаясь слезами.— Лоуэна погибла, ее не вернуть, и это я виновата! Я так старалась ей помочь! Дала ей такую дозу снотворного, что она спала как убитая и ничего не чувствовала! И я совсем позабыла про нее, когда начался пожар, спасла только собственную шкуру! Ничего плохого я не хотела и не думала! А теперь посмотрите, что случилось! Лоуэна погибла — да, погибла! И это я во всем виновата!

Клара Крокмор пыталась успокоить Дженни, но та оттолкнула ее локтем.

— Я сама чувствую, когда сделала что-нибудь дурное,— кричала Дженни,— и никто не запретит мне себя винить! Я имею на это право! Никогда себе не прощу, до самой смерти!

— Но ведь не ты подожгла дом, Дженни,— внушала ей Клара.— Поджег кто-то другой. Ты тут ни при чем. И не должна себя винить.

— Может быть, я и не поджигала, но я не спасла Лоуэну. Сама выскочила, а она нет. И проснуться она не могла из-за этого снотворного. Вот в чем я виновата.

Дженни вдруг повернула голову и, узнав стоящего рядом с ней Шорти, потянулась к нему. Она обвила руками его щуплое тело, прижала к своей груди и принялась отчаянно целовать его.

— Визи! Визи! Ты здесь, живой и здоровый! Одному только осталось мне радоваться, что ты ушел играть на бильярде и не сгорел заживо, как Лоуэна. Я бы покончила с собой, если б и ты тоже сгорел. Я бы не могла жить и дышать, если бы осталась совсем одна на свете.

Держа Шорти на расстоянии вытянутой руки, она взглянула на него сквозь слезы.

— Бедный Визи Гудвилли! Бедный Визи Гудвилли! Некуда тебе деваться, нет у тебя больше дома, некому теперь о тебе позаботиться. Что с тобой будет до тех пор, пока не придет время уезжать с бродячим цирком? Никто на свете не сумеет о тебе позаботиться и приласкать тебя так, как я, а мне теперь негде тебя приютить. Это просто стыд и срам, что мой дом сгорел и ты остался без приюта на весь зимний сезон. Что же теперь с тобой будет, Визи?

Шорти отвернулся и рассеянно уставился на дым, поднимавшийся над пожарищем.

— Все мое платье сгорело,— сказал он убитым голосом. Его маленькое личико смотрело растерянно и безнадежно, на глазах блестели слезы.— Только то и осталось, что на мне надето. Придется завтра пойти в город и купить какой-нибудь костюм из тех, что продаются для мальчиков. Они на мне всегда плохо сидели, и теперь то же будет. Бог знает, на кого я стану похож, пока не накоплю денег, чтобы сшить себе платье на заказ, как полагается.

Клара Крокмор, сидевшая на обочине тротуара рядом с Дженни, встала и подошла к Шорти.

— У меня в доме есть свободная комната, Визи,— сказала Клара, нагнувшись к нему и из осторожности понизив голос.— Вы можете хоть сегодня перейти ко мне и живите сколько хотите, а насчет платы не беспокойтесь. У меня есть и швейная машинка, я вам переделаю костюм и не возьму с вас ни одного пенни. Шить и перешивать я умею, могу похвастаться, и переделаю для вас детский костюмчик как вам угодно.— Она улыбнулась Шорти и потрепала его по плечу.— Ну, как вам это нравится, Визи?

Дженни потянулась, ухватила Шорти за руку и оттащила его от Клары.

— Я тебя слышала, Клара Крокмор! — сердито крикнула она.— Слышала каждое твое хитрое слово! Слышала, что ты отдашь ему комнату даром, если он у тебя поселится, а меня ведь ты не пригласила. Так вот, ты брось переманивать Визи к себе в дом. Я знаю, что у тебя на уме. Вижу, что ты задумала, по разговору и по всей твоей повадке вижу. Вся эта брехня насчет переделки платья ни на минуту меня не проведет. Хочешь меня обставить, потому что мой дом сгорел, но я тебе только одно скажу. Никто не сумеет позаботиться о Визи Гудвилли так, как я о нем забочусь, и ты ему не угодишь своим виляньем. Он привык не к такому обращению, на какое ты способна.

— Имею я право выказывать дружбу и расположение кому захочу?

— Так найди кого-нибудь другого, с кем дружить и кому выказывать расположение, а Визи оставь в покое. Я умею распознать, когда женщине вздумается сманить чужого мужчину, а по всей твоей повадке это ясно, как божий день. Я тебе уж говорила один раз, что задушу тебя, если ты не оставишь Визи в покое,— и задушу еще.

— Этого я не потерплю, Дженни Ройстер! Я тебе покажу, что я порядочная женщина!

— Нет, ты непорядочная!

— Нет, я порядочная!

— Ничего подобного!

— Нет, я порядочная!

Быстро шагая, из темноты появился Майло Рэйни и направился прямо к Дженни. Подойдя к обочине тротуара, где она сидела, судья нагнулся и положил руку ей на плечо.

— Дженни, я услышал об этом ужасном событии всего несколько минут назад и сейчас же пошел сюда,— сказал он, печально кивнув головой.— Если бы я знал, что это горит ваш дом, я бы раньше прибежал сюда. Мне сказали, что пожар в другой части города, и я остался в конторе. Я ждал вашего телефонного звонка. А потом вдруг слышу — горит ваш дом, и пожар кончился так быстро, что Лоуэну не успели спасти. Ужасно, что так случилось, Дженни. Просто ужасно. Таких вещей вообще не должно быть. Но я хочу сказать, что старался по мере сил...

Судья Рэйни остановился посередине фразы и выпрямился во весь рост.

— Что вы хотите сказать, Майло? — спросила Дженни.— Старались что сделать?

— Не будем говорить об этом сейчас, Дженни,— сказал он, быстро качнув головой.— Мы поговорим об этом позже. Пришло время мне о вас заботиться, вот что важно теперь, когда вы погорели и остались без крова. Я хочу вас избавить от всяких забот.

Она подняла на него глаза, и по ее лицу заструились слезы.

— Это вы серьезно, Майло? Вы и вправду будете обо мне заботиться?

— Да, Дженни,— сказал судья, беря ее за руку.— Заботиться во всех смыслах. Я уже достаточно долго ждал — в сущности, слишком долго. Если б я собрался действовать раньше, не случилось бы этой беды. Во всяком случае, мы поговорим об этом потом. А теперь вставайте и идем ко мне. Сегодня вы переночуете в моем доме.

Она утерла слезы и улыбнулась.

— Приятнее этого мне ничего не приходилось слышать, Майло. Все эти годы я ждала и надеялась, что именно вы захотите обо мне заботиться и скажете это, вот оно теперь и случилось. От ваших слов все мое горе как рукой сняло. Чувствую, что всем моим бедам и несчастьям приходит конец.

Он помог Дженни подняться на ноги и заботливо укутал ее плечи розовым одеялом. Они пошли вверх по Морнингсайд-стрит к дому судьи Рэйни.

— Погодите минутку! — сказала Дженни, останавливаясь и оглядываясь назад.— А как же быть с Визи Гудвилли?

— То есть как с ним быть?

— Нельзя ему пойти с нами?

— Разумеется, нельзя!

— Почему же?

— Дженни,— терпеливо объяснил судья Рэйни,— не в моем характере быть таким добрым и щедрым, как вы, в личных отношениях с людьми. Когда я говорил, что буду о вас заботиться, то это было в обычном человеческом смысле, в смысле союза, брака, а при этом исключаются третьи лица — такие незваные гости, как Шорти Гудвилли. Много есть и других мест, где Шорти примут с радостью. Кто-нибудь из соседей о нем позаботится.

— Но Визи нуждается в особом внимании...

— И я тоже, Дженни. Я слишком долго этого ждал и не намерен делиться с Шорти Гудвилли. Если вы не хотите идти ко мне домой на таких условиях...

Дженни схватила его за руку.

— Не говорите этого, Майло! Если разобраться, мужчины смотрят на такие вещи совсем по-другому, чем женщины. Ну, если не желаете пускать Визи к себе в дом, хоть звали бы его по имени. А то уж очень некрасиво звать его так, как зовете вы и все прочие.

— Буду звать и этим прозвищем и разных других ему надаю, но вы должны понять раз навсегда, Дженни, что ему нет больше места в вашей жизни. Долго я собирался сказать вам это и никак не мог, а вот теперь могу.— Глядя в упор на Шорти, судья повысил голос, чтобы тот его слышал: — А если Шорти Гудвилли не понимает того, что я уже сказал, то могу сказать еще яснее — nuns pro tuns *.

Подбежав к судье Рэйни, Шорти попытался лягнуть его и наподдать ему головой в живот, но судья легко отстранил его одной рукой.

— Да я бы и не стал жить в доме у человека, который всегда ругает меня на непонятном языке,— сердито огрызнулся Шорти.— Проваливайте ко всем чертям, чтоб и духу вашего не было, адвокатишка паршивый, шулер!

— Майло, что вы сказали Визи, отчего он так разозлился? — спросила Дженни.

Судья Рэйни оттолкнул Шорти в сторону.

— Я только сказал, что теперь делаю то, что должен был сделать раньше. Не знаю, как можно было бы выразиться яснее.

Клара Крокмор подобралась поближе к Шорти.

— Сейчас я отведу вас домой и приготовлю вам хороший ужин, Визи,— сказала Клара, нагибаясь к нему.— Я знаю, вы, должно быть, умираете с голоду и совсем вымотались от всех этих волнений. Идемте ко мне в дом, там вы мне расскажете, какие вы любите блюда, чтобы я вам их готовила так, как вам нравится. И не стесняйтесь говорить, чего вам хочется. Я, может быть, не бог знает какая стряпуха, но мужчине угодить сумею.

Взволнованно перебирая руками, Дженни плотнее запахнула одеяло на плечах.

— Только посмотрите на нее! — сказала она.— Так я и знала! Так я и знала, что это случится, не успею я повернуться к ней спиной, мне даже и глаз на затылке не понадобилось, чтобы это увидеть. Нет такой

---

* Теперь и навсегда *(лат.)*.

женщины на свете, которая не добилась бы от мужчины того, что ей надо, угождая его брюху и следя за его одеждой, а бесстыжая вдова, вроде Клары Крокмор, уж не потеряет времени даром ни на людях, ни наедине. Я знала, что она только и ждет такого случая. Я видела, как она поглядывает на Визи в окно, когда он проходит мимо ее дома. То самое, что я и всегда говорила. Ни единой женщине нельзя верить, если ей по душе пришелся мужчина — она его у тебя отобьет мигом, не успеет собака миску вылизать.

— Идемте, Дженни,— настаивал судья Рэйни, взяв ее за руку и стараясь сдвинуть с места.— Вы слишком долго пробыли на ночном холоде.

Дженни упиралась, пока Шорти и Клара не скрылись из виду. После этого она сделала несколько шагов по улице и опять остановилась.

— Погодите, Майло! — сказала она.— Я кое-что забыла. Мои горшки с цветами! Это все, что я спасла от пожара!

Нагнувшись к обочине тротуара, она захватила оба горшка и, прижав их к себе, повернулась туда, где ждал ее судья Рэйни. И они пошли дальше, к дому судьи Рэйни.

— Вы захватили свой любимый горшок с цветами? — спросил он.

— Не знаю. Некогда было разбираться. Сейчас темно и ничего не разглядишь, но я рада, что хоть что-то спасла на память о своем доме. Если б не то, что случилось с Лоуэной...

Следующие два квартала они прошли темной улицей, не разговаривая. Мимо них мчались автомобили один за другим — люди спешили домой с пожара. Большинство тех, кто жил на Морнингсайд-стрит, уже вернулись домой, и свет ярко горел в столовых и кухнях.

Было почти семь часов, когда они дошли до дома судьи Рэйни, и Сэм Моксли в ослепительно белой куртке включил свет на веранде и ждал их, стоя в дверях.

— Очень жалко было слышать, мисс Дженни, что ваш дом занялся и сгорел дотла,— сказал Сэм, когда она поднялась по ступенькам на веранду.— Я знаю, как это тяжело — испытать такое несчастье. Теперь входите в дом, и позвольте нам с мистером Майло о вас позаботиться. Я слыхал, что раз в жизни у каждого человека в доме бывает пожар, и я думаю, что это так же верно, как и все другое, что люди говорят. Но теперь с этим покончено раз навсегда, все уже позади, и в будущем с вами ничего такого уже не случится.

Они вошли в библиотеку, Сэм подложил угля в камин и вытреб золу.

Пока Дженни грелась перед камином, судья Рэйни налил виски ей и себе.

— Не думаю, чтобы вы стали строить новый дом вместо того старого, который сгорел, мисс Дженни,— сказал Сэм, медленно развертывая и вновь складывая ее одеяло.— Какой смысл затевать все эти хлопоты и тратить деньги, если дом вам не понадобится на будущее? Раз дело обстоит так, мисс Дженни, то я нисколько не против, но только хочу предупредить вас об одном. За все эти годы, что я работал в доме у мистера Майло, мне никогда не приходилось выслушивать приказаний от женщины, а в моем возрасте переучиваться слишком поздно. Вот это и есть то самое, что я хотел вам сказать. Когда вам что-нибудь потребуется сделать, самое лучшее будет, если вы сначала скажете мистеру Майло, а там уже он передаст мне, чего вы хотите. В мои годы я просто не мог бы привыкнуть ни к каким новшествам, мисс Дженни.

— О чем это он, Майло? — спросила Дженни.— Почему он это говорит?

Судья Рэйни подождал, пока Сэм Моксли вышел из библиотеки, потом подал ей один из стаканов.

— Сначала выпейте добрый глоток вот этого виски, Дженни,— сказал он.— Оно будет вам полезно после всех волнений этой ночи.

Осушив свои стаканы, они уселись перед камином.

— Дженни, мне тоже нужно сказать вам кое-что важное,— начал он неторопливо и спокойно.— В сущности, у меня два важных дела, но сначала я хочу поговорить о приятном. Я с давних пор собирался это сказать — о приятном деле,— но прежде всегда находилась причина откладывать и оттягивать разговор. Как только я услышал, что ваш дом горит, то решил, что сейчас самое подходящее время сказать это вам.

— Что именно, Майло? — спросила она.

Судья Рэйни наклонился и, достав с очага кочергу, поворошил куски угля, горевшие на решетке.

— Только что я говорил вам — так сказать, предварительно — о том, что прошу вас перебраться ко мне в дом и остаться у меня. Я уже сказал Сэму Моксли по телефону, что именно я имею в виду, вот почему он так и говорил. Но пусть вас не тревожат его слова. Быть может, не сразу, но Сэм привыкнет к женщине в доме.

Положив кочергу на место, судья Рэйни искоса взглянул на Дженни. Она сидела в кресле, мигая затуманившимися от слез глазами.

— Мне наскучило одиночество, Дженни,— продолжал он, отводя глаза.— Очень возможно, что и вам оно наскучило. Совершенно очевидно, что нам с вами надо искать какого-то выхода. Я бы и раньше объяснился с вами, но не был уверен, что вы захотите расстаться со своими жильцами и нахлебниками. Теперь, когда у вас нет больше вашего дома, нет причин, почему бы вам не перебраться ко мне.

— Не знаю, Майло, следует ли мне переезжать к вам,— ответила она после минутного раздумья.— Я горжусь тем, что я почтенная женщина на покое, но ведь я незамужняя, а вы знаете, как люди нынче сплетничают...

— Завтра утром мы первым долгом пресечем грозящие нам сплетни. Отправимся в здание суда и выполним обычные формальности, которых требует от нас закон и общество.

— Майло... вы хотите сказать... что мы в самом деле поженимся?

— Такова обычная процедура, Дженни.

Губы у нее задрожали. Казалось, она и сама не знает, плакать ей или смеяться от радости.

— Майло, за всю мою жизнь вы единственный мужчина, который серьезно сделал мне предложение, и теперь я так растерялась, не знаю даже, что и сказать.— На глазах у нее заблестели слезы, и в то же время лицо просияло улыбкой.— Майло, я так рада, что вы сделали мне предложение не на том иностранном языке, на каком иногда говорите. Кое-чему я за свою жизнь научилась, но только не этому языку.

Откинув голову на спинку кресла, словно ей сделалось дурно, Дженни закрыла глаза и глубоко вздохнула. Сложив руки на животе, она передвинула их повыше, чтобы чувствовать себя свободнее. После этого она заговорила, не открывая глаз:

— Сколько раз я слышала, что в наше время пожилой женщине вроде меня так же невозможно выйти за стоящего человека, как мыши напиться молока из одного блюдечка с кошкой. А теперь я так разволновалась, что не знаю, с кем себя сравнить — с кошкой или с мышью.

Когда Дженни открыла глаза, рядом с креслом судьи стоял Сэм Моксли.

— Мистер Майло, там у парадной двери кто-то спрашивает мисс Дженни.

— Кто это?

— Сдается мне, что это проповедник Клу,— сказал Сэм.

— Что ему нужно?

— Он мне не говорил, сказал только, что хочет видеть мисс Дженни.

— Скажите, что ему придется говорить со мной,— ответил судья Рэйни.— С этих пор я занимаюсь ее делами.

Сэм вышел в прихожую и проводил в библиотеку проповедника Клу. Радостно улыбаясь и словно разом избавившись от всех своих забот и огорчений, проповедник Клу пожал руку сначала судье Рэйни, а потом Дженни.

— Вы мне говорили, что вам придется выехать из города,— заметила Дженни.

Он широко улыбнулся.

— С тех пор как я это сказал, многое изменилось, мисс Ройстер.

— Что вам угодно? — сухо спросил судья Рэйни.

Проповедник Клу стоял между ними, в разговоре поворачивая голову то к одному, то к другому.

— Всего несколько минут назад я разговаривал кое с кем из влиятельных прихожан нашей церкви, и они сказали, что мне не придется слагать с себя обязанности проповедника и уезжать из города, если я уговорю мисс Ройстер дешево продать ее участок, тот самый, где только что сгорел ее дом, а потом молниеносно проведу кампанию по сбору денег на оплату участка и на постройку воскресной школы.

Он говорил так возбужденно, что ему пришлось остановиться и перевести дыхание, и, прежде чем продолжать свою речь, он утер губы и подбородок тыльной стороной руки.

— После того что произошло, я чувствую себя куда легче, теперь мне не придется бросать место проповедника и уезжать из города в конце концов. Похоже, что дом мисс Ройстер сгорел как будто по воле божией именно в это время. Сколько же она собирается просить за участок? Надо бы подешевле, ведь участок сейчас в таком виде — весь засыпан золой, кирпичами и обломками труб.

— Если вы хотите говорить о деле, то зайдите ко мне в контору завтра или послезавтра,— сказал ему судья Рэйни.— Сейчас не время и не место об этом говорить.

Судья Рэйни взял проповедника за плечо и повел к дверям. Но, еще не доходя до прихожей, проповедник Клу протянул ему свою шляпу.

— Это еще для чего? — спросил судья.

— Я уже начал собирать деньги в фонд постройки и подумал, что вы захотите что-нибудь пожертвовать. Любая маленькая сумма поможет — пятьдесят долларов, сто долларов и выше.

— Сэм! — позвал судья Рэйни.— Покажите проповеднику дорогу к парадной двери! Он торопится!

Вернувшись в библиотеку, судья Рэйни уселся перед камином и начал мешать кочергой уголья на решетке.

— Майло, вы говорили, что хотите сказать мне две важные вещи. И сказали приятное. А теперь я хочу, чтобы вы сказали мне и другое.

Не глядя на нее, судья продолжал мешать в камине.

— Об этом слишком неприятно говорить сейчас, Дженни. Я бы лучше подождал другого времени.

— Если мы собираемся завтра пожениться, Майло, то я хочу знать все — и приятное, и неприятное. Сейчас как раз пора сказать это мне.

Он кивнул, но все еще не смотрел на нее.

— Я трус, Дженни. Я боялся выступить против Дэйда Уомэка. Я боялся, что он нанесет ущерб моей юридической практике, моему бумажнику, боялся даже за собственную жизнь. Я знал — что-то должно случиться сегодня вечером при заходе солнца. Я был настолько уверен в этом, что боялся строить догадки, что именно произойдет: я знал, что я слишком труслив, чтобы предупредить события.

— Напрасно вы вините во всем себя, Майло.

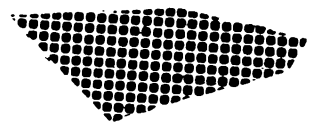
— Я не могу иначе, Дженни. Это единственная возможность сохранить хоть ту каплю уважения к себе, которая у меня осталась. И вот почему мне нужны вы, Дженни. Чтобы помочь мне в такое время. Вы сильны, а я слаб. Я понял это сегодня, когда вы не побоялись угроз Дэйда Уомэка. Хоть это и стоило жизни той бедной девушке, люди будут восхищаться вами всю вашу жизнь за то, что вы бросили вызов Дэйду Уомэку и его расовым предрассудкам. Вы сделали то, чего не осмелился сделать никто другой в городе. Мне стыдно, что у меня нет вашей смелости.

Он долго молчал, прежде чем заговорить снова.

— В начале жизни, маленькими детьми, все мы боимся темноты и прячемся от страха под одеялом или за спиной наших родителей. Когда мы становимся старше, некоторые из нас начинают бояться самой жизни, и мы ищем других мест, чтобы спрятаться от нее. И, наконец, есть такие люди, как я. Когда больше уже негде прятаться, мы ищем оправданий своему поведению, как это делал и я до сих пор. Из всех людей мы самые трусливые.

Он подошел ближе к Дженни и погладил ее по щеке.

— Дженни,— сказал он медленно и решительно,— если вы это можете, то могу и я. В жизни есть много вещей, которые гораздо хуже пожара в доме, и одна из них — это быть трусом. Вот что я узнал сегодня ночью. Мы с вами теперь соединимся, и мне нужна такая же смелость, какая есть у вас. И она у меня будет, попомните это. Первым долгом я обыщу весь город, я буду искать, пока не найду достаточно свидетелей, а потом докажу на суде, что тут есть виновные в убийстве.



ГАБОР ГОДА

# ВАЖНЫЕ ИСТОРИИ

*РАССКАЗЫ*

*Перевод с венгерского Е. БОЧАРНИКОВОЙ*

## ПРОТОКОЛ

С моей стороны, было бы непростительной глупостью, более того — преступлением, если бы я допустил хотя бы легкую насмешку над Лайошем Кошианом только потому, что он придавал непомерно большое значение внесению своего имени в протокольный список приглашенных на торжественное заседание в помещении оперного театра. Напротив. Страстное желание Лайоша Кошиана присутствовать на торжественном заседании заслуживает законных похвал, так как свидетельствует о его приверженности и любви к существующему строю, что при любых обстоятельствах всегда достойно уважения. Чудесно и возвышенно чувствовать себя одним из тысячи приглашенных, избранных, ближе всех стоящих к государственному сердцу страны и многомиллионного народа.

Простаки воображают, что такой сложный список можно составить без единой ошибки, не внеся в него ни одного недостойного и не оставив за бортом никого из тех, чье общественное положение дает право присутствовать на подобном заседании. Для создания столь совершенного варианта пришлось бы увеличить зрительный зал оперного театра на десятки тысяч мест. Но и это не удовлетворило бы сотни тысяч оставшихся за стенами театра. А если мы еще вспомним о том, какой сложной общественной проблемой является распределение приглашенных по местам зрительного зала, каждый ряд и каждое кресло которого обладают особым значением — и речь идет не о каких-то там оттенках! — то мы тут же поймем, что за беспокойством Лайоша Кошиана скрывается

многое такое, что вполне оправдывает мое решение посвятить ему часть своего драгоценного времени.

Мой писательский опыт подсказывает, что, начиная повествование, полезно показать внешний облик героя, обрисовав его хотя бы несколькими штрихами. Этим мы поднимаем его над серостью типичного, подчеркиваем, что вовсе не намерены обобщать исключительный случай и тем самым несправедливо оскорблять множество людей.

Коциан был высок, склонен к полноте и обладал способностью очень легко краснеть. В нем все было крупно: руки, ноги, шея, голова, глаза, только нос был мал и смешно курносился посреди мясистого лица. На своей официальной должности Коциан был первоклассным специалистом — образованным, инициативным, способным, заслуживающим (кроме вышеприведенных) еще и многих других эпитетов. Между его сознательностью и чувством уверенности в своем общественном положении, возможно, и существовало некоторое расхождение, из-за чего твердость характера иногда уступала место небольшим колебаниям, но долгое пребывание на высоких должностях породило в нем убеждение, что государственная администрация никак не может без него обойтись. Разоблачение культа личности заставило Коциана сделать и для себя некоторые выводы, но он был достаточно реалистичен, чтобы сохранить необходимую долю самоуважения. Он считал себя органической частью протокольного списка. В приглашениях на торжественные заседания и парады Коциан усматривал официальное признание своей значительности, своего мировоззрения и полезности. Кусочки глянцевитого картона свидетельствовали не только о том, что он сам мнит себя человеком значительным в общественном и государственном масштабе, но и о том, что это всем известный и общепризнанный факт.

Таким образом, положение Лайоша Коциана полностью определяло принадлежность его к избранной тысяче лиц, получающих приглашения на торжественные заседания в оперном театре. Вот об этом с полным правом и думал он в то апрельское утро, с которого начинается наш рассказ. Напомнил ему о заседании Лоранд Кутьник, пришедший с докладом о торговых соглашениях, заниматься которыми входило в многочисленные обязанности Коциана.

— Завтра вечером вы, конечно, будете в опере? — спросил Кутьник.

— Конечно,— как о чем-то само собой разумеющемся ответил Коциан и тут же вспомнил, что еще не получил приглашения.

Это показалось ему странным, потому что в подобных случаях он получал билет по крайней мере за три дня. Но Коциан не придал этому большого значения: может быть, приглашение послали к нему на квартиру. Сейчас он закончит разговор с Кутьником и позвонит жене.

Кутьник докладывал длинно, обстоятельно, останавливался на деталях, без конца перечислял взаимные выгоды, в общем, начав говорить, никак не мог остановиться. Оба прекрасно знали, что обсуждают дела государственной важности, а такие дела не терпят коротких фраз.

Однако мысль о приглашении засела в мозгу у Коциана. Как же так? В прошлом году пригласительный билет прислали к нему на работу, почему же теперь посылают на квартиру? Более того, в прошлом году приглашение распространялось и на жену, что является более полной формой почета.

— Браво, Кутьник! — воскликнул Коциан.— Но мы еще вернемся к более подробному обсуждению этого вопроса.

— Как вам будет угодно,— откланиваясь, сказал Кутьник и вышел из кабинета.

Коциан позвонил домой. Ему не хотелось прямо спрашивать жену о приглашении — скромность государственного мужа пересилила любопытство,— и он произнес:

— Посмотри, пожалуйста, не оставил ли я дома очки?

Предлог был жалким — очки красовались у него на носу,— но ничего умнее придумать он не смог.

Пришлось довольно долго ждать, пока в трубке раздался голос жены, сообщавшей, что очков она нигде не нашла.

— Совершенно естественно,— шутливо заметил Коциан.— Знаешь, где они оказались?

— Где? — спросила жена.

— У меня на носу.

Оба посмеялись, потом она пожурила его за чрезмерную рассеянность и высказала недовольство, что он слишком усердствует и служебные дела заслонили перед ним все остальное.

— Что у нас нового? — с деланным спокойствием спросил рассеянный муж.

— Ничего особенного,— ответила жена.

— Писем не было? — как бы случайно задал он вопрос.

— Не было. Только один пригласительный билет,— равнодушно сказала жена.

— Какой билет? — переспросил Коциан, делая вид, что его это совсем не интересует.

— Говорю тебе: пригласительный, на собрание Народного фронта нашего района.

Коциан был поражен. Он быстро попрощался с женой и резким движением опустил трубку. Собрание Народного фронта? Гм! Он сам не понимал почему, но это приглашение показалось ему горькой насмешкой. «Что за ребячество?» — упрекнул он себя. Но внутри у него все кипело. А почему, собственно, ребячество? Ему отнюдь не безразлично, пригласят его в оперу или нет. Самолюбие? Нет и нет! Разве можно назвать самолюбием его чувства к государственному строю, чье уважение ему так важно заслужить? А именно об этом и идет речь. Только об этом. Определив, что в нем говорит не ребячество и не оскорбленное самолюбие, Коциан позвонил по внутреннему телефону своему другу Андришке.

— Что нового? — спросил он.

— Особенного ничего,— ответил Андришка.— Правда, мне надо поговорить с тобой по некоторым вопросам, но думаю, что мы можем сделать это завтра во время перерыва в торжественном заседании...

Коциан покраснел. Значит, Андришке дали билет.

— Ты когда получил приглашение? — спросил он мрачно.

— Вчера вечером. Но это ничего не значит,— быстро добавил Андришка,— начальник только что сказал мне, что он еще не получил.

— Конечно,— сказал Коциан и положил трубку.

Стало быть, начальник тоже еще не получил. Это хороший признак: начальник обязательно получит приглашение, он потому и сказал об этом Андришке, что не сомневается, получит или не получит. На то он и начальник. Известие это настолько подняло дух Коциана, что он с удвоенным пылом занялся делами, снова изучил проект торгового договора, вызвал Кутьника и предложил:

— Давай-ка еще раз просмотрим этот текст.

По своей душевной доброте Коциан в этот момент чувствовал прилив любви к странам, с которыми Венгрия собиралась заключать торговые договоры, и ему страстно хотелось, чтобы венгры ближе познакомились с этими странами, а жители тех стран — с Венгрией. Он принялся расхаживать по кабинету и на ходу исправлял текст: заменил запятую точкой с запятой, вместо «богатой культуры» поставил «культурное богатство», вместо «возникающих между народами связей»,— «связи, которые и до сих пор имели некоторое значение», и так далее и тому подоб-

ное. Работая, Коциан имел обыкновение вникать в самые, казалось бы, незначительные детали. Временами он вспоминал, что начальник тоже еще не получил приглашения, и эта мысль вызывала в нем чувство полного душевного покоя, тут же выражавшегося в новых исправлениях текста, так что с бедного Кутьника лил пот, хотя он и понимал, насколько стиль и хозяйственная предусмотрительность его непосредственного начальника превосходят стиль и хозяйственную предусмотрительность его, Кутьника. Лишь около полудня Коциан закончил работу над торговыми соглашениями и отпустил Кутьника, который вышел из его кабинета, шатаясь и вытирая со лба пот. Коциан набрал номер начальника.

— Я проверил текст торговых соглашений и велел их перепечатать. Если у вас имеются какие-нибудь соображения, хорошо было бы обсудить их завтра. Может быть, в опере?..

— Ладно,— ответил начальник.— В опере, на торжественном заседании, мы все это и обсудим.

Коциан выронил трубку. Значит, начальник уже получил приглашение. Коциан чувствовал, что по отношению к нему совершается огромная несправедливость, и все-таки еще надеялся. Конечно, если он получит приглашение только сейчас, то и такое опоздание уже само по себе странно, хотя... он давно утверждает, что администрация у них работает нечетко.

В кабинет вошла с почтой секретарша, товарищ Мали. Среди писем наверняка лежит билет, наверняка... И все придет в порядок, рассеются кошмары... Но почему кошмары? А если он вообще не получит приглашения? Что же тут особенного? Ведь кроме него еще, по крайней мере, девять миллионов венгров не пойдут завтра в оперу. И все же он не может оставаться равнодушным, да это было бы и неправильно. Ведь речь идет о большом торжестве. Приглашение является признанием со стороны государства его, Коциана, заслуг, и он не может относиться к этому безразлично. Было бы очень плохо, если бы это стало ему безразличным.

— Вот почта,— сказала секретарша.

Нет, среди писем нет билета. Нет и нет. Оперный театр вмещает около тысячи трехсот человек. И он, Коциан, не будет одним из этих тысячи трехсот избранных. Много раз он бывал одним из них, а теперь его не пригласили. Для него это вопрос чести, он очень хочет быть там, но его там не будет. Этому, конечно, он не должен придавать никакого значения, было бы просто стыдно, если бы это как-то повлияло на его отношение к службе.

Коциан поблагодарил и стал внимательно, с привычной озабоченностью просматривать почту.

Он вдруг подумал, что надо избавиться от бессмысленного тщеславия, и почувствовал, как в нем ослабевает напряжение. В протоколе имеются свои соображения, запутанные внутренние возможности и правила. Было бы безумием принимать так близко к сердцу слепую игру множества неизвестных случайностей.

Придя домой, Коциан уже успел уверить себя в равнодушии ко всему этому делу. Стоял необычайно холодный апрель, в квартире было прохладно и как-то неуютно.

— Пока держатся холода, нужно топить,— сказал Коциан жене.— Завтра обязательно протопи печку.

— Зачем же завтра топить? — спросила жена.— Разве мы не пойдем в оперу?

— Значит, приглашение пришло? — удивился Коциан.

— Нет, нет... Я думала, что его прислали тебе на работу. Как всегда...

— В этом году не прислали,— вызывающе отрезал Коциан, ста-

раясь скрыть свои чувства.— И я считаю это правильным. Нельзя посылать приглашения всегда одним и тем же.

— А Андришка получил?

— Получил,— ответил Коциан, краснея.

— Почему же ему можно посылать каждый год?

На этот вопрос Коциан не мог придумать удовлетворительного ответа даже самому себе, так как Андришка занимал точно такую же должность, что и он.

— Бывало и так,— сказал он,— что меня приглашали, а его нет.

— Когда же это так было? — неумолимо допытывалась жена.

— Было,— коротко объявил муж.— А если не было, то будет.

— Не обольщайся, этого не было и не будет. Андришка и в прошлом году получил приглашение, да еще сидел на два ряда ближе, чем ты.

Коциан весьма подробно объяснил ей, что все это не имеет никакого значения. Если тебя приглашают, ты должен быть благодарен, если не приглашают — обижаться не на что. Человек не должен поддаваться мелкобуржуазным предрассудкам, порождающим в нем обидчивость, так как это может привести к самым неожиданным последствиям. Но жена утверждала, что если людей не обижать, то и плохих последствий не будет. Они обсудили этот вопрос так обстоятельно и всесторонне, что Коциан, засыпая, все еще размышлял о неполученном приглашении. Во сне он увидел, что получил приглашение, пошел в оперу, торжественное заседание началось прекрасной речью, но для него, Коциана, не было места, и он не знал, куда сесть. Тогда оратор прервал свое выступление и сказал ему:

— Извольте сесть или выйти, не мешайте мне произносить речь.

Коциан проснулся весь в поту.

На следующий день у него было подавленное настроение, еще более усилившееся после того, как секретарша сказала:

— Товарищ начальник просит вас захватить с собой в оперу документы о румынской выставке.

Коциан сделал вид, что не слышит, и ни словом не обмолвился о том, что не получил приглашения. Сегодня у него было дел еще больше, чем обычно, но он приложил все старания, чтобы несправедливость, граничащая с обидой, никак не отразилась на работе. Коциан старался доказать себе, что он продолжает относиться к делам с неизменным и неослабевающим интересом. Но около полудня он отметил про себя, что мысли его все время вертятся вокруг торжественного заседания. Этому способствовал и неожиданный приход Андришки, заглянувшего к нему, чтобы выпить вместе по чашке кофе. Болтая о том, о сем, Андришка сказал:

— Совершенно невозможно разобраться во всех этих протокольных тонкостях. В прошлом году я получил пригласительный билет в пятый ряд, а в этом году — в десятый.

Коциан почувствовал, что ему в эту минуту не хватает человеческого и гражданского достоинства, которому он вполне справедливо придавал большое значение.

— Не надо быть тщеславным,— произнес он.— Тщеславием мы сначала отравляем свою, а потом и чужую жизнь.

— Все-таки это обидно,— возразил Андришка.— Человек имеет право знать, по каким причинам общественного или политического характера, доверия или недоверия его сажают пятью рядами дальше, чем в прошлом году. Тщеславие! Здесь не может быть речи ни о тщеславии, ни об обидчивости. В этом году я работал так же честно и старательно, а вместо пятого ряда попал в десятый!

— Очевидно, в этом году,— сказал Коциан,— еще большее количество людей в нашем государстве выполняло работу честно и старательно.

и все они заслужили приглашения на торжественное заседание. Если стать на государственную точку зрения, то мы можем только приветствовать столь отрадное явление.

— А у тебя какое место? — строго спросил Андришка, желающий доискаться причины повышенной лояльности своего друга.

Кациан покраснел, и, как всегда при этом, пот крупными каплями выступил у него на лбу. Он не считал себя лгуном и действительно им не был, но все же почувствовал, что не может сказать правду коллеге, находящемуся с ним на одной ступеньке служебной лестницы. Подобное признание могло пошатнуть самые основы их учреждения и вызвать невероятную путаницу в оценке работы отдельных служащих. У Кациана просто язык не поворачивался. Ведь должен же он заботиться о престиже руководства!

— По правде сказать, я даже не посмотрел,— ответил Кациан после короткого молчания и улыбнулся, хотя ему было далеко не весело.

— А ты посмотри,— посоветовал Андришка.

— Я оставил пригласительный билет дома.

Кациан еще более покраснел, он чувствовал, что неудержимо катится по наклонной плоскости.

— Меня очень интересует,— настаивал Андришка,— где ты будешь сидеть?

Попрощавшись с Андришкой, Кациан принялся размышлять, почему Андришку посадили на пять рядов дальше, если сам он считает, что никогда еще его положение не было таким устойчивым, как в этом году.

Дома Кациан неохотно, но все же рассказал жене о разговоре с Андришкой.

— Но почему Андришку посадили так далеко? — поинтересовалась жена.

— Я тоже думал над этим,— сказал Кациан.

— Мне кажется, он больше делает вид, чем работает в действительности.

Кациан нервно вскочил с кресла и, побагровев, обратился к жене:

— Значит, когда речь идет об Андришке, ты делаешь невыгодные для него заключения из того факта, что он будет сидеть пятью рядами дальше. В таком случае, мне хочется тебя спросить: какие невыгодные для меня заключения будут сделаны, когда станет известно, что меня вообще не пригласили?

Кациан вспомнил, что солгал Андришке относительно приглашения, но посчитал излишним рассказывать об этом жене.

— В людях еще много мещанства! — горячо продолжал он.— Многие думают, что внесение твоего имени в протокольные списки равносильно официальному признанию твоей общественной значимости. Приходится, конечно, считаться с такими мелкобуржуазными взглядами. Какая может быть польза для моей работы, если мой начальник, мой личный секретарь, Ромхани, Кюкюллёи, Шомфаи, Телекеш и остальные начнут говорить: «Интересно, почему это не пригласили Кациана»? Все они превосходные люди, но в них еще живет нечто мелкобуржуазное, заставляющее их ставить перед собой вопрос: «Почему это Кациан работает не покладая рук, а его все же не пригласили?» И они тут же найдут объяснение, как и ты, говоря об Андришке.

— Понимаю,— вздохнула жена.— Ну, а ты сам? Тебя это совсем не волнует? Я спрашиваю тебя, как жена, привыкшая высказывать вслух свои мысли: почему же все-таки тебя не включили в протокольный список? Какая может быть этому причина? Со мной-то ты можешь быть откровенен. Что ты сам об этом думаешь? Говори спокойно, ты хорошо знаешь, что я не впадаю в панику и не закатываю истерик.

Вопрос жены поразил Кациана.

— Я ничего не думаю. Ничего. Как ты... Я просто тебя не понимаю. Уж если хочешь знать, то мне это до такой степени безразлично, что я даже не сказал Андришке о том, что не получил приглашения.

— Ты допустил ошибку. Он обязательно будет тебя искать, захочет удостовериться, где ты сидишь. Что же ты думаешь делать?

— Не знаю,— растерянно пролепетал Коциан.

Торжественное заседание начиналось в семь часов. Ровно в половине седьмого раздался телефонный звонок. Коциан поднял трубку, звонил его брат Фюлёп.

— Что? Сегодня вечером? Невозможно... Мы идем в оперу, на торжественное заседание...— сказал Коциан, заливаясь краской стыда.

А что ему было делать? Ведь для Фюлёпа старший брат самое великое и могучее лицо в государстве, на успехи которого он взирает прямотаки с благоговением. Не мог же он, старший брат, рассеять иллюзии младшего признанием, что его не пригласили на торжественное заседание.

— Не подходи больше к телефону! — сказала жена.

Ровно в семь часов Коциан включил радиоприемник и стал слушать речь министра. Всем сердцем воспринимал он эту речь, соглашался с каждым ее словом, но не в силах был отогнать мучительные видения. Он представлял себя в опере во время антракта, кругом все знакомые, он кланяется направо и налево, отвечает на приветствия... Как это прекрасно!.. Все его знают: заместители министров, министры... Уж лучше выключить радио! Но нет! Происходящее там непосредственно касается его, это и его личное дело, оно не безразлично ему, и он не хочет притворяться безразличным. Правда, его не пригласили, но какое это имеет отношение к его мировоззрению, к идеям — словом, ко всему? Никакого. Конечно, это несправедливо, но нельзя же требовать, чтобы государственная справедливость измерялась граммами...

— Прикрути немного радио,— попросила жена.— Очень орет.

Снова зазвонил телефон.

«Кто это может быть?» — подумал Коциан.

— Не поднимай трубку! — приказала жена.

Телефон продолжал звонить.

— Вероятно, кто-нибудь, тоже не получивший приглашения. Вот он и проверяет, кто, кроме него, сидит дома.

— Пусть себе звонит...— сказала жена.

— Надо вытащить штепсель из розетки,— предложил Коциан.

— Но тогда не узнаешь, сколько человек хотело с тобой разговаривать.

— Ты права,— согласился муж.— Но трубку поднимать мы не будем. Раз уж начал, буду играть до конца, не позволю им радоваться тому, что я сижу дома!

— Андришка будет тебя искать в опере,— заметила жена.

— Не беспокойся, я это улажу.

Они молча сели ужинать. Ели салат из редиски и зеленого лука со сметаной. Тяжелую, душную атмосферу молчания нарушал лишь хруст редиски на зубах. Телефон опять зазвонил, протяжно и оскорбительно, но они и не подумали поднять трубку. При других обстоятельствах Коциану пришелся бы очень по вкусу такой весенний ужин. Но теперь он грустил, погрузившись в глубокие раздумья, что свидетельствовало о незаурядности его характера.

— Это вредит не только мне, но еще больше — делу,— неожиданно произнес он.

— Какому делу?

— Авторитету моего учреждения.

— Да ну тебя! — воскликнула жена.— Это вредит именно тебе. Тебе одному. И ты отлично это знаешь сам.

Оба ели много. Ужин подходил к концу, когда началась художественная часть вечера. Декламировали стихи. Кациан знал их, но теперь они казались ему странными, действовали на нервы. И жене, очевидно, тоже.

— Не люблю стихов,— сказала она.

— Но это хорошие стихи.

— Сейчас они мне не нравятся.

— И мне не нравятся.

Ужин заканчивали без аппетита.

— Душно,— сказал Кациан.

— Можно открыть окно, но на дворе холодно.

— Не открывай. Я пойду прогуляюсь.

Жена пристально посмотрела на него.

— Лучше не ходи, могут увидеть.

— Ну и что?

— Увидят, что все сидят в опере, а ты бродишь по улице, как...

— Как кто?

— Как побитая собака.

— Не говори глупостей. Я хочу проветриться. Принеси мне теплое пальто.

— Я пойду с тобой.

— Не надо. Мне хочется побыть одному.

— Как хочешь,— сказала жена.

На улице Кациан глубоко вдохнул свежий воздух и пошел по направлению к Цепному мосту. Улица была ярко озарена светом неоновых ламп, в воздухе пахло весной. Кациан ускорил шаг. Он сам не понимал, как это случилось, только, когда на мосту его нагнало свободное такси, он поднял руку. Тормоза заскрипели, шофер сказал:

— Садитесь побыстрее, на мосту нельзя останавливаться.

Кациан быстро вскочил в машину, и она понеслась в сторону Пешта.

— Вам куда? — спросил шофер.

— К оперному театру,— без колебаний ответил Кациан.

Расплачиваясь с шофером, он вдруг почувствовал, что лицо его заливает краска. Холодный апрельский ветерок приятно охлаждал пылающие щеки. Здание театра выглядело как всегда в дни торжественных вечеров: ветер трепал флаги, ярко горели лампионы, волны света вырывались из вестибюля, а вокруг стояли в ожидании сотни сверкающих машин.

«О боже! Что мне здесь надо?» — внутренне содрогнулся Кациан.

— Здравствуйте, товарищ Кациан,— приветствовал его мужчина в галунах, покуривавший сигарету у входа в театр.

— Добрый вечер, Жомбеки,— ответил Кациан, испытывая горячую радость от того, что его увидел здесь швейцар оперного театра, брат одного из подчиненных.

— Так поздно? — спросил Жомбеки.

— Дела,— ответил Кациан.— Надо было закончить кое-что срочное.

— У вас куда билет?

Кациан остановился и, хотя у него никогда не было актерских способностей, попытался разыграть сцену поисков билета по карманам.

— Не утруждайте себя,— сказал Жомбеки.

— Да нет,— возразил Кациан.— Он должен быть здесь. Может быть, в бумажнике? Нет. Значит, в заднем кармане... Тоже нет. Непонятно,— добавил он и покачал головой.

Кациан был красный, как рак, ему было стыдно, что он так паясничает, краска залила его шею, уши, лицо.

— Не ищите,— уговаривал его Жомбеки,— теперь уже все равно. Я провожу вас, хотя садиться и не стоит, концерт кончается. Разве можно так опаздывать?

— Слишком много работы.

— Надо оставлять время и на отдых, на развлечения,— сказал Жомбеки, пропуская Коциана вперед.

Он что-то шепнул билетеру, который хоть и посмотрел с удивлением на запоздалого посетителя, но поклонился вполне вежливо. Жомбеки проводил Коциана в раздевалку.

«Что мне здесь надо? — удивленно размышлял Коциан.— Зачем я пришел в театр? Достаточно было остаться на улице и сделать вид... Но нет. Не мог же я бродить у подъезда. Будь что будет. Надо играть до конца. Сдам пальто, и как только кончится концерт и все бросятся в гардероб, я...»

Коциан так и не успел продумать до конца, что он будет делать. Жомбеки помог ему снять пальто. Коциан положил номерок в верхний кармашек, поправил галстук перед стенным зеркалом, подумав при этом, что лицо его выбрито довольно гладко. Из зрительного зала доносились звуки оркестра и быстрый топот ног: вероятно, на сцене исполняли какой-то танец. Особенно отчетливо слышался большой барабан, звучавший глухо и призрачно.

— После окончания этого номера я проведу вас в зал,— сказал Жомбеки.

— Спасибо,— ответил Коциан.— А где здесь?..

— Пожалуйте вот сюда,— указал Жомбеки в сторону, где находился туалет.

— Ах да, конечно,— пробормотал Коциан и вошел в мужскую комнату.

В туалете он опять посмотрелся в зеркало. Знать бы, что так случится, надел бы хоть белую рубашку. Но как он мог без объяснений после ужина из редиски и лука со сметаной вдруг переменить рубашку? Однако раз уж он сюда зашел, надо и малые дела справить, и форинт положить на тарелочку, покрытую салфеткой, очевидно для того, чтобы заглушать звон монет.

— Спасибо,— сказала ему сидящая в углу старуха.

Коциан остановился.

— Вы здесь каждый вечер сидите до конца спектакля? — спросил он у старухи.

— Да, конечно,— удивилась она.— Так полагается.

Она смотрела, как Коциан, стоя перед зеркалом, разглаживал пиджак и снимал с него какие-то пушинки, пока не послышались аплодисменты, а вслед за ними быстрые шаги, возвестившие, что вечер окончен.

Коциан вышел из туалета. В раздевалке толпились приглашенные на торжественное заседание, и он тоже начал проталкиваться к вешалкам.

— Девяносто седьмой! — кричал Коциан, держа номерок в высоко поднятой руке.

Многие здоровались с ним, он отвечал на поклоны и сам раскланивался. Уже человек десять видели, что и он был в опере.

— Привет, Кюкюллёи,— окликнул он сослуживца, придавая большое значение тому, чтобы его увидели коллеги.

— Где ты был, Коциан? — раздался знакомый голос.— Я искал тебя в антракте, хотел поговорить. Где ты сидел?

Это был Андришка.

— Да там...— неопределенно пробормотал Коциан.

— Я тебя нигде не видел.

— Я сидел... словом... там...

Андришка подумал, что Коциан сидел в первых рядах и теперь не хочет кичиться перед ним.

— Ну, если ты стал таким важным...— начал Андришка и задумался: почему же все-таки Коциана посадили на столько рядов впереди него?

— О боже...— вздохнул Коциан.

— Рядом со мной было два пустых места, я думал, что одно из них твое.

— Два пустых места? — удивленно переспросил Кациан.

По воздуху через головы плыли пальто, прыгали шляпы, змеились кашне, над толпой стоял гул голосов.

...На другой день утром в кабинет к Кациану вошла его секретарша Мали и подала конверт.

— Какое-то приглашение,— сказала она.

Кациан снова покраснел, увидев знакомую печать на конверте. Лайошу Кациану с супругой... В конверте было два билета в десятый ряд на вчерашнее торжественное заседание в оперном театре.

# СПОКОЙНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

етний день исключительно хорош, вода тоже исключительно хороша, и Антал Чик с полным правом ощущает исключительное человеческое счастье. Тело его покрыто исключительно ровным, хорошим загаром, в одних плавках прогуливается он среди таких же, как он, граждан народной республики, грудь его распирает гордость от сознания, что жизнь удалась, а впереди еще столько возможностей! Конечно, он мог бы быть сильнее и мускулистее и, как мужчина, представительнее и виднее, но тогда перед ним открылись бы возможности, граничащие уже с пароксизмом оптимистической философии.

Но и с тем, что у него есть, включая раннюю лысину на макушке, он разгуливает, как молодой петух, по пляжу среди густой толпы, кивая знакомым направо и налево, а порой останавливаясь, чтобы перекинуться с кем-нибудь словечком. Только с целью раскрытия перед читателем духовного мира Антала Чика приведем один из таких мимолетных разговоров. Янош Тот, сослуживец Чика, поздоровавшись с ним за руку, говорит ему:

— Я слышал, тебя повысили.

— А именно?

— Сделали заведующим планового отдела вместо Камочана.

— Утка.

— Значит, повысят в другой раз. Привет!

Антал Чик чувствует, как лицо его под загаром багровеет: короткий разговор будит в нем дремлющее честолюбие. Повысили? Все, абсолютно все думают, что его повысили, а его и не собираются повышать.

Между тем у него имеются все предпосылки к повышению. Для этой должности он подходит во всяком случае больше Камочана и политически, и по своей подготовке и способностям. Все дело только в настоящем разговоре по душам с директором Штольцем. Если бы хоть один раз Штольц выслушал его, если бы мог он, Антал Чик, высказать не бегло и не вкратце все то, что нуждается в длинных периодах и развернутых предложениях, если бы мог он когда-нибудь встретиться со Штольцем в дружеской, интимной обстановке, за чашкой черного кофе, может быть, даже в семейном кругу — словом, при обстоятельствах, способствующих смягчению официальной натянутости,— все изменилось бы внезапно, одним махом. О, как много мог бы он объяс-

нить Штольцу! Например, почему Камочан обскакал его, Чика; о чем думал Милошка 5 ноября 1956 года; почему Духанер не был избран в рабочий совет и еще многое такое, чего Штольц не понимает, да и не может понять, пока не состоится у него с Чиком такой конфиденциальный разговор с глазу на глаз.

Здесь, на пляже курортного городка Фёльдвара, подобные мысли возникают в голове у Антала Чика совершенно случайно, и он не придает им большого значения, он верит в справедливость. Верит, что все в конце концов станет на свое место, что добродетель будет вознаграждена, а зло наказано. Но он верит также, что добрые люди вовсе не так уж добры, а злые — злы, из чего можно заключить, что Чик обладает вполне уравновешенным мировоззрением. Наконец, он еще верит в то, что должен сделать карьеру, так как при социализме способный человек непременно делает карьеру, а если кто-нибудь не делает ее, то это значит, что такой человек просто по своей пессимистической натуре не понял сущности социализма.

Ой-ой! Какой горячий песок, так и жжет пятки. Надо было купить соломенные тапочки. Надо!.. Многое надо бы! Если б у него была жена, были бы и соломенные тапочки, и песок не жег бы ему пятки. Жена, женушка! Возьмем, например, дочь Штольца Эдит. Эдит Штольц. Красивая девушка, все в ней красиво — и в целом, и, если разобраться, в частностях. Но ухаживать за ней надо осторожно, ох как осторожно! Если вступить на путь открытого ухаживания, особенно если огласить помолвку, то директор, конечно, не сможет его повысить. Их предприятие не какое-то там частное заведение, где повышения обусловливаются браками между служащими и дочерьми начальников. При социализме такие вещи очень сложны. Надо сначала получить повышение, а уж потом жениться на дочери директора, тогда никто не сможет сказать, что он сделал карьеру женитьбой.

Это совершенно ясно!

Но, боже мой, неужели в жизни бывают такие схематические ситуации, как в литературе? Ходить, мечтать о Генрихе Штольце, об Эдит и вдруг увидеть, что навстречу идет вся семья Штольцев, гордая, загорелая, почти голая. Они величественно шагают по песку, и от них исходит сияние. Какие у них мускулы! Даже у мамы, неправдоподобно молодой, неправдоподобно белокурой, с сияющими лаком ногтями на ногах. Они идут — нет, шествуют — с такой уверенностью, будто им принадлежит весь Балатон. Но самое интересное то, что им действительно принадлежит и вся $H_2O$, и рыбы, и солнечный свет, в лучах которого они греются и загорают, как под своим собственным солнцем. И, боже, как прекрасна Эдит, как сверкают ее ослепительно белые зубы! Хорошо было бы описать ее со всеми натуралистическими подробностями, было бы приятно и автору, и читателю, но, к сожалению, уступая хорошему вкусу меньшинства, приходится ограничиваться, так сказать, общим обзором: окинуть взглядом ее стройные ноги, молодую крепкую грудь, чудесные волнистые волосы, которые она в это мгновение старательно прячет под резиновую шапочку. Эдит высока, но кажется маленькой рядом с отцом — гигантом, сочетающим в себе пропорции статуи с мускулистостью борца и чем-то еще, напоминающим мясника.

А теперь направим снова наш объектив на Антала Чика, пораженного появлением Штольцев. Он еще не вполне осознал реальные возможности, заложенные в этой нечаянной встрече, он еще не знает, насколько доброжелательно примет семейство Штольцев его вежливый поклон, очень вежливый, но без малейшего подхалимства, так как на этом пляже здороваются друг с другом только те, кому принадлежит здесь все — и Балатон, и рыбы, и солнечный свет. И все-таки возможности эти неизмеримо велики. Хотя Антал Чик и стоит выше предрассудков, которые

не связаны с человеческой удачей и не касаются его самого, он совершенно естественно приемлет все, в чем человек видит особую заботу провидения о себе лично. Внезапное появление Штольцев в полном составе, всей семьей только укрепило его во мнении, что в жизни, по существу, все удается и что пессимисты — стопроцентные ослы, относящиеся к жизни с недоверием только из-за полного отсутствия фантазии. Словом, он думал о пессимистах то же, что пессимисты думают об оптимистах.

Теперь все зависит от того, как воспримет Штольц заранее обдуманный поклон. Если примет так, как это желательно Чику, то представится случай посидеть вдвоем за чашкой кофе, или погулять, или что-нибудь там еще, и Чик выскажет ему свои сокровенные мысли. Можно будет рассказать — имеет же человек право выразить свое мнение о предприятии, где он работает! — что Камочан в плановом отделе вообще ничего не планирует, а занимается всякой чепухой и из пальца высасывает данные на будущий год. А о начальнике отдела кадров Келемене можно сказать, что... Как это все запутанно! Взаимозависимость, скрытая и явная вражда... Штольцу будет очень полезно узнать... Почему в конце концов директор должен быть единственным, кто не знает того, о чем, как все думают, он знает?

Жарко, ох как жарко! О, боже! Именно в этот миг, когда семья Штольцев подходит уже совсем близко, к Анталу Чику опять обращается его коллега Янош Тот со своими глупыми разговорами. Штольц, кажется, недолюбливает Тота, лучше будет не попадаться с ним вместе на глаза начальству.

— Значит, не тебя назначили заведующим планового отдела? — спрашивает Тот.

— Отойдем в сторону...— Чик показывает на тропинку, сворачивающую вправо: там можно избежать встречи с семьей Штольцев.

— Не хочешь с ними встречаться?

— Не хочу быть навязчивым.

— Так кого же назначили заведующим?

— Камочана.

— Ну? Вот уж его-то утвердили как раз потому, что он навязчивый,— говорит Тот.— А ты слишком скромен. Камочан по двадцать-тридцать раз в день придумывает предлог, чтобы зайти к Штольцу, непрерывно вертится у него под носом. Штольц и решил, что Камочан работяга, а между нами говоря — он ничего не делает.

— Пусть так,— отвечает Антал Чик.— Но я на пятнадцать лет моложе Камочана, успею еще. Штольц знает, что делает.

Кивнув в ответ, Тот отходит от Чика. А Чик снова поворачивает к пляжу и нос к носу сталкивается с семьей Штольцев.

— Ах! — восклицает Чик.

— Здравствуйте,— говорит Штольц.— Приветствую вас, товарищ Чока.

— Меня зовут Чик, Антал Чик.

— Ну, конечно, вы — Чик. Чока работает в отделе труда и зарплаты, а вы в плановом. И все-таки я вас иногда путаю. Не сердитесь, пожалуйста.

— Зачем же мне сердиться? Нас столько, что не удивительно...— бормочет Чик, краснея от смущения.

— Вы давно в Фёльдваре?

— Уже неделю.

— Очень хорошо. Ну что ж, прощайте. Мы пойдем купаться.

Вслед за Штольцем руку Чика пожимает его жена, затем Эдит. Семья Штольцев уходит, и Чик вдруг чувствует себя ужасно одиноким. На мгновение ему изменяет природный оптимизм. Он понимает, что Штольцу, который даже имени его не помнит как следует, просто не о

чем с ним говорить. А он-то еще мечтает жениться на его дочери! И все же врожденный оптимизм снова берет верх. «Какое значение может иметь вот такая случайная встреча?» — думает Чик. Да и о чем им было еще разговаривать? Удача решит все, удача вечна, как солнце, только по временам ее закрывают облака.

И он прав. Не проходит и десяти минут, как к его ногам подкатывается красный, немного испачканный песком мяч, брошенный Штольцем, Эдит не успела перехватить его на лету.

— Пардон! — произносит Антал, поднимая мяч с земли и протягивая его Эдит.

— Идите играть с нами! — зовет Эдит.— Пусть мама полежит на солнце, а вы будьте третьим.

Вот! Как все просто. Солнце выглянуло из-за облаков и греет в полную летнюю силу. А в том, как они, словно глупые ребята, бросаются мячом и веселятся, есть даже нечто возвышенное. Темп игры все ускоряется, Штольц во что бы то ни стало хочет попасть мячом в Антала, Эдит целится в отца, а Антал ведет себя пока выжидательно. Наконец Штольцу так ловко удается запустить мячом в Антала, что тот не успевает отбить его, и мяч попадает ему прямо в макушку. Все смеются. От сильного удара у Антала кружится голова, но он все-таки успевает подумать: «Если я не возвращу ему удара, конец моему престижу, все будет выглядеть так, будто начальник, за неимением лучшего, играет в мяч с подчиненным. Но если я ударю его изо всех сил, тогда... случится нечто достопримечательное...» И он бросает мяч в Штольца. Начальство отражает удар и своими огромными, как у мясника, руками яростно швыряет мяч в Чика. Антал делает ложный выпад, словно хочет ответить таким же ударом, но в последнее мгновение задерживает руку и посылает мяч потихонечку снизу вверх прямо в лицо Штольцу. Мокрый, облепленный песком мяч попадает Штольцу в лицо, тот смеется и отплевывается, но в смехе чувствуется натянутость. Эдит радостно хлопает в ладоши.

— А ну, покажи-ка, на что ты способен! — кричит она отцу.

Штольц изо всех сил швыряет мячом в Чика. Антал падает на землю, успев все же на лету схватить мяч. Лежа на земле, он вдруг чувствует, что ловким падением ему удалось восстановить свой престиж и даже удачу.

— Не сдавайтесь, товарищ Чока! — говорит Эдит.

— Не Чока, а Чик...

— Ох, извините!.. Вы не сердитесь?

— Сержусь,— отвечает Антал.

Он слегка повертывается и с размаху так запускает мячом в голову своего начальника, что тот вполне серьезно замечает:

— Вас никак не назовешь подхалимом,— и уже спокойно пасует мяч Чику.

Это настоящая победа — Чик хорошо разбирается во всех степенях и оттенках побед. Он одержал маленькую победу над Эдит, победу над своим начальником, ее отцом — человеком, который гораздо сильнее его, и еще небольшую победу над стройной и красивой мамой, которая улеглась на песке лицом вверх, приклеив на нос и на пупок по листку: ей казалось очень забавным, что на месте пупка у нее останется белое пятнышко в форме листа.

За эти несколько минут между семьей Штольца и Анталом Чиком установились совершенно новые отношения, значение которых для нашего рассказа столь велико, что у нас имеются вполне обоснованные причины для такого подробного изложения событий. Природный оптимизм Антала Чика позволил ему еще более усугубить значение этих минут, и он почувствовал, что близится время, когда он наконец сможет

ознакомить Штольца с теми деталями, без которых не могут быть в достаточной мере поняты события, касающиеся предприятия в целом.

Попутно заметим, что над пляжем лились звуки музыки, громкие, как всегда на пляжах. Можно даже предположить, что танцевальная музыка наполняла воздух над обоими берегами Балатона. Эдит переступала в такт музыке, из чего Антал заключил, что она любит и умеет танцевать.

— Если вы пожелаете, мы с вами вечером потанцуем,— предложил он.

— Вечером мы возвращаемся в Будапешт.

— О! — вздохнул Антал.

— Угу! — отозвалась Эдит.

— Гм! — хмыкнул Антал.

— Ага! — ответила Эдит.

Обоих очень забавляло, что обмен междометиями может служить средством скольжения по поверхности чувств. А некоторые чувства уже имелись, хотя и в эмбриональном состоянии. Но ведь из эмбрионов при поддержке любви со временем могло развиться кое-что конкретное. Однако Антал Чик прежде всего хотел побеседовать со Штольцем «по существу» и только после этого начать открыто ухаживать за Эдит. Необходимость такого порядка вполне очевидна. Это во-первых. А во-вторых, если они уже сегодня вечером возвращаются в город, то надо сейчас поговорить со Штольцем, так как сама природа предоставила эту возможность. Но как осуществить ее?

— Вы умеете плавать? — шутливо спрашивает Штольц.

— Даже это умею,— отвечает Антал.

— Я хочу сказать — плавать как следует, а не одну-две минуты?

Антал улыбается и, насколько может, выпячивает тощую грудь, желая тем самым доказать свою выносливость.

— Хорошо! Женщины полежат на солнце, а мы — в воду. За мной, Чики!

— Чик,— поправляет Антал,— без «и». Антал Чик.

— Хорошо,— повторяет Штольц, и они направляются к деревянной лесенке, спускающейся в воду.

Штольц садится на лесенку и пробует ногой воду.

— Теплая,— заявляет он, пересаживаясь ступенькой ниже.

Антал пробует воду большим пальцем правой ноги и пытается привести в порядок мысли. «Вот он, великий случай! — размышляет Чик.— Теперь, во время плаванья, в этой исключительно интимной обстановке я все смогу ему рассказать, а обстановка и впрямь интимная, гораздо интимнее, чем за чашкой черного кофе. Жизнь хороша, жизнь прекрасна, действительность превосходит даже самые оптимистические предположения. Очень хорошо, что Эдит и мама не пошли с нами купаться: в присутствии дам невозможно свободно беседовать об официальных сторонах жизни. Словом... словом... Жизнь хороша, жизнь прекрасна, надо только относиться к ней с доверием».

Штольц погрузился в воду уже до пояса, над водой высится его богатырский торс — торс мужчины, способного ударом в лоб убить быка. Он хлопает огромными ладонями по воде и, чтобы тело постепенно привыкло к прохладе, начинает поливать грудь и непомерно большую голову. Антал вдруг замечает, что под водяными струями глаза Штольца остаются широко открытыми.

Балатон с притворным спокойствием нежится в своем ложе, безмятежный и вечно тихий. А над ним... каким невероятно синим может быть небо, по которому, оттеняя синеву, плывут крохотные облачка, плывут туда, к Тиханю и Бадачаню, показывая направление неощутимого ветра,

едва колеблющего флаг на носу парохода. У ветра не хватает сил, чтобы надуть паруса яхт или поиграть листвой прибрежных кустов и деревьев, стоящих, как изваяния. Штольц ложится на воду, словно большая рыба, словно кит, но тут же опять встает на ноги: у берега очень мелко, и вода не покрывает его могучее тело. Опустив голову, он набирает в рот воды и пускает струю вверх. Он похож на морского зверя, мускулистого, жирного, брызгающегося, плескающегося, резвящегося в своей стихии.

С таким телом, с такими мускулами можно вступить в единоборство с любыми силами природы, даже если они кажутся такими неодолимыми, как тут, на Балатоне.

Рядом со Штольцем Антал Чик выглядит очень щуплым со своими волосатыми ногами и грудью: густая растительность, намокнув, некрасиво прилипла к телу. Несмотря на загар, он выглядит довольно жалко.

Когда Чик, зажав нос, погружается в воду, сверкнув лысиной на макушке, Штольц глядит на него, как огромное млекопитающее на лягушку, вроде тех, что водятся у самого берега и квакают по каким-то своим особым законам.

В Фёльдваре, как и вдоль всего левого берега Балатона, очень мелко, и надо отойти далеко, если хочешь, чтобы ноги не касались дна. Разговор не клеится, хотя Антал Чик прилагает все усилия, чтобы перекинуть словесный мост через тяготеющее над ними молчание.

— Из четырехсот человек нашего предприятия на Балатоне в этом году отдыхало или еще будет отдыхать шестьдесят четыре. Процент большой.

— Сегодня бури не будет,— рассуждает вслух Штольц,— можно заплыть подальше, даже переплыть озеро до Тиханя.

— Далековато,— замечает Антал Чик.

— Не для меня. Я легко переплываю Балатон.

— Подумать только — шестьдесят четыре человека имеют возможность отдохнуть на Балатоне. Грандиозно! Товарищ Шюмеги умеет распределять путевки... Даже, можно сказать, слишком хорошо умеет. Больше всего ему нравится посылать на Балатон женщин и личных друзей.

— А вы что, женщина или друг?

— Ни то, ни другое. Я ударил кулаком по столу и сказал: «Слушай, Шюмеги, я хочу получить путевку на Балатон, точнее, в Фёльдвар, с восемнадцатого июля».

Штольц ложится на спину, скрестив на животе руки и закрыв глаза, но его тюленье тело с необыкновенной скоростью скользит по воде в сторону Тиханя, управляемое и подгоняемое еле заметными ловкими движениями ног.

— Какая тишина! — говорит Штольц и окунает голову, оставив на поверхности воды лишь ноздри.— Вы не умеете плавать на спине? — спрашивает он.

— Умею, но не очень люблю.

— Если плыть долго, то так удобнее всего.

— А что значит долго?

— Час, полтора.

— Куда же?

— В сторону Тиханя.

— Хе-хе! — смеется Антал.— Это и на лодке далеко.

Антал Чик переворачивается на спину, стараясь держаться на воде так же спокойно, как Штольц, но у него ничего не получается. Он опять переворачивается на живот, плывет на боку и вдруг замечает, с помощью каких еле заметных движений ног скользит по воде Штольц: тело его, горой выпирающее из воды, кажется совсем неподвижным, и только у ног возникают маленькие пенящиеся волны.

— Как хорошо! — говорит Штольц.— Солнце, вода, покой.

— О, боже, покой,— отзывается Антал.— Неужели в поисках покоя надо плыть на середину озера, да еще на спине? Почему на предприятии не может быть такого же покоя? Почему там всегда все беспокоятся? Но, поверьте мне,— Антал чувствует, что пришло время для конфиденциального разговора,— и у нас мог бы быть покой, если бы некоторые лица не смущали остальных, не мутили воду, не...

— Вы скоро устанете, Чик, если будете так много говорить.

Чик оглядывается и видит, что они уже далеко отплыли от берега и находятся на самой середине озера, их окружает вода, вдали маячит Тихань. Он глубоко дышит и, то работая одними ногами, чтобы отдохнули руки, то подгребая руками, старается не отстать.

— Люди, вообще говоря, высказываются неохотно,— продолжает Чик,— особенно перед начальником, который может вообразить, что им от него что-нибудь надо. Но, поверьте мне, людям ничего не надо. И уж конечно они не стремятся сделать карьеру. Карьера делается сама собой: или удается, или нет. Но если кто-нибудь очень хочет сделать карьеру, получается один пшик. Возьмем, например, Камочана. Ему очень хотелось получить назначение на должность заведующего плановым отделом, его и назначили, и я считаю это справедливым, потому что он на пятнадцать лет старше меня. Но разве это можно назвать карьерой? Поверьте, мне его жалко, незавидное это положение, когда каждый думает, что Камочан и мизинца Чика не стоит, а все-таки начальник не Чик, а Камочан... Он, конечно, на пятнадцать лет старше, но тем хуже, если он до сих пор не знает... глю-глю-глю... кхе-кхе-кхе...

Чик глотает воду и мучительно откашливается.

— Вздохните глубже,— советует Штольц.

— Кхе... кхе... Мне уже лучше... Словом, Камочан уже заранее старался подсидеть меня, распространял слухи, что я во время контрреволюции что-то там творил... Но, ясное дело, никто не поверил. Пришлось ему убедиться в том, что уже официально на этом была поставлена точка и что такой номер у него не пройдет. Извините, я минуточку передохну.

Штольц молчит, и в наступившей тишине слышно лишь прерывистое сопение Антала Чика, свидетельствующее о том, до какой степени он устал.

— Окунайте почаще голову в воду,— советует Штольц,— не то солнечный удар хватит.

— Спасибо,— благодарит Чик.— Я не боюсь солнца, то есть здесь, на пляже. На работе оно мне сильно мешает. Я очень просил Камочана, чтобы он заказал синие или желтые шторы на наши большие окна. Знаете, что он мне ответил? «Вы еще потребуете, чтобы я держал зонтик от солнца у вас над головой». Разве можно это назвать иначе, чем неправильным толкованием установления хороших контактов с массами? Вы, может быть, подумаете, что я сержусь на Камочана за то, что он начальник, а не я? Ничуть не сержусь. Он — начальник, у него забот полон рот, а у меня все в будущем. А если выразить это в денежном эквиваленте, то между моей и его зарплатой всего триста шестьдесят три форинта разницы. Поплывем дальше?

— Конечно. Только теперь начинается настоящая тишина, дальше уже не будет ни купающихся, ни шума и гама...

— Правильно,— соглашается Чик.— Ужасно надоедает вся эта болтовня, особенно когда хочется отдохнуть. Излишняя болтовня надоедает и на работе и во время отдыха. Это я тоже почувствовал благодаря Камочану. Вы и представить себе не можете, сколько он, бедняга, болтает. Так и шпарит. Вы только, пожалуйста, не думайте, что я не

люблю его по каким-то там личным мотивам. На работе я никогда не бываю субъективен...

— Посмотрите! Видели, какая большая рыба?.. Смотрите, смотрите, вон опять выскочила. О, боже, до чего прекрасна природа! — восторженно вздыхает Штольц с видом человека, посвятившего воскресный отдых любованию природой и покою.

— Вижу,— отвечает Чик.— Ничего особенного. В Балатоне таких рыб пропасть. Одним словом, только этого не доставало. Субъективизм на работе. Но продолжим. Объективность тоже не всегда полезна. Поверьте мне, что не все любят слишком большую объективность. Разберемся, чем вообще является предприятие, подобное нашему?

Чик чувствует внезапную усталость, ему вдруг становится трудно говорить. Оба молчат. А ведь разговор только начался, это лишь вступление. Чик еще не дошел даже до изложения своего плана, на основании которого можно уладить все мирно и спокойно. Но сейчас он не в состоянии говорить. С левой стороны, там, где сердце, Антал Чик чувствует тупую боль, это бывало с ним и раньше, врач сказал — нервы. Чик задыхается, да и не удивительно: уже более получаса они плывут, берег все больше отходит назад, а купающиеся на пляже кажутся совсем крохотными.

Антал Чик регулирует дыхание, стараясь успокоиться и набраться сил для продолжения разговора. Слева на них чуть не налетает яхта, очевидно, ветерок все-таки поднялся и надул паруса. Яхта проходит совсем рядом.

— Хорошо еще, что вы не проехались у нас по животам! — кричит Штольц.

В ответ ему раздается звонкий молодой смех.

— Не бойтесь, целы останутся! — весело кричат с яхты.

«Надо бы попросить, чтоб они взяли меня в лодку»,— думает Антал, захлебываясь и едва переводя дыхание, но что-то удерживает его. Ведь он еще не сказал самого главного. Правда, он, вероятно, уже восстановил начальника против Камочана, но совсем немного, а надо и для себя расчистить место. Нет, он не имеет еще права сесть в яхту, когда не окончены дела здесь, в воде, ему надо еще многое уладить, хоть он уже задыхается и высунул язык от усталости. Штольц слышит его сопение.

— Что с вами? Устали?

— Да, проплыли немало.

— Ерунда,— успокаивает его Штольц.— Бывает такой момент, когда мускулы немеют, человека охватывает усталость, обленившийся организм еще не действует с полной отдачей. Но пройдет четверть часа, и вы увидите, как вам полегчает, и дыхание станет нормальным, надо только преодолеть это препятствие.

— Будем надеяться,— отвечает Чик.— Да это для меня и не препятствие. Настоящее препятствие для меня у нас на работе: Камочан. Я давно уже наблюдаю за работой планового отдела. Всего лишь на год планируем — кустарщина! Нам нужны два плановых отдела, чтобы один планировал на текущий год, а другой перспективно. Такой перспективный плановый отдел дал бы всему предприятию широкие перспективы... Отмечаю, что Камочан вполне подошел бы в начальники годичного планового отдела, он хорошо справляется с цифрами, графами, узкими перспективами, со всем тем, что не требует большой фантаз... фанта...

Чику так и не удается произнести этого слова.

— Какая тишина,— говорит Штольц.— Солнце, вода и покой.

Как может Штольц все время говорить о покое, когда грудная клетка Чика вот-вот разорвется от напряжения. Но Чик не сдается.

— Да, покой, благословенный покой... А какой покой царил бы у нас, в этом несчастном плановом отделе, если бы Камочан продолжал руко-

водить актуальным планированием, а перспективное планирование вместе с будущим отделом было бы поручено человеку, который... ко... ке... глю... глю...

— Какому человеку? — внезапно спрашивает Штольц.

— Человеку... минутку... сейчас...

— Хлебнули?

— Немножко.

Вот сейчас он скажет... Нет, он не в силах говорить. В груди у него сплошная тупая боль, а небо над головой, еще недавно такое спокойное и безмятежное, почему-то покрылось красными и синими кругами, порой же совсем темнеет, вернее, затуманивается... И берег так невообразимо далеко, что вернуться туда...

Штольц невозмутимо плывет вперед, Чик не выдерживает темпа и отстает. Сначала он еще видит перед собой ноги Штольца и подымающиеся вокруг них маленькие пенистые волны, потом и это исчезает. Чик вовсе не собирается сбавлять темп, но он совсем выбился из сил.

— Что с вами, Чик? — спрашивает Штольц.

— Ничего,— отвечает Чик.— Ничего. Только... помедленней...

— Если устанете, скажите.

Чику очень хочется сказать, что он устал, что он не выдержит, но невдалеке снова показываются два парусника, и это его несколько успокаивает. Да и без того... Не может же он отступиться именно теперь, когда пришла наконец эта долгожданная, великая, единственная, последняя возможность... Но как он отстал от Штольца и какое странное ощущение: будто он плывет по небу, а вода где-то над ним. И солнце откуда-то снизу шлет свои горячие лучи прямо в его сердце, а руки и ноги совершенно холодные... Вот он уже больше и поднять их не может...

— А во главе другого перспективного планового отдела...

Штольц не слышит его бормотания и невозмутимо плывет по направлению к Тиханю. Чик уже отстал от него метров на десять.

— Ну, что с вами, Чик? — вдруг спрашивает Штольц, поднимая из воды огромную голову.— Чик! — кричит он.— Где же вы?

Штольц оглядывается, ищет, но на воде никого нет.

— Чик! Где вы, Чик? Перестаньте шутить. О, боже! Чик! Чик! Чик!

На берегу Эдит говорит маме:

— Я вижу только одну точку. Интересно, где же вторая?

Через несколько минут от берега отошла спасательная лодка. Но на берег вернулся лишь один испуганный Штольц.

*К 25-летию со дня смерти*

АТТИЛА ЙОЖЕФ

# СТИХИ

## Не я кричу

Не я кричу — земля грохочет:
— Держись — сам дьявол обезумел,
ты к руслу чистому потоков
прижмись, прильни к стеклянной глади,
в алмазный спрячься блеск; под камень
уйди соседствовать с жучками,
о, скройся в свеженспеченном хлебе,
бедняк, бедняк!
Всочись со свежим ливнем в почву,
в самом себе ты зря купаешь
свое лицо, в другом лишь можешь.
Будь крошечной колючею травой
и станешь больше оси мировой.

О вы, машины, птицы, ветви, звезды!
Мать наша молит о ребенке,
бесплодная, ребенка хочет.
О мой любимый друг, ужасно ли, прекрасно ль
не я кричу — сама земля грохочет.

## Последний боец

Какой-то душной ночью был объят
фабричным дымом вялый запах глин,
и величайший дух вошел в меня:
я сын земли и улицы я сын.

Отныне сердце — мощный алый цвет,
его цветеньем шар земной объят,
подобием электромагнитных волн
его распространился аромат.

Отныне ни казарма, ни тюрьма,
ни церковь с гор не сбросят слов моих,

и все глаголы реют надо мной,
и нету смысла в замыслах других.

Когда я плачу — каплет мира кровь,
когда бранюсь — трепещет трон любой,
когда смеюсь я — радуется бог
и зимы вдруг сменяются весной.

В судьбу я верю; сердце, наш господь,
ждет бесчудесных он чудес во всей красе;
лавины страсти, с наших лиц лиясь,
разрушат тюрьмы и казармы все.

И все огни грядущие — во мне,
чтоб я бойцом последним стал. Мой стяг —
прикосновенье ласковое. Все
в путь двинется, коль сделаю я шаг.

И шапку ликованья в небеса
согбенный день взметнет, коль я один
и буду зеркалом у вас в сердцах,
я сын земли и улицы я сын!

## Славный летний вечерок

Славный летний вечерок.

Прибывая, отбывая, громыхают поезда.
Воют перепуганно заводы,
вечер крыши закопченные коптит,
и газетчики кричат под фонарями,
мечутся пролетки взад-вперед,
звякает трамвай на развороте,
транспарант, что ты слепец, орет,
стены в переулки заворачивают
и плакаты всякие раскачивают,
и везде кругом, куда ни глянь ты,
пробегают люди-транспаранты,
и видать, как за массивами домов
аллилуйно — бранно — суетливо —
стойко — холодно — хитро — плаксиво
люди, друг по дружке забираясь,
лезут ввысь,
и на шее у разгневанных бульваров
даже жилы налились.
Слышно, как визжат чиновники немые,
как медлительны шаги рабочих,
возвращающихся домой
с видом старых мудрецов, у коих
нету больше дела на земле.
Слышно даже, с мягкостью какою
вьется кисть карманщика в чужом кармане,
сбоку слышится, как чавкает крестьянин,

откромсавший добрый кус
от покоса своего соседа.
Я молчу и слушаю все это.
И скулят в костях у нищих древоточцы,
женщины принюхиваются: что вокруг?
Но, пришедший очень издалека,
я сажусь на свой приветливый порог
и молчу я.

Славный летний вечерок.

## Твердь многоярусная, ясная

Твердь многоярусная, ясная!
Славь солнце, плоть моя прекрасная.
Опара всходит все уверенней,
сильней.
Свежо. Плывет над Тисой благовест,
шум утренний встает, потягиваясь,
и умываюсь я до пояса,
и сердце влагой освежается,
и льнет ко мне вода прохладная,
в тазу колышась, музицируя,
как груди девушек поющих.
К тому, чья комната распахнута,
как с улицы в отцовский дом,
вбегает мир, ребенок сущий,
которому разрешено
в обновке за мячом гоняться.
И я сегодня ни к кому
на «вы» не буду обращаться —
со всеми нынче я знаком.
Водою, хлебом, молоком
и поцелуями я пахну,
вот я каков. Пойду к рабочим
и поработаю как следует.
Шагаю весело, уверенно —
ведь все равно я всех красивее,
и вот сейчас хотя бы раз,
а надо людям показать
кой-что прекрасное и чистое.
Меня полюбят обязательно.
Ведь с ними под дождем неистовым
я, запыхавшись, часто мчался
и с ними по проспектам шлялся.
Прекраснейшие создатели
домов и города всего
прочь из сердец, прекрасно выстроенных,
не выбросят и моего.

*Перевод с венгерского ЛЕОНИДА МАРТЫНОВА*

## Хорошо будет вспоминать

Толпа безумцев молит, чтоб творец
достоинствами громкими набил их.
Они ничтожны, действовать не в силах,
их колокол — овечий бубенец.

Я малый не такой. Пускай взамен зубов
все больше кисловатого металла,
как смерти в сердце. Точных слов немало.
О жалком обществе я рассказать готов.

Оно — тюрьма, и некуда уйти.
Я равнодушно время коротаю.
Но я таскал кирпич, страдал и твердо знаю,
как сладок отдых путника в пути.

Но я однажды встану и тогда
начну гудеть почти как те набаты:
мне мало вашей заработной платы,
я требую веселья и труда!

Он близится, мой час. Прикиньте на весы
страдания — мир лучший будет создан!
Нет, я не ошибусь — заведены по звездам
все органы мои, как точные часы.

И потускнеет кровь, которую мы льем,
и будет нас смешить все то, что обижало.
Как звери мирные, играя, мы, пожалуй,
охотно вспомним все и с радостью умрем.

## Флоре

Задуматься пора настала:
когда бы ты меня не знала,
огонь бы я задул, пожалуй,
глаза зажмурил бы устало.

Когда б меня ты не любила,
и умереть бы славно было.
Я был бы рад. Я сел бы рядом
с неугомонным звездопадом

на ясном берегу покоя,
над белопенною рекою,
над бездной, где миры иные
прекрасны, как цветы живые.

Когда-то по дунайской шири
я плавал юнгой на буксире

и в промежутки меж работой
учился радости с охотой.

Глядел я, как разлив Дуная
нес ветки, на волнах качая,
грыз доски, морщил воду в складки
и гнал арбузы без оглядки

в потоке огненного цвета...
Ты можешь не поверить в это —
я сам не верю разным дивам,
но быть с тобой привык правдивым.

Качались яблоки в потоке,
пустились перцы в путь далекий,
к себе невольно привлекая,
а пароход стоял, кивая.

И я увидел, встав над бездной,
всему кивая — как чудесно! —
какая синь пылает в небе
и как она к лицу тебе бы.

Мир меньше жизни вдохновенной.
Жизнь плещет через край вселенной.
Глубины сердца, бездны, кручи
и смерти берег неминучий

она зальет огнем и светом,
как заливал Дунай тем летом...
И раз ты любишь, ты со мною,
я сплю спокойно, но не скрою,

что тленьем на месте пойман,
я тоже не вмещаюсь в пойму,
всю душу людям раздавая,
в любви к тебе границ не зная.

## Большие города

Я не могу забыть большие города,
и чужестранец все о них толкует, не замечая, как цветет наш сад;
что принесло его сюда, не знаю,
он даже и в театр не пошел,
когда мы звали, барышне соседской
не уделил вниманья никакого, хотя другие на нее дивились.
Ах, эта барышня, она так белокура, так высока — точь-в-точь
труба над домом.
Когда она по улице проходит,
все, даже женщины, глядят ей вслед из окон,
потом уходят стряпать добрый ужин, вздыхают, и молчат,
и все чего-то ждут.
Я с ней не говорил еще ни разу,
мы только улыбаемся друг другу,
но все же я здороваюсь, встречаясь,
а он лишь глянул, мимо лишь прошел,
и даже края шляпы не коснулся.

Я с нею бы здоровался всегда, и даже повидав большие города,
где барышни небось еще красивей,
еще стройней и выше, как и башни;
где барышни качаются под ветром и, покраснев, одергивают юбку.
Я и тогда здоровался бы с нею, и даже бы по имени окликнул,
и даже рассказал бы ей прекрасно про эти самые большие города,
где и она ни разу не бывала.

*Перевод с венгерского М. АЛИГЕР*

## Тени

Длиннеют тени, как худые дети,
и так печальны силуэты эти,
игру свою творящие во мгле.

Отсутствие твое, словно планета,
вершит круженье среди тьмы и света,
как будто в небе сумрачном, во мне.

Как сладострастны выдохи растений,
и тяжек образ зрительных смещений,
и очертанья мира не верны.

Прошу тебя — войди в мое пространство,
будь так добра и поступи пристрастно —
освободи от этой глубины.

## Кишзомборская песня

Ты — мастерица путаницы вечной.
Затем, наверно, средь моей беды
мне снится сон таинственный и вещий.
Ты выглядишь в нем каплею воды.

Пою о том, что песня моя спета.
Как ты мила к товарищам моим!
Но все ж округлым воплощеньем спектра
ты снишься мне, как ты не снишься им.

Мои печали без того печальны,
но это слишком — смыслу вопреки
у господина Шандора перчатки,
и зябнут мои бедных две руки!

А праздник — пьет, изнемогает в плясках,
сегодня тяжелы его труды.
А я — все сплю, все сохраняю в пальцах
сияющую капельку воды.

■ ■ ■

В чем вера и расчет небесных тел,
в орбите огнедышащего круга,
какая сила и какой прицел
им позволяют миновать друг друга?

Казалось, только бы закрыть глаза,
и — вдребезги! Пожар благословенный!
Какие золотые тормоза
хранят благополучие вселенной?

Я бы решил, что это — власть причуд
любви между планетой и планетой,
но так многозначителен прищур,
мигающий над бедной бездной этой.

И мотыльки ночные над огнем
теряют пыль, столкнувшись при круженье.
И странен мир. И странно пуст мой дом.
И нет тебя. И все вокруг в движенье.

*Перевод с венгерского БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ*

# На окраине

Я на окраине живу,
где рушится закат крутой...
Там копоть налетает, как
нетопырей мельчайших рой,
и оседает, как помет,
как удобренья тучный слой.

Напластовалась так на нас
эпоха эта. Тщетный труд —
с сердец отчаянья сдирать
окаменевшую кору.
Так ржавчину с прогнивших крыш
дожди, как швабры, не сотрут.

Так кровь не смыть — с таких,
как мы!
Мы новый род людей труда.
И волосы лежат не так,
Слова звучат как никогда.
Не бог, не Разум создал нас,
но нефть, но уголь, но руда,—

и сделал нас реальный мир
свирепыми, горячими
людьми, безжалостно плеснув
в вагранки общества — тюрьмы,
чтоб ради счастья всех людей
навеки выстояли мы.

После вояк, дельцов, святош
мы — верно услыхали трель
истории, ее устав,
и всех людских творений цель
наполнила гуденьем нас,
как звук струны — виолончель.

С тех пор как создан был наш строй
системы солнечной — с тех пор
не сокрушали сильных столь,
хотя был долог этот спор,
и долго истребляли нас
меч, суеверье, голод, мор.

Никто из тех, кому в веках
победа суждена была,
не истреблялся так, как мы,—
уничтожением дотла.
К земле мы опускали взгляд,
земля нам ключ к себе дала.

Смотрите, как он одичал,
машин железных добрый скот!
Деревни трещины дают,
как поутру на лужах лед.

Машина вскочит — в небе гром,
и города так и трясет.

Уж не помещик ли уймет
собаку пастуха теперь?
Машина с нами ведь росла,
для нас она — домашний зверь.
Попробуй, цыкни на нее!
А нас поймет она, поверь!

Теперь нам ясно — скоро вы
падете ниц, чтобы молить
принадлежащую вам вещь,
ей даже жертвы приносить!
Машина ж только льнет к тому,
кто приносил ей есть и пить.

Мы вместе, здесь. Мы — дети все
одной материи родной.
Подымем наши вверх сердца,
мы держим их над головой!
Могучи будут только те,
кто нами полон, не собой!

Сердца вздымайте выше труб,
увидеть их дано тому,
кто видел солнце, как оно
задохлось в собственном дыму,
кто слышал, как подземный пульс
стучался в угольную тьму.

О, выше, выше!.. Вкруг земли
уже шатается забор,
когда мы дышим на него
как ураганный вихрь, в упор!
Дохнем сильнее! Сердце — ввысь!
Пусть оно дышит выше гор!

Пока не прояснится в нас
способность в мире навести
порядок, чтобы разум внял
конечной бесконечности,
внутри — инстинктам, вне — труду,
что может все произвести!

Окраине я песнь сложил.
Поэт — простому люду свой —
глядит, как реет, как парит
бархатно-жирной сажи рой,
и оседает на земле,
как удобренья толстый слой.

Поэт вас будит лязгом слов,
специалист по чудесам
земного мира, он глядит
в глаза грядущему и сам
в себе гармонию творит,
как в мире предстоит и вам!

*Перевод с венгерского СЕМЕНА КИРСАНОВА*

Е. ТРУЩЕНКО

# ТАКОВА ЛИ ПАНОРАМА СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ?

В Париже издана книга под многообещающим и обязывающим названием — «Современные литературы мира»*. Она входит в серию «Весь мир», преследующую цель знакомить читателей с различными явлениями современной жизни и современной культуры. Выпускает серию французское издательство Ашетт, создает — большое количество авторов.

Серию опережает и сопровождает щедрая реклама. Во введении, предисловии — обращении к читателям, на суперобложке издательство и создатели книги не скупятся на похвалы своему начинанию. «Перед вами, если я не ошибаюсь, первая работа, которая рассматривает современную литературу в масштабах всего мира,— читаем мы в предисловии Роже Кайюа, представителя секции литературы и искусства ЮНЕСКО.— Я, по крайней мере, не знаю другой работы, которая рассматривала бы явления небольшого отрезка времени — пятнадцати лет — в таком широком плане, охватывающем всю планету».

«...Эта книга позволяет проникнуть в самую сущность проблем нашего времени... участвовать в великом приключении современного человека со всеми противоречиями, надеждами и страстями эпохи»,— тиснуто жирным шрифтом на краях суперобложки.

Но очень скоро мы убеждаемся, что немногие главы этой книги обладают теми качествами, которые обещаны читателю.

Мы можем назвать лишь отдельные разделы, которые заслуживают того, чтобы их читали с доверием, без настороженности. Большинство же разделов вызывает разочарование, возражения, а порой и возмущение. От позолоты рекламных фраз ничего не остается, когда знакомишься, скажем, с описанием современной литературы Германии, арабских стран, Канады или Венгрии. Обнаруживается либо прикрытая фразеологией беспомощность в раскрытии наиболее характерных черт литературного процесса, либо убого снобистские, эстетские или же ультрареакционные концепции.

Настораживают оговорки во введении руководителя серии Жан-Клода Ибера и предуведомления Роже Кайюа. Первый говорит о трудностях создания «панорамы» современной литературы, связанных с характеристикой «литературной продукции стран, писатели которых повинуются требованиям не только эстетического и морального порядка» (?). «Мы стремились дать картину этих литератур объективную, насколько это возможно»,— снисходительно заявляет шеф издания. Кайюа, говоря о ритме сегодняшней культурной жизни, о влиянии на нее быстрого развития техники, прессы, кино,

* Les Littératures contemporaines à travers le monde. Hachette, Paris, 1961.

телевидения и радио, замечает: «Эссе, написанное в Париже, создает тотчас «потомство» в Токио: в Азии рождается новая философская школа. Романист Соединенных Штатов, описывающий страсти маленького городка на Юге своей страны, передает свое видение мира писателям Лондона, Рима или Буэнос-Айреса...»

Мы узнаем, что страны, «литературную продукцию» которых затруднительно характеризовать господину Иберу и его «самым компетентным критикам»,— это социалистические страны. Влияние Парижа и Соединенных Штатов на весь остальной мир, о чем осторожно упомянул Кайюа, для многих авторов оказывается одним из главных принципов при рассмотрении литературных явлений (французская «новая волна» порождает «волну» в Норвегии, герметизм в шведской поэзии — это победа модернизма, идущего от Рембо, сюрреализма и Элиота; современный испанский роман обязан своими формами американскому...).

Присмотримся ближе, как же раскрывают и оценивают литературный процесс в некоторых странах авторы обозрений, вошедших в книгу. Какие имена и явления они выделяют? В чем видят главные художественные ценности века? Какие, по их мнению, перспективы раскрывает опыт национальных литератур?

Разумеется, мы не собираемся давать здесь исчерпывающую оценку всех глав во всех аспектах. Будем говорить лишь о некоторых общих принципах, характеризующих этот труд, о концепциях, положенных в основу большинства его разделов.

## ЛОЖКА МЕДУ И БОЧКА ДЕГТЯ

Попадая в руки советского читателя, подобная книга прежде всего вызывает желание узнать, как в ней представлена наша отечественная литература. Мы знаем другие зарубежные издания (Колумбийского университета, например), рассматривающих творчество советских писателей в соответствии с шаблонными приемами антикоммунистической пропаганды. Автор раздела о литературе СССР Клод Фриу далек от предвзятого и грубо тенденциозного подхода к советской художественной культуре. Он говорит о многонациональном характере нашей литературы, наряду с характеристикой произведений Федина, Шолохова, Леонова, Эренбурга, Паустовского отмечает творчество Ауэзова, Лациса и других крупнейших писателей разных республик, признает, хотя и сдержанно, выдающееся идейное и художественное значение советской литературы.

Клод Фриу стремится понять принципы, которыми руководствуются советские писатели, постичь идейные и эстетические основы нашего искусства, хотя не все ему одинаково удается. Непредвзятый подход французского исследователя позволяет ему отбросить многие жупелы, созданные буржуазной пропагандой о «казенном оптимизме», «удручающем однообразии», «навязанных доктринах» и т. п., и признать, что советская литература является «эхом эпохи, воплощает для советских людей величие их подвигов и начинаний». К чести французского обозревателя надо сказать, что он чувствует живое богатство, драматизм и поэтичность нашей литературы, воплотившей «мечту поколений», величие труда. В романах «Жатва», «Далеко от Москвы», «Донбасс» подмечаются черты подлинной эпопеи, в поэме «За далью — даль» — биение пульса нового общества.

Однако непоследовательность приводит нередко Клода Фриу к противоречивым заключениям. С его собственным выводом о многообразии художественных вкусов, взглядов, стилей, литературных манер не вяжутся слова о том, что создание Союза писателей в СССР «окончательно ликвидировало понятие течения, эстетической тенденции». «Тесная связь с жизнью, «документальность» многих произведений советской литературы,— отмечает критик,— вызывает довольно широкий интерес к ней. Но что остается для искусства?» На этот вопрос Фриу дает уклончивый ответ: есть в литературной продукции лучшее и худшее.

Не косвенная ли это попытка поставить под сомнение ценность реализма советской литературы?

Критик уделяет основное внимание скорее характеристике окололитературной атмосферы, чем художественному творчеству, и это, нам кажется, отвлекает от главного — обстоятельного раскрытия эстетической сущности, новаторской ценности советской литературы, ее художественного богатства. Слишком узким и обедненным представляется нам выбор имен и произведений.

---

Е. ТРУЩЕНКО

ТАКОВА ЛИ ПАНОРАМА СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ?

называемых в обозрении. Слишком односторонне толкование существа литературных дискуссий, происходящих в советской периодической печати. Развернувшуюся в свое время борьбу против лакировки и бесконфликтности Фриу называет «войной против пресного конформизма». Такое определение ничего не может объяснить в движении советской литературы к завоеванию высокого реалистического мастерства и художественной силы.

Влияние XX съезда КПСС на художественную жизнь страны характеризуется таким образом, что атмосфера свободного роста и консолидации сил советской литературы остается, в сущности, незамеченной автором обозрения.

Смешными кажутся сожаления французского критика о том, что новые тенденции советской литературы, проявившиеся после разоблачения культа личности Сталина и его последствий, он не может назвать советской «новой волной». Французские понятия здесь явно не подходят.

И все же очерк Клода Фриу при всей неполноте обзора, спорности некоторых выводов и заключений служит взаимопониманию. Только отбрасывая жупелы и предвзятость, можно найти плодотворный путь создания обобщающих работ о современной литературе различных стран. К сожалению, многие авторы книги «Современные литературы мира» далеки от этого.

Разговор о литературной жизни европейских стран народной демократии (они названы «сателлитами Востока») ведется в развязном тоне. Автор пасквильных заметок, некто Бернар Жорж, пускает в ход самые обкатанные клеветнические измышления. «Официальная государственная доктрина, навязанная всем художникам и писателям»,— заявляет он с апломбом, сказалась на характере художественного творчества в Болгарии, Румынии, Чехословакии...

Вот как «объясняется» сущность этой «государственной доктрины»: «Нет надобности долго искать определения для этого социалистического реализма. Слова сами за себя говорят. *Реализм* означает, что доктрина запрещает всякий чисто формальный поиск, даже всякое различие между формой и содержанием». *Социалистический*, дальше изрекает критик, требует, чтобы писатель трактовал проблемы повседневной жизни трудящихся... Единственным героем должен быть рабочий, занятый строительством своей революции, и т. д... Можно подумать, что Бернар Жорж совсем темный человек, ему недоступны ни Максим Горький, ни Михаил Садовяну, ни Мария Майерова, ни Леон Кручковский и судить ему дано лишь по злонамеренным слухам. В книге социалистический реализм называется то «вмешательством коммунистической партии в форме ортодоксии», то «интеллектуальным террором, воплощенным в форму доктрины». Злобный вздор и бессмысленность подобных «определений» не требует комментариев.

В Болгарии, по его мнению, совсем нет литературы. Она остановилась в своем развитии после 1945 года, поскольку там «оставшиеся несколько писателей» парализованы «идеологическим и полицейским притеснением». А вот в Париже болгарская литература обнаруживает себя по-настоящему. В доказательство Бернар Жорж приводит названия двух книжонок застрявших во Франции болгарских эмигрантов.

Книги Димитра Талева, Димитра Димова, Георгия Караславова, Людмила Стоянова, Павла Вежинова, Стояна Даскалова, Андрея Гуляшки, десятков других, широко известных прозаиков, поэтов, драматургов либо неведомы ценителю из Парижа, либо он со злым умыслом извращает истину. Вероятнее последнее. Доказательством служат подобные же суждения о литературе Румынии, Чехословакии, Венгрии. Единственным плодотворным источником для румынской литературы, утверждает Бернар Жорж, было «влияние западной мысли» — французского сюрреализма, Пруста, Джойса. Затем он и по отношению к этой стране повторяет ту же версию о «подавлении» литературы.

Ни расцвет румынского романа, ни колоссальная фигура Садовяну, ни получившие широкую известность книги Э. Барбу, З. Станку и многих других романистов и поэтов в расчет не принимаются. Единственная надежда для румынской литературы — опять же в Париже. Это — Эжен Ионеско (в главе о французской литературе он называется французским драматургом, в главе о румынской литературе — румынским) да еще несколько литераторов с румынскими именами, пишущих по-французски.

Раздел о литературе Румынии, Чехословакии, Венгрии, Болгарии написан языком

обвинительного заключения, а не литературного исследования. В нем не обнаружишь и намека на эстетический анализ. Понятно, что его сочинитель ставил своей целью не познакомить с интенсивной литературной жизнью молодых социалистических стран, со сложными процессами, происходящими там, а огульно охаять все и вся.

При рассмотрении польской литературы Бернар Жорж озабочен не тем, чтобы дать объективную характеристику ее различных тенденций, художественного богатства. Он предвзято выделяет явления, вызвавшие в свое время осуждение марксистской критики, чтобы противопоставить их литературе названных выше социалистических стран, как «светлое пятно», «очаг свободного поиска». Этот «очаг» — всплывшая когда-то на волне ревизионизма газетенка «По-просту» пасквильная поэма А. Важика, сочинения Марека Хласко и т. п. Последний высоко оценивается как автор, «понявший состояние умов польских хулиганов», передавший отчаяние и тоску. Мы не ошибемся, если скажем, что все сведения для этого раздела книги почерпнуты из выходящего в Париже эмигрантского польского журнала «Культура».

Чем объяснить такой подход к литературному движению в европейских странах народной демократии? Может быть, составители доверились недобросовестному автору? Скорее можно расценить всю эту затею как довольно неуклюжий маневр. Для этого вывода дают основание и другие главы, например о литературе современной Германии.

### ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕВАНШИЗМ?

Мы знаем нынешнюю Германию как страну, разделенную не только границей двух суверенных государств. Германию разделяет различие общественного и политического строя в ГДР и ФРГ. После 1945 года сложились различные литературные центры, существуют разные направления в развитии немецкой литературы. Союз немецких писателей, созданный в Берлине, объединяет литераторов, избравших путь борьбы за социализм, за социалистическое искусство. В ГДР действительно развивается демократическая, глубоко народная литература. В Федеративной Республике Германии существуют разные литературные группы и направления—от прогрессивных, борющихся за демократическое развитие Германии, до самых реакционных, реваншистских и профашистских. Такова действительность. Однако ее не хотят признать создатели рассматриваемого труда. Они исходят из других представлений. Идеология и стратегия НАТО мешает им подойти объективно к рассмотрению проблем и судеб немецкой литературы.

Обозреватель немецкой литературы Марсель Шнейдер охотно берет напрокат фразеологию и понятия не только из арсенала Пентагона и Аденауэра, но и заимствует некоторые представления времен гитлеровского рейха. Он устраивает своего рода литературный аншлюс: включает в некий общегерманский поток и всю австрийскую литературу. Более того, он считает, что австрийской литературы по существу нет. Есть венская литература, и нет большой надобности считаться с ее особенностями, своеобразием путей развития. Немецкая литература Швейцарии рассматривается с тех же позиций.

Зачем потребовалась такая «операция»? Для поддержания идей империалистического пангерманизма? А может быть, еще и для того, чтобы поставить во главе всей сегодняшней литературы немецкого языка «грандиозный монумент» Роберта Музиля, австрийского писателя, незавершенный роман которого «Человек без качеств» провозглашается шедевром, продолжением генеральной линии развития литературы XX века — линии Пруста и Кафки. Так понимает литературный процесс Марсель Шнейдер.

Этот автор далек от признания реального положения немецкой литературы. Он не упоминает ГДР. А если сквозь зубы иногда называет «восток» Германии, то только для того, чтобы сказать, что там нет подлинной литературы, а есть лишь «конформистская продукция литераторов, принужденных служить русской политике».

Все перспективы и надежды немецкой литературы сей пророк связывает лишь с «группой 12», возникшей когда-то в Западном Берлине. Эта группа «обещает стать литературным центром Германии, если изменятся политические условия». Почему же именно Западный Берлин должен стать объединительным центром?

---

**Е. ТРУЩЕНКО**
**ТАКОВА ЛИ ПАНОРАМА СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ?**

Позиции и симпатии Марселя Шнейдера определенны. Он явно напрашивается на благодарность канцлера Аденауэра. Если судить о лице сегодняшней Германии по ее литературе, пишет он, то оно покажется очень мрачным и не соответствующим действительности. «Ведь после денежной реформы 1948 года (мы знаем, что за «денежной реформой» кроются раскольнические действия империалистов.— *Е. Т.*) страна под эгидой Аденауэра исполнена неистовой активности, безграничных надежд...»

Миф об «экономическом чуде» в Западной Германии явно вдохновляет обозревателя. Но вот литература!.. Она, оказывается, не на высоте. Многие писатели замкнулись в одиночестве, сетует критик. Он не говорит о большой литературе ГДР, не замечает в Западной Германии книг покойного Леонгарда Франка, Вайзенборна, дает скупую и однобокую характеристику Генриху Бёлю.

М. Шнейдер не хочет говорить (тем более осуждающе) о возрастающем потоке книг реваншистских, поджигательских, авторы которых давно уже перешли в идеологическое наступление. Он довольствуется собственным оптимизмом и олимпийски спокойными выводами: «Германия ликвидировала свое прошлое — последствия диктатуры и войны, она снова может создавать произведения искусства».

Следует ли говорить об эстетических позициях М. Шнейдера, если цели его обозрения лежат за пределами эстетики? Заметим все же, что, подобно своим коллегам, обозреватель немецкой литературы выстраивает в первой шеренге, «лицом» к Роберту Музилю, представителей декадентско-модернистского курса. Поэта-мистика Эрнста Вихерта (его «евангелие — любовь, прощение и жалость»), Готфрида Бенна, поэта-индивидуалиста, «стремящегося отделить мысль от жизни», и даже Эрнста Юнгера — «старого ученика Ницше», автора «мистических и символических конструкций».

Шнейдер называет и Бертольта Брехта, «большого человека Востока», но лишь как пример «зависимого» поэта. Литературу, отразившую трагедию Германии и ответственность немцев за гитлеровские злодеяния, Шнейдер считает просто «инвентарной литературой», регистрирующей факты прошлого. Он не видит в ней глубокого смысла и исторического урока.

И это — еще одна черта к характеристике позиций критика.

Посмотрим, как представлена в книге литература несоциалистических стран. Очерк о французской литературе поставлен в книге на первое место и претендует на особую роль. Во всяком случае, заданный в этом очерке тон улавливается почти во всех остальных обозрениях литературы европейских, азиатских и американских стран — те же исходные эстетические позиции, те же принципы отбора художественных ценностей, те же характеристики литературного процесса.

Автор очерка о французской литературе — Р. М. Альберес, постоянный обозреватель еженедельника «Нувель литтерер». Его эрудиция неоспорима. Альберес старается блеснуть множеством упоминаемых имен и произведений, легкостью и свободой суждений, тонкостью характеристик. Критик рассматривает пути развития французской литературы от Пруста до Сен-Джон Перса. Он рисует идиллическую картину этого развития, особенно в 30-е годы. Франция — средоточие современного ренессанса, образец и пример для всей остальной планеты. Здесь свобода и простор для всех направлений, школ и тенденций! Блестящая эпоха, богатая открытиями и талантами! Атмосфера всеобщего обновления! Литературное творчество вторглось в новые области, завоевало новую технику, обнаружило новое видение мира! Пруст, Жид, Жироду, Жюльен Грин, Клодель, Валери, Селин — самые яркие выразители этого всеобщего обновления. Найдено новое измерение исследуемого мира: Пруст поставил сознание под микроскоп. Космическая фантазия Жана Жироду открыла необычные аспекты человека и вселенной. Луи Селин запечатлел насмешливую жестокость жизни XX века. Поль Валери обновил созерцание мира. Сюрреализм потряс само «искусство жить», космополитизм и путешествия внесли лихорадочность и пикантность в жизнь планеты и в литературу...

Вот некоторые из каскада броских и афористичных характеристик Альбереса в оценке 20-х и 30-х годов — «эпохи творческого расцвета и равновесия между совершенно различными тенденциями».

Гармония, равновесие и прогресс. Мы не узнаем из очерка Альбереса о борьбе идейных и эстетических направлений, о декадансе во французском искусстве. У него нет ни тени сомнения в великой миссии модер-

низма. Такова система взглядов и методология Альбереса. Он прибегает к оценкам, по которым трудно уловить социальную проблематику творчества называемых им авторов. Связь литературы с событиями истории, с жизнью нации не интересует критика. Более того, самой манерой суждений, принципами анализа он уводит от этих понятий.

Это и не удивительно. Альберес не скрывает, что он противник «зависимого» искусства, связанного с общественной жизнью, политикой, идеологической борьбой. Мы поэтому не найдем в разделе о «блестящей эпохе» после первой мировой войны даже упоминания об Анри Барбюсе или Ромене Роллане, в чьем творчестве нашли отражение глубочайшие социальные конфликты, борьба классов и идеологий и кто был действительно связан с подлинно современными тенденциями обновления искусства.

Альберес готов признать возрастающую роль реализма во французской литературе после второй мировой войны. Но он признает этот бесспорный факт так, что от признания ничего не остается. По его мнению, достижения реализма ведут лишь к угасанию искусства.

Альберес ставит понятия с ног на голову, прибегая к словесной эквилибристике. Вот образец ее. Опыт движения Сопротивления привел большинство французских писателей на активные позиции, к осознанию необходимости участия в борьбе. «Именно в действии человек должен открывать смысл жизни»,— патетически восклицает и Альберес. Но он тотчас спешит сделать оговорку: «вовлеченность в действия» не надо смешивать с действием политическим. Французы всегда остаются моралистами! Все проблемы перед французами, заявляет он, предстают в «сознании личности». Под эту категорию «самосознания личности» он без всякого колебания подводит самые разные произведения: здесь и «Дороги свободы» Сартра и «Коммунисты» Арагона. Экзистенциалистский роман Сартра, выразивший смятение и блуждания личности в годину национальной трагедии, и произведение социалистического реализма, отразившее мужественную освободительную борьбу народа, оказываются, таким образом, под общей рубрикой «моралистской литературы».

Верный эстетским принципам, Альберес различает на французском горизонте три категории книжной продукции —«литературу метафизическую и моралистскую», «литературу факта, анекдота, происшествия» и «литературу независимую, непринужденную». Поясним: к первой категории он относит произведения, отражающие проблемы социальной борьбы, судеб человека в современном мире, ко второй — реалистические книги всех оттенков, отражающие различные стороны жизни; к третьей — продукцию всех модернистских течений, которые, по идее автора, воплощают свободу творчества, художественного поиска. Удобство подобной классификации для Альбереса очевидно: она не требует четких определений, позволяет обходить острые углы.

Критик отдает предпочтение модернистским тенденциям. Экзистенциализм, школа «нового романа», «антитеатр» Беккета и Ионеско, Франсуаза Саган оказываются наиболее значительными и интересными явлениями в том художественном многообразии, которое видит Альберес. Мы узнаем из его очерка о школе «психологических намеков», о стиле «à la непричесанная собака»... Но мы не узнаем более важного, что по-другому определяет лицо литературы. Крах колониалистской политики французского империализма, его разбойничьи войны в Индокитае и Алжире, нарастание фашизма вызвали к жизни большую и острую литературу протеста, отразившую перелом в сознании миллионов французов («Последний патрон» Шаброля, «Черная река» Куртада, романы и повести Андре Стиля, Мориса Понса, «Алжирская война» Ж. Руа). Он мог бы напомнить и о литературе антигуманистической, заслуживающей осуждения (например, о романах Жана Лартеги «Центурионы» и др., прославляющих и романтизирующих военный разбой). Альберес не говорит об этих книгах. Критик стоит на охранительных позициях, хотя и выдает себя за поборника независимого, «невовлеченного» искусства. Эрудицию и умение писать, ничего не выражая, он использует для того, чтобы не раскрывать подлинной сущности явлений. Вот один из примеров. Подъем реализма в послевоенные годы вызвал волну социальных романов, поставивших острые общественные проблемы. Альберес называет ее «волной описательных романов, посвященных частным проблемам», литературой «частного случая». Так оцени-

---

Е. ТРУЩЕНКО
ТАКОВА ЛИ ПАНОРАМА
СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ?

вается, например, трилогия Мориса Дрюона «Сильные мира сего». Дрюон, как мы знаем, рисует крушение столпов буржуазного мира, обнажает язвы, разъедающие существующий социальный строй, гниль, моральное падение и вырождение господствующей элиты. Почему же Альберес относит трилогию к литературе «частного случая»? Не для того ли, чтобы не говорить об истинном значении книги, запрятать в безобидных формулировках яд дрюоновской сатиры?

Заключение очерка Альбереса содержит те же оптимистические аккорды, что и начало. «Во Франции продолжается эпоха, богатая различными новшествами. Почти все возможные тенденции в литературе сменяют друг друга, как в вертящемся колесе...». Шоры эстетских представлений мешают Альбересу говорить об упадке буржуазного искусства Франции, связанного с различными модернистскими тенденциями — «антиромана», «антитеатра», «агуманизма» и т. п. Он не хочет признать роль писателей-реалистов, продолжающих и развивающих лучшие традиции французской классики, просто потому, что он принципиальный противник прогрессивного реалистического искусства.

## В ШОРАХ ЭСТЕТСКИХ КОНЦЕПЦИЙ

Во многих разделах книги сказывается та же эстетская тенденциозность и предвзятость. Автор обзора литературной жизни Великобритании Лас Верньяс начинает с сетований на трудность его миссии. Определение тенденций и перспектив, оказывается, усложнено «угрюмым характером» и замкнутостью англичан, нравами литературной прессы, публикующей неподписанные критические статьи. В Англии, как пишет автор, нет ни литературных школ, ни манифестов, ни ежегодных литературных премий, ни свободных бесед на террасах кафе — той постоянной «ярмарки», которая во Франции определяет литературную погоду. Здесь иное сплетение идей, верований, устремлений.

Тем удивительнее полное сходство критериев в очерках о литературах английской и французской.

Здесь — та же преднамеренность в определении художественной ценности и значимости произведений. Обойдены или лишь скороговоркой упомянуты крупнейшие представители реализма. Джон Голсуорси, великий мастер социального романа, даже не назван. Герберт Уэллс и Бернард Шоу вскользь упомянуты в качестве поборников «эмансипации посредством социализма». На первый план выдвинуты Джойс, Вирджиния Вулф, Хаксли, Элиот. С этими именами, как известно, связаны самые реакционные тенденции в современной английской литературе. «Совестью Англии» назван Джордж Оруэл, писатель, начинавший с анархизма и оппозиции «крайне левому тоталитаризму» и кончивший проповедью пессимизма и отчаяния.

Автор очерка, характеризуя литературу последних десятилетий, избегает каких-либо идейных оценок: он говорит о литературе «high brow», «middle brow» и «low brow», что можно было бы условно перевести как литература «высоколобых», «среднего интеллекта» и «низкого интеллекта».

К первой категории, согласно этой шкале ценностей, относится литература для посвященных, произведения, недоступные для восприятия простого смертного. Стилистическая изощренность, сложная литературная техника — главные ее атрибуты. Ясности мысли и значительности содержания не требуется. Этот «класс» представляют Джойс, Вирджиния Вулф и современные чистые эстеты Уильям Сэнсом, И. Комптон-Бернет и другие. Они-то и являются наиболее последовательными выразителями свободы творчества. Своим существованием представители этого «класса», по мнению критика, отвечают на часто возникающий вопрос: а может ли литератор быть независимым в современном обществе? Они демонстрируют эту независимость, пренебрегая литературными заработками.

Не будем задерживаться на подробностях классификации остальных писателей. Третья категория — это Агата Кристи, весьма популярный автор детективов, и другие поставщики чтива. Вторая категория — все остальные «приличные» писатели.

В этой иерархии заметно стремление обойти идейно-эстетические определения, в особенности там, где необходимо говорить о проблематике и значимости творчества, вторгающегося в жизнь общества. Здесь мы сталкиваемся с необычайной осторожностью и уклончивостью. Острый романист Грэхем Грин, автор книг «Тихий американец» и «Наш человек в Гаване», превращен в безобидного писателя, международная известность которого «прочно связа-

на с проницательным исследованием проблемы греха».

Представление о писателях, вошедших в литературу под именем «сердитых молодых людей», как об обличителях, замечает автор обозрения,— лишь иллюзия. Право же, у них нет никакого гнева, никакого обличения устоев английского общества. Критик грешит против истины, но ничуть этого не стесняется.

Ни Олдридж, книги которого переведены на многие языки, ни Линдсей, ни Дэвидсон, ни послевоенная плеяда писателей-реалистов, связанных с рабочим классом Англии, рисующих его жизнь, борьбу, не удостоены внимания в книге «Современные литературы мира». Зато автор очерка внимателен к «великим покойникам». По его мнению, «как никогда актуальны» Джойс и Вирджиния Вулф. Называя романы последней — «К маяку», «Годы». «Волны», в которых изображаемое бытие «обтянуто полупрозрачной оболочкой»,— критик, как о важном обстоятельстве, определившем их характер, говорит о преследовавшем писательницу страхе безумия.

Что во всем этом актуального — трудно сказать.

■

Авторы книги «Современные литературы мира» исходят не из реального представления о современном мире, происходящих в жизни общества процессах и не из реального понимания места и роли литератур различных народов в художественном развитии человечества. В основу их труда положены самые банальные концепции буржуазного литературоведения, которые не позволяют правильно и исторически объективно видеть и отображать явления и процессы.

Ни в общей ориентации, ни в деталях создатели книги не приближаются к объективному и сколько-нибудь верному охвату современной мировой литературы, явления многообразного и сложного.

Из панорамы исключен почти целый материк — Африка, многие страны Азии, освободившиеся от колониализма. Многообразным литературам стран Латинской Америки посвящен общий, скупой и схематичный обзор, который не дает представления ни о специфике, ни о своеобразии путей развития художественного творчества в Аргентине, Уругвае, Венесуэле или Гватемале. Создатели книги находятся в плену европоцентристских концепций, мешающих широкому и свободному взгляду на современный мир и самобытную культуру различных его районов. В книге «Современные литературы мира» мы видим лишь лицо современного буржуазного литературоведения, оказывающегося не в состоянии представить и объяснить картину художественного развития человечества в нашу эпоху. Как бы ни расхваливали создатели книги свое начинание, они и приблизительно не выполнят миссию, на которую претендуют.

Стремление представить панораму современной литературы, не признавая истинной роли направлений, связанных с передовой идеологией века, с борьбой народных масс, вышедших на сцену активной борьбы за свои права и свое будущее, может лишь компрометировать тех, кто берет на себя эту неблагодарную задачу.

А. ЕЛИСТРАТОВА

# «ВРЕМЕНА ИЗМЕНИЛИСЬ...»

## О последних романах Колдуэлла

Роман Эрскина Колдуэлла «Дженни» (1961) — в своем роде не менее значительное явление в творчестве этого писателя, чем «Зима тревоги нашей» в творчестве Стейнбека или «Особняк» в творчестве Фолкнера. Облик каждого из этих писателей слишком своеобразен, пути их слишком различны, чтобы можно было установить между ними прямые аналогии. Но общая черта этих книг — пересмотр того, что на протяжении последних полутора десятилетий, казалось, удовлетворяло художника, поиски новых решений, основанных на более глубоком и требовательном осмыслении жизни.

В сознании старшего поколения советских читателей воспоминание о первом знакомстве с молодым Колдуэллом неразрывно связано с воспоминаниями о трагической Америке 30-х годов. Автор рассказов, вошедших в сборники «Американская земля» (1930) и «На колени перед восходящим солнцем» (1935), и таких романов, как «Табачная дорога» (1932), «Акр господа бога» (1933) и «Случай в июле» (1940), черпал свои темы, сюжеты и образы в глубинах взбаламученного, бушующего моря народной жизни. Он высказывал без прикрас и умолчаний жестокую правду о положении миллионов людей, лишенных земли, работы, хлеба и крова. Он писал о гнусном произволе линчевателей, о безграничном унижении человеческого достоинства, о темноте и о диких нравах. Картины, им нарисованные, показались бы отталкивающими, если бы читатель не чувствовал, что беспощадная наблюдательность художника обострена его негодованием, тревогой и болью за судьбы простых людей «американской земли».

Автопортрет писателя, воссозданный им в позднейшей книге воспоминаний — «Назовите это опытом» (1956), свидетельствует о том, что молодой Колдуэлл не со стороны, как сочувствующий, но нейтральный созерцатель, наблюдал тяжкие испытания, выпавшие на долю американского народа в годы кризиса. Он и сам прошел сызмальства суровую жизненную школу и по праву вспоминал впоследствии, что одним из важнейших уроков, которые он усвоил еще подростком, было убеждение, что учиться писать надо только «у самой жизни».

С двенадцати лет он уже ходил за плугом, а четырнадцатилетним парнишкой тайком от родителей нанялся в ночную смену на маслозавод и с 11 часов ночи до утра сыпал на транспортер хлопковое семя, а утром бежал в школу, пока месяца через два не выдал себя, уснув за завтраком крепким мальчишеским сном. На этот заработок он купил себе подержанную пишущую машинку — вещественный символ его уже обозначившейся «профессионализации». Пока что будущий литератор нанялся в редакцию местной еженедельной газеты, где в свои четырнадцать лет набирал вручную текст, вертел рукоятку печатного станка, складывал свежие номера газеты, надписывал адреса и разносил газету подписчикам, а когда редактор был в отпуску, поставлял и газетную информацию. За все это по истечении лета он не получил, впрочем, ни цента: пройдоха-редактор заявил, что Эрскин должен быть ему еще благодарен за то, что прошел бесплатно такую хорошую школу.

Учась урывками то в пресвитерианском Эрскин-колледже (в Южной Каролине), то в Виргинском университете, он исколесил весь Юг, забираясь зайцем в попутные товарные составы. Он не чурался никакой работы: был шофером у сельского врача

в Джорджии и подмастерьем каменщика в Тенесси, собирал хлопок на плантациях в Алабаме, развозил молоко в Вашингтоне, торговал апельсинным соком в Филадельфии и посудой в универсальном магазине в Вилькс-Барре, служил ночным швейцаром в бильярдной в Шарлоттсвиле, а в Луизиане, пытаясь поступить на лесопильный завод, угодил в тюрьму по подозрению в принадлежности к «Индустриальным рабочим мира».

Здесь были его настоящие университеты. Здесь окрепло в нем, как вспоминает он сам в своей автобиографии, желание писать — «писать о людях, которых я знал, писать о том, как они действительно живут, действуют, говорят».

Прошло более шести лет самоотверженного, отчаянного, упрямого труда, прежде чем молодой писатель увидел в печати свой первый рассказ. К негодованию своего газетного «босса», он оставил работу репортера, когда убедился, что она уже не помогает, а мешает ему в его литературных поисках. Вместе с семьей он перебивался со дня на день чем придется. Газеты «Шарлоттсвиль обзёрвер» и «Хьюстон пост», для которых он рецензировал книжные новинки, расплачивались с ним не деньгами, а «натурой» — книгами, и распродажа заработанных таким образом книг долгое время составляла существенную доходную статью в скромном бюджете Колдуэлла. В течение нескольких лет он пытался хозяйствовать на заброшенной ферме в штате Мэн. Сутки были поделены на три части. Днем надо было валить деревья, пилить и колоть дрова, чтобы запастись топливом на всю зиму. В сумерки начиналась работа на огороде, где росли картофель и брюква — основной рацион семьи. Ночи были отданы творчеству. «Сон, по крайней мере на несколько месяцев, стал почти недосягаемой роскошью,— вспоминает Колдуэлл.— Время, казалось, бежало так быстро, столько надо было сделать, что иной раз по ночам, сидя за пишущей машинкой, я останавливал часы или переводил назад часовую стрелку». К тому же северная мэнская зима, оказавшаяся неожиданно суровой для молодого южанина, уроженца Джорджии, опрокинула все его расчеты. Дров не хватало. Даже крысы бежали из нетопленного, пустого дома. Под треск промерзающих балок, завернувшись в одеяло поверх свитера, кожаной куртки и пальто, он продолжал писать, отогревая дыханием коченеющие пальцы. Соседи в недоумении следили за этим чудаком. Когда он объяснял, что намерен стать профессиональным писателем, они с сомнением качали головой: на эти заработки, как видно, не очень-то хорошо живется? «Пока что, боюсь, не очень»,— отвечал он.

Изо дня в день Колдуэлл рассылал свои рассказы во все известные ему журналы и регулярно получал отказы. Этих стандартных бланков накопилось так много, что он завел для них особый альбом. В глубине души он был твердо уверен, что рано или поздно пробьется в печать, и заранее предвкушал, с каким удовольствием сожжет тогда эмблему своих первых неудач. Прошло несколько лет, прежде чем вместо безличных бланков, механически заполненных секретарской рукой, он стал получать письма от редакторов. Мотивировки были различны, но вывод оставался неизменным: рассказ не может быть напечатан. Подлинный шедевр колдуэлловского юмора — рассказ «Полным-полно шведов» был отвергнут по меньшей мере двенадцать раз. Последний отказ гласил: «На этой старой кляче вам никуда не доехать».

Первая победа пришла в конце 1929 года, через шесть с лишним лет после того, как он начал писать; редакция ежегодной антологии «Новый американский караван» известила Колдуэлла, что один из его рассказов принят к печати. Но он счел себя вправе осуществить свой давний план и торжественно сжечь накопившиеся за много лет отказы только после того, как две его новеллы были напечатаны в следующем году популярным журналом «Скрибнерс». Колдуэлл подверг беспощадному суду и самого себя. Внимательно пересмотрев все свои неопубликованные стихи, юморески, очерки, рассказы и романы, составлявшие содержимое трех битком набитых чемоданов, он сжег все эти рукописи на том же костре, на берегу уединенного лесного озера. Годы ученичества кончились, надо было еще раз начать писать сначала.

А это значило снова и снова колесить по стране, жить заботами, нуждами и тревогами обездоленных — неизменных героев тогдашнего Колдуэлла. Рассказывая о своем становлении как писателя, автор вспоминает: «Я понял, что никогда не буду удовлетворен тем, что делаю, пока не напишу большой роман, и, кроме того, роман этот неиз-

бежно должен быть посвящен фермерам-арендаторам и издольщикам, которых я знал в Восточной Джорджии... Я чувствовал, что никогда не смогу хорошо писать о других людях из других мест, пока не напишу о судьбе безземельных и нищих семейств, живущих на песчаных холмах и табачных дорогах Восточной Джорджии... Я хотел рассказать историю людей, которых знал, рассказать, как действительно шла их жизнь изо дня в день и из года в год,— и рассказать это, не заботясь о модных приемах письма и традиционных фабулах. Мне казалось, что самый достоверный и прочный материал литературы — это сам народ, а не хитроумные фабулы».

В своем роде это был манифест реалистического искусства, манифест, осуществление которого потребовало от молодого писателя немалого мужества.

Мучительно горько было наблюдать страшную нищету издольщиков, которую он помнил с детства, но которая теперь, зимой 1930—1931 годов, стала еще безысходней. И горько было чувствовать, как трудно найти слова, которые могли бы выразить эту народную трагедию.

«День за днем я странствовал по округе, все более подавленный тем, что мне открывалось по мере того, как я забирался в глушь, дальше от поселков и больших дорог,— вспоминает Колдуэлл.— Я не мог привыкнуть к виду детей со вздутыми от голода животами, и больных, и стариков, слишком слабых для того, чтобы выйти в поле поискать пропитания. Вечерами я писал об увиденном за день, но то, что я заносил на бумагу, не передавало всей бедности, безнадежности и унижения, которые я наблюдал». Уехав в Нью-Йорк, он уничтожил все, что написал в Джорджии. Теперь, когда отстоялись впечатления, ему стали яснее контуры будущего романа: «Табачная дорога» была написана единым дыханием, за три месяца. Бюджет автора и не выдержал бы, пожалуй, большего срока. Стоимость крошечной каморки на верхнем этаже старого, подлежащего сносу дома, ежедневной миски чечевичной похлебки, чашки кофе и черного хлеба, пачки подмоченной, бракованной, а потому «уцененной» писчей бумаги — все было рассчитано точно, до последнего цента. Когда Колдуэлл закончил первый вариант своей рукописи, в кармане у него осталось ровно столько денег, сколько было нужно, чтобы вернуться в Мэн.

Роман «Табачная дорога» вышел в 1931 году, почти одновременно с «Трагической Америкой» Драйзера. Сейчас, тридцать лет спустя, особенно ощутима перекличка между этими книгами, несмотря на всю разницу и в их жанре, и в широте охвата американской действительности, и в последовательности выводов. Как здесь, так и в дальнейшем, вплоть до «Трагической земли» (самое заглавие которой, как зловещее эхо, повторяло тезис, провозглашенный Драйзером), Колдуэлл отказывался от сентиментальных прикрас и лжеоптимистических уловок в изображении социальных «низов» Америки. Он писал о людях, забитых и затравленных до потери человеческого облика; тупой и жестокий «идиотизм деревенской жизни» представал на его страницах во всей своей потрясающей уродливости. Иной раз читатель, почти против воли, смеялся над нелепыми поступками его бестолковых, растерянных, беспомощных в своем упорстве героев. Но смешное у Колдуэлла почти всегда находилось где-то совсем по соседству с ужасным, и трагикомический гротеск не случайно стал, начиная с первых произведений писателя, одним из его главных изобразительных средств.

И, однако, в период создания лучших его книг этот трагикомический гротеск не стал штампом, не ограничил поисков художника. В творчестве Колдуэлла 30-х годов глубоко заложено и лирическое начало. Вера в достоинство человека не покидала писателя. На пороге публичного дома, в трущобах среди помойных ям ему виделись образы, полные женственной прелести и чистоты,— так возникали рассказы, подобные «Дороти» и «Рэйчел». В «Кэнди Бичеме», написанном в духе народно-поэтического сказа,— небольшом стихотворении в прозе,— вставал патетический образ молодого труженика-негра, гиганта-силача, который хоть ночью, идя к своей милой, хочет быть «сам себе хозяином», не разбирая, «кто тут белый, кто черный». Кэнди Бичем сражен полицейской пулей; но рассказ о нем кончается символически призывным, мощным финалом: «—Ну, что ж! Если такие дела творятся на свете — дайте дорогу, Кэнди Бичем идет».

Колдуэлл писал и без иносказаний о гневе, растущем в обездоленных массах народа. Читателям запомнилась его новелла «Дочка», где возмущенная толпа взламывает двери тюрьмы, чтобы освободить издольщика Джима Карлайля, который, доведенный до отчаяния, убил свою восьмилет-

нюю дочь, чтобы не видеть, как она мучается, умирая медленной голодной смертью.

Оглядываясь двадцать лет спустя, в 1951 году, на тот период своей творческой жизни, Колдуэлл счел нужным особо оговорить, что у него не было ни запаса «философских истин», ни «проповеднического стремления изменить течение человеческих судеб». Просто, вспоминает он здесь же, «я хотел изобразить в меру своих способностей стремления и отчаяние людей, о которых я писал. Если из этого можно было извлечь какие-то уроки, то их следовало искать в самих этих картинах жизни, и каждый читатель, по велению собственной совести, мог свободно толковать их по-своему».

Но если Колдуэлл в тридцатых годах сделал свой выбор, то и буржуазная Америка попыталась, насколько возможно, сквитаться с ним. Большинство рецензентов, за несколькими исключениями, вспоминает Колдуэлл, встретило «Американскую землю» — его первый сборник рассказов — демонстративным пренебрежением. Та же участь постигла и «Табачную дорогу». Были пущены в ход и другие традиционные приемы борьбы с правдивым словом. В Чикаго была запрещена инсценировка «Табачной дороги». «Нью-йоркское общество по искоренению порока» возбудило в 1933 году дело против второго романа Колдуэлла, «Акр господа бога», обвиняя автора в непристойности. А ведь именно эти книги принесли Колдуэллу признание. Писатель, произведения которого становились известными уже не только в США, но и за пределами его родины, в Советском Союзе, во Франции, продолжал жить впроголодь и работал в условиях, немногим отличавшихся от тех, в которых жили его неприкаянные герои. Единственная роскошь, какую он позволил себе, получив гонорар за «Акр господа бога», заключалась в покупке сразу трех (!) новых экземпляров массивного этимологического словаря Вэбстера вместо прежнего, вконец истрепавшегося (словари и пишущие машинки, по признанию Колдуэлла, и теперь составляют его страсть). Будучи уже автором трех напечатанных книг, он писал четвертую — сборник рассказов «На колени перед восходящим солнцем» — в сыром нетопленном подвале нью-йоркского дома обмороженными пальцами, пока не нашел хитроумного способа спастись от зимней стужи: взяв билет на несколько дней пути в автобус дальнего следования, он мог весь день, сидя в тепле, писать карандашом, если только машину не слишком трясло, а во время ночных стоянок — перепечатывать на машинке написанное за день. В течение шести недель отчаянной работы было написано большинство рассказов, составивших сборник «На колени перед восходящим солнцем».

Так формировался самобытный, «жестокий» и вместе с тем глубоко человечный талант этого художника.

В конце своих воспоминаний, перечисляя типические вопросы, задаваемые ему читателями, Колдуэлл приводит и такой: «Какую цель вы себе ставили, сочиняя книги, подобные «Табачной дороге», «Поденщику» и «Трагической земле»? Что хорошего в таких книгах?» И еще один: «Вы слишком много пишете о бедняках. Почему вы не пишете о приятных сторонах жизни?» Он отвечает на это: «Целью всех моих книг было создать зеркало, в которое люди могли бы взглянуть на себя. Польза или вред, которые могут принести мои книги, зависят от того, как будет реагировать человек на образ, отразившийся в зеркале». И второй ответ: «Людей, наслаждающихся приятными сторонами жизни, меньше, чем людей, которые выносят на себе ее тяготы. Когда эти социальные условия перестанут существовать, я пойму, что нет больше смысла писать о воздействии нищеты на человеческую душу».

Лучшие книги Колдуэлла действительно были зеркалом, в котором американский народ увидел себя и свою «трагическую землю». И историк США тридцатых и сороковых годов нашего столетия не может пройти мимо них.

В послевоенные годы Колдуэлл писал столь же неустанно, как и ранее. И многое в романах и рассказах этого времени наводило читателей на раздумья о судьбах американского народа. Он писал о мертвенно-застойной жизни Юга, где рабовладение оставило столь глубокие корни и в экономике и в сознании людей, что порой лишь по внешним, мелким подробностям быта можно угадать, что дело происходит не до Гражданской войны 1861—1865 гг. и отмены рабства, а в наше время («Дом в Верховьях», 1946; «Эстервилл», 1949). Он писал об оскудении мелких фермерских хозяйств и на Севере и на Юге, о заколоченных домах и полях, поросших бурьяном («Свет лампы по

вечерам», 1952), и о том, как засасывает трясина городского дна людей, потерявших вековую связь с землей и не нашедших для себя места в механизме капиталистического индустриального производства («Эта земля», 1948).

Но, вглядываясь в панораму, которую развертывал перед ними художник, читатели ощущали, что им не хватает в колдуэлловских книгах послевоенных лет чего-то очень важного, что входит составной частью в эмоциональный подтекст его прежних произведений: не хватает чувства негодования и протеста, которые раньше, бывало, писателю удавалось уловить в сознании народных масс. Жизнь все чаще представала у него как стоячее гнилое болото, на поверхности которого, погрязая в зловонной тине, копошатся беспомощные и нелепые существа, именующие себя людьми. Лишь изредка короткий звук нарушит мертвую тишину. Хряснет топор по живому телу: это так, ни за что, зарубили, «чтоб не зазнавался», еще одного негра («Эстервилл»). Грянет выстрел, обрывающий чью-то жизнь: это застрелился из охотничьей двустволки восемнадцатилетний Хоуард Эмерсон, которого отец не пустил учиться в город, чтобы сохранить на ферме дарового батрака («Свет лампы по вечерам»); а может быть, это звук пистолета, из которого застрелилась школьница Аннет, испуганная и потрясенная грязью, внесенной в ее родной дом тупой, развратной мачехой («Статуэтки»). Но болото быстро засасывает все следы происшедшего, поверхность его после мгновенного всплеска опять становится неподвижной, и водворяется снова прежняя тишина. Иногда, читая эти книги, попадаешь в положение кинозрителя: кажется, будто кто-то во время сеанса внезапно выключил звук. Происходящее на экране требует криков ярости, воплей отчаяния, ропота, угроз, но их нет: все молчит.

В этом безмолвии, в той безгласной, приниженной покорности, с какой гибнут или теряют свое человеческое лицо персонажи многих послевоенных произведений Колдуэлла, чувствовалось что-то нарочитое. Известный американский критик Ван Вик Брукс упрекнул Колдуэлла даже в равнодушии к страданиям своих героев. «У Эрскина Колдуэлла,— писал Брукс в своей книге «Писатель в Америке»,— никогда не знаешь, испытывает ли автор хоть сколько-нибудь сострадания к жертвам, которых он изображает, и хочется ли ему действительно, чтобы их характеры и условия, в которых живут эти жертвы, могли стать иными, чем теперь. Часто кажется, что автор попросту упивается убожеством, картины которого он воспроизводит, как будто все жизненные ценности представляются ему одинаково безразличными».

В столь категорической форме упрек этот вряд ли справедлив. Но некоторые из недавних книг Колдуэлла — особенно те, которые появились уже после выхода в свет критического очерка Ван Вик Брукса,— действительно могли дать основание для недоумения и досады читателям, привыкшим ценить по достоинству великолепные возможности этого талантливого писателя. Такие романы, как «Любовь и деньги» (1954), «Гретта» (1955), или повести «Некоторые женщины» (1957), вызывали ощущение, что перед нами — не прежний взыскательный к себе художник, для которого высшее мерило совершенства — верность правде жизни, а опытный, высококвалифицированный литератор, превосходно владеющий техникой своего ремесла и умеющий, оседлав своего «конька», заставить его выделывать, к удовольствию публики, привычные эффектные курбеты.

В названных книгах нет недостатка в типично «колдуэлловских» гротескных трагикомических ситуациях. Но если раньше у Колдуэлла сюжет — то смешной, то уродливо-чудовищный — давал повод к прямому или скрытому, но потенциально присутствующему в произведении обобщению, то теперь, напротив, он как бы становится для автора самоцелью.

Повести, вошедшие в книгу «Некоторые женщины» — ограничимся этим, очень характерным примером,— оставляли особенно досадный привкус «литературщины». Семь разных молодых женщин — семь героинь этих повестей — по различным причинам стоят перед жизненной катастрофой. Но, введя читателя поначалу в обстановку тяжелой житейской драмы, автор затем одним внезапным «поворотом винта» механически устраняет все обстоятельства, которые, казалось, неизбежно предрешали печальную развязку.

Клинт принуждает к сожительству Вики, угрожая, в противном случае, раскрыть мужу ее позорную тайну: нужда когда-то заставила ее пойти в публичный дом. Счастью молодоженов, кажется, пришел конец. Но что стоит автору, своевременно вмешав-

шись в дело, пустить под откос машину, где сидит за рулем подлый шантажист? И Вики за завтраком с облегчением узнает от ничего не подозревающего мужа — свидетеля утренней аварии — о гибели своего врага.

Наннет, сирота, попавшая в город из деревенской глуши, поступила подавальщицей в ночной бар и стала жертвой домогательств хозяина и бешеной ревности его жены. Хозяйка так исполосовала ей лицо кухонным ножом, что в свои семнадцать лет Наннет изуродована на всю жизнь. Она выглядит столь отталкивающе, что никто не берет ее в услужение. Но у автора и здесь есть наготове великолепная развязка: он устраивает Наннет экономкой к слепому холостяку, обладателю превосходного дома и благородной души, который почитает себя счастливцем, раз эта юная девушка, с таким нежным голосом и легкой походкой, согласилась делить с ним его одиночество.

Нельзя не почувствовать, что в этих столь нарочито благополучных, аляповатых развязках, вроде дешевых рождественских подарков, только что вынутых из целлофановой упаковки, очень мало от прежнего Колдуэлла, который упрямо провозглашал себя врагом хитроумных фабул и насмехался над пошло-сентиментальными штампами Голливуда *.

Подобные книги невольно заставляли читателя задаваться вопросом: неужели нет больше прежнего Колдуэлла — непримиримого в своей ненависти ко всякой беллетристической фальши, твердо убежденного в том, что «основной материал литературы — это ее содержание, те жизненные факты, о которых ты рассказываешь, те мысли и устремления, которыми живут повсюду мужчины и женщины, достоверность и естественность вымышленных персонажей, которые никогда не существовали на земле, но которые производят на читателя впечатление реальных людей?» Неужели он переменился настолько, что, сохранив из своего прошлого богатый запас эффектных трагикомических ситуаций и образов, лишь ловко манипулирует ими, раскладывая их, как карты в замысловатом пасьянсе? Неужели превосходно разработанная техника немногословного, драматически напряженного повествования служит ему теперь не для исследования глубин действительной жизни, а для создания ее суррогата? И уж не о себе ли самом обиняками и намеками писал он в романе «Любовь и деньги», создавая образ популярного, модного беллетриста Родрика Саттера, для которого сочинительство и жизнь — две разные области, наглухо отгороженные друг от друга, и который, сочиняя свои авантюрно-исторические «боевики», превосходно знает, что пишет о том, чего никогда не было и не могло быть?

Казалось, что и сам Колдуэлл, оглядываясь на свое творчество, отделяет резкой чертой написанное в 50-х годах от более ранних — и более выразительных и сильных — вещей. В ходе интересной беседы с писателем, которая состоялась в редакции журнала «Иностранная литература» осенью 1959 года, когда Колдуэлл приезжал в СССР, он склонен был объяснить эти различия переменами в самой американской действительности. «Конечно, сейчас я не могу писать так, как я писал в 30-е годы». Он ссылался и на то, что исчерпал до конца некоторые темы и не может более возвращаться к ним,— не может, в частности, возвращаться к вопросу о расовой дискриминации в США после того, как написал «Случай в июле» и «Эстервилл» — «два лучших, по-моему, романа, которые вообще написаны в Америке о взаимоотношениях белых и негров».

■

Однако новый роман Колдуэлла «Дженни», вышедший в 1961 г., то есть всего два года спустя, неожиданно опроверг многие из этих суждений самого художника, а вместе с тем рассеял и опасения его читателей.

Кажется, жар молодости снова вернулся к писателю, а с ним и острота взгляда, и чуткое восприятие глубинных жизненных сдвигов, свершающихся под поверхностью каждодневного будничного существования. Ничего не повторяя, Колдуэлл снова становится самим собой, каким его узнали и полюбили читатели его первых книг. Он пишет о современной Америке второй половины XX века, но он пишет о ней, как Кол-

* В книге «Назовите это опытом» Колдуэлл весьма непочтительно излагает абсурдную историю своего первого контакта с Голливудом: фирма «Метро—Голдуин—Мейер» безуспешно пыталась получить от него «разработку» чужого сценария, о котором Колдуэллу было известно только то, что он должен кончаться самоубийством луизианской красавицы, дочки охотника, которая из-за несчастной любви решает утопиться в живописном заливе. Позднее, однако, Колдуэлл много работал для Голливуда.

А. ЕЛИСТРАТОВА

дуэлл 30-х годов,— с прежней смелостью и резкостью, с прежним упрямым желанием докопаться до действительных забот, мыслей и стремлений своих соотечественников — людей из народа.

До поры до времени главный конфликт романа заслонен шумной и бестолковой суматошной возней, в которой принимает участие целая вереница гротескных, типично колдуэлловских персонажей.

Эксцентричный шутовской хоровод мечется на авансцене романа, подступая подчас, как это порой бывает у Колдуэлла, к самой грани непристойности, а иногда и переходя за нее. Нередко читатель с досадой ощущает, что откровенная нелицемерная трактовка эротической темы, составлявшая одно из достоинств реалистического творчества Колдуэлла, переходит в нечто противоположное. В изображении отношений между Дженни Ройстер и карликом Визи Гудвилли — как и в некоторых других эпизодах романа — колдуэлловская буффонада превращается иной раз в прямую пошлость.

Но эти черты книги — отражающей, в той или иной степени, и вкусы американской читательской публики, и уровень американской беллетристики — никак не являются главным и определяющим началом в «Дженни». Главное здесь — это подспудное движение жизни, которое улавливает художник и которое он воспроизводит наперекор собственным и чужим, но ставшим привычными, литературным штампам.

На первый взгляд, читателю может показаться, что он снова очутился в неподвижной атмосфере одной из прежних книг Колдуэлла.

Сэллисоу — небольшой городок в штате Джорджия, где происходит действие романа, ничем не отличается от Пальметто, Эстервилла и других медвежьих углов Юга США, столько раз уже изображавшихся Колдуэллом. Тот же самый сонный, затхлый мещанский быт; те же темные, тупые обыватели, благодушные, пока ничего не нарушило их покоя, но мгновенно звереющие, стоит им почуять хоть малейшую угрозу своему карману или «бизнесу».

И даже поначалу как будто бы тот же, уже привычный для писателя «набор» ситуаций и персонажей: несколько нелепых, смешных чудаков, несколько неудачников, один не слишком назойливый резонер, да где-то на заднем плане — крупный делец-воротила, «хозяин» города, его приспешники да блюстители порядка, всюду попадающие слишком поздно...

Да разве все они или очень похожие на них фигуры не встречались уже на страницах «Эстервилла», «Эпизода в Пальметто», «Клодели Инглиш», «Некоторых женщин»? И да, и нет. Главное отличие «Дженни» от перечисленных книг состоит не в отдельных оттенках или подробностях характеристики сходных фигур, а в том, что в этом романе пешки-персонажи стали в собственном смысле слова действующими лицами, способными думать, рассуждать, принимать неожиданные и смелые решения, способными, наконец, бороться. Обозначились и основные линии этой борьбы. Уже не стоячее болото всеобщего безнадежного убожества и разложения, а вполне определенный и очень значительный по своему общественному смыслу конфликт предстает читателям романа «Дженни».

В трех образах, в истории трех разных человеческих судеб художник воплощает глубоко волнующую его, как видно, тему непокорности, нежелания мириться с темными силами жизни. Бетти Вудраф, Лоуэна Нели, Дженни Ройстер очень несхожи друг с другом по своему прошлому, воспитанию, складу характера. Но все они принадлежат к новому для послевоенного творчества Колдуэлла роду людей, «выламывающихся» из-под власти косных традиций.

Бетти Вудраф, в отличие от многих своих предшественниц в других романах и рассказах Колдуэлла, отчаянно пытается выкарабкаться из трясины проституции, которая готова засосать ее. Потрясенная своим унижением и позором, она еще духовно не сломлена. И ее отъезд из Сэллисоу на поиски другой жизненной дороги говорит о решительном разрыве с прошлым.

Дух стойкости и сопротивления придает подлинную значительность образу другой молодой героини — Лоуэны Нели. В обрисовке ее облика Колдуэлл — и это знаменательно — совершенно отказывается от своего привычного шутовства и гротеска; с этой девушкой в книгу входит настоящая трагедия.

Уже первые горькие «уроки», какими встречает ее Сэллисоу, должны, казалось бы, принудить Лоуэну к неизбежной сделке с обстоятельствами. Ей ли, «полукровке», искать в этом городишке, отравленном расовой ненавистью, квалифицированную работу, требовать к себе уважения, целомудренно хранить свою чистоту? Но Лоуэна не сдается. Очень важная, новая, насколько мы

можем судить, для творчества Колдуэлла черта характеризует нравственный облик его героини — это ее гордость, ее пламенное чувство собственного достоинства. Еще недавно она казалась «наивной и доверчивой, как девочка-школьница»; но первый же обидный намек на ее расовую «неполноценность» исторгает у нее гневный протест: «Я горжусь тем, что я есть!.. И все равно гордилась бы, кем бы я ни была — негритянкой или индианкой! Горжусь не меньше, чем вы, или кто угодно из белых!»

Лоуэне Нели суждено погибнуть. Но она уходит из жизни, не запятнав себя ни трусостью, ни компромиссами,— несломленная, непокоренная. И образ этого юного, чистого и прекрасного существа возвышается в романе как символ сопротивления, заложенного в душе человека.

Та же сила сопротивления неожиданно, а вместе с тем художественно вполне убедительно проявляется и в третьем образе романа, принадлежащем к той же галерее непокорных, протестующих фигур, в образе самой Дженни Ройстер.

Как мало, казалось бы, героического в облике этой дряхлеющей благодушной толстухи, сердобольной, но недалекой, простоватой и уж, конечно, весьма малопочтенной и в прошлом и в настоящем своем поведении! И, однако, именно она оказывается несокрушимо стойкой и готовой к подлинному самопожертвованию в столкновении с такими могущественными силами, перед которыми позорно пасует даже ее самоуверенный советчик судья Рэйни, со всем его житейским опытом и знанием законов. Она наотрез отказывается выселить из своего дома Лоуэну, хотя именно этого требует «хозяин» города Дэйд Уомэк, привыкший ворочать по своему произволу и капиталами, и людьми и, в частности, извлекать неплохой доход из принадлежащих ему трущоб — этого гетто для «цветных» жителей Сэллисоу.

Фигура Уомэка — свидетельство социальной прозорливости художника. Это — не заурядный обыватель, а один из тех воротил, которые под прикрытием «выборных» учреждений хозяйничают в политике и экономике США. Ему нетрудно расправиться с Дженни Ройстер. Но это — опасная победа; в ней уже есть зерно поражения. Половина города смотрит, как горит дом Дженни, подожженный приспешниками Уомэка, и задумывается над смыслом происшедшего. «Люди будут восхищаться вами всю жизнь за то, что вы бросили вызов Дэйду Уомэку и его расовым предрассудкам. Вы сделали то, чего не осмелился сделать никто другой в городе»,— говорит ей судья Рэйни.

Пробуждение гражданской совести в самом Рэйни — этом умном, дельном, но слишком привыкшем к компромиссам человеке — многозначительная нота, на которой заканчивается роман. Нельзя быть трусом. Нельзя бояться жизни. Нельзя прятаться от нее. К таким выводам приходит судья Рэйни, и его последние слова, какими завершается книга, возвещают борьбу с произволом Уомэка, в которую он намерен вступить.

Это — тема еще не написанных произведений американской литературы, и мы не знаем, будут ли они написаны Колдуэллом. Но уже само появление этих новых настроений, мыслей и образов в романе «Дженни» чрезвычайно примечательно. Оно позволяет догадываться о глубоких подспудных сдвигах в творчестве этого художника, чуткого и внимательного наблюдателя и участника жизни своего народа.

■

Об этих сдвигах свидетельствует и новый роман Колдуэлла, вышедший в 1962 году, через год после «Дженни». «Возле самого дома» («Close to Home») — еще одна книга об американском Юге, и в центре ее опять-таки проблема расовой дискриминации — та самая общественная проблема, которую писатель, как помним, еще недавно объявлял для себя уже «исчерпанной» и закрытой. Как видно, реальные обстоятельства жизни США слишком властно продолжают напоминать Колдуэллу об этой проблеме. И она ставится в романе «Возле самого дома» с не меньшим драматизмом, чем в «Дженни».

Место действия романа — городишко под громким названием Пальмира, с тремя тысячами жителей, из которых половина белых и половина «цветных», захолустье, столько раз привлекавшее внимание Колдуэлла. И здесь жадность, тупость и темные расовые предубеждения из поколения в поколение уродовали души людей и принизили их настолько, что, кажется, им уже никогда не распрямиться. Но какие-то перемены назревают в социальном и духовном климате этого косного мирка; и ощущение неизбежности этих перемен — главное эмоциональное впечатление, которое выносит читатель из нового романа Колдуэлла.

---

А. ЕЛИСТРАТОВА
«ВРЕМЕНА ИЗМЕНИЛИСЬ...»

Действие начинается с шутовских, комических сцен, которые, однако, и здесь, как и в «Дженни»,— очень быстро оборачиваются своей трагической изнанкой.

Одна из самых запоминающихся сцен романа — это сцена полицейской облавы и «допроса» мулата-грузчика Брауна озверелым Хеффлином — ярым расистом, на счету которого уже несколько убитых негров. Ее сила не только в потрясающей, беспощадной правде, с какой Колдуэлл показывает все гнусные надругательства садиста-полицейского над ни в чем не повинным Брауном, которого хотят заставить выдать полиции свою невесту. Картины линчевания, воспроизведенные с такой же жестокой полнотой подробностей, не раз возникали в произведениях американских писателей-реалистов, в том числе и самого Колдуэлла. Но важные новые черты появляются здесь в изображении того, как ведет себя Браун в эти последние минуты перед своим палачом.

Харви Браун, этот добродушный и смирный двадцативосьмилетний силач, привык делать все, чтобы избежать конфликтов с белыми «боссами», и всегда был на хорошем счету у хозяев, как негр, «знающий свое место». Тревожная мысль о смертельной опасности, ему угрожающей, бьется в его мозгу все время, пока Хеффлин допрашивает его, и Браун с привычной покорностью отвечает на окрики полицейского, стараясь не раздражать его. Но чувство возмущенного человеческого достоинства оказывается все же сильнее, чем этот вековой инстинкт самосохранения. И когда Хеффлин бросает ему оскорбительную кличку «Ты, черномазая вонючка!», Браун отвечает решительно и твердо: «Можете меня посадить в тюрьму, если хотите, мистер Хеффлин, но так меня не называйте... Никто так меня называть не смеет. У меня на этот счет есть свои чувства...» — «Да кто ж ты такой, по-твоему?» — рычит разъяренный Хеффлин. Но Харви Браун не сдается. «Я попросту человек, такой же, как все. Я родился черным, как вы родились белым. Вот и вся разница. На этом я буду стоять».

Перепуганная прабабка Мэддокс вмешивается в эту схватку. Голос этой древней старухи, родившейся на плантациях девяносто девять лет назад, еще до Гражданской войны и отмены рабства, кажется, символически выражает всю вековую забитость и приниженность чернокожих тружеников Юга. «Замолчи, Харви Браун,— в ужасе предупреждает она юношу.— Ты говоришь так, будто совсем потерял голову... Не смей так говорить с белыми. Ты, верно, совсем с ума сошел. Ты же сам знаешь, что доведешь всех нас, цветных, до самой страшной беды...»

Но Браун перед лицом смерти отвергает эту старую рабскую мораль покорности и смирения. «Я только вступился за мои права,— возражает он старухе.— От этого меня никто не удержит. Времена теперь не те, что были раньше».

Эта сцена является как бы ключом ко всему роману.

«Времена теперь не те, что были раньше»,— эти предсмертные слова зверски убитого Харви Брауна снова и снова повторяются затем разными действующими лицами книги, обсуждающими происшедшее. «Это еще не конец,— рассуждает Эд Ховард, хозяин пивной.— За это еще придется чертовски поплатиться. Вот подождите, увидите. Кое-кто еще не понимает этого, но времена изменились». «Времена изменились, а ты поступаешь так, как будто не знаешь, в чем разница»,— говорит Хеффлину и сам шериф, встревоженный тем, что расправа над Брауном, совершенная его помощником, чего доброго, понизит его шансы на выборах. Дело об убийстве Брауна замято; в протокол следствия вписана невнятная фраза, согласно которой умерший погиб от несчастного случая, «чем-то подавившись». Но убийце не удается уйти от расплаты. Не проходит и суток, как в одном из переулков Пальмиры находят труп Хеффлина, изрешеченный восьмью пистолетными пулями.

В конце романа в Пальмире, по-видимому, восстанавливается прежнее сонное болотное спокойствие, нарушенное разыгравшимися происшествиями.

Однако заключение, казалось бы, возвращающее роман к исходной точке, не может вытеснить из сознания читателя ни чувства тревоги, ни вместе с тем ощущения важных перемен, подспудно назревающих в настроениях и мыслях американского народа. Об этих переменах весомо и настойчиво говорит Колдуэлл обеими своими новыми книгами — и «Дженни», и «Возле самого дома».

З. ПЛАВСКИН

# КТО ЖЕ ХРАНИТ КЛЮЧИ ОТ «ФУЭНТЕ ОВЕХУНЫ»?

Фуэнте Овехуна — небольшое селение в испанской провинции Кордова — внешне ничем не примечательно. Приземистые домишки, лепящиеся по склонам холмов, кругом оливковые рощи да буро-зеленые пастбища, по которым бродят стада овец... Здесь нет ничего такого, что могло бы привлечь внимание бывалого путешественника. Но вот уже несколько столетий название этого селения известно не только каждому испанцу, но и далеко за пределами Пиренейского полуострова. Великий испанский драматург Лопе-Феликс де Вега Карпио (1562—1635), четырехсотлетие со дня рождения которого ныне широко отмечает все передовое человечество, прославил в веках простое испанское село, поведав о том, как в конце XV века жители его поднялись на борьбу за свою честь и достоинство и убили своего феодального сеньора — гнусного тирана и насильника.

Лопе де Вега был одним из титанов эпохи Возрождения. В своем творчестве он провозгласил права человека на простое земное счастье, воспел ум, благородство, острое чувство справедливости простых людей, выразил глубокую веру в торжество гуманных идеалов над злом и тиранией. Среди пятисот его пьес, дошедших до нас, есть немало подлинных шедевров. Но и из этих замечательнейших творений выделяется как жемчужина драма «Фуэнте Овехуна». Написанная в период наивысшего расцвета таланта Лопе, эта драма с удивительной художественной силой раскрывает гуманизм испанского драматурга, его надежды и верования.

В 1938 году на севере Испании, в Бильбао, незадолго до этого захваченном франкистами, появилась книжка некоего Эстевана Калье-Итуррино «Лопе де Вега и ключи от «Фуэнте Овехуны». Автор не скрывает, что его «исследование» носит отнюдь не академический характер и имеет своей целью «воспрепятствовать гнусному маневру... республиканских литераторов и журналистов, состоящих на жалованье у Москвы, которые, профанируя память Лопе, стремились представить его нам в качестве якобинца...» Оказывается, бешеную злобу автора книги вызвали оценки Лопе де Вега и его драмы «Фуэнте Овехуна», появившиеся в прогрессивной испанской прессе середины тридцатых годов, а также сценическая интерпретация этой пьесы в самой Испании и в Советском Союзе.

По мнению Калье-Итуррино, Лопе де Вега творил по наитию, руководствуясь «удивительной интуицией», нимало не заботясь о каких-либо социальных идеалах и идеях. А когда («не слишком часто, к счастью»,— замечает Калье-Итуррино) «по странному капризу» он ставил свое искусство на службу определенным идеалам, как, например, в «Фуэнте Овехуне», то это были идеалы верноподданного испанской монархии и добропорядочного католика. В этом Калье-Итуррино и видит ключ к драме Лопе де Вега.

Э. Калье-Итуррино — фигура, в испанском литературоведении незначительная. Не стои-

ло бы обращаться к его давнему опусу, если бы в своем стремлении подобрать «новый ключ» к «Фуэнте Овехуне» и к творчеству Лопе де Вега франкистский литератор был одинок. Но в том-то и дело, что за последние десятилетия эти попытки совершались не раз.

Еще в 1934 году американский ученый Клод Энибел в статье «Исторические элементы «Фуэнте Овехуны» Лопе де Вега», сопоставив пьесу Лопе с историческими материалами о восстании в Фуэнте Овехуне, пытался «опровергнуть» точку зрения на пьесу Лопе как на социально-политическую драму. «Лопе отнюдь не стремился подчеркнуть исторический смысл описываемых им событий»,— заявляет он. Гораздо более в истории восстания, по мнению Энибела, драматурга привлекают «сексуальный мотив и порожденное им коллективное чувство чести». Но и это, оказывается, не главное. Автор убежден, что главное в пьесе Лопе вовсе не народное восстание против командора, а восхваление и прославление юного магистра ордена Калатравы, «предка герцога де Осуна, покровительством которого пользовался Лопе». Выходит, Лопе де Вега вдохновлялся не высоким стремлением провозгласить права народа на свободу, а всего-навсего желанием в деликатной форме пропеть хвалу одному из «сильных мира сего», воздав почести памяти его предка!

Почти десять лет спустя после Энибела выступил со своей трактовкой «Фуэнте Овехуны» испанский ученый Хоакин Касальдуэро. Как и в других своих трудах, в статье «Фуэнте Овехуна» профессор Касальдуэро интерпретирует драму Лопе в отрыве от конкретной испанской действительности, как воплощение неких извечных конфликтов морали, в данном случае — конфликта между «разрушительным индивидуалистическим инстинктом» и «всеобщей гармонией, заключенной в общественном начале».

Субъективизм и формализм, присущие трудам Касальдуэро, в той или иной мере характерны для большинства работ о Лопе де Вега и его драме, опубликованных за последние годы — в частности, для трудов испанских исследователей А. Гонсалеса де Амесуа и А. Гарсии Ариаса, английских ученых А. А. Паркера, Г. В. Риббенса, американского профессора Б. В. Уордроппера и др.

Мысль о том, что драма Лопе де Вега лишена политического, общественно-актуального смысла, стала среди литературоведов Запада едва ли не трюизмом, ее высказывают как нечто известное, доказанное и даже уже само собой разумеющееся.

«Благодаря статье профессора Х. Касальдуэро нам теперь известно(!), что эта пьеса Лопе не имеет политического (или «революционного») замысла, а трактует метафизические либо моральные проблемы»,— так начинает свою статью о «Фуэнте Овехуне» известный исследователь романских литератур Лео Шпитцер. Он присоединяется к этому мнению, но полагает лишь, что его предшественники «выпустили из виду один аспект центральной темы, который доминирует во всей пьесе, а именно... «связь между любовью и гармонией».

Примеров, подобных этому, можно было бы привести немало. Между авторами этих работ нет полного единодушия, они нередко полемизируют друг с другом. Но есть у всех них нечто общее: под пером этих исследователей гуманист и жизнелюбец, страстный борец против всякой тирании Лопе де Вега превращается в искателя «чистой красоты», далекого от социальных бурь своего времени.

Тенденциозное истолкование замысла «Фуэнте Овехуны» — лишь один пример тех искажений, которым подвергается наследие великого испанского драматурга в современном зарубежном литературоведении. Трудов о Лопе де Вега и испанской драме Золотого века за последние два-три десятилетия появилось великое множество. В Испании даже создан специальный институт Лопе де Вега. В опубликованных за эти годы трудах, безусловно, содержится немало ценного. В некоторых из них прояснены многие темные места биографии Лопе, уточнена хронология его пьес, успешно исследуются текстологические вопросы, источники пьес, приемы драматической техники Лопе де Вега, бытование его наследия в последующие века и т. п. Но если оставить в стороне большое число работ фактографических, не претендующих на сколько-нибудь серьезные обобщения и оценки, положение в современной зарубежной науке о Лопе де Вега окажется малоутешительным.

Можно указать на несколько характерных тенденций, отчетливо обнаруживающихся в зарубежных трудах о Лопе. Одна из наиболее распространенных — стремление объяснить замысел и смысл всех произведений драматурга чисто личными, биографическими моментами, тем самым вырвав творчест-

во Лопе из сложной идейной борьбы его эпохи.

Весьма распространена среди современных литературоведов точка зрения на Лопе де Вега как на «стихийного гения», не очень-то задумывавшегося над большими проблемами современной ему действительности и создавшего множество веселых, но не слишком многозначительных комедий. Такая концепция, получившая отражение в трудах Хоакина Пла Карголя, Луиса Астраны Марина и других, особенно губительно сказывается на сценической интерпретации пьес Лопе на Западе, трактуемых обычно как занятные пустячки. Достаточно напомнить, например, сравнительно недавнюю экранизацию в Испании превосходной пьесы Лопе «Девушка с кувшином», превращенной усилиями режиссера и актеров в «боевик» голливудского типа.

Наконец, с каждым годом появляется все большее число «исследований», в которых Лопе де Вега изображен не крупнейшим представителем ренессансного драматического искусства в Испании, а апологетом испанского абсолютизма, поэтом, фанатически преданным идеям воинствующего католицизма и контрреформации. Именно с этих позиций рассматривает творчество Лопе де Вега автор ряда трудов о драматурге — Федерико-Карлос Сайнс де Роблес, редактор одного из последних собраний сочинений Лопе. Другой ученый — Рикардо дель Арко Гарай — в своей обширной монографии «Испанское общество в драматических произведениях Лопе де Вега» нередко оперирует произвольно надерганными цитатами, стремясь «вернуть» Лопе в лоно верноподданничества и церкви. Позиции этого исследователя разделяют многие его испанские коллеги, это подтверждается и тем, что именно ему была поручена глава о Лопе де Вега в большом коллективном обзоре истории испанской литературы.

Не случайно, что современное буржуазное литературоведение более или менее последовательно и откровенно отрекается от традиций «культурно-исторической школы», которая, при всей своей ограниченности, много сделала в свое время для исследования классической испанской литературы и, в частности, наследия Лопе, поставив изучение этого наследия на серьезную научную основу.

Роль зачинателя здесь бесспорно принадлежит выдающемуся испанскому ученому-энциклопедисту Марселино Менендесу-и-Пелайо. На рубеже нашего века он возглавил первое научное издание пьес Лопе де Вега и предварил тринадцать вышедших при его жизни томов этого капитального издания обширными вступительными статьями. И в этих статьях, которые позднее составили пять обширных томов собрания сочинений маститого ученого, и в других своих работах о Лопе де Вега М. Менендес-и-Пелайо неизменно подчеркивал глубокую народность драматургии Лопе, связь его творчества с передовыми гуманистическими течениями времени, с традициями испанского народного театра и фольклора.

М. Менендесу-и-Пелайо принадлежит также и едва ли не первая на Западе развернутая характеристика драмы Лопе де Вега «Фуэнте Овехуна».

Пьесу эту он рассматривает как народную драму, в которой получили выражение самые животрепещущие проблемы той эпохи, как произведение демократическое и революционное. Он совершенно справедливо отмечает, что в «монархизме» Лопе отразились иллюзорные надежды народных масс на королевскую власть как на защитницу крестьянства от произвола феодалов. Менендес-и-Пелайо раскрывает новаторство Лопе, сделавшего центральным персонажем драмы народный коллектив, показывает разносторонние связи произведения с испанским фольклором.

Ученики и последователи М. Менендеса-и-Пелайо в своих многочисленных трудах продолжали исследование творчества Лопе в том же направлении. Испанские ученые Рамон Менендес Пидаль и профессор Америко Кастро, американский исследователь Хьюго Альберт Реннерт, английский литературовед Рудольф Скевилл, немецкий ученый Карл Фосслер и многие другие с разной степенью последовательности и глубины раскрывают гуманизм и народность Лопе де Вега.

Именно опираясь на труды этих прогрессивных ученых, в тридцатых годах, после установления Республики, передовые деятели испанской культуры начинают широкую пропаганду творчества великого испанского драматурга. В это же время вновь приходит на сцену испанского театра и «Фуэнте Овехуна», долгие годы находившаяся под фак-

---

З. ПЛАВСКИН

**КТО ЖЕ ХРАНИТ КЛЮЧИ ОТ «ФУЭНТЕ ОВЕХУНЫ»?**

тическим запретом. Выдающаяся актриса Маргарита Ксиргу потрясает сердца зрителей Мадрида и Барселоны вдохновенным исполнением роли Лауренсии. Народно-героическую драму Лопе, как и его комедию «Дурочка», ставит в созданном им студенческом театре «Ла Баррака» величайший испанский поэт XX века Федерико Гарсия Лорка. «Ла Баррака» доносит идеи Лопе до самых глухих уголков Испании, в самую гущу народа.

Прогрессивные деятели культуры Испании вели борьбу за живого Лопе, чья жизнь и творчество близки им по духу. Недаром замечательный революционный поэт современной Испании Рафаэль Альберти, публикуя в 1935 году цикл стихотворений «Народное чествование Лопе де Вега», передает свое ощущение близости драматурга-гуманиста к современности тем, что рассказ о Лопе переплетает с картинами астурийского восстания 1934 года, а боевой клич крестьян Фуэнте Овехуны «Все воедино» («Todos a una») вкладывает в уста восставших горняков. Но, пожалуй, особенно явственной стала эта органическая связь творчества Лопе де Вега с нашими днями во время национально-революционной войны 1936—1939 годов. В эти годы пьесы Лопе выходят массовыми тиражами, ставятся во многих театрах Республики, в том числе и фронтовыми театральными бригадами. Нам посчастливилось видеть представление «Фуэнте Овехуны» во фронтовом Мадриде, в нескольких стах метров от передовой линии. Герои Лопе рождали в своих потомках, рабочих и крестьянах, заполнявших театр в перерыве между боями, революционный энтузиазм, страстный порыв к борьбе за свободу.

Именно потому и задыхаются от ярости франкистский литератор Кальe-Итуррино и ему подобные, обливая грязью передовых деятелей культуры Испании, «осмелившихся» увидеть в творчестве Лопе де Вега боевое оружие в борьбе с реакцией и фашизмом. Кальe-Итуррино усмотрел в этом «руку Москвы». Как видим, напрасно!

Мы, русские, советские люди, можем по праву гордиться тем, что в нашей стране давно и по достоинству оценили творчество великого испанского драматурга. Еще М. Менендес-и-Пелайо, с горечью признавшись, что «по странной прихоти судьбы» пьеса Лопе «Фуэнте Овехуна» не принадлежит к числу самых известных у себя на родине, тепло упоминал о русской ее постановке.

Он имел в виду спектакль «Овечий источник» в московском Малом театре, поставленный в 1876 году в бенефис великой русской актрисы М. Н. Ермоловой. Пьеса Лопе, шедшая в превосходном по тем временам переводе С. А. Юрьева, прозвучала в исполнении актеров Малого театра как гимн свободе, чести и достоинству народа. «Имя Лопе де Вега, этого Шекспира Испании,— писал один из зрителей,— ...с этого дня должно бриллиантом загореться в истории московской драматической сцены». Эти слова простого московского зрителя оказались пророческими: с той поры пьесы испанского драматурга прочно вошли в репертуар русских театров.

Перу С. А. Юрьева, первого серьезного переводчика Лопе де Вега в России, принадлежит также и первый серьезный критический очерк творчества Лопе де Вега. Примечательно, что за четверть века до М. Менендеса-и-Пелайо С. А. Юрьев в предисловии к изданию «Фуэнте Овехуны» указывал, что эта пьеса с огромной силой подчеркивает значение народа в жизни всякого общества. В этой драме, как и в других «исторических драмах Лопе де Вега,— писал С. А. Юрьев,— господствует сознание, что властелин исторических событий — народ... Во многих из этих драм собирательная народная личность выдвинута на первый план». Черты народности и гуманизма, присущие драматургии испанского Возрождения, раскрывает на примере драмы «Фуэнте Овехуна» известный русский либеральный историк и социолог М. М. Ковалевский в обширной статье-исследовании «Народ в драме Лопе де Вега «Овечий источник».

Выдающееся место не только в истории русской науки о Лопе де Вега, но и в изучении его наследия вообще занимают работы Д. К. Петрова — «Очерки бытового театра Лопе де Вега» (1901), «Заметки по истории староиспанской комедии» (1907) и другие. Основанные на огромном фактическом материале, тщательно аргументированные, эти труды в свое время не знали себе равных ни в Испании, ни в других странах.

Профессор Ленинградского университета Д. К. Петров воспитал целую плеяду блестящих исследователей испанской литературы Золотого века, продолживших труды своего учителя уже в наше, советское время на новой, марксистской основе.

После Великой Октябрьской социалистической революции Лопе де Вега приобрел в нашей стране широчайшую аудиторию. В

1919 году режиссер К. Марджанов поставил в Киеве «Фуэнте Овехуну». Город тогда был только что освобожден от белогвардейцев, бои шли под Киевом. Театр день изо дня заполняли красноармейцы — большей частью неграмотные, не разбиравшиеся в тонкостях истории, но сердцем чувствовавшие близость того, что происходило на театральных подмостках, их собственной судьбе, их собственной борьбе. К сердцам этих неискушенных зрителей и обращал свой спектакль Марджанов, спектакль прямого агитационного звучания и боевого накала. «Все происходившее он воспринимал как высокую правду,— писал о Марджанове один из участников спектакля Г. М. Козинцев.— Эта правда сплавила огнем поэзии бунт вилланов пятнадцатого века и действительность революционного города, сплавила, а не приспособила одно к другому».

Постановка Марджанова с ее страстным ощущением «связи времен», с ее героическим пафосом и романтикой на многие годы стала образцом для других советских спектаклей по пьесам Лопе де Вега. На нашу сцену пришли и другие шедевры Лопе: «Собака на сене», «Валенсианская вдова», «Учитель танцев», «Девушка с кувшином» и т. д. Всего за годы Советской власти переведено свыше тридцати пьес Лопе де Вега; они обошли сцены не только столичных, но и едва ли не всех периферийных театров, прозвучали на русском, украинском, грузинском, армянском, туркменском и других языках народов СССР. Поистине Лопе де Вега стал неотъемлемой частицей нашей советской культуры.

Успеху пьес Лопе де Вега на советской сцене в значительной мере способствовали два обстоятельства. Прежде всего, неизмеримо возросла культура перевода. Советские зрители услышали пьесы Лопе в блестящих переводах М. Л. Лозинского, Т. Л. Щепкиной-Куперник и других. Не менее существенно и то, что новые, современные методы сценического воплощения шедевров Лопе де Вега складывались в нашем театре под прямым воздействием марксистской оценки творчества испанского драматурга, данной в трудах советских исследователей. Эти работы до сих пор почти не учитываются в зарубежных библиографиях. Достаточно сказать, что в недавно опубликованной библиографии трудов о Лопе, составленной Хосе Симоном Диасом и Хуаной де Хосе Прадес, отмечены всего две советские работы! Между тем, наши ученые — А. В. Луначарский, а вслед за ним М. П. Алексеев, Г. Н. Бояджиев, В. Р. Гриб, К. Н. Державин, С. С. Игнатов, Ф. В. Кельин, Б. А. Кржевский, Н. П. Переплетчикова, А. А. Смирнов, В. С. Узин, А. В. Февральский, А. Л. Штейн и другие — за последние десятилетия опубликовали много ценных исследований творчества испанских гуманистов. Мы нередко спорим друг с другом, высказываем различные мнения по некоторым частным вопросам изучения наследия Лопе де Вега. Но в основном, главном — в оценке общественных позиций Лопе де Вега, его гуманизма и народности — советское литературоведение едино.

Кто же хранит ключи от «Фуэнте Овехуны»? Кто хранит «ключи» от наследия испанского драматурга — кучка «исследователей», видящих в драматургии Лопе обветшавший «исторический документ» и воплощение неких метафизических конфликтов, далеких от реальной общественной борьбы, или народ Испании, передовые деятели его культуры, все те, кто воспринимает творчество драматурга-жизнелюбца как вечно живое и страстное слово правды, пламенный призыв к человечности, свободе и справедливости и, следовательно, как оружие в их сегодняшней борьбе? Каждому непредубежденному читателю ясен ответ на этот вопрос: Лопе де Вега и сейчас, как и при жизни,— с народом, с простыми людьми, которым он отдал весь жар своего большого сердца, всю силу своего гения, каждую строку своих бессмертных творений.

# СЛОВО ПИСАТЕЛЕЙ ИСПАНИИ

Редакция французского еженедельника «Леттр франсез» предложила пятнадцати испанским писателям ответить на следующие вопросы:

1. Какую пользу людям Вы приносите своим творчеством в рамках современного общества?

2. Какие условия необходимы, по Вашему мнению, для осуществления избранной Вами общественной миссии?

3. Если, по-Вашему, этих условий в совокупности еще не существует, могут ли Ваши книги способствовать их созданию?

4. Считаете ли Вы, что Ваше положение в обществе оказывает влияние на выбор темы и характер ее трактовки (на технику, стиль и т. д.)?

Наиболее интересные из их ответов мы публикуем ниже.

Главное, что объединяет все эти выступления,— мужественная и честная позиция писателя-гражданина, настаивающего на высокой преобразующей роли литературы в обществе, поднимающего голос против диктатуры франкистского режима.

## ХОСЕ-МАНУЭЛЬ КАБАЛЬЕРО-БОНАЛЬД

1. Я стараюсь приносить пользу людям моим литературным трудом. Когда лет шесть-семь назад я, как и многие другие мои соотечественники, по-настоящему понял исторический смысл того, что происходит в моей стране, мне захотелось запечатлеть то, что я видел и чувствовал, с помощью честного оружия слова, которым я владел: с помощью поэм. Но постепенно я осознал одну простую истину. Исходя из принципа, что литература должна всегда отвечать конкретной исторической задаче и что каждое произведение искусства должно выполнять специфическую социальную функцию, я понял, что моей поэзии следует примениться к этой исторической задаче и к этой социальной функции. Одного пафоса гнева было мало, чтобы придать тому, что я писал, достаточную действенность. А народ, который для меня важнее всего на свете, народ, благодаря которому я чувствую себя человеком, не мог еще стать темой моих поэм. Я не верю в упрощенческие правила, годные на все случаи жизни. Но я отказался в своих стихах от бесплодного привкуса символизма, не отрекаясь, однако, от своей поэтической манеры. Повторяю, больше всего меня интересует мой народ. По правде говоря, проблемы моей родины важнее для меня, чем проблемы самой поэтической формы. Сближение человека из народа с писателем должно осуществляться на пути, по которому оба должны двигаться навстречу друг другу. С пути народа надо

убрать всевозможные ограничения, особенно суровые в условиях роковой социальной атмосферы, а поэт, в свою очередь, должен предоставить народу возможность понять его творчество. Вот к этой цели я сейчас и стремлюсь.

Именно эта политическая и литературная необходимость заставила меня попробовать свои силы в романе — жанре, наиболее пригодном для той цели, которую я себе поставил. В романе я могу высказать и развить все те мысли, какие мне было трудно выразить в стихах. Испанская действительность открыта всем, кто хочет ее видеть и понять. Я отразил эту действительность со всей возможной объективностью. Этого достаточно, чтобы роман выполнял социальную функцию и обладал определенным историческим значением, поскольку он точно воспроизводит все обстоятельства, в которых живет «исторический испанец». Такой роман откроет более широкому кругу читателей правду о нашей стране и поможет сделать выводы, которые так или иначе послужат на благо нашей родине.

2. Свобода и честность — вот два первоочередных условия. Надо окунуться в испанскую действительность, плыть против течения и писать обо всем, что ты видишь и слышишь, чего, кстати, вполне достаточно. Я настаиваю на том, что объективное изображение действительности — это единственная формула, которая дает писателю возможность выполнять его социальную роль. Ни один мало-мальски сознательный поэт и романист моего поколения (я говорю о тех, кто были детьми в годы гражданской войны) не захочет сегодня совершить предательство по отношению к самому себе и своей эпохе, ища спасения в легком, но неблагородном бегстве от действительности. Я разделяю мнение Павезе, что литература — это средство защиты от несправедливостей жизни. Если писатель имеет хоть малейшее основание считать, что ему так или иначе отказано в условиях свободы и честности, совершенно необходимых для его труда, он должен за них бороться, чего бы это ни стоило. Есть, конечно, другое решение: встать под знамена конформизма и тупости. Между прочим, я убежден, что работать надо, находясь в самой Испании, несмотря ни на что. Нашему народу нужно, чтобы мы находились на родине.

3. Конечно, инквизиторская обстановка Испании ставит препятствия к осуществлению задач писателя. Но есть еще более страшная опасность — автоцензура, которая порой заявляет о себе еще до того, как сказала свое слово цензура официальная. Автоцензура проявляется в неосознанной тенденции не писать того, что может быть запрещено. Я провел больше двух лет вне Испании и говорю, основываясь на собственном опыте. Но теперь, вернувшись на родину, я все больше проникаюсь уверенностью, что писать надо здесь, даже если придется вступить врукопашную с цензурными запретами, и при этом надо мыслить так, как если бы нам была предоставлена безоговорочная свобода. Это дает весьма действенный результат. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы читатели понимали, что мы пишем правду, и чтобы народ (общество), читая нас, был на нашей стороне.

Каждый писатель, понимающий свою эпоху, должен считать своим моральным долгом воспитание в читателях чувства ответственности по отношению к испанской действительности. Только в исключительных случаях, когда к этому вынуждают официальные рогатки, следует печататься за пределами Испании.

4. Я считаю, что мой ответ на первый вопрос анкеты включает ответ и на этот последний.

# ЛУИС РОМЕРО

1. Создание романов само по себе могло бы быть названо конечной целью. Но чтобы точнее ответить на ваш вопрос, я добавлю, что в мои намерения входит пробуждать тревогу в тех моих соотечественниках и в тех людях за границей, которые безмятежно спят. От этой тревоги им вначале станет не по себе, потом она заставит их приобщиться к социальным и чисто человеческим проблемам. Используя литературную форму, я ставлю основные проблемы, связанные с взаимоотношениями людей («справедливость или несправедливость в отношениях людей»). Я стараюсь делать это живо, целеустремленно и «художественно». Мои планы и требования все растут, и, очевидно, это отражается в моем творчестве.

В этом смысле мою позицию можно, скорее всего, определить как позицию разоблачения или протеста, то есть свидетельства. Разоблачить зло — значит сделать шаг к его возможному исправлению. Я не думаю, что задача романиста — указывать конкретные решения, сначала следует взвесить все варианты решений.

О себе говорить трудно: тут всегда возможен разрыв между намерениями и результатами. Несмотря на то, что я употребил такие слова, как «разоблачение» и «протест», по своим природным и литературным склонностям я противник ненависти: если мне удастся вытравить ее, я считаю, что этим я также принесу пользу моим ближним.

2. Свобода слова. Кроме того, более полная и доступная информация. И, наконец, более широкое распространение произведений, которые мы пишем. Последнее помогло бы решить трудную для писателя проблему материальных условий его существования. Лично я не ищу меценатов, но я хотел бы увеличить круг моих читателей.

3. Думаю, что они им способствуют. Но что касается распространения книг, то тут я ничего поделать не могу: писатель, который подыгрывает наиболее невзыскательной публике, обесценивает свое творчество.

4. На нас влияет все, что нас окружает, а нас окружает общество, в котором мы не просто собраны, а, можно сказать, замурованы. Техника и стиль составляют неотъемлемую часть творчества, его средства и механизмы. Но в этом плане мы также подвержены влиянию.

## МАРИЯ АУРЕЛИЯ КАПМАНИ

1. По-моему, я приношу людям пользу, открывая им глаза на факты действительности, которых они сами, быть может, не видят. Придавая им мужество и внося смысл в их здешнюю, сегодняшнюю жизнь. Вызывая в них осознанный гнев против всего, что несправедливо, лживо, против всего беззаконного и показного.

2. Первейшее условие — это свобода. Осознанная, завоеванная свобода. Она рождает ответственность и риск, без которых творчество не имеет никакой цены.

3. После выхода моего романа «Бетулия» в городе, который в нем описан, появились две партии, столь четко и явно очерченные, что если до тех пор я только подозревала об их существовании, то теперь в этом убедилась. В одной статье, которая отразила негодование определенных лиц, меня обвиняли в нарушении общественного спокойствия и призывали побить за это камнями. Лучшего комментария к своей работе я не могла бы и желать.

4. Разумеется, я пишу о том, что я знаю, люблю или ненавижу. О том, что входит в нравственную, социальную и географическую орбиту моих интересов. Я презираю книги, которые культивируют экзотику и изображают живописную, упрощенную действительность или действительность нарочитых «ужасов», чтобы потрафить любопытству читателя, удобно рассевшегося в кресле.

Что касается стиля, то я не верю в существование писателей, достойных этого имени, которые пишут не так, как они говорят, то есть не так, как они привыкли думать, смотреть, жестикулировать. Все остальное — не стиль, а кондитерское изделие.

## АЛЬФОНСО ГРОССО

1. Безоговорочно веря в прогресс и в человеческую солидарность, я просто стараюсь моими произведениями действенным образом послужить этому жизненному идеалу. С другой стороны, как все честные люди моего поколения, я стараюсь пробудить тревогу по поводу политической и культурной ситуации в моей стране, а также запечатлеть в своих книгах обстановку обскурантизма, в которую судьба ввергла мою страну и ее народ. Я занимаю позицию писателя-разоблачителя, сознательно взявшего на себя определенные обязательства. Кроме того, распространяя свои книги за границей, я стараюсь познакомить другие страны с проблемами Испании, рассчитывая на эффект шока, который может испытать читатель, не знакомый с подлинной испанской действительностью.

2. Свобода. Свобода. О ней я скорблю каждый день, сталкиваясь с цензурой, которой подвластны мои книги.

3. Нет никаких сомнений, что с помощью хорошо дозированного постоянного нажима испанским писателям удалось пробить брешь, которую, чего бы там ни хотели власти, не заделаешь сразу, как это случилось двадцать пять лет назад. Однако я считаю, что минимальной свободы, которую нам макиавеллистически даровало правительство — предварительно очень точно измерив ее границы,— отнюдь не достаточно: возведенный властями барьер преграждает нам путь к самым бедствующим слоям нашего общества: крестьянам и рабочим.

4. Мои стиль и техника никак не связаны с моим общественным положением. Выбор сюжета также здесь ни при чем. Когда описываешь корабль, который дал течь, одинаково интересно описать его трюм и грот-мачту. В любой из частей корабля мы обнаружим доказательство того, что в аварии виноват конструктор. Таким образом, разоблачение может дать прекрасный результат, независимо от того, описан в книге марс или румпель. Но я все же должен оговориться, что меня больше всего занимают проблемы моей родной области — Андалузии, в частности проблема крестьянства.

# ХОСЕП-МАРИЯ ЭСПИНАС

1. О влиянии писателя на общество можно спорить, зато совершенно бесспорно, что общество оказывает влияние на писателя, если писатель существует в этом обществе как его рядовой член. Поэтому я считаю, что мое творчество может запечатлеть определенную страну в определенный момент, и, следовательно, оно может помочь тем, кто не отдает себе достаточно ясный отчет в происходящем, понять эту страну и этот момент.

2. А) В плане художественном: произведение должно обладать безусловной литературной ценностью. Для того чтобы труд писателя имел смысл и был действенным, писатель должен доказать, что он писатель, и к тому же хороший.

Б) В плане социальном: читатели должны иметь доступ к книгам; для этого надо упразднить препятствия, чинимые государством — предварительную цензуру тоталитарного режима,— и экономические препоны — дороговизну книг.

3. Условие А целиком зависит от писателя. Если писатель приобрел определенное мастерство и определенное значение (условие А), он может оказать влияние на ликвидацию препон (условие Б), мешающих распространению его книг. Не столько в плане экономическом (обыкновенно, если книга имеет успех, издательства не заинтересованы в снижении цен на нее), сколько в плане борьбы с государственными запретами. Если с автором, благодаря его значению и настойчивости, приходится считаться независимо от всех внелитературных соображений, он становится исключением, которое, если такой писатель не одиночка, мало-помалу делается всеобщим правилом.

4. Безусловно, этическая позиция писателя по отношению к обществу определяется выбором (сознательным или неосознанным) тем и проблем, которые отражают направление его интересов и которые он считает необходимым предложить вниманию окружающих. А эта позиция влияет на технику, стиль и язык писателя. Писатель, которого беспокоят моральные проблемы (предполагающие волю к реформам), использует ту литературную форму, которая облегчает необходимое общение с читателем. Следовательно, такой писатель откажется от кичливого эксцентризма, от дешевой имитации экзотических моделей и от преднамеренного герметизма.

# АНТОНИО ФЕРРЕС

1. Писатель не может бежать от того общества, в котором он живет. А в испанском обществе социальные противоречия, на мой взгляд, достигли крайних пределов. Поэтому я задаю себе вопрос: «Каким людям я приношу пользу?» Я хотел бы приносить ее большинству. С другой стороны, писатель должен изъясняться свободно, но его положение является функцией социальных условий. Писатель отнюдь не так свободен, как предполагают идеалисты. Он не может уклониться от действительности, даже если в своих литературных произведениях пытается уйти от нее.

Для меня действительность — единственный источник литературного творчества. Испанская действительность вся как на ладони. Вот чем объясняется, что, описывая действительность, я стою на позициях социального разоблачения, а иногда на позициях принятия определенных обязательств перед лицом тех сил, которые хотят замаскировать эту действительность (социальный гнет и т. д.). Я хочу, чтобы мое творчество служило этому разоблачению и этим обязательствам в мою эпоху. Может быть, я приношу лишь небольшую пользу людям — большинству,—но безусловно одно: я не приношу никакой пользы «другим». Вы меня понимаете.

2. Я думаю, что для меня, как и для всех писателей, наилучшие условия творчества — это условия свободы слова. Но, разумеется, меня нельзя назвать оптимистом.

3. Ни мое творчество, ни творчество всех писателей, вместе взятых, само по себе не может создать эти условия, но по мере своих сил я могу способствовать созданию этих условий.

4. Я считаю, что произведение искусства рождается из конфликта между действительностью и формой, позволяющей рассказать об этой действительности, выразить ее. Таким образом, форма, стиль, техника рассказа рождаются не a priori, а в результате работы и определяются темой, манерой и способом трактовать эту тему — одним словом, содержанием произведения искусства.

# РИКАРДО ФЕРНАНДЕС ДЕ ЛА РЕГЕРА

1. Какую пользу? А вот какую: я упорствую в создании прекрасного, противостоя дурному вкусу и грубой вульгарности, которая нас окружает; я вношу нотку человечности, противостоя жестокой и бесстрастной прямолинейности; я храню верность своим убеждениям, противостоя разнообразным ограничительным мерам.

2. Прежде всего — свобода. Потом уважение, то есть внимание людей, которое художник совершенно утратил в нашем обществе, систематически огрубляемом футболом, фельетонами и «прочищением мозгов», которым занимаются пресса, радио, кинематограф, телевидение, вся воинствующая посредственность.

3. Да, литература может создать эти условия, но лишь в ограниченных пределах, потому что в обстоятельствах нашего общества, о которых я говорил, творчество писателя практически никому не известно, и те отвлекающие средства, которые писатель пытается противопоставить вульгарности, интеллектуальному истощению окружающей среды, остаются в ящике его стола, ибо эти книги нельзя напечатать.

4. Решающее влияние не только на технику и стиль намеков и элизий, но и парадоксальным образом на отклонение писателем тех или иных тем, даже в большей мере, чем на выбор той или иной темы.

# АРМАНДО ЛОПЕС САЛИНАС

1. На этот вопрос нелегко ответить. Я считаю, что в каком-то смысле я воздействую на нашу эпоху (причем деятельность моя добровольна, ибо она обусловлена пониманием определенной необходимости, а следовательно, речь идет о деятельности свободной, но связанной с принятием известных обязательств), стараясь помочь выражению некоторых культурных, политических и экономических истин, которые я считаю полезными для Испании. Способствуя по мере моих сил и дарования переменам в обществе, которое нас окружает; критикуя это общество. Стараясь обнажить социальные связи, показать мир таким, какой он есть. Предлагая эту задачу всем как наше общее дело. Такова, по-видимому, польза, которую я приношу, или, во всяком случае, хотел бы приносить другим людям в нашей стране.

2. Я считаю, и это подразумевалось в моем ответе на первый вопрос, что развитие науки, искусства, литературы, государственных форм и т. д. определяется производством материальных благ, формой этого производства и распределения. Как логическое следствие: само существование художника, его творчество возможны лишь благодаря деятельности людей физического труда. Таким образом, писатель является потребителем благ, производимых другими людьми, а поэтому между физическим и умственным трудом существует разрыв. Надо найти — таково непременное условие — средство ликвидировать этот разрыв.

В современных условиях, существующих в нашей стране, на мой взгляд, проблема номер один — это настоятельная необходимость демократизации. Этой всеобщей необходимостью целиком определяется почти трагическое положение испанского писателя. Интеллигенции необходима свобода критики. Ей необходимо, по выражению Сартра, апеллировать к свободе других.

3. Лично я лишен этих необходимых условий (один мой роман запрещен официальной цензурой, в других опубликованных текстах есть ряд купюр, внесенных издателями и редакторами журналов). Однако возможность способствовать созданию этих условий существует, несмотря ни на что. Но это требует от писателя двусторонней деятельности — как литературной, так и внелитературной. В области литературной писатель не должен воздвигать перед собой непреодолимые преграды и прислушиваться к автоцензуре. Но совершенно очевидно, что все эти подводные камни было бы легче обойти путем коллективной борьбы.

В более широком смысле литературное творчество может способствовать созданию новых условий. Это целиком зависит от способностей автора: литературных способностей, которые должны быть поставлены на службу делу свободы, от способности автора заинтересовать, пусть даже ограниченный круг читателей, поставленными проблемами и побудить читателей принять участие в решении этих проблем.

4. По-моему, да. Хотя писатель, как и всякий другой интеллигент, не представляет определенного класса, выбор тем, как и выбор одежды, обусловлен его происхождением. Обобщая, можно сказать, что большинство писателей происходит из буржуазной среды, ибо до сих пор этот класс являлся монопольным держателем акций культуры. Поэтому буржуазная культура является для писателя традицией, и ему трудно от нее уйти. Однако мы знаем, что некоторые буржуазные писатели (буржуазные — пока пролетариат не создаст свою собственную интеллигенцию, а в Испании эта интеллигенция уже начинает появляться) постепенно осознают возникающие проблемы (для них — сюжеты) и, выступая против интересов класса, из которого они происходят, множат ряды борцов за самые передовые идеи, становятся свидетелями-критиками своего времени.

С моей точки зрения, влияние положения писателя в обществе сказывается не столько в выборе сюжетов, сколько в содержании произведения, в манере располагать и описывать действующие лица, в том, как писатель выявляет или затушевывает противоречия, в том, как он типизирует более или менее единичные факты. А также в его стиле, в его объективности или субъективности.

# ЛУИС ГОЙТИСОЛО-ГАЙ

1. Каждый роман отражает определенный взгляд на окружающий мир, и каждый писатель, сознательно или неосознанно, пишет тогда, когда ему есть что сказать об окружающем мире, и это нечто кажется ему достойным того, чтобы поведать о нем другим людям. Таким образом, в литературе мы имеем дело с формой познания, которая в отличие от познания научного направлена на действительность определенной эпохи в ее цельном виде, а не на часть этой действительности; это познание передается читателю в непосредственной форме, которую нельзя полностью свести к одним только идеям. В этом смысле польза, приносимая обществу романистом, сродни той пользе, какую приносят философ и социолог. А достигнет писатель своей цели или нет, будет ли интересным или нет то, что он сообщит своим читателям, прояснит ли он какие-то проблемы или, наоборот, затемнит — все это зависит от широты или, лучше сказать, от глубины взглядов писателя.

2. Социальное воздействие романа — процесс, состоящий из двух этапов. Чтобы осуществить первый этап — создать произведение,— довольно бумаги и пера. Для второго этапа — распространения произведений среди читателей — необходима совокупность факторов различного порядка: культурного, социального, экономического. Необходимо, например, иметь свободу слова, необходимо, чтобы читатель имел достаточную культурную подготовку и экономическую возможность приобрести книги, необходимо время, чтобы приобщить к литературе всех читателей и чтобы чтение «серьезных» книг перестало быть, как теперь, привилегией меньшинства.

На мой взгляд, совершенно очевидно, что в нашем обществе эти факторы еще не созданы, и условий, которые помогали бы писателю осуществить его миссию, у нас нет. Однако было бы ошибкой смешивать два этапа социального воздействия литературы — этап создания книг и этап их распространения или, иначе говоря, последствия, которые влечет за собой тот факт, что в нынешнем обществе не существует условий, необходимых для осуществления писательской миссии. На основе исторического опыта нельзя категорически утверждать, что деспотические режимы служат помехой созданию великих произведений. Но зато они, либо прямо, либо косвенно, мешают их распространению (за исключением тех случаев, когда эти произведения совпадают с официальной идеологией, что происходит редко), принуждая писателя прибегать к герметическим формам выражения, трудно доступным для большинства его современников.

3. Из моего ответа на первый вопрос явствует, что, с моей точки зрения, роман является вспомогательным средством преобразования общества. Прошу меня понять: я имею в виду преобразования не на бумаге, когда писатель пытается идеализировать действительность, а преобразования в умах читателей, когда автор меняет их представления о мире. Если бы я думал, что это невозможно, то есть что моими произведениями я только помогаю читателю осознать некоторые стороны действительности, но не борюсь — хотя бы косвенным путем — за то, чтобы все, к чему призывает писатель, было услышано, я бы, конечно, не стал писать.

4. Избираемые писателем сюжеты обусловлены в наше время не положением конкретного писателя в обществе, не его личным положением, они обусловлены совокупностью множества факторов.

# МАНУЭЛЬ ДЕ ПЕДРОСО

1. В частности, пользу, которую можно было бы сравнить с дезинфекцией, с вентиляцией; в этом смысле роль писателя сходна с ролью тех, кто открывает окно, чтобы проветрить зараженное помещение. Много лет назад я перестал верить в наше общество: на мой взгляд, оно развращено риторическим провозглашением идеалов, которые обнаружили свою бесплодность и от которых, можно сказать, не осталось и следа.

Мы должны вернуться к проблеме человека, подойдя к ней заново, отбросив предрассудки, а это с самого начала ставит перед писателем ряд вопросов. Вопрошать, беспрестанно вопрошать самого себя, исследовать все человеческие возможности — вот что должен делать, вот что делает писатель. Не страшно, если эти вопросы носят скандальный характер, наоборот, пожалуй, даже необходимо, чтобы они застигли врасплох человека, убаюканного самодовольством и шатким благополучием, купленным ценой инертности и равнодушия. Пусть они растревожат этого человека, заставят его выйти из равновесия, отказаться от покорности, пробудят в нем совесть, заставят его волноваться вместе с нами, со всеми теми, кто неудовлетворен.

2. Современное общество, построенное на несправедливости, произволе и конформизме, противопоставляет свою активную или пассивную вражду художнику, мыслителю, который отказывается подчиниться обществу и пытается разрушить его основы; меж тем буржуазное государство мнит себя «лучшим из миров», нимало не

тревожась, что на деле буржуазный строй основан на отрицании свободы, на духовной и материальной нищете большинства, на практическом разрушении всех этических идеалов, которые он якобы исповедует; это общество раздирается неразрешимыми противоречиями.

Художник нуждается в атмосфере понимания, в свободной атмосфере, где он мог бы развивать свои мысли и создавать произведения, не испытывая идеологического и экономического давления, он нуждается в сознательной критике своей миссии, в критике, которая хочет и может следовать за ним, подбодрит его в нужную минуту, а в случае необходимости сдержит его нетерпение. Он нуждается в обстановке доверия и восприимчивости, которая облегчает свободную дискуссию о его творениях, о его идеях. Но ничего этого нет в обществе, низведенном до уровня посредственности с помощью обветшалых идеалов, в обществе, которое видит в художнике угрозу своему существованию, в обществе, убежденном, что оно открыло секрет счастья на вечные времена (так оно, во всяком случае, утверждает).

3. Если речь идет об авторе, который стремится полностью выразить себя и выразить мысль всех тех, кто рассматривает прошлое как исходную точку, а всю человеческую историю как непрерывный, безостановочный процесс, он чувствует себя вынужденным не повторяться, а продолжать, обновлять. Человек и общество, в котором он живет, эволюционируют последовательно; поэтому некоторые положения, которые сто лет назад казались и могли быть уместными, теперь омертвели; люди и общество не способны стать выше их, пока они не поймут, что человечество перешло в новую стадию своей истории и что поэтому приходится считаться с элементами, которые прежде не существовали, а если существовали, то составляли часть неосознанного субстрата, который теперь стал ощутимой реальностью и который нельзя больше игнорировать.

4. Новая техника, применяемая ныне в области искусства, вызвана к жизни потребностью углубить наше знание о человеке, увидеть человека во всей его цельности, дойти до самых сокровенных глубин его внутреннего мира, обнажить секретный механизм импульсов, желаний, всякого рода стремлений, направленных на других людей и на различные явления, входящие в сферу нашего эмоционального восприятия, но далекие от наших повседневных интересов.

# ХУАН ГАРСИЯ ОРТЕЛАНО

1. Польза, приносимая писателем в современном испанском обществе, на мой взгляд, обусловлена идеологической основой его творчества, или по меньшей мере, задачами, которые он ставит в своем творчестве. В разреженной культурной атмосфере романист должен в первую очередь пытаться быть свидетелем той действительности, в которой он живет. Я считаю своей самой заветной целью доказать моими романами, что наше общество поддается изменению и улучшению. Это изображение социальных связей обязывает писателя стать горячим поборником реалистических позиций. Если реализм, по выражению Лукача, «равноценен квинтэссенции действительности, прячущейся под поверхностной оболочкой», я не представляю себе, по какому другому пути, кроме реализма, может идти молодая литература страны, поверхность которой представляет собой если не гранитную плиту, то, во всяком случае, непроницаемое стекло, отражающее ослепительные, обманчивые блики. Такое определение задач писателя кажется мне наиболее естественным оправданием моего существования, а следовательно, и пользы, которую, может быть, приносит мое творчество.

2. Насыщенная культурная атмосфера, находящаяся в непрерывном развитии, обеспечила бы условия, необходимые для того, чтобы писатель не чувствовал в своем творчестве иных ограничений, кроме тех, какие ему ставит его собственное дарование. Административный произвол и социальный гнет, принимавший разные формы под воздействием исторических обстоятельств, представляют главные помехи на пути свободы слова в литературе.

3. Этот вклад в дело культуры причитается не столько с писателей, сколько со школьных учителей. Только сознательная политика в области культуры может дать хороших учителей. Изучение литературы способствует развитию общества, а роман, в свою очередь, будет способствовать культурному развитию и свободе общества. Однако дело свободы и демократизации не должно откладываться на долгие годы и ждать результатов влияния литературы, если таковое себя проявит. Писатель прежде всего должен выполнить свой долг: быть честным свидетелем (в самых разнообразных формах) общества и своих современников.

4. Разнообразие форм современного реалистического испанского романа доказывает, что перед их авторами открываются различные художественные перспективы, и причина этого, по-моему, сформулирована в вопросе анкеты. Чтобы выразиться яснее, я сказал бы (я считаю ложными устаревшие утверждения о разрыве между формой и содержанием), что богатство тем, подсказываемых действительностью, облегчает задачу рассказчика и что труден лишь сам выбор темы.

# О ПРОСТОТЕ И СЛОЖНОСТИ В ИСКУССТВЕ

Каким должен быть художественный язык искусства социалистического реализма? Всегда ли следует добиваться простоты и общедоступности, когда речь идет о выражении сложных проблем современности в литературе, театре, музыке, живописи, кино? Можно ли ставить знак равенства между демократизмом стиля и легкостью восприятия произведения? Как примирить сложность содержания с необходимостью быть понятым современниками?

Обсуждение этих проблем имеет не только теоретический интерес. В наше время от правильного решения вопросов эстетического характера во многом зависит выбор верных путей в воспитании художественного вкуса народа, а следовательно, и будущее (причем самое ближайшее) социалистического искусства.

Интересную инициативу проявила венгерская газета **«Элет эш иродалом»**, опубликовавшая статью критика **Дьердя Тимара «Общедоступность»**, продиктованную заботой об успехах родной литературы, о формировании в народных массах хорошего художественного вкуса.

«Наш сатирический еженедельник,— пишет Д. Тимар,— недавно наградил щелчком талантливый, направленный на поиски новых путей короткометражный фильм, созданный молодыми авторами. Это еще не беда, поскольку каждый художник, ищущий новых путей, заранее готов принять на себя удары критики. Но что представляется нам гораздо более серьезным в упомянутом критическом замечании — это его аргументация. Критика фильма основывается здесь на том, что 80% зрителей вообще не поняло фильма, 10% лишь в общем и целом смогло догадаться о том, что хотели сказать его авторы, и только 10% поняло все до конца. Возникает вопрос, могут ли подобные аргументы служить основой для сколько-нибудь серьезного критического разбора? Иными словами: о чем говорит изучение связей между общедоступностью произведения и его художественной ценностью?»

Автор статьи называет общедоступность понятием «деликатным», но, продолжает он, «всякое понятие представляется «деликатным» до тех пор, пока оно не подвергнется основательному изучению в свете марксистского мировоззрения. Он предупреждает, что его статья представляет собой лишь попытку изложить собственную точку зрения по этому вопросу.

Выражая несогласие с мыслью о том, что «не все простое гениально, но все гениальное просто», Дьердь Тимар утверждает, что простота простоте рознь.

«В шедеврах искусства, которые неизбежно вскрывают новые взаимосвязи и отражают основные тенденции эпохи, проникая в глубины жизни, не может отсутствовать элемент сложности... Длительное время догматическая политика в области искусства требовала от искусства простого выражения простоты. Нечего и говорить, что такое понимание «простоты» граничило с элементарностью и противоречило марксистско-ленинской теории познания».

Кроме того, продолжает критик, следует учитывать фактор времени: «хитросплетения жизни», впервые раскрываемые в художественном произведении и совершенно очевидные для автора, могут не легко и не просто восприняться публикой при первой встрече ее с произведением.

«Не оказывается ли, что с течением времени произведение становится все более простым или, лучше сказать, доступным? Приведу некоторые примеры. Наиболее убедительные из них: пример Ади в нашей литературе и Бартока — в музыке. В самом деле, сколько человек из ста (даже сегодня) полностью понимают Бартока? Сколько из них лишь в общем и целом догадываются, что он хочет сказать? И не составляют ли подавляющее большинство те, чей музыкальный вкус не развит настолько, чтобы очевидность его музыки и для них стала

простой (и многие ли признавали гениальность музыки Моцарта и Бетховена, объявленной сначала сплошным диссонансом?)? Аттила Йожеф, многие стихи которого тоже далеко не общедоступны и не являются таковыми в сравнении не только с Петёфи, но и, пожалуй, с Ади, говорил: каждая гармония была когда-то диссонансом.

Забвение фактора времени также сбило практическое руководство искусством с правильного пути. Общедоступность на языке вульгаризаторов означала немедленную, полную и всеобщую понятность для всех, а это, в свою очередь, привело к тому, что критерием общедоступности стало упрощенное понимание демократизма стиля».

Автор говорит далее о «культурных ножницах», существующих во все времена, о ножницах, «одно лезвие которых обозначает высший творческий уровень, а другое — средний уровень восприятия искусства».

«Однако бесспорно, что в периоды, когда народ начинает играть большую роль в непосредственном формировании исторической действительности, половинки этих ножниц сходятся, а во времена феодальных или буржуазных диктатур — расходятся. Во времена Мексиканской революции и после ее победы фрески Риверы и народные массы взаимно нашли дорогу друг к другу; то же можно сказать о Рембо, когда он находился под влиянием Коммуны».

Д. Тимар подробно анализирует в этой связи творчество Шандора Петёфи, который появился в «счастливый момент»; народ сразу признал Петёфи своим поэтом, «и это лишь отчасти заслуга самого Петёфи; необходимо было и объективное условие — народное движение эпохи». Народно-демократический строй, продолжает Тимар, получил в наследство от прошлого «широкие культурные ножницы» и немедленно приступил к ликвидации этого разрыва. Но в период культа личности были допущены ошибки. По мнению Д. Тимара, они состояли в том, что творчество Петёфи, Мункачи, Эркеля — великих художников недавнего прошлого — было канонизировано как единственный образец для подражания, как норма для творчества.

«И это — несмотря на то, что в наш век...— продолжает Тимар,— новое содержание требовало нового языка, новых форм».

Как видно из статьи, ее автор не склонен упрощать проблему, он отдает себе отчет в том, насколько трудно примирить два противоположных требования — отразить всю сложность современной действительности, и отразить при этом так, чтобы быть понятым современниками:

«Что должен делать художник, глубоко понимающий эпоху и живущий ею, художник, проникшийся идеями социализма, но стремящийся не просто иллюстрировать положения марксистско-ленинской теории, а прийти с их помощью к новым художественным откровениям? Должен ли он сделать уступку отсталым общественным вкусам?..

Должен ли он покинуть главный путь развития и передвигаться на допотопной телеге в мире реактивных двигателей?»

Критик тут же предостерегает от забвения другой стороны проблемы:

«Но правильно ли поступает художник, который не обращает внимания на количество «профанов» в массе и творит лишь для собственного удовольствия? Разве может он быть равнодушным к формированию общего языка, разве может он не беспокоиться о том, чтобы передать людям свое художественное видение мира? Ясно, что подобный аристократизм никак не может решить проблему. Социалистическому художнику просто не может прийти это в голову. Но есть ли выход из тупика?»

Дьердь Тимар обращается к опыту больших художников демократического лагеря, говорит о Лорке, Ривере, Бартоке, Аттиле Йожефе. Всем им, по его мнению, присуща общая черта:

«Они не опускались ниже своего уровня, они шли вперед в главном потоке развития искусства своей эпохи — и в то же время не успокаивались до тех пор, пока, подобно Антею, не подкрепляли, как Петёфи, свои силы мыслями и искусством народа, пока эту народную традицию не включили в упомянутый главный поток. Таким образом, их демократизм шел не от стиля, а от мировоззрения, и это служило им гарантией, что их произведения — пусть не в самый момент их появления на свет, но в близком будущем — обязательно станут общедоступными, явятся фактором всемирной борьбы за прогресс. Их простота, включающая в себя сложность, является истинной простотой и служит для нас примером».

В заключение статьи говорится:

«Разумеется, нелегкое дело — подняться до создания шедевров, воплотить в органическом диалектическом единстве две стороны — свое собственное восприятие и широкое общественное признание. Но ведь и не всякий может стать гением...»

Нет никакого сомнения в том, что все эти проблемы имеют серьезное теоретическое и практическое значение для развития искусства социалистического реализма. Однако статье Д. Тимара присуща некоторая неполнота и односторонность в подходе к изучаемому вопросу. Критик справедливо выступает против примитивности художественной формы, против бездумного повторения пройденных этапов художественного развития; он ратует за реализм полнокровный и смелый, отражающий всю сложность действительности. Но он не говорит о том, что существует и другая сложность — слож-

ность мнимая, не имеющая отношения к реальным противоречиям жизни, а идущая от стремления модернистов во что бы то ни стало усложнить свои произведения, поразить читателя, зрителя, слушателя чем-то невиданным, небывалым, непонятным, недоступным. Есть искусство реалистическое, которое не боится быть и простым и сложным и в содержании своем и в форме — в зависимости от конкретных идейно-художественных задач, стоящих в каждом данном случае перед художником; и есть искусство модернистское, противопоставляющее реальной действительности свои сложные и зашифрованные субъективные построения. Очевидно, лишь четко разграничив эти две непримиримо враждебные друг другу линии в развитии литературы и искусства, можно верно и полно решить проблему художественной простоты и сложности.

## «Я БОЛЬШЕ НЕ МОГ ПИСАТЬ АБСТРАКТНЫЕ ПОЛОТНА...»

Парижский еженедельник **«Ар»** напечатал большое интервью с французским художником **Жаном Эльоном.** Жан Эльон осуждает абстрактную живопись, говорит о ее бесплодности, о тупике, в который она зашла. Жан Эльон все это хорошо знает: в течение долгих лет он был одним из крупных представителей абстрактного направления в живописи. Творческий путь этого художника, снова пришедшего в зрелом возрасте к реалистическому искусству, весьма показателен; он свидетельствует о том, что настоящий талант задыхается в отгороженных от мира клетушках надуманных схем и абстракций. Впрочем, вот как говорит об этом сам шестидесятилетний художник:

«Думается, сразу после того, как я начал заниматься абстрактным искусством, меня поразило ощущение замкнутости мирка, в котором я оказался, и уже тогда, в 1935 году, когда мои абстрактные вещи имели успех, я писал друзьям, что долго так продолжаться не может. Но мне на помощь пришли обстоятельства.

Перед войной я был в Америке; на родину вернулся в 1939 году, чтобы разделить тяжкую судьбу своих товарищей. Вскоре меня послали в самую глубь Германии — копать картошку. Тогда-то и начался у меня новый «фигуративный период». Когда я подыхал от холода на полях Померании, я мечтал о картинах, но мне не доводилось мечтать о геометрических формах. Я мечтал о деревьях, о женщинах, о хлебе, и когда через два года мне посчастливилось бежать, добраться до Америки и снова оказаться в своей мастерской, я уже не мог писать абстрактные полотна. И я был этому рад, страшно рад».

Искренний рассказ Жана Эльона раскрывает внутреннюю трагедию художников, которые — в погоне ли за модой и успехом, или в силу сложившихся обстоятельств, или исповедуя модернистские догмы — убивают в себе живое и естественное творческое начало.

«Для обычного художника является нормальным писать свою жену, друзей, детей, окружающую его природу. В период своего увлечения абстрактной живописью я очень страдал от того, что, будучи страстно влюбленным, я не мог перенести на полотно черты любимой женщины... если не считать отдельных мазков, в которых, может, и разобрался бы психоаналитик, но живого человека на портрете не было. Писать «фигуративные» картины — это писать то, что вас заботит и захватывает. Это всегда — акт, полный глубокого смысла».

В интервью журналу «Ар» Жан Эльон высказывает свои взгляды на роль искусства в жизни человечества, и, право же, становится понятным, как бесприютно было в абстрактном искусстве человеку с таким ясным и глубоким взглядом на мир. Отвечая на вопрос интервьюера, чего он ищет как художник, к чему стремится, создавая свои полотна («вы говорите — к реальности, но ведь и фотография отражает реальность...»), Жан Эльон утверждает:

«По-моему, фотография не дает нам образа действительности, фотография дает лишь образ внешней очевидности. Реальное — это опыт, это суммы всех данных, привносимых вашими органами чувств, это также сумма всех реакций, которые вызываются в нас этими данными, это также и то, что внушает и подсказывает нам реальный мир, то, что открывает в нас действительное существование облаков или деревьев. Реальное — это все то, что возвышается над мимолетным. В предмете, в лице, в дереве я словно вижу весь мир. И искать реальное — это значит проникать в этот мир».

Признавая, что приемы абстрактного искусства в какой-то мере дисциплинируют глаз художника, приучают его к определенному ритму, Эльон говорит, что только реалистическое (по его терминологии, «фигуративное», предметное) искусство может дать человеку ощущение своей слитности с миром.

«Мне не верится,— заявляет художник,— чтобы люди искусства могли еще долгое время манипулировать формами, какими бы мудрыми эти формы ни казались, и перебирать краски, какими бы восхитительными они ни были. Всегда наступает момент, когда хочется швыр-

нуть эти формы и краски кому-нибудь в физиономию и снова написать настоящий портрет, куда прекраснее, чем эти формы и эти краски».

Художник утверждает радость творчества, радость, неотделимую от исканий, беспокойства, неудовлетворенности собой и созданными произведениями; эту радость, по его мнению, также может дать лишь подлинное искусство, связанное с жизнью... ибо это и есть «радость общения, общения с чем-то, что гораздо больше тебя»,— с миром.

«Я не понимаю, как человек может отказаться от того, чтобы слить воедино свой образ жизни со своим образом мыслей. А такое слияние и есть фигуративное искусство. Художник — это человек, у которого полны руки красок и который пытается этими красками мыслить; он не должен мыслить при помощи слов, словами он себе помогает, как и все люди, но сердце его труда — в его руках, полных красок, и его глазах, полных окружающего мира».

# НОВЫЕ ВЕЯНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ ЮЖНОЙ КОРЕИ

В последние годы все более неуютно чувствуют себя американские эмиссары в Южной Корее; волны народного гнева, вышвырнувшие из страны зловещую марионетку — Ли Сын Мана, продолжают сотрясать устои и нынешнего, столь же антинационального, как и прежний, режима. Клика Пак Чжон Хи и его покровители, американцы в военной форме и в гражданской одежде, усиливают репрессии. Как ведут себя в этих условиях писатели на юге страны? Отражает ли южнокорейская литература те огромные политические и духовные сдвиги, которые произошли и происходят перед их глазами в жизни народа Южной Кореи?

Ответ на эти вопросы дает статья критика **Ли Сан Хена**, опубликованная в газете **«Мунхак синмун»** (Корейская Народно-Демократическая Республика). Автор статьи на анализе конкретных литературных явлений убедительно показывает, что в литературе юга Кореи произошли глубокие изменения, что «восстание народа Южной Кореи против американских империалистов и их марионеток знаменует начало нового подхода южнокорейских писателей к действительности». Этот новый подход критик видит в новой, ярко выраженной тенденции к правдивому изображению жизни народа, народных нужд и чаяний.

В литературе Южной Кореи появились, продолжает Ли Сан Хен, новые герои.

«Они несут в себе положительные черты. Это резко контрастирует с теми литературными произведениями, где выведены садисты, убийцы, люди, лишенные воли, а ведь книги с подобными героями до сих пор преобладают в Южной Корее».

Что касается новых героев, критик подчеркивает, что они смело выражают свои передовые взгляды, стремятся найти путь к изменению тяжких условий жизни народа. В качестве примеров новых веяний в южнокорейской прозе критик разбирает несколько новых рассказов (не называя, по вполне понятным причинам, их авторов).

В рассказе «В рядах демонстрантов» изображена борьба студентов Сеула против Ли Сын Мана; герой рассказа Мен Со, выходец из буржуазной семьи, порывает со своей средой, со своим классом и становится в ряды революционных борцов. Он погибает от полицейской пули в дни апрельского восстания.

Рассказ «Тень фанерного домика», посвященный сегодняшнему дню Южной Кореи, исполнен ненависти к клике Пак Чжон Хи, пришедшей на смену лисынмановскому режиму. Герой рассказа, бывший солдат южнокорейской армии Хен Сик, возвращается после ранения домой, где находит нищету и горе.

«В образе Хен Сика,— пишет Ли Сан Хен,— правдиво показана судьба простого труженика в Южной Корее. Его удел — беспросветная нужда, беды, унижения... Однако не это характерно для рассказа «Тень фанерного домика», хотя тяжелая жизнь героя нарисована реалистически и убедительно. Характерно здесь то, что простой человек, герой рассказа, начинает глубоко задумываться о причинах своего нищенского существования. Его раздумья таковы, что в своих несчастьях он начинает уже винить не судьбу, а социальный строй на юге Кореи».

Герой этого рассказа гневно кричит полицейским, которые пришли выгнать его из собственного дома: «Грязные трусы! Мы тоже имеем право жить!» Человек больше не хочет безропотно сносить унижения. В народе зреют новые силы — вот что видит в рассказе о Хен Сике автор статьи.

Говоря о другом рассказе — «Течет мутный поток», в котором молодой крестьянский парень Сун Гу, пришедший в город искать работу, чуть не оказывается завербованным в фашистскую банду,— критик пишет:

«В этом произведении необычайно интересны мысли Сун Гу, трезвый взгляд на общество, в котором «нет для него светлой доли». Свое представление о счастье Сун Гу связывает с обществом новым, справедливым. Такие мысли присущи не только герою этого рассказа. Таковы мечты всей передовой молодежи Южной Кореи».

Ли Сан Хен анализирует также рассказы «Свет луны» и «Письмо», рисующие тяж-

кое положение южнокорейских учителей. Старик учитель, которого власти выбрасывают на улицу, проклинает строй, породивший для простого человека одни только страдания.

В заключение своей статьи Ли Сан Хен пишет:

«Писатели Южной Кореи, точнее говоря, лучшая их часть, остро чувствуют нужды и стремления народных масс. И это уже нашло свое выражение в последних произведениях, которые резко выделяются в общем потоке литературы Южной Кореи. Эти писатели начинают понимать всю нелепость положения, при котором брат и сестра, отец и сын, жена и муж разлучены демаркационной линией. Писатели Южной Кореи должны развернуть борьбу за сплочение всех подлинно демократических сил на юге страны, должны требовать ухода американской военщины из Кореи, должны вдохновить народ на свержение преступной клики Пак Чжон Хи».

# КУЛЬТУРА В ЗАСТЕНКЕ

В итальянском журнале **«Эуропа леттерариа»** напечатано письмо из Испании, адресованное редактору журнала Вигорелли. Разумеется, имя автора письма не может быть в настоящее время названо: франкистские власти, как известно, не слишком благоволят к деятелям культуры, посмевшим критически отозваться о режиме кровавого каудильо. А в письме, о котором идет речь, говорится горькая правда о современной Испании — говорится в полный голос, без иносказаний, без риторических фигур. Вот это письмо:

«Я пишу вам в дни, когда заканчивается 1961 год. Для нас, испанцев, умирает не только год, умирает надежда: надежда номер двадцать два. Начиная с 1939 года, в канун каждого нового года в сердце испанского народа рождается надежда на то, что очередной год будет наконец годом свободы. И всякий раз 31 декабря эта надежда умирает...

Придет ли свобода в 1962 году, будет ли свергнута франкистская диктатура? Для испанцев (для подавляющего большинства испанцев, для тех, кто не одурачен и кто не скомпрометировал себя связью с режимом) сохранение этих надежд является моральным долгом, формой выражения патриотизма».

Далее автор письма, к сожалению не потерявшего своей остроты и сегодня рисует трагическое положение современной культуры Испании:

«Каждый испанец — заключенный и в то же время беженец. Писатели, деятели культуры являют собой особую категорию узников и беженцев в огромной испанской тюрьме... Презрительное отношение к культуре, типичное для всякого фашистского режима, принимает в Испании ужасающие размеры. Процветает демагогия, фальсифицирующая статистику и реальные условия жизни, страшным преследованиям подвергаются журналистика, литература, театр и кино — их принуждают к капитуляции перед официальными установками».

Автор письма подчеркивает, что основным оружием франкистской власти в борьбе против литературы и кинематографии является свирепая цензура. В письме перечисляются произведения, подвергшиеся запрету только за последнее время; среди них — романы Хуана Гойтисоло, Хуана Гарсия Ортелано, Армандо Лопеса Салинаса, стихи Хесуса Лопеса Пачеко, фильмы Хуана Бардема и пьесы Альфонсо Састре.

«Но в распоряжении режима,— говорится далее в письме,— для преследования писателей и поэтов имеется не только цензура. Для этого есть также и полиция».

Обращаясь к честным деятелям культуры, испанский патриот восклицает:

«Необходимо, чтобы в Европе и во всем мире лучше узнали нынешнее положение в Испании, в стране, где в середине двадцатого столетия запрещены — полностью или частично — произведения Рабле, Вольтера, Руссо, Бальзака, Золя, Мопассана...»

Письмо заканчивается призывом выступить «с требованием амнистии испанской культуре, страдающей под пыткой инквизиторов», призывом проявить солидарность с испанскими деятелями культуры, «которые, подвергаясь в собственной стране каждодневной опасности, борются за свободу искусства и мысли».

В том же журнале — и так же анонимно — опубликовано письмо из Португалии — аналогичный рассказ о гонениях на искусство в стране, где свирепствует фашистская диктатура. В письме, в частности, говорится:

«Когда речь идет об издании книги писателя прославленного и когда запрещение может получить огласку, цензура разрешает печатать книгу, но запрещает ее рекламировать, не допускает появления рецензий в газетах и журналах. Дело доходит до того, что книгу запрещают выставлять в витринах книжных магазинов...»

Поистине — культура в странах фашизма оказалась бесправным арестантом, бездомным беженцем.

ЗИГФРИД ЭЙНШТЕЙН

# Я ОБВИНЯЮ!

(Фрагменты из книги «Обер-бухгалтер смерти»)

*Перевод с немецкого Л. ЧЕРНОЙ*

Книга Зигфрида Эйнштейна «Обер-бухгалтер смерти» вышла в Западной Германии в 1961 году и уже известна во многих странах. В самой ФРГ она встретила ожесточенные нападки реакции не только потому, что современные западногерманские наследники фашистов считают «бестактным» напоминать о кровавых преступлениях палача Эйхмана, но и по той причине, что произведение Зигфрида Эйнштейна гораздо шире своего заглавия, что оно разоблачает не одного лишь «обер-бухгалтера смерти», но и всех тех, кто стоял за ним и кто возрождает в наши дни зловещие традиции фашизма, кто унаследовал его доктрины, цели, методы, военно-стратегические планы и приемы тотального террора внутри страны.

Если обобщить все то, что написано Эйнштейном в его страстном памфлете, то можно сказать, что перед нами большой силы обвинительный акт, изобличающий германский империализм и фашизм в целом и напоминающий, что корни фашизма не только не выкорчеваны, но вновь дают ядовитые всходы на благодатной почве боннской республики.

Германский фашизм — виновник преступлений, равных которым не знала история. Самое страшное его преступление — мировая война, развязанная Гитлером,— стоило человечеству десятков миллионов жизней. Основную тяжесть в этой войне вынес на своих плечах великий свободолюбивый советский народ. Он спас мировую цивилизацию и положил на алтарь свободы жизнь своих лучших сыновей. Разгром фашизма Советской Армией означал конец рабства для народов оккупированных стран Европы, ликвидацию угрозы физического истребления миллионов поляков и французов, чехов и югославов, бельгийцев и англичан. Список жертв фашизма поистине неисчислим, но еще страшнее другой список, список, составленный фашистскими убийцами Гиммлером и Дарре, Розенбергом и Гейдрихом, Кальтенбруннером и Франком на случай победы фашистского оружия. Сеть концентрационных лагерей по образцу лагерей смерти Майданека и Освенцима покрыла бы все страны Европы, дым из труб крематориев заволок бы небо на многие тысячи километров.

Фигура Эйхмана стала символом того будущего, которое готовили человечеству гитлеровские палачи. Так трактует образ Эйхмана — мелкого бюрократа и распоясавшегося садиста, покорного чинуши и мастера чудовищных пыток — Зигфрид Эйнштейн.

Публицистическая сила Эйнштейна — в мастерстве обобщений, в живой пытливой мысли, в умении не забывать прошлое и правильно оценивать настоящее. Именно в этом секрет успеха его книги.

# Карл Адольф Эйхман — портрет государственного чиновника и убийцы миллионов людей

Оберштурмбанфюрер Адольф Эйхман... Если бы в 1944 году в Англии или в Советском Союзе было составлено объявление о его розыске, оно начиналось бы примерно так:

> «Эйхман, Карл Адольф, год рождения 1906, место рождения Золинген (Рейнланд), оберштурмбанфюрер СС, до 1944 года, сидя за своим письменным столом в Берлине, руководил массовым уничтожением евреев; при высылке венгерских евреев быстро выдвинулся и стал главным актером в разыгравшейся драме».

Карл Адольф Эйхман — кривоногий, среднего роста, худощавый и светловолосый субъект — отнюдь не принадлежал к так называемому «благородно-нордическому типу германцев»; по характеру это был чиновник, ждущий указаний сверху, педантичный и аккуратный. После каждого разговора он составлял официальную записку. Всегда норовил спрятаться за спину ближайшего начальника. В 1934 году, иными словами, в возрасте 28 лет его привлекли в качестве второстепенного служащего к составлению одной из гестаповских картотек — картотеки масонов в Берлине. Он сам печатал карточки на пишущей машинке — тщательно и без помарок.

О чем думал Карл Адольф Эйхман в годы своей головокружительной карьеры? Что любил в те дни, когда круглосуточно работали печи крематориев в Освенциме и Майданеке, в Треблинке, в Бельзене, о чем тревожился в те ночи, когда люди, обреченные им на смерть, пухли от голода, дрожали от стужи, обливались потом, плакали кровавыми слезами, глядя в лицо смерти, облаченной в эсэсовские мундиры?

Мы не так уж много знаем о личной жизни этого убийцы миллионов людей, педантичного и аккуратного. Но и то, что мы знаем, показывает, что поразительная фигура Эйхмана отвечала духу его времени, чудовищного времени, о котором Карл Осецкий как-то сказал, что это эпоха «хорошо продезинфицированного топора».

Эйхман упорно думал о том, как бы уничтожить весь еврейский народ в газовых камерах. «Окончательному решению еврейского вопроса» он посвятил все порывы своей души, он размышлял об этом дни и ночи с 1942 по 1945 год. Расстрелять? — спрашивал он себя.— Расстрелять сотни тысяч? Миллионы? Умертвить в душегубках? Да! Впрочем, нет, тоже не годится: ведь начнут поступать целые эшелоны. Травить углекислым газом в «банях» концлагерей? Может, это правильно? Ведь так уничтожают «душевнобольных» в рейхе? Нет, не выйдет! Для этого потребуется слишком много закрытых помещений... И он продолжал думать. Его преследовал страх, он боялся, что погубит недостаточно много людей.

Оберштурмбанфюрер СС Рудольф Франц Хёсс, комендант концлагеря в Освенциме, писал в 1946 году, сидя в краковской тюрьме:

*«Эйхман интересовался таким газом, который можно было бы без труда производить и который не потребовал бы сложных установок... Мы отправились с ним на поиски подходящего места для крематориев... Время, когда начнется акция, Эйхман не мог мне точно указать, поскольку все еще находилось в стадии подготовки и рейхсфюрер СС не отдал приказа начинать... В конце ноября (1941 г.) в Берлине в кабинете Эйхмана проходило совещание по еврейскому вопросу, я также присутствовал на нем... Мне по-прежнему не удалось узнать, когда начнется акция. Кроме того, Эйхман не нашел еще подходящего газа. В декабре был произведен успешный эксперимент по уничтожению русских военнопленных «циклоном-Б». При ближайшем посещении Эйхмана я сообщил ему о «циклоне-Б», и мы решили применить этот газ для предстоящего массового уничтожения евреев»...*

В 1939 году гауптштурмфюреру СС Адольфу Эйхману, руководителю главного имперского ведомства по высылке евреев, членский билет НСДАП за № 899895, удостоверение СС за № 45326, инспектором охранной полиции и гестапо в Вене была дана нижеследующая характеристика:

*1. Общее заключение о внешнем облике.*
*а) Расовый тип: нордически-динарский.*
*б) Личные особенности: самоуверен.*
*в) Поведение на службе и вне ее: безупречно корректен.*
*2. Материальное положение: удовлетворительное.*
*3. Отношение к семейным обязанностям: хорошее.*
*4. Черты характера: весьма активен, общителен, целеустремлен; обладает сильной волей и твердостью; восприятие — острое, сообразительность — отличная.*

*5. Знания и образование: отличные, особенно в специальных областях.*
*Оценка действительности: здравая.*
*6. Особые достоинства и способности: умеет вести переговоры, хороший организатор.*
*7. Особые недостатки и слабости: нет.*
*8. Физическая подготовка: имеет спортивные значки СА, имперскую спортивную грамоту.*
*9. Мировоззрение.*
*а) Степень убежденности: глубокая.*
*б) Ораторские данные: отличные.*
*в) Отношение к национал-социалистской идеологии: принимает безоговорочно.*
*Умение разбираться в вопросах внутренней политики, дисциплины и административных вопросах: достаточное, имеет все данные для роста.*
*Общий вывод: великолепный и энергичный работник, обладающий большими способностями для руководящих должностей в специальной области, особенно ценен как организатор, отлично справляется при ведении переговоров. В своей области признанный авторитет. В настоящее время Эйхман назначен на пост руководителя имперского центрального ведомства по депортации еврейского населения и фактически руководит высылкой евреев из всего рейха.*
*Инспектор охранной полиции и гестапо в Вене оберштурмбанфюрер СС».*

Итак, Карл Адольф Эйхман обладал «сильной волей и твердостью» и «безоговорочно» принимал национал-социалистскую идеологию, поэтому он был вполне подходящим орудием для «окончательного решения еврейского вопроса».

Эйхман был самым бессовестным сатрапом фашистского рейха, человеком, которого пламень в печах крематориев восхищал не меньше, чем прославленные немецкие закаты и нордически-динарские стихи.

...«Убийца-джентльмен», как его называли в Будапеште, содержал двор, в его свиту входили адъютант, секретарша, шофер, повар и любовница (что вполне соответствовало духу национал-социалистской идеологии). Историк, занимавшийся этим периодом жизни Эйхмана, с полным правом отметил, что этот бюрократ до мозга костей, любитель женского пола, молодых кобылиц и «сильных личностей», превратился в то время «из бухгалтера в эсэсовского вице-короля Венгрии».

Итак, Эйхман, прежний агент «Вакуум-ойл АГ», стал эсэсовским вице-королем и деспотом, который терпел в своем окружении только заведомых мерзавцев; чтобы понять, чем объяснялся террор, царивший при Эйхмане, следует вспомнить слова Энгельса из его письма к Марксу от 4 сентября 1870 года: «Мы понимаем под последней (эпохой террора.— *Ред.*) господство людей, внушающих ужас; напротив того, это — господство людей, которые сами напуганы. Террор, это — большей частью бесполезные жестокости, совершаемые для собственного успокоения людьми, которые сами испытывают страх».

Не случайно гауптштурмфюрер СС Дитер Вислицени, давая показания о своем друге Эйхмане, заявил:

*«Он, Эйхман, страшился всякой ответственности и, проводя ту или иную акцию, всегда старался застраховать себя официальной санкцией вышестоящих начальников, в частности Гиммлера, Кальтенбруннера и Мюллера».*

Между словами Вислицени и характеристикой будапештцев, называвших Эйхмана «убийцей-джентльменом», «циничным и нахальным субъектом, со всеми задатками алкоголика» — словом, истым «эсэсовским бонзой»,— существует только кажущееся противоречие.

Разве Эйхман, этот бессовестный чиновник фашистского рейха, не был одновременно палачом и службистом, образцом корректности и образцом жестокости, воплощением фашистских «добродетелей» и пьяницей, раболепным чинушей и наглым сатрапом, упивающимся своей подлостью? И разве он не был вместе с тем точной копией, родным братом всех остальных эсэсовских бонз? На примере биографии нескольких эсэсовцев можно продемонстрировать их типичные черты — эсэсовскую слепую исполнительность и эсэсовскую беспощадность, эсэсовскую сентиментальность, эсэсовскую «верность присяге», эсэсовскую жестокость, злобу и «удаль»! Я разрешу себе привести цитату из книги профессора Эйгена-Когона «Государство эсэсовцев, система немецких концлагерей», стр. 352—353:

«Гауптштурмфюрер СС Ховен: *родился в 1903 году, сын почтового служащего; не мог окончить гимназию; в шестнадцать лет удрал в Швецию, где работал у помещика; в восемнадцать — отправился в Северную Америку, служил надсмотрщиком на молочной ферме; в двадцать один год поступил на содержание к богатой женщине, которая выхлопотала ему ангажемент в Голливуде, приносивший 500 долларов в неделю. В 1925 году Ховен возвратился в Германию, где служил в конторе фешенебельного санатория, основанного его преуспевающим братом во Фрейбурге, позднее стал управляющим этим заведением. В 1930 году вместе с неким бароном де Майером отправился в Париж, где писал для него светскую хронику за 2 тысячи марок в месяц. После прихода к власти национал-социалистов Ховен поспешил в Германию, вступил в СС и три-*

*дцати двух лет от роду в срочном порядке сдал экзамены на аттестат зрелости. Поскольку брат умер и Ховен вознамерился стать его преемником на посту врача и директора санатория, он вынужден был заняться медициной; экзамен по начальной физике Ховен одолел только со второй попытки. Однако вступление в войска СС помогло ему в 1939 году (война уже шла) сдать государственные экзамены, которые были облегчены по случаю военного времени; Ховен стал врачом и через два года получил должность заместителя главного врача всех фашистских концлагерей. А еще через два года медицинские эксперты на процессе Коха — Ховена заявили, что «по своим знаниям и навыкам Ховен вряд ли заслуживает звания врача»...*

Штурмбанфюрер СС Фасбендер: *родители неизвестны, усыновлен владельцем знаменитой берлинской шоколадной фирмы «Фасбендер», бездельник, пьяница, мот. Женат якобы на графине Штольберг. Познакомился с главою так называемых кавалеристов СС, группенфюрером Фегеляйном, снабжал его деньгами, сам стал командиром батальона первого эсэсовского кавалерийского полка и так же, как и Фегеляйн, принадлежал к числу самых страшных преступников, бесчинствовавших в Варшаве. Между прочим, с помощью своей любовницы Славы Мировска, секретарши бежавшего владельца, «ариизировал» всемирно известную фирму мехов Апфельбаума, оценив ее в 50 тысяч марок, хотя в действительности она стоила 40 миллионов марок. Он арестовал через посредство Фегеляйна и гестапо мужа своей беременной любовницы, польского офицера, а через несколько дней застрелил его в камере с согласия Фегеляйна; за несколько часов до этого Фасбендер сумел достать доверенность на имущество фирмы. Отправился во Францию и т. д. и т. п.*

Штандартенфюрер СС Кох: *родился в 1897 году в семье чиновника, ведающего актами гражданского состояния; с 1911 по 1914 год ученик в торговой фирме; до 1916 года бухгалтер; в годы войны находился на фронте дважды по четырнадцать дней и один раз полтора месяца. С 1920 года служащий в торговых фирмах, с 1922 по 1930 год не менее семи раз менял место работы. После 1928 года неоднократно уличался в воровстве. Женат с 1924 года. От этого брака у Коха был сын Манфред, который из-за явного слабоумия долгое время пробыл в лечебнице для душевнобольных, однако впоследствии был прикомандирован к музыкальной школе войск СС в Брауншвейге. В 1931 году Кох вступил в гитлеровскую партию, а вскоре после этого и в СС; в 1932 году из-за какой-то невыясненной истории был исключен из нацистской партии. В 1935 году в Дармштадте против Коха было возбуждено дело по обвинению в нелояльности и в растрате. Однако это не помешало ему стать комендантом концлагеря — сперва Кох был комендантом «Колумбия-хауз» в Берлине, потом комендантом концлагеря Эстервейген. В 1937 году он женился на будущей «комендантше Бухенвальда», где вскоре начал свою недоброй памяти карьеру».*

Тот факт, что такого рода личности быстро продвигались в рядах СС, особенно в руководстве концлагерей, вполне понятен, если учесть, какие именно качества больше всего ценились в «черной гвардии» фюрера.

...И все же Карл Адольф Эйхман и его коллеги по СС в одиночку не смогли бы совершить того, что совершили. Без помощи заправил из «ИГ Фарбен-индустри», без гитлеровских офицеров, без палачей в судейских мантиях — Лаутца, Фрейслера и Шлегельбергера,— без создателей нюрнбергских расовых законов, без фанатиков «крови и почвы», без писак в редакциях ведущих газет они были бессильны. Да, без эйхманов Карлу Адольфу Эйхману не удалось бы совершить того, что он совершил. Об этом следует помнить, когда читаешь и изучаешь документы, обличающие этого главного бухгалтера смерти!

## Точно в такой день, как сегодня

Примерно в 250 километрах от Варшавы находится маленький городок. Вряд ли кто-нибудь за пределами Польши знал о его существовании до тех пор, пока убийцы из великогерманского рейха не создали в нем бойню № 1. Этот город, окруженный болотами, назывался Освенцим. Нацистские палачи именовали его Аушвиц.

Точно в такой день, как сегодня, эсэсовцы отправили десять тысяч человек в газовые камеры. Десять тысяч человек! Десять тысяч судеб, десять тысяч сердец, десять тысяч человеческих душ! Сотни тысяч неосуществленных желаний. А может, и еще больше. В газовые камеры шли мальчики и девочки. Отцы и матери. Старики. Да, так оно было; впоследствии комендант Освенцима с гордостью подтвердил, что в этом концлагере было умерщвлено газом, убито выстрелами в затылок, затравлено собаками, повешено, запорото насмерть, уничтожено инъекциями фенола более трех миллионов человек. И все это происходило точно в такие дни, как сегодня...

Точно в такой день, как сегодня, узников привязывали к столбу и расстреливали группами по десять человек. Палич стрелял, а Грабнер отдавал команду. Так они умерт-

вили в Освенциме 25 000 человек. 25 000 человек... Сколько надежд, вздохов, крови, человеческой крови, скрывается за этой цифрой! Двадцать пять тысяч человек это значит пятьдесят тысяч глаз, которые любовались светом солнца и зеленью деревьев... И все это происходило точно в такой день, как сегодня.

Точно в такой день, как сегодня, эсэсовец Фрич приветствовал вновь прибывших заключенных словами: «Обращаю ваше внимание на то, что вы явились не в санаторий, а в немецкий концентрационный лагерь. Из него выходят только через трубу крематория! Если вас это не устраивает, советую вам сразу же броситься на проволоку, через которую пропущен ток высокого напряжения!»

И это было сказано точно в такой день, как сегодня...

Грабнер и его подчиненные-эсэсовцы загоняли мужчинам иглы в мошонку, а женщинам — раскаленные щипцы во влагалище. Позже они даже не отрицали этого. Зачем?.. И все это происходило точно в такой день, как сегодня.

Точно в такой день, как сегодня, людей хлестали плетками и вздергивали на виселицу. Их трупы висели всю ночь. Луна видела эти трупы. И звезды тоже. Бог видел их. А на следующее утро всему лагерю приказывали пройти мимо виселиц. Трупы видели все заключенные. Решительно все. Человеку, который читает об этом сегодня, трудно поверить, что так было, ибо убийцы и их подстрекатели расхаживают в Западной Германии в лаковых ботинках и разъезжают в собственных «мерседесах». И все же так было... Точно в такой день, как сегодня. Точно в такой день, как сегодня, в концлагере в Освенциме томились узники двадцати шести национальностей! Почему их заточили в Освенцим? Только потому, что они были евреями или поляками, французами или советскими военнопленными, цыганами, греками, словаками или голландцами. Точно в такой день, как сегодня, эсэсовцы выжигали на руках заключенных клеймо с номером. Точно в такой вечер, как сегодня, люди бросались на проволоку, через которую был пропущен ток высокого напряжения. Только так они могли прекратить свои муки. А других узников точно в такое утро, как сегодня, находили в бараках повесившимися на своих поясах. Им на смену через главные ворота концлагеря Освенцим входили новые партии заключенных. На этих воротах в ад было написано большими буквами: «Работа — путь к свободе». А потом перед глазами отчаявшихся людей возникали сторожевые вышки и конвойные с пулеметами и автоматами. И люди начинали понимать, что все пути в лагере ведут к смерти. Они осознавали это точно в такой день, как сегодня.

Точно в такой день, как сегодня, совершилось невероятное, чудовищное преступление, преступление, которое нельзя искупить и за тысячи лет: эсэсовцы умертвили в Майданеке детей. Это случилось точно в такой день, как сегодня. Светило солнце, дул ветер. И бог взирал на землю. Но злодеяние совершилось. Совершилось кровавое преступление, запятнавшее имя Германии. Много времени спустя обвиняемый Гейнц Штальп показал на допросе:

*Обвиняемый: Как-то утром, когда я находился на швейной фабрике, в лагерь пришли два грузовика, в них погрузили детей, чьи родители были заключены в Майданеке. Родителям сказали, что детей увозят в воспитательных целях.*

*Прокурор: Детей тоже раздевали догола?*

*Обвиняемый: Да.*

*Прокурор: Сколько там было детей и какого возраста они были?*

*Обвиняемый: Многие дети были совсем маленькие, им не исполнилось еще года, но забирали также тринадцатилетних и четырнадцатилетних подростков.*

*Прокурор: Каким образом их загоняли в газовые камеры?*

*Обвиняемый: Грузовик подъезжал к газовой камере. Здесь его ждали охранники; потом детей отводили на плац перед женским бараком (плац № 1), десять женщин, выделенные специально для этой цели, раздевали детей. Затем детям приказывали войти в газовую камеру. Их успокаивали, говоря, что там им будет хорошо. Некоторые малыши плакали, хотя и не понимали, что их ждет смерть. Когда вся партия оказывалась в газовой камере, один из охранников закрывал дверь, потом через четырехугольное отверстие опускались баллончики с газом.*

*Прокурор: Обвиняемый, видели ли вы трупы задушенных детей в газовых камерах? Как они выглядели?*

*Обвиняемый: Да, я часто видел трупы узников в газовых камерах. Ясно было, что легкие у них разорваны, но кровь шла горлом не всегда. Дня два спустя трупы приобретали зеленоватый оттенок.*

*Прокурор: Правда ли, что людей, умерщвленных газом, не удаляли из камер и что последующие партии заключенных вталкивали прямо на трупы?*

*Обвиняемый: Да, правда. Трупы оставляли в камерах; туда загоняли вторую партию, потом третью, каждая партия состояла из пятидесяти человек. Так продолжалось до тех пор, пока в камере не скапливалось триста трупов.*

*Прокурор: Значит, живых заставляли ступать по трупам. Могли ли они разглядеть мертвецов?*

*Обвиняемый: Да, конечно.*

*Прокурор: Правда ли, что от действия «циклона» начиналось кровотечение из легких, а из прямой кишки выходил кал?*

*Обвиняемый: Да.*

*Прокурор: Правда ли, что каждая последующая партия заключенных должна была собственными руками очищать себе место, перетаскивая трупы?*

*Обвиняемый: Места хватало.*

*Прокурор: Однако, когда газовая камера заполнялась почти до потолка трупами, последующим жертвам приходилось выносить мертвых и чистить камеру?*

*Обвиняемый: Да, так бывало.*

*Прокурор: А бывало, что родителей разлучали с детьми, что мать умерщвляли раньше, чем дочь, так что дочери приходилось убирать труп собственной матери?*

*Обвиняемый: Да, бывало, но им разрешалось идти в газовую камеру вместе».*

Вот что пишет немецкая «Зольдатенцейтунг» о газовых камерах в Освенциме: «Никогда и нигде не было найдено приказов, которые предписывали строить такие камеры или использовать их».

Ровно через шестнадцать лет после того, как в Освенциме в последний раз разорвались человеческие легкие, газета немецких милитаристов подло и нагло лжет, дабы «создать благотворную атмосферу взаимопонимания»...

## Разве Эйхман был один?

Эйхман не мог бы без помощи своих сообщников пнуть ногой ни одного беззащитного еврея, не мог бы выслать, загнать в газовую камеру или поставить к стенке ни одного человека. Без фрейслеров, без шлегельбергов, без штукартов, без глобке, без бестсов, без мантейфелей, без манштейнов, без верховного командования армии, без генерала танковых войск Мейера, без Рамке, без баумкётерсов, без гейде-савадов, без фликов и без круппов Карл Адольф Эйхман остался бы тем, кем он был,— кривоногим, худощавым, среднего роста субъектом, ждущим приказов сверху, педантичным и аккуратным чиновником, который сам переписывал на машинке карточки для картотеки — тщательно и без помарок. Без Деница, без больших и малых риббентропов — фон баргенсов, фон этцдорфов, шварцманов и бройтигамов — Карл Адольф Эйхман остался бы тем, за кого его пытался выдать защитник: «обыкновенным стрелочником».

Карл Адольф Эйхман мог стать всесильным, мог вызывать ужас только потому, что господа, которые из жажды наживы, из стремления к сверхприбылям, из расового чванства, из природной жестокости, безумия и трусости, господа, одержимые манией величия, стали верой и правдой служить национал-социализму, создали тип эсэсовского палача, тип Рейнгарда Гейдриха, Вальтера Шелленберга и Освальда Поля. Без фон папенов и шахтов, без бройтигамов и глобке, без кейтелей и рамке не было бы государства Гитлера, государства эйхманов. Гитлер, один, без сообщников, был бы просто шизофреником, возомнившим себя мессией. Гиммлер, один, без сообщников, был бы просто чиновником, бредящим о «крови и почве» и «германском мече». Штрейхер, один, без сообщников, был бы просто садистом, исповедующим культ кнута, рядовым антисемитом и хулиганом. Только благодаря титулованным господам с приставками «фон» и «цу», только благодаря членам наблюдательных советов в концернах и фюрерам военной промышленности, благодаря господам директорам департаментов, господам государственным советникам, господам президентам нацисты и эсэсовцы выплыли на поверхность...

## Матрацы из женских волос, или «раскормленные и невиновные»

Казимеж Брандыс — поляк и, как он пишет в своей потрясающей статье в «Полиш перспективз», «неосуществленная операция немцев». В 1959 году Казимеж Брандыс впервые посетил берега «голубого Неккара» *. Кто знает этого сорокатрехлетнего поэта, в молодости участника Сопротивления 1939—1945 гг., создателя «Непобежденного города» и «Матери Крулей», во вновь отстроенной, зажиточной и хорошо организованной стране, в ФРГ? Казимеж Брандыс сидит у окна в гостинице «Три льва» и размышляет... Только что к его столику подошел хозяин гостиницы. Казимеж Брандыс восхищается башней замка и коровами, пасущимися на лугу. *«Вот каков он, здешний хозяин,*— думает Казимеж Брандыс.— *Собственно говоря, пятнадцать лет назад этот любезный толстяк должен был мыть руки мылом из моих костей, но я подвел его и теперь упле-*

* Отрывки из статьи Брандыса об этой поездке публиковались в «Иностранной литературе» № 3, 1959 г.

*таю кровавый бифштекс из его припасов. Это знаем мы оба. И на одно мгновение между нами возник как бы шутливый заговор».*

Казимеж Брандыс поляк. Я уже говорил это. И вдобавок еще, возможно, еврей. Вот что было ему уготовано в те годы.

Эсэсовец Фрич с гестаповскими петлицами приветствует вновь прибывших узников нижеследующими словами: «Обращаю ваше внимание на то, что вы явились не в санаторий, а в немецкий концентрационный лагерь. Из него выходят только через трубу крематория! Если вас это не устраивает, советую вам сразу же броситься на проволоку, через которую пропущен ток высокого напряжения!»

Казимеж Брандыс, возможно, не знает этой тирады эсэсовца Фрича. Но он наверняка знает, что, когда дело касалось побоев и убийств в газовых камерах, люди с петлицами гестапо всегда служили примером своим подчиненным!

Казимеж Брандыс впервые в жизни видит западногерманский буколический ландшафт: зеленые холмы, красные черепичные крыши... И его прямо-таки поражает, что в «Трех львах» все с иголочки, новенькое. Ты прав, Казимеж Брандыс, «неосуществленная операция немцев»,— все здесь новенькое. *«Ванная комната, обои, посуда, фартучки официанток, белье, крышка унитаза — все словно купленное только вчера, повсюду девственная белизна и комфорт».*

Казимеж Брандыс улыбается. Но его много страдавшее мудрое сердце объято грустью... *«В субботу вечером,*— думает Казимеж Брандыс,— *в этом зале, сверкающем серебром столовых приборов, соберутся сливки общества: бургомистр, председатель суда, промышленники со своими семьями, почтенные матроны в меховых палантинах, седые патриции в очках с золотой оправой».*

Быть может, вечер уже наступил. Вечера на Неккаре славятся своей мягкостью; для американских офицеров из Гейдельберга они — сущая отрада. Но, быть может, Казимеж Брандыс этого еще не знает. Он поляк. И вдобавок, возможно, еще еврей. Слышал ли он в те времена в Польше о страшном Грабнере и его помощниках-эсэсовцах, точно в такой вечер, как сейчас, они загоняли мужчинам иглы в мошонку, а женщинам раскаленные щипцы во влагалище? Солдаты в мундирах «высшей расы» впоследствии даже не отрицали этого! О, Казимеж Брандыс!

В этот теплый вечер *«люди здесь расхаживают в новых ботинках и разъезжают в новых машинах. Они живут в новых виллах и сидят во вновь отстроенных ресторанах. У них новые бары, новые бензоколонки, на их вновь заасфальтированных улицах ярко светятся только что нанесенные белые полосы. От асфальта не пахнет трупами. Зато повсюду пахнет сигарами, бензином и пивом. Очевидно, трупы они сжигали в другом месте».*

Казимеж Брандыс, ты человек храбрый, ты участвовал в польском движении Сопротивления, сейчас ты лауреат Варшавской литературной премии, но почему ты не сказал мне, что приедешь на берега Неккара? Я пригласил бы тебя в Мангейм. В этом городе живет небезызвестный господин доктор honoris-causa Отто Амброз. Доктор Отто Амброз пользуется огромным влиянием в горно-рудной компании «Хиберния АГ» (Херн, Вестфалия), в международной компании «Галалит» (Гамбург, Харбург), в «Пинч-Бамаг АГ» (Буцбах, Верхний Гессен), в химических предприятиях в Тростберге (Верхняя Бавария); в последнее время он занимает пост председателя наблюдательного совета всемирно известного акционерного общества «Кноль» (Людвигсхафен, Мангейм). И в те времена, когда гитлеровцы варили мыло из костей твоих братьев и сестер, Казимеж Брандыс, доктор Отто Амброз был влиятельным человеком!

Вот что рассказал бывший оберштурмбанфюрер войск СС комендант Освенцима Рудольф Франц Хёсс о директоре «ИГ Фарбен-индустри» в Людвигсхафене-на-Рейне, господине докторе Отто Амброзе:

*«Я, Рудольф Франц Фердинанд Хёсс, под присягой заявляю: с доктором Амброзом я часто встречался во время моих поездок в Людвигсхафен в 1941 году. Насколько мне известно, доктор Амброз отвечал за химические заводы «Буна» в концерне «ИГ Фарбен». Я видел его несколько раз на химических предприятиях в Освенциме... Я твердо уверен, что, так же как и все другие посетители лагеря, он знал об уничтожении людей в Биркенау, ибо в городе Освенциме, на химических заводах, да и вообще во всей округе много говорили об истреблении заключенных».*

Я без конца перечитываю одну фразу из твоего дневника, Казимеж Брандыс:

*«Преступления совершались, но все оказались невиновными, людей уничтожали, но никто не присутствовал при их уничтожении».*

Да, так оно и есть в этой Федеративной Республике, которую ты правильно окрестил *«страной с самым низким моральным уровнем и с самой большой неискупленной виной за преступления против человечности»*...

Прежде чем показать тебе, Казимеж Брандыс, поистине княжеские палаты доктора Отто Амброза в Мангейме-Линденхофе, я наверняка прочел бы с тобой документ о чудовищном «сотрудничестве» хозяев немецких концернов и обер-убийц гитлеровского государства, мы прочли бы письмо директора «ИГ Фарбен-индустри» Отто Амброза, рассказывающее о его «новой дружбе с СС»...

*«Д-р Отто Амброз*
*ИГ Фарбен-индустри АГ*

*Людвигсхафен-на-Рейне, 12 апреля 1941 г.*
*Телефон 64-98*

*Господам*
*Директору доктору Термееру*
*Директору доктору Штрусу*
*ИГ Франкфурт.*

*Уважаемые господа!*

*В приложении препровождаю вам записи переговоров о строительстве, которые проходят еженедельно под моим председательством.*

*Из них вы увидите, что организационно мы продвинулись вперед и, главное, что наша деятельность на Востоке началась.*

*В этот период, а именно 7.IV, было проведено также учредительное собрание в Катовицах, которое в общем и целом протекало удовлетворительно. Известное сопротивление, оказываемое нам мелкими чиновниками-бюрократами, удалось быстро сломить. Доктор Эккель показал себя при этом с наилучшей стороны, кроме того, весьма благотворно сказывается наша новая дружба с СС.*

*На ужине, который дало нам руководство концентрационного лагеря, мы определили все мероприятия на будущее, касающиеся использования действительно первоклассного предприятия концлагеря для нужд «Буна-Верке».*

*Остаюсь с наилучшими пожеланиями*
*Ваш Отто Амброз».*

Казимеж Брандыс, ровно двадцать лет назад этот магнат «ИГ Фарбен» чувствовал себя в Польше как дома, почти так же хорошо, как и в Людвигсхафене-на-Рейне. Его «деятельность на Востоке» началась в 1941 году «удовлетворительно» — «использованием действительно первоклассного предприятия концлагеря для нужд «Буна-Верке». Да, Казимеж Брандыс, господин доктор Отто Амброз принадлежит к тем, кого ты назвал как-то «раскормленными и невиновными»! Прости, если я процитирую тебя еще раз:

*«Здесь кажется, что они опять вернулись к своим лучшим старым традициям — к миру и прилежанию, к приветливости и педантичности, к тупоумному рейнскому благодушию, которое сочетается теперь, в век электроники, с точностью роботов. В этой стране механизированных Будденброков, где Томас Манн не захотел умереть, в этой новой саге о ганзейских городах — на флагах торговых домов изображены сейчас не орлы и свастика, а всего лишь эмблемы фирм,— строки текут плавно, если не считать пропуска в нумерации страниц. Все как будто бы очень последовательно. Однако двенадцать лет выпали совсем. Годы с 1933 по 1945 оказались досадной опечаткой, а Гитлер — персонажем из другого романа, автор которого так и остался неизвестен».*

Амброзианцы — а они так же многочисленны в ФРГ, как и ускользнувшие от наказания эйхманы,— стали в этом «раскормленном и невиновном» государстве от Фленсбурга до Миттенвальда усердными посетителями концертов, изысканными кавалерами, которые отлично знают, как надо приложиться к ручке баронессы, супруги господина полковника, дочери одного из бывших заправил военной экономики. Да, Казимеж Брандыс, ты не должен думать, что эйхманы менее искусны в целовании ручек, нежели в своих переговорах с руководством «действительно первоклассных» концентрационных лагерей. Ведь они были и остаются «образцовыми работниками» при всех обстоятельствах: при строительстве газовых камер и при катании с гор в Сен-Морице, при изучении статистического материала об «окончательном решении еврейского вопроса» и при вальсировании на файф-о-клоках в Раппало... Таковы эти немцы — «образцовые работники» и образцовые кавалеры. Они само совершенство. Настойчивые люди. Полные энергии. И, разумеется, весьма высокомерные, ведь они до сих пор убеждены, что «немецкая душа оздоровит всех и вся»...

Из окна, Казимеж Брандыс, ты видишь башню замка и коров, пасущихся на лугу. Не надо опасаться, что тебя усыпит жужжание пчел и мошкары на романтических берегах Неккара... Ты не принадлежишь к числу людей, которые могут забыть Варшаву и Треблинку только потому, что из саду у твоего хозяина расцвел тюльпан. Конечно же, ты восхищаешься белым ободком на красных лепестках тюльпана — белым, словно снег на мертвых губах, снег на башне одиночества. И ты внемлешь тому, как на землю спускается вечер, как ночь бесшумно становится на колени перед твоим окном — все это знакомо нам обоим. Но мы оба знаем также и другое: всегда и везде мы слышим крики пытаемых евреев, всегда и везде видим виселицы для польских патриотов и стены, у которых расстреливали русских. Всегда и везде мы помним о тридцать девятом годе, о сороковом, сорок первом, сорок втором, сорок третьем и сорок четвертом. Всегда и везде помним о палачах Рейнефарте, о Хёссе и Крамере, Эйхмане и Гиммлере... Об Отто Амброзе и Максе Фаусте. О нем я тебе еще не успел рассказать, Казимеж Брандыс.

Главный инженер Макс Фауст пользуется всеобщим уважением в Людвигсхафене-на-Рейне. Ты можешь увидеть главного инженера Макса Фауста из «ИГ Фарбен» на большой фотокарточке рядом с Гиммлером: преисполненный гордости и рвения, он

показывает промышленные объекты своего концерна в Освенциме рейхсфюреру СС! Гиммлер прикусил большой палец; задумавшись, он взирает на эсэсовский лагерь смерти. Главный инженер Макс Фауст, как всегда, одет с иголочки: на нем хорошо сшитый костюм с двумя нацистскими значками, белоснежный воротничок, безупречно повязанный галстук, красивая шляпа, его бегающие глазки вымаливают похвалу и поощрение. Он и впрямь заслужил их!

Цитирую докладную записку эсэсовцев из Освенцима:

*«Лейна-Верке, 30 марта 1941 года*

*Докладная записка*
*о совещании с комендантом концентрационного лагеря в Аушвице*
*от 27.3 1941 года, 15 ч.*

*Присутствовали: штурмбанфюрер Хёсс, комендант лагеря,*
*штурмбанфюрер Краус, начальник управленческого аппарата концентрационного лагеря в Ораниенбурге,*
*и несколько оберштурмфюреров и штурмфюреров, ответственных экспертов по специальным вопросам,*
*главный инженер Фауст, «Дуернфурт»,*
*инженер Флётер, «Дуернфурт»,*
*инженер Мурр,*
*доктор Дуерфельд, Лейна-Верке.*

*Соглашение*

*1. Господину Фаусту потребуется в текущем году около 1000 подсобных и обученных рабочих из числа уже имеющихся заключенных. Лагерь может их предоставить без какой бы то ни было предварительной подготовки.*

*2. В следующем году потребуется около 3000 заключенных. Это количество концлагерь сможет предоставить в том случае, если будут построены новые бараки и таким образом удастся превысить имеющееся в данный момент общее число заключенных — 8000 человек. Строительство новых бараков, ведущееся в настоящее время в лагере, тормозится из-за недостатка листового железа для полов и потолков. Мы берем на себя обязательство помочь лагерю в скорейшем обеспечении необходимыми материалами (качество и вопрос доставки).*

*3. Дальнейшее предоставление рабочей силы сверх названного контингента безусловно возможно, поскольку лагерь должен быть расширен и число заключенных предполагается довести до 30 000 человек. Темп расширения лагеря в значительной степени зависит от доставки железа и обеспечения необходимого числа «капо» (старост). «Капо», избирающиеся из числа десятников и других обученных рабочих — профессиональных преступников, должны быть переброшены в Аушвиц из других концлагерей. Эта акция в настоящее время уже проводится».*

Да, инженер Фауст пользуется в Людвигсхафене-на-Рейне всеобщим уважением! Ты думаешь, Казимеж Брандыс, кто-нибудь упрекает его в Федеративной Республике Германии за то, что он потребовал 1000, а потом 3000 заключенных для заводов «ИГ Фарбен-индустри» в Освенциме? Сейчас, так же как и в прежние времена, на нем хорошо сшитый костюм, белоснежная рубашка и безупречно повязанный галстук. Как ты думаешь, Казимеж Брандыс, по каким приметам ты можешь отличить бывшего сообщника, сотрудника или помощника Гиммлера и Эйхмана? Ты считаешь, что он и есть «раскормленный и невиновный»? Возможно. Ты считаешь, что он блистает теперь своими рыцарскими манерами и предупредительностью? Тевтонской заносчивостью и очками стоимостью в 178,5 марок? Возможно, возможно, возможно... Заверяю тебя, Казимеж Брандыс, они стоят рядом с тобой у бензоколонок, они сидят рядом с тобой в барах, они спят в соседних комнатах... Они повсюду, в Федеративной Германии, совсем близко, эти эйхманы, гиммлеры, гитлеры, шлегельбергеры, фрейслеры, лаутцены, кательсы, фаустены, амброзы, рейнефарты.

И ты думаешь, Казимеж Брандыс, все западногерманские писатели поймут тебя, если ты заговоришь с ними на эту тему? Ах, ты их совсем не знаешь, «тяжелого положения» некоторых из них, их «внутренней эмиграции», их «трудностей» в геббельсовском государстве! Разве они служили национал-социализму — ведь они всего только сочиняли сценарии для Геббельса! Неужели ты этого не понимаешь, Казимеж Брандыс? Разве они сделали что-нибудь предосудительное, если даже вопреки своей совести написали один-единственный разок стихотворение о евреях и статью о поляках, ведь они делали это ради старенькой мамы, ради малютки и, быть может, самую малость ради народа и фатерланда? Ты просто не понимаешь их, Казимеж Брандыс! И я их тоже не понимаю... Впрочем, они тебя тоже, наверно, не поймут, Казимеж Брандыс, не поймут твоих слов:

*«В романах иных западногерманских писателей, которые во время войны оставались у себя на родине, мы ощущаем присутствие некоего грозного и безликого механизма, вмешивающегося в человеческую судьбу наподобие какой-то чуждой внешней силы. Оказывается, никто по-настоящему не принимал участия в преступлениях, были только жертвы. Мы читаем в романах о русской зиме и о грубом обращении унтер-*

*офицеров с новобранцами, более образованными, чем эти унтер-офицеры. Оказывается, немцы не испытывали моральных пыток, не переживали глубоких сомнений, которые стремилась рассеять пропаганда, кричавшая об «исторической миссии Германии». Вместо этого в романах описываются художники, недовольные миром бункеров и окопов, офицеры, все как один участвовавшие в заговоре против третьего рейха, и масса штатских, изумченная воздушными налетами, раздавленная и напуганная все возрастающим сознанием неизбежности катастрофы и бесполезности войны. Если бы я не увидел в свое время тысячи немцев в оккупированной Варшаве, то после прочтения этих книг подумал бы, что весь немецкий народ двенадцать лет подряд был охвачен отчаянием или же участвовал в Сопротивлении. Но я помню слишком многое, и западногерманские писатели не смогли разубедить меня ни в чем».*

Твое недоверие, Казимеж Брандыс, вполне обосновано! Жаль, что ты не посетил какую-нибудь очередную встречу бывших парашютистов или бывших эсэсовцев. Жаль также, что ты не заглянул на какое-нибудь из осквернённых уже после 1945 года еврейских кладбищ... Тебе бы зайти на судебное заседание, где цинично издеваются над евреем или «левым», приговаривая этого левого к строгому наказанию... Тебе бы побывать на процессе, где выносится оправдательный приговор эсэсовскому убийце из-за «недостаточности улик», из-за «неподсудности за давностью» или из-за «бедственного положения обвиняемого»... Ты много потерял, Казимеж Брандыс!

Тем временем уже спустилась ночь, Казимеж Брандыс, ночь спустилась на залитую светом неоновых ламп Федеративную Республику Германии. Никто не слышит тебя, когда ты говоришь, перелистывая страницы книг:

*«Я думал, что литература даст ответ на те вопросы, о которых люди здесь деликатно умалчивают. Теперь мы знаем, что можно перестрелять целый город... Знаем, что можно набивать матрацы волосами убитых женщин. Но по старой привычке мы еще верим, что души мертвых воскресают на страницах книг. Девятнадцатый век передал нам в качестве одного из своих постулатов убеждение в том, что литература — совесть нации. Кажется, мы и в этом ошиблись».*

Над холмами и крышами на берегах Неккара взошла луна, Казимеж Брандыс. Тюльпан осыпался. Я вижу лепесток с белым ободком, он лег на красноватый ситец. Наступила ночь, Казимеж Брандыс. Из часов на стене капает время, словно черная роса. Я слышу твои слова, друг и брат из Польши:

*«Если бы меня спросили о стране с самым низким моральным уровнем и с самой большой неискупленной виной за преступления против человечности, я бы не задумываясь назвал Федеративную Республику Германии!»*

Ночь опустилась на мирно спящих людей с прошлым убийц. Только антифашисты плачут в этой стране при мысли о том, «что можно перестрелять целый город и делать матрацы из волос убитых женщин».

## Когда кровь лилась рекой...

Когда кровь лилась рекой, Карл Адольф Эйхман совещался с группенфюрерами СС и с крупнейшими немецкими химиками о наиболее эффективном способе массовых убийств. Химики были послушными орудиями в руках этого фанатика уничтожения — они вносили множество предложений. Тщательно взвесив все «за» и «против», Эйхман остановился на «циклоне-Б», кристаллическом препарате синильной кислоты. К тому времени Карл Адольф Эйхман являлся ярым приверженцем уничтожения «всей еврейской расы». Ближайший помощник и друг Эйхмана штурмбанфюрер СС Рольф Гюнтер, с энтузиазмом воскликнувший: «Чем скорее мы разделаемся с ними, тем лучше!» — выразил не только свое мнение об «окончательном решении еврейского вопроса», но и мнение Карла Адольфа Эйхмана.

Когда кровь лилась рекой, эсэсовский врач, доктор Август Хирт, коллекционировавший скелеты и черепа, руководитель Страсбургского анатомического института, написал глубокочтимому им Карлу Адольфу Эйхману докладную записку по вопросу «об обеспечении достаточного количества черепов еврейско-большевистских комиссаров для научных исследований в имперском университете в Страсбурге».

Хирг разъяснил обер-палачу Эйхману, что он, Хирт, является счастливым обладателем «почти полной коллекции черепов всех рас», но все же не имеет «достаточного количества еврейских черепов для серьезной работы». Далее он просил, чтобы оберштурмбанфюрер СС «обеспечил сохранность» еврейско-большевистских комиссаров, с тем чтобы потом, «когда они будут умерщвлены, можно было бы без повреждений отделить головы от туловищ и переправить их в Страсбург в герметически закрытых и наполненных специальной жидкостью жестяных сосудах».

Карл Адольф Эйхман был просто восхищен этим смелым требованием, которое полностью соответствовало его собственным намерениям и чаяниям.

Особенно импонировало Эйхману то, что сам Гиммлер неоднократно навещал институт Хирта, этот официальный центр садизма. Гиммлер, равно как и Эйхман,

с удовлетворением читал примерно такого рода сообщения об «успехах анатомических исследований»:

*«В общей сложности обработано 155 заключенных, в том числе евреев — 79, поляков — 2, азиатов — 4 и евреек — 70. Мужчины и женщины в настоящее время разделены и помещены в специальные палаты больницы Аушвиц для прохождения карантина. Для дальнейшей обработки отобранных особей требуется их немедленная передача в концлагерь Нацвейлер».*

«Дальнейшая обработка» 155 узников заключалась в том, что «отобранных» заключенных умерщвляли и их «головы без повреждений отделялись от туловища». Врач-эсэсовец Хирт имел в Нацвейлере (неподалеку от Страсбурга) свой собственный «маленький концлагерь» с газовой камерой.

...В те годы, когда кровь лилась рекой, в одном из концлагерей государства Эйхмана произошла следующая сцена... Только что закончилось уничтожение очередной партии заключенных в газовой камере...

*«Рабочий «зондеркомандо», составленной эсэсовцами из еврейских узников, человек, впавший в полную апатию из-за того, что ему приходилось непрерывно нагружать тачки трупами и отвозить их в крематорий, вдруг оторвался от своей работы — он укладывал мертвецов штабелями — и устремил пристальный взор в знакомое лицо. Перед ним была его мертвая мать! Его мать! В огромной мертвецкой раздался нечеловеческий крик. Мать! Да, то была его мать! Она была до неузнаваемости обезображена. Мать! Несчастный бросился на мертвое тело, изо всех сил вцепился в него. И без конца повторял: «Моя мать!» Товарищи старались увести его. Они слышали шаги эсэсовцев, приближающихся к ним. Узник, рыдавший над телом матери, начал рвать на себе волосы. Он рычал, как дикий зверь. Он сошел с ума. Эсэсовец вынул револьвер. Выстрел в затылок. На тело матери повалился труп сына... Эсэсовцы с проклятиями и грязными ругательствами разжали зубы мертвеца и начали выдирать золотые коронки и пломбы. Эта работа производилась в гитлеровском государстве весьма тщательно, ведь немцы — «образцовые работники».*

Я привожу отрывок из рукописи Эдмунда Питковского, одного из свидетелей массового уничтожения евреев. Эту рукопись — в ней свыше 200 страниц — он передал мне в Швейцарии 6 ноября 1945 года.

Вот что рассказал один из очевидцев убийства детей, один из свидетелей дьявольской жестокости эсэсовцев:

*«Я присутствовал при том, как палач из Аушвица застрелил весною 1943 года восьмимесячного ребенка. Я собственными глазами видел, как Адольф Эйхман вытащил пистолет, улыбаясь подошел к своей жертве, прижал дуло к голове грудного младенца и, повернувшись к эсэсовцу из своей свиты, сказал: «Вот как надо делать такие вещи». С этими словами он нажал курок. Изголодавшийся ребенок перестал плакать — его муки прекратились... Эйхмана я увидел впервые еще до того, как человечество осознало, что этот зверь существует на свете. В то время я жил в Праге, там я услышал о нем в первый раз. Мне было тридцать с лишним лет, я был коммерсантом. Я пошел на собрание, на котором выступал Эйхман. Чтобы ввести меня в курс дела, один из устроителей собрания представил меня Эйхману в качестве «влиятельного члена еврейской общины». Эйхман делал вид, что настроен весьма благодушно, но это была только маска. Когда я повернулся спиной, чтобы уйти, то услышал, как он со смехом сказал несколько слов своему адъютанту. Потом он показал на меня и захохотал еще громче.*

*Прошло много лет. Однажды утром в 1943 году я услышал шум на улице. Я подбежал к окну. Перед домом стояла машина, около которой суетилось множество немцев в форме СС. Внезапно офицер, сидевший в машине, подозвал к себе какого-то молодчика из своей свиты и показал ему на мое окно. Через минуту раздался стук в дверь. Там стоял эсэсовец, он схватил меня за руку и потащил на улицу.*

*— Что случилось? — спрашивал я.— Пожалуйста, не тащите меня, я и сам могу идти...*

*Но эсэсовец продолжал толкать меня к машине, на крыльях которой развевались два маленьких флажка. В кабине, развалившись, сидел сравнительно молодой офицер и взирал на меня с довольной улыбкой. Его лицо показалось мне знакомым, но я его не узнал.*

*Улыбка сползла с лица офицера, и он мрачно уставился на меня.*

*— Кажется, вы меня не узнаете... влиятельный еврей! — сказал он.*

*Я признался, что забыл его имя. Офицер вышел из кабины, подошел к другой машине и приказал эсэсовцу забрать меня, потом вернулся в свою машину. Мне сказали, что офицера зовут Адольф Эйхман.*

*Примерно через полчаса мы подъехали к большому зданию на окраине города. Эйхман вышел из машины и исчез в парадном. Тогда эсэсовец сделал мне знак, чтобы и я следовал за ним. Он провел меня через ту же дверь, в которую вошел Эйхман. Я прошел еще через две двери. Каждую охраняли вооруженные солдаты. Наконец я очутился в громадном зале. Это был кабинет Эйхмана. Эйхман сидел за гигантским письменным столом красного дерева, позади него на стене висел большой портрет Гитлера. У каждой двери в зале стояло по два солдата, кроме того перед Эйхманом толпилось множество эсэсовцев, готовых выполнить любой его приказ. Эйхман крикнул что-то конвойному. Дверь распахнулась, пятеро солдат ввели двух маль-*

*чиков. Одному было лет тринадцать, другому лет восемь. Из другой двери появился еще один солдат с плачущим восьмимесячным ребенком на руках. Видно было, что детей долго морили голодом.*

*— С сегодняшнего дня вы меня будете помнить,— сказал Эйхман, обращаясь ко мне.*

*Потом он приказал эсэсовцу «прочесть еврею лекцию».*

*Я не имел понятия, в чем провинились мальчики, только потом я узнал, что они бросились на эсэсовца, избивавшего прикладом старуху.*

*Дети молча ждали решения своей судьбы. Эсэсовец вынул изо рта сигарету и подошел к восьмилетнему мальчику. Два других эсэсовца схватили несчастного и положили его руку на стол.*

*Эсэсовец прижал горящую сигарету к руке мальчика, в комнате запахло горелым мясом. Мальчик закричал, но садист продолжал вдавливать сигарету в его руку. Мальчик отчаянно вертел головой, лицо его свело от боли. Минуты через три он потерял сознание. Тогда эсэсовец убрал сигарету, и кто-то из солдат вынес мальчика.*

*Второй мальчик пытался вырваться из рук охранника, но тот держал его крепко. Один из эсэсовцев включил на столе Эйхмана электрическую настольную зажигалку и поднес к ней длинную иглу. Он держал иглу над зажигалкой до тех пор, пока она не раскалилась. Затем он подошел к старшему мальчику и воткнул ему иглу в глаз. Мальчик не потерял сознания, крики несчастного были слышны даже после того, как эсэсовцы увели его из комнаты.*

*Эйхман с довольной улыбкой откинулся на спинку большого кожаного кресла.*

*— Да, теперь вы меня не забудете,— произнес он негромко.— Не бойтесь, мы ничего вам не сделаем. Ведь вы влиятельный еврей,— прибавил он с издевкой и, повернувшись ко мне, сказал: — Евреи — бич человечества. Их нужно уничтожить. А единственный способ их уничтожить — это истребить молодежь... Старики погибнут сами.*

*Эйхман кивком подозвал к себе еще кого-то из эсэсовцев и показал ему на плачущего младенца. Эсэсовец подошел к ребенку, нерешительно взглянул на него и, запинаясь, пробормотал:*

*— Мне очень жаль.— Он посмотрел на Эйхмана.— Но я не могу. Ведь он еще совсем маленький...*

*Лицо Эйхмана побагровело от ярости:*

*— Немедленно отправляйтесь с рапортом к своему начальнику!*

*Эсэсовец направился к двери, но Эйхман остановил его:*

*— Подождите! Я дам вам урок: нельзя быть таким мягкотелым — ведь в конце концов речь идет о еврейском ребенке.— Он встал с кресла, вынул из кобуры пистолет и с улыбкой направился к ребенку. Потом он повернулся ко мне и сказал: — Смотрите внимательно... Теперь вы меня никогда не забудете, влиятельный еврей.— Он прижал дуло пистолета к головке ребенка и, не колеблясь ни секунды, спустил курок.— Вот как нужно делать такие вещи.— После этого он обратился к провинившемуся эсэсовцу.— А теперь идите к своему начальнику. Я дам вам такую работу, от которой ваши нервы придут в порядок.*

*Пистолет был так близко от головы ребенка, что капли крови попали на дуло. Когда Эйхман заметил кровь, он бросил пистолет стоявшему рядом эсэсовцу.*

*— Почистите,— сказал он и добавил, указывая на пол, залитый кровью.— Пусть уберут эту гадость.— Потом он повернулся ко мне и сказал:— Мясо этого ребенка бросят моим псам, а кости будут перемолоты и использованы на мыло и удобрения.*

*Вырвавшись из рук охранников, я бросился на Эйхмана. Ловко отскочив, он схватил второй пистолет, лежавший на письменном столе, и ударил меня по голове.*

*Меня втолкнули в машину и привезли в Освенцим.*

*— Добро пожаловать на вашу новую родину,— насмешливо приветствовал меня эсэсовец.— Здесь вы не будете одиноким... Ваша жена и дети прибыли уже час назад.*

*Позже я установил, что он сказал правду. Прошло не так уж много времени, и моя жена, сын и дочь были сожжены в крематории Освенцима...»*

...Когда кровь лилась потоком, когда миллионы людей испытывали невероятные мучения, Карл Адольф Эйхман, сидя под портретом фюрера, с наслаждением курил сигарету, пуская аккуратные маленькие колечки дыма. Он был доволен собой и своим окружением из палачей и убийц.

## На шахматной доске фашизма

«Я, восьмидесятитрехлетний старик, стыжусь того, что я немец!»
*Проф. Эрвин Роде, Берлин*

Двенадцать лет подряд фюрер двигал взад и вперед фигуры на шахматной доске фашизма: своего верного короля, покорную королеву, мощные ладьи, слонов, трубивших «хайль», коней, ходивших по трупам, и, наконец, пешки — все они послушно следовали

за Гитлером и во времена еврейских погромов, и во времена битвы на Волге, в любой момент готовые рявкнуть: «Так приказал фюрер!»

Шахматного короля звали Шлегельбергер, профессор, доктор Франц Шлегельбергер. Некоторое время он был имперским министром юстиции. С собачьей преданностью позволил он фюреру передвигать себя куда угодно. Король обещал своему фюреру:

«1. Приспособить юстицию к национал-социалистскому режиму.

2. Исполнять все особые пожелания фюрера.

3. Создать «специальное право» для евреев и поляков.

4. Применять особо строгие наказания в отношении евреев и поляков.

5. Позаботиться о том, чтобы обвиняемые евреи и поляки были лишены всех юридических средств защиты.

6. В противоречии с законом выносить смертные приговоры «при подготовке к государственной измене, с отягчающими вину обстоятельствами».

Шахматную королеву фашизма звали доктор медицины Герта Оберхейзер.

Тиран наложил на себя руки, а его шахматные фигуры сочинили различные отговорки для оправдания своих зверств. Тиран отправился в ад, а фигуры остались в государстве «мерседесов» с прицепными дачами на колесах.

Кое-где в Западной Германии Гитлера проклинают и считают виновным в еврейских погромах, в трагедиях Орадура и Лидице, Дахау и Берген-Бельзена, Варшавы и Ковентри, зато его шахматным фигурам выплачивают в ФРГ солидные пенсии.

Итак, некоторое время королем на шахматной доске фашизма был Франц Шлегельбергер. Он убил польского еврея Маркуса Люфтгаза, передав его в руки тайной полиции и получив из рук божественного фюрера 100 000 марок... Теперь в государстве «мерседесов» и калорийной пищи бывший шахматный король реабилитирован и ежемесячно получает пенсию в размере 2894,08 марок из рук главного советника юстиции Гессе в 5-й палате Шлезвиг-голштинского суда. Кроме того, король, вызывавший всеобщий ужас, получил в западногерманском государстве еще 23 000 марок в качестве дополнительного пособия...

4 декабря 1947 года бывший шахматный король фашизма, господин над всеми нацистскими судьями-кровопийцами, действовавшими под сенью свастики, был приговорен в Нюрнберге к пожизненному заключению, но уже 4 февраля 1951 года его освободили из тюрьмы «под честное слово» как «неизлечимо больного»! В 1961 году этот бывший король все еще находится в добром здравии и пользуется немалым влиянием, выигрывая процессы вопреки всем нормам человеческого права. Он весьма доволен боннским государством и его служителями.

В государстве бриллиантовых колец и усовершенствованных кресел для телезрителей, где бывшие эсэсовцы и штурмовики становятся все богаче, а прежние узники концлагерей все беднее, шахматная экс-королева фашизма — доктор медицины фрау Герта Оберхейзер дает уроки господину министру внутренних дел Гельмуту Лемке; эта женщина-палач ведет процесс против министра внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн. «Экс-королева» снова желает иметь врачебную практику — ведь она обладает особыми познаниями: умеет дробить молотком ноги полякам и русским, а потом «собирать их» с помощью штифтов и без оных.

Мощную ладью на шахматной доске фашизма звали доктор Пауль Реймерс. В гитлеровские времена ладья Реймерс был страшен. Он вселял ужас, этот доктор Пауль Реймерс, бывший советник земельного суда в Берлине, бывший камергерихтсрат чрезвычайного трибунала в Берлине, деспот и гроза так называемого фольксгерихтсхофа.

Ныне Реймерс, ладья на шахматной доске фашизма,— советник юстиции земли Хехинген. Совсем недавно по ходатайству штуттгартского главного защитника Нельмана было прекращено дело советника юстиции доктора Пауля Реймерса, которому инкриминировалось соучастие в вынесении нижеследующих смертных приговоров:

*«I. Приговоров особого трибунала в Берлине. (Следует перечень 32 фамилий.)*

*II. Приговоров фольксгерихтсхафа. (Следует список из 27 фамилий.)»*

Следствие по делу доктора Пауля Реймерса, ныне советника в одной из земель ФРГ, прекращено господином главным государственным защитником Нельманом потому, что (обоснование занимает 22 машинописные страницы)... потому, что среди прочего...

*«1. Повсеместно признано, что в трудные времена и в годы войны применение особых законов, предусматривающих самые строгие меры наказания, оправданно.*

*2. Богуслав Баумрук и три других обвиняемых по его делу, приговоренные к смертной казни, поддерживали в 1943 году на заводах Шкода в Пильзене компартию денежными взносами, распространением коммунистических листовок и вербовкой новых членов.*

*3. Дело Виктора Реймана связано с организацией, созданной учителем теологии по имени Шольц (речь идет об австрийском движении Сопротивления.— З. Э.). Приговоренный к смерти обвиняемый Фишер-Леденике был доверенным лицом Шольца, стремившегося с помощью Франции и Англии оторгнуть Австрию от рейха...*

*4. Три приговоренных к смертной казни обвиняемых по делу Мартина Кохмана, будучи евреями, примкнули в еврейско-коммунистическому кружку и в меру своих сил*

*участвовали в подготовке свержения национал-социалистского строя и установления коммунистического режима в стране.*

*5. Карл Лютке в 1943 году способствовал вступлению двух своих товарищей по работе в коммунистическую организацию некоего Франца Якоба, а также предоставил свою квартиру Якобу, который прочел доклад в коммунистическом духе.*

*6. Пауль Юниус склотил в 1944 году на предприятии, где он работал, коммунистическую ячейку и побудил двух своих единомышленников с других предприятий последовать его примеру...*

*7. ...Нельзя привести доказательств того, что обвиняемый (советник юстиции доктор Пауль Реймерс, которого никак не удается посадить на скамью подсудимых.— З. Э.), будучи членом фольксгерихтсхофа в Берлине и чрезвычайного трибунала, сознательно нарушил в каком-либо из вышеупомянутых случаев действовавшие в те времена основные законоположения...*

*8. Следует учесть, что в тех случаях, когда приговоры выносились евреям (дело Мартина Кохмана), на определение меры наказания не могла не влиять принадлежность обвиняемых к народу, который повсеместно считался в те времена неполноценным и был поставлен в особые юридические условия (законы о поляках и евреях от 4. XII—1941 года)... Даже если бы было точно известно, какое участие принимал обвиняемый (речь идет снова о почтеннейшем господине советнике юстиции Реймерсе из Равенсбурга.— З. Э.) в вынесении этого приговора, то и тогда следовало бы учесть как смягчающее обстоятельство то, что из-за своего рода правовой слепоты в отношении некоторых вопросов, проявлявшейся в такого рода делах, он считал себя обязанным голосовать за смертный приговор... (!)*

*9. В других случаях обвиняемый (все тот же господин советник юстиции в Вюртемберге.— З. Э.) также не может быть изобличен в отклонении от правовых норм... (!)»*

Вторую ладью на шахматной доске фашизма звали доктор Эрнст Лаутц. Лаутц был главным государственным защитником и в трехстах девяносто трех случаях требовал вынесения смертного приговора в чрезвычайных трибуналах. Как правило, и эта железобетонная ладья следила за каждым движением указующего перста фюрера. Не зря фюрер заявил: «Я хочу, чтобы их (участников заговора 20 июля.— *З. Э.*) повесили, как освежеванные туши на скотобойне». Бывший главный государственный защитник — шахматная ладья фашизма,— повергавший людей в трепет, получил с 1 апреля 1951 года (в тот день Лаутц был выпущен из тюрьмы — *З. Э.*) «всего лишь» 160 000 марок из пенсионной кассы в городе Киле.

На шахматной доске фашизма несправедливость и преступления были признаны необходимыми для существования государства. На шахматной доске диктатуры фрачных манишек в Западной Германии ныне действует не один Пауль Реймерс! Сотни реймерсов вершат правосудие в Федеративной Республике. Эта их деятельность «узаконена» торжественным заявлением министра Фрица Шеффера, который возвестил 12 апреля 1960 года, что «лишь в единичных случаях недостойные люди смогли пробраться в юстицию».

Какое дело Шефферу до того, что в роли судей подвизается тысяча прежних гитлеровцев? Тысячи прежних вассалов Фрейслера, Лаутца и Шлегельберга процветают в западногерманской юстиции!

На шахматной доске фашизма одного слона звали Фершуэр, барон Фершуэр, другого — Зерафим, профессор Зерафим. Оба они отнюдь не вышли из игры в Федеративной Республике.

На шахматной доске фашизма одного коня звали Оберлендер, профессор Оберлендер, другого — Бехер, доктор Вальтер Бехер. Оба они продолжают действовать на шахматной доске государства «раскормленных и невиновных»!

На шахматной доске фашизма были также пешки, их роль сводилась к тому, что они ревели «Хайль! Да, да-а-а-а!» Эти пешки снова участвуют в игре в Западной Германии. Они разъезжают на мотороллерах и в малолитражках, сидят перед экранами телевизоров и едят свиные ножки с кислой капустой. Они и сейчас не понимают, что существуют только для того, чтобы кричать «да!» и в случае надобности становиться по стойке «смирно». Если бы они это поняли, то послали бы всех недостойных судей — от Фленсбурга до Линдау — туда, где жизнь заставила бы их добывать свой хлеб насущный честным трудом; они послали бы их в поле, на фабрики и в шахты. Ибо в Западной Германии не может быть справедливости до тех пор, пока сотни кровавых судей остаются теми, кем они были раньше,— попирающими человеческие права фашистами в судейских мантиях.

Но поскольку они вновь творят беззаконие — а их беззаконию нет предела,— позволительно спросить главного прокурора суда Федеративной Республики в Карлсруэ: как вы могли заявить 15 февраля 1960 года:

«Судей можно преследовать за вынесенные в третьем рейхе приговоры только в том случае, если они сознавали, что действуют незаконно или же преднамеренно совершали беззакония».

Нацистский судья, пославший поляка Антониака на эшафот за то, что тот «предоставил убежище двум еврейским детям», не сознавал, что творит беззаконие, ибо Ан-

тониак был «всего лишь» поляком (да и Карл Адольф Эйхман застрелил восьмимесячного младенца, потому что тот был «всего лишь» еврейским ребенком!)! И вот советник юстиции Мус, осудивший Антониака, еще совсем недавно «вершил правосудие» в Федеративной Республике Германии.

## Первые жертвы нацистского государства

Первыми жертвами нацистского государства были люди, которые уже в Веймарской республике ясно сознавали то, что так четко сформулировал Тельман: «Гитлер — это война!»

Первые жертвы гитлеровского государства погибли в страшных мучениях. Мучительной была смерть поэта Эриха Мюзама. Ужасной смертью умер коммунист Эдгар Андре. Погиб в застенке профессор Теодор Лессинг. Скончался, выйдя из концлагеря, Карл Осецкий. Священника Пауля Шнейдера пинали ногами, морили голодом, били плетьми, травили ядом. Тысячи, десятки тысяч людей были уничтожены во имя свастики и знака «СС», они погибли на виселицах, в карцерах, от рук эсэсовских «врачей», от выстрелов в затылок. Первыми жертвами нацистского государства стали немецкие антифашисты!

Бухенвальд: плети, камеры пыток, стол для вскрытий, карцеры смертников, белые стены, окрашенные кровью антифашистов, черепа, используемые в качестве пресс-папье... Да, первыми жертвами нацистского государства были немецкие антифашисты! Люди, которые уже до 1933 года говорили и писали: «Гитлер — это война!»

Кто еще помнит в наши дни о первом погибшем в концлагере Бухенвальд — немце Германе Кемпеке, который в последний раз увидел свет солнца 13 августа 1937 года? Кто помнит о немецком антифашисте, которому дали 50 ударов плетью из бычьей кожи, скрутив ему руки на затылке? Кто помнит о заключенных, которые по приказанию эсэсовцев должны были присутствовать при истязаниях своих товарищей? Первыми жертвами нацистского государства были немецкие антифашисты! Они страдали, умирали от голода, мерзли и обливались кровавым потом год за годом, зима за зимой, лето за летом.

В конце 1944 года в лагере Бухенвальд томились представители 32 различных национальностей. А потом 19 апреля 1945 года настало время вспомнить о погибших. На французском, русском, польском и немецком языках узники почтили память расстрелянных и замученных братьев. Все спасенные собрались на лагерной площади, на которой проходили переклички и которая была свидетельницей неслыханных злодеяний и жестокостей, но в то же время свидетельницей прекрасных примеров незаметного героизма и солидарности. Собрались, чтобы дать великую клятву:

*«Товарищи!*

*Мы, бухенвальдские антифашисты, пришли сюда, чтобы почтить память заключенных Бухенвальда и его рабочих команд, загубленных нацистскими зверями и их подручными!*

*51 000 человек были расстреляны, повешены, растоптаны, задушены, утоплены, заморены голодом, отравлены.*

*51 000 отцов, братьев, сыновей умерли мучительной смертью потому, что они боролись против фашистских убийц.*

*51 000 матерей и жен, сотни тысяч детей обвиняют!*

*Мы, оставшиеся в живых свидетели нацистских зверств, в бессильном гневе видели, как гибли наши товарищи.*

*Единственное, что привязывало нас к жизни, было сознание того, что день возмездия наступит!*

*Сейчас мы свободны!*

*Мы благодарим союзников, благодарим все освободительные армии, завоевавшие нам и всему человечеству мир и жизнь.*

*Мы — бухенвальдцы,— русские, французы, поляки, чехи, словаки, немцы, испанцы, итальянцы, австрийцы, бельгийцы, голландцы, англичане, люксембуржцы, румыны, югославы, венгры, совместно боролись против эсэсовцев, против нацистских преступников за свое освобождение. Нас воодушевляла одна мысль: наше дело правое, мы должны победить.*

*Мы, люди, говорящие на разных языках, вместе вели тяжелую, беспощадную, опасную борьбу, и эта борьба еще не закончена. Гитлеровские флаги все еще развеваются!*

*Убийцы наших товарищей все еще живы!*

*Все еще разгуливают на свободе наши мучители — эсэсовские садисты!*

*На этой площади, где совершались фашистские злодеяния, мы клянемся перед всем миром:*

*Мы не прекратим борьбу до тех пор, пока последний виновный не предстанет перед судом народов!*

*Наш лозунг — уничтожение нацизма и его корней.*

*Наша цель — построение нового мира — мира счастья и свободы. Мы обязаны это сделать во имя убитых товарищей и их близких.*

*Пусть каждый, в знак готовности вести эту борьбу, поднимет руку и повторит за мной:*

*Мы клянемся!»*

В 1933 году первые антифашисты были замучены в гестаповских подвалах. Уцелевших освободили в 1945 году из ада Бухенвальда и Дахау, Маутхаузена и Папенбурга. А в 1961 году в ФРГ было решено запретить самое большое Объединение лиц, преследовавшихся фашистским режимом.

Уже в 1959 году немцы и заграничные наблюдатели были ошеломлены, прочитав такого рода газетные сообщения:

*«Федеративный министр доктор Герхард Шрёдер — и притом ссылаясь на конституцию — требует очередного запрета. На этот раз должно быть прихлопнуто Объединение лиц, преследовавшихся фашистским режимом...*

*Министр объявил по радио ничего не подозревающим гражданам ФРГ о тех опасностях, которыми якобы была чревата деятельность Объединения...*

*При этом и в Федеративной Республике и за границей широко известно, что в послании к людвигсбургскому центру по выявлению военных и нацистских преступников Президиум Объединения лиц, преследовавшихся фашистским режимом, выдвинул тяжелые обвинения против одного из ныне действующих министров, обвинения, которые нигде и никем, по сути дела, не были опровергнуты...»*

**«Франкфуртер рундшау», 24 октября 1959 г.**

*«Шрёдеровский компас недвусмысленно показывает курс на создание полицейского государства.*

*Что касается членов антифашистского Объединения, то они были и остаются противниками Гитлера и жертвами его системы. Что же касается министра внутренних дел Шрёдера, то в гитлеровском государстве он носил партийный значок со свастикой еще в 1937 году. Для Шрёдера в 1945 году борьба за его бывшего фюрера была закончена. Но жертвы Гитлера продолжают оставаться его жертвами».*

**«Франкише прессе», 26 октября 1959 г.**

*«Неужели фундамент боннского государства поколеблется, если некоторые люди по-прежнему будут неустанно предостерегать нас от опасностей, грозящих нам со стороны фашизма и милитаризма? Или мы уже опять зашли так далеко? Быть может, кое-кто хочет сорвать свою злость на антифашистском Объединении только потому, что оно наступает ему на пятки?»*

**«Вестдейчес тагеблатт», 25 ноября 1959 г.**

Первыми жертвами нацистского государства стали немецкие антифашисты! 19 апреля 1945 года на площади для перекличек в Бухенвальде они поклялись:

*«Мы не прекратим борьбу до тех пор, пока последний виновный не предстанет перед судом народов!*

*Наш лозунг — уничтожение нацизма и его корней. Наша цель — построение нового мира — мира счастья и свободы. Мы обязаны это сделать во имя убитых товарищей и их близких...»*

Девять лет и четыре месяца спустя — 9 августа 1954 года — влиятельнейшая английская газета «Ньюс кроникл» писала:

*«Нет надобности снова воскрешать нацистское движение, если некоторым его самым упорным сторонникам — людям, которые до сих пор не дали никаких убедительных доказательств перемены своих взглядов — и без того предоставлена возможность влиять на весьма уважаемые демократические партии и занимать в Западной Германии посты министров, полномочных советников, дипломатов и ведущих членов правительства. Рассмотрим поближе нескольких деятелей, нашедших дорогу в правительство Аденауэра. Прежде всего, следует остановиться на импозантном, хорошо сохранившемся Герхарде Шрёдере...»*

Первыми жертвами нацистского государства стали немецкие антифашисты. Теперь их заставляют распустить свою организацию, потому что «шрёдеровский компас недвусмысленно показывает курс на создание полицейского государства...»

*«Мы не прекратим борьбу до тех пор, пока последний виновный не предстанет перед судом народов!»...*

# «Львы» читают «Отче наш»

*«По случаю троицы строевым шагом, как во времена фюрера, проходят участники встречи ветеранов через городок Виндсхейм; в их рядах марширует и солдат из бундесвера. Ночью они оглашали стены гостиниц пением старых «боевых песен», между прочим, они пели «Черную гвардию», которую любил Адольф Гитлер. Полиция не нашла во всем этом повода для вмешательства. Во вторник полицейское управление в Ансбахе подтвердило, что песня о «Черной гвардии» не значится в списках нацистских песен, запрещенных в Баварии. Согласно этому списку запрещены только «Песня о Хорсте Весселе», «Народ, за оружие», «Германия, пробудись», «Мы маршируем через Большой Берлин», «Дрожат дряхлые кости» и «На Балтийском море стоит железный отряд».*

**«Франкфуртер рундшау», 8 июня 1960 г.**

Троица 1959 года. Весна бьет в свои зеленые бубны. Фрейбург ожидает, когда на него снизойдет святой дух и когда в город войдут... «львы из-под Бреста». Три с половиной тысячи истинных германцев с железными бицепсами собрались в гигантском зале на окраине старинного городка земли Брейсгау, чтобы приветствовать львиным рыком фельдмаршала Альберта Конрада Кессельринга, «дорогого полковника» Ганса Ульриха Руделя и «брестского льва» — улыбающегося генерала Бернгарда Рамке.

Показывая на гигантское скопление автомашин — «мерседесов», «опелей», «фольксвагенов», «фиатов»,— водитель такси с горечью замечает: «Можно подумать, что уже началась мобилизация!»

В тот час, когда такси везет меня к залу собраний, парашютисты-католики внимают проповеди бывших армейских священников во фрейбургском кафедральном соборе, а парашютисты-евангелисты — в церкви Иисуса. Постепенно зал заполняется, участники встречи дружески хлопают друг друга по плечу — на это тоже нужно время! Бернгард Рамке проделывает эту процедуру с улыбкой: он знает, что его фотографируют и что на него устремлены все взоры. Грудь «брестского льва» украшена целой коллекцией орденов — скоро их будет так много, что груди не хватит! А как сверкают генеральские регалии в лучах мягкого весеннего солнца! И ярче всего сверкает, конечно, высший гитлеровский орден — рыцарский крест с мечами и бриллиантами. В свое время Бернгард Рамке именовал противников фашизма «негодяями», а евреев — «преступным сбродом»... В том же смысле, что и Карл Адольф Эйхман! В свое время...

Если хочешь присутствовать на фрейбургской «встрече» (а кого, собственно говоря, встречают эти бывшие молодчики Гитлера? Весну? Святого духа?), надо внести в кассу пять марок. За пять марок тебе вручают значок парашютиста и юбилейный проспект, на второй странице которого сообщается, что «багровое солнце встает» и что «далеко на Востоке сгущаются черные тучи». Далее обладатель проспекта может ознакомиться с «песней парашютистов», истинно германофашистской песней:

**К оружию, к оружию!**
**Знай, собрат, нет пути назад!**
**Далеко на Востоке сгущаются черные тучи,**
**Лети с нами, не колеблясь лети с нами».**

В зале уже успели собраться около трех с половиной тысяч бывших «героев». В воздухе пахнет «геройской» кровью и «геройскими» деяниями. На сцене воздвигнут гигантский крест, охраняемый непомерно большим орлом с растопыренными когтями.

Музыканты первой воздушно-десантной дивизии исполняют хорал Бюрке. После этого торжественного вступления слово берет (скорее следовало бы сказать — «хватает») господин экс-настоятель гитлеровского вермахта Лониц ер:

«Собратья! Вспомним великие деяния парашютных войск!— начинает он.— О них должно говорить с глубоким почтением»,— продолжает он, дрожа от истинно германско-празднично-парашютного воодушевления.

Затем оратор смешивает в одну кучу и ученого Альберта Швейцера, и геройские подвиги дорогих покойников-десантников, и благодать святого духа в день троицы в городе парашютистов Фрейбурге. По-видимому, на него действительно снизошел дух «брестских львов», иначе он бы не справился со столь сложной задачей! Войдя в транс, экс-настоятель вермахта цитирует апостола Павла: «Где дух господень, там и свобода» Ну как не вспомнить о духе господнем, говоря о гитлеровских парашютных войсках! Но вот Лониц ер снова возвращается к извечному парашюту: «Право и долг старых солдат,— уверяет он,— быть хранителями мира и бороться за него!»

А когда «герои» Донбасса и острова Крита, Коринфа и Монте-Кассино поют хором «Всемогущему господу хвала», то это звучит почти так же, как в храме божьем. Почти... Мне при этом разрешается стоять, сложив руки на животе,— в вопросах религии главари парашютистов придерживаются широких взглядов.

Господин генерал-полковник в отставке Курт Штудент в своей праздничной речи особо отмечает «упущенные возможности десантных операций» (о, если бы немцы выиграли эту войну!). Когда же он упоминает о западногерманском журналисте Куби, тон его становится на редкость кислым — еще более кислым, чем самое кислое фрей-

бургское вино. На этой шестой по счету встрече парашютистов генерал решительным образом заявляет, что «клевете на старых солдат должен быть положен конец». Гордо и торжественно, как подобает в большой праздник, Штудент возвещает, что «ореол немецкого солдата снова стал фактором мировой политики». Зал бушует, повсюду раздаются крики: «Браво, Рамке!», «Долой Куби!», «Браво, Рамке!» Зал грохочет... Генерал-полковник Штудент обращается к своему собрату Рамке, признанному любимцу дам:

«Дорогой Бернгард Рамке, после этой овации излишне говорить, что мы всем сердцем с вами!» Далее Штудент угрожает незримым куби в Федеративной Республике Германии: «Слишком много куби и слишком мало рамке оказалось у нас в Германии». Не успевает генерал-полковник выкрикнуть слово «Германия», как два человека в пятом ряду начинают свистеть, топать ногами и орать: «Долой Куби, долой Куби!»

Наступает подходящий момент для того, чтобы пустить ядовитую стрелу по адресу демократических сил.

«У нас слишком много пособников Кремля,— заявляет Штудент.— Саботажников в нашем государстве пора призвать к порядку!»

В весьма развязном юбилейном обращении гитлеровского полковника в отставке Рудольфа Бёймлера говорится: «Наше терпение истощилось! Ибо нам стало ясно, откуда дует ветер в 1959 году,— он дует с Востока!» Эти слова звучат и с трибуны. Так и кажется, что ты вот-вот услышишь шум пропеллеров и крик: «К самолетам! На старт! Полный газ! Сегодня мы летим на врага!» И тут кто-то вполголоса запевает песню парашютистов-десантников:

Грохочут моторы, мысли толпятся роем,
Пусть каждый вспомнит близких и дом,
Ведь скоро, братья, прозвучит команда к прыжку,
Мы летим на врага, там зажжем мы свет.
Скоро мы приземлимся, скоро мы приземлимся,
Знай, собрат, нет пути назад!
Далеко на Востоке сгущаются черные тучи,
Лети с нами, не колеблясь лети с нами!

Старого «папашу Рамке» чествуют сверх всякой меры в этот день троицы парашютных войск. В честь «нашего почетного гостя», генерал-фельдмаршала Кессельринга вспыхивает бурная овация. «Вы наш фельдмаршал!» — с воодушевлением выкрикивает генерал-полковник в отставке Штудент. В ответ на это господин фельдмаршал милостиво улыбаются.

С энтузиазмом чествуют также «нашего дорогого полковника Ганса Ульриха Руделя», кавалера высших гитлеровских орденов. Недаром некий господин обер-фельдфебель в отставке Вилли Вестфелинг заверяет в одном из западногерманских журналов, что Рудель «самый благородный и порядочный человек», какого он когда-либо знал...

В подтверждение сего экс-обер-фельдфебель приводит нижеследующий факт: «при оборонительных боях на Восточном фронте полковник Рудель, пикируя над русскими позициями, бросал из кабины связки ручных гранат и тем самым активно поддерживал наземные части».

С глубоким сожалением выслушивают собравшиеся весть о том, что генерал-танкист, «великий Мейер», не смог принять участия в этом мощном форуме «героев», хотя своего представителя он все же прислал во Фрейбург... Один из ораторов, преисполненный парашютно-десантной гордости, заявляет:

«Мы ощущаем свою тесную связь с собратьями из эсэсовских частей. Эти солдаты выполнили свой долг перед народом и фатерландом! (О «фюрере» оратор на сей раз умалчивает — в зале слишком уж много журналистов из Швейцарии и Франции).

Господин обер-бургомистр Фрейбурга приветствует молодчиков с железными бицепсами следующими словами:

«Пусть в вашем содружестве всегда живет дух ответственности, который мы, каждый на своем посту, обязаны поддерживать, дух, воодушевлявший военное поколение в тяжкие годы».

Именно так сказал бургомистр в своем юбилейном послании. Его представитель заверяет, что город Фрейбург несказанно счастлив принимать в своих стенах бывших гитлеровских парашютистов. Остается узнать, спросили ли «отцы города» Фрейбурга, как относится к этому вопросу водитель такси Викк? По дороге с вокзала к городскому залу собраний он с возмущением сказал:

«Мы, фрейбуржцы, против таких сборищ! Для Фрейбурга это позор. Но ведь нас не спрашивают...»

Так оно и есть! В западногерманской «демократической республике» никого не интересует мнение водителя такси, повара, столяра, металлиста, бетонщика, лаборантки, больничной сестры. До чего бы мы докатились, если бы начали советоваться с миллионами поваров, водителей такси, столяров, металлистов, бетонщиков, лаборанток, больничных сестер? В западногерманской «демократической республике» высказывают свое мнение и распоряжаются генералы, офицеры, обер-бургомистры. Разве этого не достаточно?..

Наступает минута, когда надо приветствовать именитых гостей из ближних и дальних городов. Бывший гитлеровский полковник Рудольф Бёймлер, «знаменитый защит-

ник» Монте-Кассино, отвешивает поклон графине фон Шулленбург из «нашего прекрасного свободного Берлина». Потом раздаются топот и аплодисменты, зал чествует «оказавшихся среди нас» итальянских парашютистов. При виде ее высочества, принцессы Боргезе, сердце тает даже у немецких милитаристов. Италия... Муссолини... При этом воспоминании тевтонские львы в огромном зале начинают реветь и бесноваться.

Можно себе представить, какие чувства обуревают их, когда они приветствуют испанских офицеров, срочно прибывших на сборище во Фрейбург.

«Во второй мировой войне они оправдали наши надежды, сражаясь против большевизма в «Голубой дивизии» на Восточном фронте!»

При этих словах три с половиной тысячи истых германцев вскакивают со своих мест.

Особо бурные аплодисменты и громкие выкрики выпадают на долю «собратьев-парашютистов из Каринтии». Кажется, что гитлеровские войска только-только вступили в Австрию. Дух Браунауэра незримо витает в зале. Дух Браунауэра... Не случайно очередной оратор заявляет, что вице-бургомистр Зальцбурга — этот австриец специально приехал во Фрейбург, чтобы посетить парашютное сборище,— является «отменно хорошим немецким солдатом!» И не случайно господин вице-бургомистр не возражает против того, чтобы именоваться отменным немцем.

Во время чествования павших атмосфера в зале становится мрачной. Из двух жертвенных чаш к небу (вернее, к потолку) вздымается жертвенное пламя. На сцену выносят венки. Исполняется национальный гимн. Парашютисты ревут совсем так же, как они ревели в самые черные времена разбойничьих походов на Запад и на Восток. Они ревут: «От Мааса и до Мемеля, от Эча и до Белта!»

Потом настает очередь молитвы. Глаза молодчиков-парашютистов насытились зрелищем жертвенных чаш, венков, громадного креста, осененного орлом с растопыренными когтями — символом шестилетнего разбойничьего похода против Польши и Франции, против Голландии и Советского Союза; их слух насладился звуками песни рыцарей-разбойников «От Мааса и до Мемеля, от Эча и до Белта». И в заключение их души тают от тихой «Отче наш»

Нет, на город Фрейбург (земля Брейсгау) в день троицы 1959 года снизошел отнюдь не святой дух. Дух, который царил в этом городе, был духом Кессельринга и Рамке, Руделя и Шёрнера. И поскольку это был также дух Гитлера, Геринга и Вильгельма Кейтеля, это был тем самым и дух Адольфа Эйхмана, как ни неприятно признаться в этом господам из Западной Германии! Ибо без кейтелей и кессельрингов, без шёрнеров, иодлей и деницев Карл Адольф Эйхман никогда не смог бы устроить оргии смерти в Праге и в Варшаве, в Париже и в Будапеште! Без вермахта, без войск СС, без гитлеровских и гиммлеровских офицеров Карл Адольф Эйхман остался бы тем, кем ему надлежало быть: хозяином бензозаправочной колонки или коммивояжером нефтяной фирмы, разъезжающим на мотоцикле!

Если бы на встрече парашютистов во Фрейбурге поминали погибших родных и близких, все присутствующие должны были бы читать «Отче наш» по Адольфу Гитлеру. Ибо Гитлер был для них самым родным и близким, ибо они носили свастику не только на фуражке и на мундире, но и в сердце.

## Я обвиняю!

**Я обвиняю**
**всех мужчин и женщин в Федеративной Республике Германии, которые во имя своего банковского счета и преступной идейки о «верности фюреру», почерпнутой из гестаповских реляций и «Песни о Нибелунгах», препятствуют утверждению подлинной демократии в Западной Германии.**

**Я обвиняю**
**господ прокуроров и судей, которые при Гитлере, Гиммлере, Фрейслере, Лаутце, Тираке и Шлегельбергере выносили чудовищные смертные приговоры, а сейчас получили возможность благоденствовать в этой «диктатуре фрачных манишек».**

**Я обвиняю**
**главных редакторов всех подлых фашистских изданий, всех гитлеровских писак, призывавших к убийствам и к «борьбе до победного конца», всех тех, кто отравлял немецкий народ, науськивая его на другие народы и внушая ему безумные идеи, а теперь благополучно здравствует в Эльдорадо, именуемом Федеративной Республикой Германии.**

Я обвиняю
тех, кто умерщвлял евреев, истреблял социалистов, вешал коммунистов, тех, кто на протяжении долгих и ужасных лет гитлеровского господства пинал ногами и посылал на плаху людей только за то, что они евреи, социал-демократы или коммунисты, а теперь благоденствует в этом государстве «экономического чуда».

Я обвиняю
бывших главарей военной промышленности, которые заработали миллиарды на Дахау и Бухенвальде, на Заксенхаузене и Маутхаузене, на Флоссенбюрге и Равенсбрюке, на Освенциме и Люблине, на Нёйен-Гамме и Гузене, на Нацвейлере и Гроссрозене, на Нидерхагене и Штутхофе, а ныне здравствуют в этой империи «мерседесов».

Я обвиняю
бывших учителей, всех тех, кто отравлял сознание юношества, кто взрастил в душе немецких мальчиков и девочек расовую ненависть — ненависть к полякам, к Советскому Союзу, к Франции, а теперь благоденствует в этой империи богатых людей, пьющих за завтраком шампанское.

Я обвиняю
комментаторов нюрнбергских расовых законов — пусть имена их будут прокляты во веки веков! — тех, кто навлек неслыханные бедствия на беззащитный народ, а теперь процветает в Западной Германии.

Я обвиняю
убийц — штурмовиков и эсэсовцев, вне зависимости от их должностей и рангов, всех, кто цинично орал: «Пока еврейская кровь не брызнет с ножа!» — а теперь благополучно здравствует в государстве, где вдова Гейдриха получает пенсию.

Я обвиняю
тех, кто во времена Гитлера «окончательно решал еврейский вопрос», тех, кто считался специалистом по газовым камерам и смертельным инъекциям, тех, кто уничтожал ни в чем не повинных людей, а теперь благоденствует в этой империи с самым низким моральным уровнем.

Я обвиняю
их всех!

И прежде всего я обвиняю
эсэсовских и гестаповских убийц, которые расстреляли 10 июня 1942 года в Лидице 192 мужчин и 8 женщин и до сих пор считают, что поступили правильно.

И прежде всего я обвиняю
убийц из эсэсовской дивизии «Рейх», которые 2 июня 1944 года зверски умертвили в маленьком французском селении Орадур 244 женщины и 190 мужчин, а теперь бравируют этим в ФРГ.

И прежде всего я обвиняю
эсэсовцев, и в частности господ из эсэсовского полка «Герман Геринг», которые измывались над 540 мужчинами в голландской деревушке Путтен, а потом загнали их в немецкий концлагерь смерти в Нёйен-Гамме.

И прежде всего я обвиняю
негодяев из войск СС, которые зверски убили детей, мужчин и женщин, в том числе одну слепую в деревне Марзаботто, близ Болоньи.

И прежде всего я обвиняю
бессовестных специалистов по депортации, которые 30 июня 1941 года оторвали от матерей 200 еврейских ребятишек, 200 малышей, плачущих, молящих о пощаде, и 198 из них замучили до смерти.

Я обвиняю
этих зверей, а вместе с ними всех немцев от Фленсбурга до Миттенвальда, которые не пролили ни слезинки и не потребовали, чтобы убийцы все до одного сели за решетку.

И прежде всего я обвиняю
ученого-химика Отто Амброза из Мангейма, который 1 апреля 1941 года с непревзойденным цинизмом писал господам доктору Термееру и доктору Штрусу из «ИГ Фарбениндустри» в Людвигсхафене-на-Рейне о том, что «во время ужина, который дало руководство концентрационного лагеря, он определил все мероприятия на будущее, касающиеся использования действительно первоклассного предприятия концлагеря для нужд

«Буна-Верке», а теперь благоденствует и зарабатывает большие деньги во множестве «первоклассных предприятий» в Западной Германии.

И прежде всего я обвиняю
обер-инженера Макса Фауста в Людвигсхафене-на-Рейне — большая фотография, где он снят вместе с Гиммлером, лежит сейчас передо мной,— Макса Фауста, который целеустремленно и цинично демонстрировал самому главному бухгалтеру смерти, Генриху Гиммлеру, промышленные объекты своего концерна в Освенциме, а теперь вновь считается честным гражданином в этой возрожденной «Великой Германии».

И прежде всего я обвиняю
господина Адольфа Хойзингера, который 27 марта 1941 года подписал документ, где говорится, что из «политических соображений чрезвычайно важно со всей беспощадностью нанести удар по Югославии, молниеносно разгромить», а ныне опять стал в Западной Германии могущественным и влиятельным лицом.

И прежде всего я обвиняю
всех тех, кто стоял по стойке «смирно», всех гитлеровских фанатиков, требовавших «бороться до победного конца», всех апостолов гибели цивилизации, всех генералов и офицеров, которые днем и ночью расстреливали людей во Франции и Польше, в Норвегии и Советском Союзе, в Югославии и Греции, в Чехословакии и Германии, а теперь вновь предлагают свои услуги, зная, что в них опять нуждаются в Западной Германии.

И прежде всего я обвиняю
каждого человека в Германии, который в пресловутую «ночь погромов» ликовал и кричал: «Бей евреев!» — каждого немца, который, видя, как угоняют евреев, бормотал: «Я здесь ни при чем». Я обвиняю их всех и спрашиваю: «Неужели вы действительно были ни при чем?»

И прежде всего я обвиняю
равнодушных и безразличных, которые сейчас опять бормочут, сидя за кружкой пива или за бокалом шампанского: «Я здесь ни при чем»,— хотя прекрасно знают, что в Западной Германии процветают господа из третьей империи, что они снова командуют, муштруют молодежь, травят евреев и левых...

Итак, я обвиняю
господ из Федеративной Республики Германии, которые всеми доступными им средствами помешали тому, чтобы после мрачной ночи национал-социализма в стране взошла бы заря подлинной демократии.

Я обвиняю
от имени миллионов жертв войны, развязанной Гитлером, Герингом и немецкими милитаристами.

Я обвиняю
западногерманских демагогов, которые на «встречах» и «празднествах героев» осмеливаются без устали болтать об «осмысленной жертве павших», об их «геройской и оправданной смерти».

Я обвиняю
всех сознательных лжецов, которые утверждают сегодня, что 180 000 погибших немецких солдат — юношей, не достигших двадцатилетнего возраста — шли на смерть «за великое дело».

Я обвиняю
садистов, убийц и палачей, которые уничтожили, умертвили в газовых камерах, убили 6 000 000 евреев — детей, матерей, отцов. Я обвиняю не только обер-бухгалтера смерти Карла Адольфа Эйхмана, но также и всех эйхманов! Всех эйхманов, которые разъезжают сейчас в собственных «мерседесах», которые громко хохочут в своих кегельных «ферейнах», которые поклоняются Вагнеру и закупают виллы в Тессине и Энгадине.

Я обвиняю
от имени всех умерщвленных в Освенциме, в Майданеке, в Треблинке, в Штутгофе, в Маутхаузене, в Равенсбрюке, в Гроссрозене, в Терезиенштадте, в Дахау, во Флоссенбурге, в Бухенвальде, в Берген-Бельзене, в Нёйен-Гамме, в Папенбурге, в Нацвейлере, в Орадуре, в Марзаботто, в Лидице, в Путтене, в Варшаве, в Минске, в Вильнюсе, в Праге, в Белграде, в Лиможе, в Аргейме, в Роттердаме, в Ковентри — от имени несчетного числа мертвецов.

До тех пор пока в ФРГ продолжают оставаться на своих постах и командовать убийцы евреев, французов, поляков и русских, до тех пор пока там терпят установленную за узниками концлагерей и антифашистами слежку, в Федеративной Республике Германии не будет подлинной демократии. Когда бывшие коллеги Фрейслера и бывшие любимчики Геббельса болтают о демократии, они понимают под этим диктатуру «господ во фрачных манишках». Когда эти молодчики, бывшие гитлеровские офицеры, болтают о Христе, они подразумевают под этим атомное оружие и войну на Востоке.

Да, они часто упоминают о «непреодоленном прошлом», но, поверьте мне, господа, прошлое можно было бы легко преодолеть, если бы все вы ушли в отставку! Прошлое не преодолено, потому что сегодня господа глобке и хойзингеры процветают по-прежнему. Прошлое не преодолено, потому что сегодня в Западной Германии важный пост занимает человек, которого в годы Освенцима и Бухенвальда никак нельзя было бы назвать антифашистом, человек, которого «Франкфуртер рундшау» 10 декабря 1960 года назвала «заносчивым министром внутренних дел Герхардом Шрёдером». Хватит болтать, господа, мы хотим, чтобы вы действовали — ушли в отставку! Вы должны уйти, или Западная Германия никогда не станет демократическим государством.

Вам всем нельзя доверять, господа, ибо, когда на землю спустилась ночь, ночь ужасов и испытаний, длившаяся двенадцать лет, вы в той или иной форме служили дьяволу, служили убийцам и палачам.

J'accuse — я обвиняю всех вас! Я говорю вам: ваши слова о демократии и свободе — пустой звук. Все вы служили Гитлеру и Эйхману. В те часы, когда в людях должна была заговорить совесть, вы не нашли в себе ни капли сочувствия к пытаемым и избиваемым. А теперь вы осмеливаетесь болтать о демократии. Ни одному вашему слову нельзя верить: когда вы говорите о Христе, то думаете, как бы удержаться на своих тепленьких местечках. Ни один истинный демократ в Европе не поверит вам. На все ваши речи и клятвы может быть только один ответ:

«На словесном огне риса не сваришь»,— так гласит мудрая китайская поговорка.

ФРИЦ КРЕМЕР *(ГДР)*
«Знаменосец».
Из цикла «Бухенвальд».

## ЭМРИС ХЬЮЗ

# ВСТРЕЧИ И БЕСЕДЫ С БЕРНАРДОМ ШОУ

Мне было шестнадцать лет, когда я впервые увидел Бернарда Шоу. В шестнадцать лет люди впечатлительны, и мне живо запомнилось, как Шоу выступал на предвыборном собрании в Маунтин-Эш — шахтерском городке на юге Уэльса.

Он приехал туда агитировать за Кера Харди, который на протяжении десяти лет был нашим депутатом в парламенте. Кер Харди был социалистом, одним из основателей лейбористской партии, и постоянно подвергался резким нападкам на страницах буржуазной прессы: его считали врагом номер один. Потому-то Бернард Шоу и приехал агитировать за него.

Зал заполняли шахтеры, явившиеся поддержать Кера Харди. Имя Бернарда Шоу им ничего не говорило. Ведь дело происходило в 1910 году: Шоу уже завоевал репутацию талантливого драматурга и журналиста, но еще не был широко известен за пределами Лондона.

Шоу и Кер Харди, могучий седобородый шахтер, были ровесниками — им обоим исполнилось по пятьдесят четыре года. Но Шоу казался моложе своих лет — его жизнь была не такой тяжелой, как жизнь Кера Харди. Он был выше ростом, волосы, разделенные прямым пробором, и короткая бородка только начинали седеть, и он походил на добродушного Мефистофеля.

Председательствовал священник-диссидент — в те дни довольно редкая птица на трибуне лейбористской партии,— и Бернард Шоу начал свою речь с того, что поздравил его: надо обладать истинной смелостью, чтобы выступить на одной трибуне с людьми, пользующимися такой дурной славой, как Кер Харди и Бернард Шоу. Затем он объяснил, что не собирается агитировать рабочих — он полагает, что все шахтеры и так достаточно умны и сознательны, чтобы голосовать за Кера Харди. Нет, он обращается к среднему сословию — к лавочникам, к людям свободных профессий (таких в зале было очень мало) и призывает их отдать свои голоса Керу Харди.

Шоу, говоривший с легким ирландским акцентом, был хорошим оратором, его остроумие и юмор пришлись по вкусу слушателям, и они громко смеялись его шуткам, когда он принялся объяснять, сколь нелепа капиталистическая система, и высмеивать тупость и невежество лидеров консервативной и либеральной партии, которые так боятся социализма.

В 1910 году лейбористская партия была очень малочисленна, и в парламенте ее представляла лишь горстка депутатов, так что, по всеобщему мнению, политическая жизнь страны сводилась к борьбе между либералами и консерваторами. Однако Шоу заключил свою речь предсказанием, что наступит время, когда завтрашний мистер Балфур, которому король после выборов поручит сформировать кабинет, скажет: «Я сожалею, ваше величество, но консерваторы не получили большинства, вам лучше послать за мистером Асквитом». Затем во дворец явится завтрашний мистер Асквит и скажет королю, что он также не получил большинства. И тогда королю придется сказать: «Остается послать за мистером Харди». «И дай бог,— заключил Шоу,— чтобы завтрашний Кер Харди был нашим сегодняшним Кером Харди».

Его слушателям понравилась мысль, что королю придется обратиться к Керу

Харди, республиканцу заведомо крайних взглядов, и все громко аплодировали Шоу, когда он кончил речь.

Кер Харди был одним из героев моих школьных лет, а после этого собрания Бернард Шоу тоже стал моим героем, и я отправился в рабочую библиотеку, чтобы познакомиться с его книгами, но их там еще не было.

Однако ждать мне пришлось недолго. Пьеса Шоу «Человек и сверхчеловек» шла в Лондоне с большим успехом, и Шоу решил выпустить ее в дешевом издании, брошюркой ценой в шесть пенсов. Он говорил: «Как бы ни были дороги книги, библия должна быть дешевой, а так как «Человек и сверхчеловек» — моя библия и излагает мою веру, я решил продавать ее по шесть пенсов за штуку».

Шоу дал пьесе подзаголовок: «Комедия и философия». К ней прилагался сборник афоризмов Джека Теннера, ее главного героя, названный «Руководство для революционера». Я прочел ее с жадностью, особенно восхитила меня встреча Джека Теннера с бандитом Мендозой и их беседы. Когда шайка Мендозы захватила автомобиль Теннера, путешествовавшего по испанским горам, Мендоза с достоинством представился ему: «Мендоза — президент лиги Сьерры. Я бандит и живу тем, что граблю богатых». Теннер, не задумываясь, ответил: «Я — джентльмен и живу тем, что граблю бедных. Пожмем друг другу руки».

Я навсегда запомнил этот остроумный парадокс, так же как и множество других, хотя и был слишком молод, чтобы понять длинные разговоры в аду и ту философию, которая развивалась в них.

Потом я достал еще одну пьесу в бумажной обложке, стоившую шесть пенсов. Это была пьеса об Ирландии — «Другой остров Джона Буля» — уже не библия, а политический памфлет. Ирландский вопрос стоял тогда до крайности остро, и этой пьесой Шоу-ирландец вносил свой вклад в борьбу, которую вела его родина.

С тех пор многое изменилось, и пьеса утратила свою актуальность. Но в ней есть места, которые все еще интересно читать, потому что они дают представление об ирландском характере. Я занес в свою студенческую записную книжку слова отца Китана, помешанного (но не такого уж безумного) священника, сказанные им в последнем разговоре с Бродбентом, английским дельцом.

**«Бродбент** (задумчиво). Как-то раз, когда я был ребенком, мне приснилось, что я попал на небо.

Так, что-то вроде зала, повсюду голубой атлас, и все благочестивые старушки нашего прихода сидели там рядком, словно во время богослужения. А на другом конце, на амвоне, маячил какой-то господин довольно устрашающего вида. Мне там не понравилось. А на что похоже небо в ваших снах?

**Китан.** В моих снах — это страна, где государство — это церковь и церковь — это народ; все три воедино. Это общество, где работа — это игра, а игра — это жизнь; все три воедино. Это храм, где священник — это молящийся, а молящийся — это тот, кому молятся; все три воедино. Это мир, где жизнь человечна и все человечество божественно; все три воедино. Короче говоря — это греза сумасшедшего. (Поднимается по холму и исчезает из виду)».

Бернард Шоу был не только драматургом, но и весьма деятельным журналистом. Он часто печатал остроумные и злые статьи в «Дейли ньюс», популярной в те годы либерально-радикальной газете.

Я хорошо помню его статью о гибели парохода «Титаник» в Атлантическом океане, помню, с каким жгучим сарказмом разоблачал он романтические вымыслы, которыми пытались смягчить впечатление от этой катастрофы. Комментируя слухи о том, что, пока корабль шел ко дну, оркестр якобы продолжал играть «Мы все ближе, ближе к богу», Шоу добавлял, что первый помощник капитана под эту музыку посылал ко всем чертям мистера Брюса Исмея. Брюс Исмей был тогда председателем компании, которой принадлежал пароход. Шоу с горечью писал о том, что пассажиров первого класса первыми высадили в шлюпки, а все остальные пассажиры и команда вынуждены были остаться на тонущем корабле.

Многие из лучших произведений Шоу написаны как раз в этом духе злободневной публицистики. А большинство его статей и сейчас читается с большим интересом.

Однажды Шоу пригласили выступить в Сити-Тэмпл — церкви, священник которой, преподобный Р. Дж. Кэмпбелл, прославился своей пропагандой новой теологии — гуманистической интерпретацией христианской этики и социализма. И Шоу согласился выступить с церковной кафедры. Он начал с объяснения, что отнюдь не является христианином в общепринятом смысле этого слова. Многие псалмы кажутся ему малопривлекательными. Строки вроде «Омой меня ты кровью агнца. И стану я белее снега»,— сказал он,— слишком уж напоминают о лавке мясника».

Его проповедь (если это можно назвать проповедью) заканчивалась так: «Живи полной жизнью, подари ближним все, что есть в тебе, и тогда ты можешь предстать перед богом — если этот бог существует,— не как жалкий пресмыкающийся грешник, а гордо сказать ему: «Я делал твою работу, когда был на земле, и сделал больше, чем должен был сделать.

---

ЭМРИС ХЬЮЗ
ВСТРЕЧИ И БЕСЕДЫ С БЕРНАРДОМ ШОУ

Я оставил мир лучшим, чем нашел его. Я пришел не молить о награде — я ее требую».

Я подумал тогда, что это была самая замечательная проповедь из всех произнесенных в Сити-Тэмпл.

К тому времени, когда я поступил в учительский колледж в Лидсе — это произошло в 1913 году,— моя записная книжка была полна высказываний Бернарда Шоу. На них я построил доклад, с которым выступил на заседании студенческого общества.

В Лидсе я мог посещать хорошую библиотеку, и в моей записной книжке появлялось все больше цитат из произведений Бернарда Шоу.

В «Майоре Барбаре» я нашел разговор пушечного короля Эндрью Андершафта с молодым политическим деятелем. Андершафт говорил:

«Правительство твоей страны! Я — правительство твоей страны! Я и Лейзерс (его компаньон.— **Э. Х.**). Неужели ты думаешь, что десяток дилетантов вроде тебя, усевшись рядком в этой дурацкой говорильне, могут управлять Андершафтом и Лейзерсом? Нет, мой друг, вы будете делать то, что выгодно нам. Вы объявите войну, если нам это будет угодно, и сохраните мир, если нам это подойдет. Вы обнаружите, что промышленности требуются такие-то мероприятия как раз тогда, когда мы решим эти мероприятия провести. Когда мне нужно будет повысить дивиденды, вы найдете, что это государственная необходимость. Когда другие захотят понизить мои дивиденды, вы призовете на помощь полицию и войска. И за все это вы получите поддержку и одобрение моих газет, а также удовольствие воображать себя великими государственными деятелями. Правительство твоей страны! Ступай, мой милый, играй в свои перевыборы, передовицы и исторические банкеты, в великих лидеров, в животрепещущие вопросы и в остальные твои игрушки! А я вернусь к себе в контору, заплачу музыкантам и закажу какую мне нужно музыку».

Я не раз вспоминал эти слова, когда стал депутатом в палате общин. Никто еще не сумел в такой короткой речи сказать столько правды об английской политике. Я записал и краткое высказывание об английском характере, вложенное в уста Наполеона в «Человеке судьбы».

«Англичане — особая нация. Ни один англичанин не опустится так низко, чтобы не иметь предрассудков, и ни один не поднимется так высоко, чтобы освободиться от власти. Но каждый англичанин от рождения наделен некоей чудесной силой, благодаря которой он и стал владыкой мира. Когда ему что-нибудь нужно, он никогда себе не признается в этом. Он будет терпеливо ждать, пока в его голове, неведомо как, не сложится твердое убеждение, что его нравственный и христианский долг — покорить тех, кто владеет предметом его вожделений. Тогда он становится неутомимым.

Подобно аристократу, он делает все, что ему вздумается, и хватает все, что понравится. Подобно лавочнику, он вкладывает в достижение своей цели упорство и трудолюбие, порожденные крепкими религиозными убеждениями и высоко развитым чувством ответственности. Он всегда умеет найти наиболее выгодную для себя моральную позицию.

Как ярый поборник свободы и независимости, он захватывает и подчиняет себе полмира, называя это колонизацией. Когда он нуждается в рынке для своих подмоченных манчестерских товаров, он посылает миссионера проповедовать туземцам евангелие всеобщего мира. Туземцы убивают миссионера. Тогда англичанин берется за оружие, чтобы защитить христианство. Сражается за него. Побеждает. И забирает рынок как награду, посланную свыше. Чтобы защитить берега своего острова, он сажает на корабль священника, вывешивает на брам-стеньге флаг с крестом, плывет на край света, топя, предавая огню и истребляя всех, кто оспаривает у него господство над морями.

Он хвастливо заявляет, что любой раб свободен с той минуты, как нога его ступила на английскую землю, а детей английских бедняков посылает работать под ударами хлыста на фабриках по шестнадцать часов в день. Он устраивает у себя две революции, а потом объявляет войну нашей революции во имя закона и порядка. Нет той подлости и того подвига, которых не совершил бы англичанин, но и не было такого случая, чтобы англичанин оказался неправ. Он все делает из принципа. Он помыкает вами из благородных принципов. Он поддерживает короля из верноподданнического принципа и его же обезглавливает из принципа республиканского. Его неизменный девиз — долг. И он всегда помнит, что нация, у которой долг разошелся с ее интересами, обречена на гибель».

Так Шоу развил краткое замечание Наполеона: «Англичане — нация лицемеров». Не следует забывать, что Шоу, мастер английской прозы, был ирландцем.

В августе 1914 года началась война, но, к моему большому разочарованию, в те дни не было слышно высказываний Шоу о ней. Кер Харди сразу объявил себя противником войны и подвергся бешеным нападкам и в палате общин и в печати.

Прошло целых два месяца, прежде чем Бернард Шоу выступил с большой статьей, в которой излагал свой взгляд на войну. Статья была опубликована в приложении к «Нью стейтсмен» и называлась «Здравый смысл и война». Шоу обладал необычайной способностью говорить нечто отличное от сказанного другими, и эта статья не была исключе-

нием. Он не выступил против войны открыто, а следующим образом изложил свое отношение к ней: «Я словно наблюдаю схватку двух пиратских флотилий, но должен, однако, оговориться, что, поскольку и я сам, и моя семья, и все мои друзья находимся на английских кораблях, то я по мере сил буду способствовать победе английской стороны. Над всеми кораблями развевается «Веселый Роджер» *, но я, разумеется, выбираю тот черный флаг, в уголке которого вышит британский герб». В начале статьи он заявил, что, как ирландец, он может объективно оценить положение вещей: «Как ирландец, я буду критиковать англичан с независимостью иностранца, а может быть, позволю себе и легкую насмешку, ибо мне хотелось бы выбить из Англии ее самодовольство. Лорд Китченер сделал ошибку, упрекая ирландских добровольцев за то, что они не торопятся защищать «свою родину». Ирландцы еще не считают Англию своей родиной. Лорду Китченеру следовало бы попросить ирландцев, как обычно, помочь бедной Англии в ее трудной борьбе. Тогда все было бы в порядке».

И, хотя Шоу делал вид, будто поддерживает войну, статья содержала столько издевательств над псевдопатриотической военной пропагандой, что привела в ярость английскую прессу.

Шоу парировал удары критики, опубликовав иронический ответ на свою собственную статью. Он писал:

«Этот бессердечный шут, Бернард Шоу, который находит злобное удовольствие в том, чтобы отвлекать наше внимание от неслыханных ужасов, нам угрожающих, и смеется над изувеченными жертвами немцев прямо в глаза английским матерям, посылающим своих сыновей на фронт, теперь пытается завоевать расположение черни, крича о том, что враги должны потерпеть решительное поражение в борьбе с нашим союзником — царем. Куда смотрят власти? Почему эта обезьяна еще на свободе?»

Хотя статья Шоу взбесила квазипатриотов буржуазной прессы, она ободрила ничтожное меньшинство противников войны, и Кер Харди послал Шоу письмо, в котором сердечно благодарил его.

Но Кер Харди был болен и умер в сентябре 1915 года. В прессе его жестоко травили писаки-шовинисты. Шоу написал большой некролог о нем для нашей местной газеты «Мертир Пайониер». Этот некролог начинался так: «Я убежден, что палата общин и партия лейбористов испытывают огромное облегчение от того, что тело Кера Харди покоится в земле **. Жаль, что я не могу воскресить их былой страх перед ним, добавив, что душа его продолжает борьбу, но я в этом отнюдь не уверен: скорее всего он захватил душу с собой. Право, смерть была для Харди единственным выходом. Ну разве мог он остаться с этими жалкими рабами, которые воображали себя социалистами, покуда пробный камень войны не обнаружил их сущности перед всем светом?

Харди был слишком стар, чтобы дождаться смены. Так пусть же они распинают его, чтобы он, как дух Банко, являлся на скамьях лейбористов, пока его духовные наследники не добьются своих прав...

Все, что честный и гуманный человек хотел бы разрушить, уничтожить, разоблачить в Германии, хотел разрушить, уничтожить и разоблачить там Харди. И он доказал искренность своего желания тем, что в продолжение всей своей жизни старался разрушать, уничтожать и разоблачать то же самое и в Англии.

Он был не из тех, кто осыпает проклятиями и бранью внешних врагов своего народа и в то же время чистит сапоги его внутренним врагам... Так не будем больше говорить о недостатке патриотизма у Харди. В одном мизинце Харди было больше патриотизма, чем в нашем правительстве и во всех его приспешниках вместе взятых.

И перед смертью ему было дано чудесное утешение. Уэльсские шахтеры не отступили (имеется в виду успешная забастовка на угольных шахтах Уэльса.— **Э. Х.**) и нанесли поражение тем злейшим врагам Англии, которые считают, что три шиллинга десять пенсов в день на семью — сумма вполне достаточная. Уэльсские шахтеры боролись в то время, когда многие другие рабочие позволяли дуракам и мошенникам швырять хлеб, принадлежащий детям, в ненасытную пасть Марса».

После этого некролога я простил Шоу его странную позицию по отношению к войне.

Вскоре меня посадили в тюрьму за отказ от военной службы, и я не знал, что делал Шоу в течение следующих двух с половиной лет. Затем меня временно освободили, и в ожидании нового суда я обменялся с Шоу письмами. Шоу написал статью в «Манчестер гардиан», чтобы привлечь внимание общественности к моему делу. Однако я оказался одним из тех политических противников войны, которых правительство предпочло держать в заключении. Но Шоу сделал все, что было в его силах. Он писал:

«Мне не хотелось бы беспокоить вас еще одним напрасным письмом, касающимся расправы с принципиальными противниками военной службы. Но я вижу, что находятся люди, которые, узнав, что одного-двух видных противников военной службы освободили, что-

* Пиратский флаг.

** Перефразирует первые строки известной американской песни «Тело Джона Брауна покоится в земле, но душа его продолжает борьбу». *(Прим. автора).*

бы спасти от безумия или смерти, угрожавших им в заключении, делают вывод, будто теперь никого уже не приговаривают к пожизненной каторге. Это ошибка. Мистер Эмрис Хьюз, который уже отбыл в заключении два года и три месяца, сейчас снова приговорен к двум годам тюрьмы.

В его деле есть обстоятельство, заслуживающее особого упоминания. Подобно многим людям, которые не приемлют «тридцать девять догматов» англиканской церкви, Эмрис Хьюз не исповедует ни одной из официально признанных религий. Будь он солдатом, его механически считали бы принадлежащим к англиканской церкви. Но он противник военной службы, и поэтому его считают человеком, не исповедующим никакой религии. Из этого делают следующий вывод: у неверующего не может быть принципов, и, следовательно, он не может быть принципиальным противником военной службы в том смысле, как это сказано в законе об освобождении от действительной службы лиц, которые по религиозным убеждениям не могут служить в армии. Но отсюда следует, что этот закон не освобождает его от обязанности служить в армии, и, значит, он солдат. А как солдат, не исповедующий определенной религии, он считается принадлежащим к англиканской церкви. Поэтому, согласно логике военного министерства, у него все же есть принципы. А из этого, в свою очередь, следует, что он может быть принципиальным противником военной службы и тем самым имеет право на льготы, оговоренные вышеуказанным законом.

Таким образом, мистер Эмрис Хьюз представляет собой редкостный экземпляр, являясь одновременно солдатом и не солдатом, верующим и неверующим, принципиальным противником военной службы и личностью без принципов. Впрочем, все это лишь чисто абстрактные рассуждения, так как к тому времени, когда он отбудет свои четыре года и три месяца каторжных работ и начнет отбывать следующие два года, он вообще перестанет существовать. Однако любопытно, что военное министерство наряду со своей прямой деятельностью занимается еще и софистикой: по министерской логике, человек без вероисповедания не способен иметь принципов, но все же может стать мучеником».

Когда я вернулся в тюрьму, мне сделали большую поблажку: разрешили взять с собой одну книгу. Я выбрал последний сборник пьес Бернарда Шоу, куда входила пьеса «Андронник и лев».

Как я смеялся в ночной тишине над приключениями Андронника и его братьев христиан и особенно над Феровием — атлетом, недавно обращенным в христианство, чьи религиозные убеждения требовали, чтобы он подставил обидчику другую щеку, но чья вера не выдержала испытания делом.

В то время как я пишу эти воспоминания, один из лондонских театров вновь поставил «Андронника и льва». Я считаю, что это одна из значительнейших пьес Шоу. Она была экранизирована, и фильм имел большой успех. В тюрьме я давал эту пьесу своим товарищам по заключению, и она доставила нам много счастливых минут.

Шоу, конечно, понимал, что очень многие видят в его пьесах простое развлечение и, хотя смеются его шуткам и получают большое удовольствие от его огромного мастерства, отдавая должное драматизму, блистательному диалогу, остроумию и сарказму, принесшим его пьесам такой успех, все же не принимают его всерьез как пропагандиста и учителя.

На самом же деле Шоу всю жизнь был пропагандистом и агитатором. И театр был для него трибуной, с которой он мог громить капиталистическое общество и отстаивать дело социализма. Когда его обвиняли в склонности к преувеличениям и гротеску, он заявлял, что это лучший способ заставить себя слушать.

Он придавал огромное значение своим предисловиям и снабдил предисловием даже сборник своих предисловий — большой том, опубликованный в 1934 году.

«Так как эти предисловия, представляющие собой цикл памфлетов и очерков о текущей политике и социальных проблемах, больше всего схожи с журнальными статьями и писались на протяжении тридцати лет, в большинстве своем они, казалось бы, должны были безнадежно устареть из-за бурного развития нашей цивилизации, о котором мы столько слышим. Но — увы! Эта цивилизация топчется на месте (чтобы не сказать — завязла в грязи), и предисловия все еще не только не отстают от эпохи, но скорее опережают ее. Пожалуй, даже те, кто прочтет их в первый раз, сочтут меня дерзким восемнадцатилетним новатором, а не тем, кем я являюсь на самом деле,— семидесятивосьмилетним мудрецом, который давно махнул рукой на своих безнадежных современников и теперь надеется лишь на грядущие поколения, воспитанные совершенно по-иному и способные устроить жизнь куда лучше, чем это сумели сделать нынешние высокородные, преподобные и достопочтенные господа».

Шоу заканчивает: «Из этого следует, что мои предисловия устарели не больше, чем евангелие, или «Утопия», или «Том Джонс», или «Крошка Доррит», или даже пьесы Аристофана и Еврипида и сократические «диалоги» Платона. Вы будете правы, если спросите меня, зачем же, имея перед собой такие примеры, я даю себе труд писать свои предисловия. Могу ответить только одно: я не знаю. Не было никаких «зачем», я чувствовал, что иначе не могу. Вот и все».

Более простой и веской причины привести невозможно. Весь свой длинный литературный путь Шоу писал просто потому, что иначе не мог. Во всяком случае, он не бросил писать, когда стал богатым человеком. Он писал до конца жизни.

Шоу всегда был полон страстного желания и готовности помочь другим. В этом я убедился позднее, когда поехал в Шотландию работать в редакции социалистического еженедельника «Форвард», издававшегося в Глазго.

В 1906 году, при основании этой газеты, Шоу внес пять фунтов в счет подписки и сказал, что, судя по проценту смертности всех социалистических еженедельников, этой суммы хватит до конца дней «Форварда». Однако «Форвард» просуществовал дольше, чем предполагал Шоу, и, став его редактором, я всегда с удовольствием перечитывал лекции и речи Шоу и цитировал его газетные статьи и письма, которые он постоянно посылал в «Таймс» и «Манчестер гардиан». Почти все, что выходило из-под пера Шоу, стоило цитировать. А когда я посылал ему нашу анкету, касавшуюся какого-либо злободневного вопроса, он неизменно присылал в ответ краткий и остроумный афоризм, часто на почтовой открытке.

Если он выступал с речью, я обычно печатал ее всю целиком, почти ничего не сокращая,— даже его устные выступления читались великолепно.

Во время своей первой поездки в Америку в апреле 1933 года он произнес замечательную речь в битком набитом зале нью-йоркской «Метрополитен-опера». Эту речь полностью напечатала «Нью-Йорк таймс».

Это была остроумная и сокрушительная атака на мировой капитализм — нечто совсем новое и непривычное для нью-йоркской публики. Шоу был сам так доволен этой речью, что издал ее в виде памфлета, предпослав ей длинное и блистательное вступление. Он добавил к ней едкие замечания в адрес Всемирной экономической конференции, которая как раз заканчивалась в Лондоне «позорным провалом, каким еще не оканчивалась ни одна из подобных бесполезных конференций, устраиваемых нашими парламентскими деятелями в тщетной надежде предотвратить неминуемую катастрофу пустой болтовней о ней».

В заключение он писал: «У меня нет времени завершить анализ пыльной бури заблуждений, характеризующей умственный багаж делегатов. Только русский делегат исходил из здравых предпосылок, но и он должен был признаться, что начинает сходить с ума: у него не хватает сил вести дискуссию с всемирной конференцией неизлечимых безумцев. Его спасло чувство юмора, но его чувство юмора не могло спасти мировую ситуацию. Безумцы разъехались по своим отечественным сумасшедшим домам, но они все еще управляют там, и, если наши судьбы будут и впредь находиться в их руках, все кончится грандиозным крахом. Ибо основной пункт их помешательства заключается в следующем: все они единодушно считают, что человеку жить совершенно незачем, если, помимо поддержания собственного существования, он не производит еще прибыль для акционеров или ренту для помещика, каковые без лишнего шума прибирают деньги к рукам».

Бернард Шоу умел изложить в почтовой открытке больше идей, чем любой другой современный писатель, а во времена Шекспира и Бёрнса почтовых открыток еще не существовало, и они, естественно, ими не пользовались. Может быть, в молодости Бернард Шоу предпочитал открытки конвертам, потому что они стоили вдвое дешевле, а в те годы это имело для него довольно большое значение. Но затем у него вошло в привычку писать эти короткие послания, заключавшие в себе столько мудрости, остроумия и сарказма. Невозможно выбрать из них лучшую, все они очень хороши, но мне особенно нравится открытка, которую он послал в ответ на приглашение присутствовать в Вестминстерском аббатстве на похоронах сэра Генри Ирвинга, актера, которого Шоу часто критиковал за мелодраматическую игру в шекспировских трагедиях. Приглашение ему было все же послано, так как Шоу был тогда театральным критиком одного из самых популярных лондонских литературных еженедельников.

«Я не приеду. Ирвинг перевернулся бы в гробу при моем появлении, как перевернется Шекспир при появлении Ирвинга».

Однажды некая дама пригласила Шоу на званый чай, прислав ему карточку с обычной формулой: «Леди такая-то будет дома в среду с четырех до пяти тридцати». Шоу вернул ей карточку с припиской: «Так же, как Дж. Б. Ш.».

В начале второй мировой войны Шоу, узнав о моих разногласиях с другими редакторами нашей газеты, не одобрявшими моего критического отношения к войне, и руководителями лейбористской партии, прислал статью в мою поддержку, и я с гордостью поместил ее на первой полосе. Всю войну он оставался нашим автором, готовым в любую минуту прийти на помощь. Мы всегда были рады вестям от него.

Когда мы обращались к Шоу с просьбой высказаться по какому-нибудь злободневному вопросу, он обычно присылал ответ, который всегда стоило печатать, как бы краток он ни был. А так как одно из агентств печати обычно перепечатывало любое высказывание Шоу в многотиражных ежедневных газетах, то ему была

---

ЭМРИС ХЬЮЗ
ВСТРЕЧИ И БЕСЕДЫ С БЕРНАРДОМ ШОУ

обеспечена более широкая аудитория, чем наши читатели, и — бесплатная реклама.

Шоу в те годы считал, что находится на пиратском корабле, который капитан к тому же ведет неправильно, и всегда готов был дать нелицеприятный и непрошенный совет. Впрочем, в дни войны последним человеком, который захотел бы прислушаться к советам Шоу, был Уинстон Черчилль, яростно поносивший его в своем очерке из цикла «Великие современники». Несомненно, это были люди, находившиеся на противоположных полюсах и органически враждебные друг другу.

В начале 1940 года я обратился к Шоу с рядом вопросов о войне и быстро получил ответы.

Первый заданный мной вопрос гласил: «Считаете ли вы, что лейбористской партии следует по-прежнему поддерживать национальное правительство в ходе войны?» Шоу ответил: «В дни войны все английские партии, нравится это им или нет, не могут оставаться в стороне. Они должны отдавать все силы, чтобы помочь победе своей страны. Правда, лидеры лейбористов могли бы облечь свой воинственный пыл в более приемлемую форму. Они вовсе не обязаны тягаться с лордом Галифаксом в квазипатриотических воплях или с мистером Черчиллем в его грубом солдафонстве. Но они только это и делают, так что становится противно даже самым ярым сторонникам продолжения войны, и подрываются основы единства партии».

Следующий вопрос: «Следует ли лейбористской партии разрешить своим лидерам войти в состав национального правительства?». Шоу ответил: «Ничего не изменится, если лидеры лейбористов останутся подпевалами «выпускников закрытых школ» (так обычно Шоу называл консерваторов.— **Э. Х.**). Я был бы рад, если бы в кабинете оказались, например, Уильям Галлахер, Дэвис Керквуд, Джон Веджвуд (Галлахер был единственным коммунистом в парламенте, остальные двое — крайними левыми; вряд ли все они могли быть приглашены в какой бы то ни было коалиционный кабинет.— **Э. Х.**)».

И на другие вопросы Шоу тоже дал неожиданные ответы. Я подозреваю, что их следует понимать как иронические. На исправленной корректуре он приписал красными чернилами:

«Я нарочно писал так, чтобы это пришлось по вкусу правительству, лишив тем самым контролера бумажных запасов возможности урезать ваши фонды. Непременно пошлите ему номер с этим материалом в качестве образца».

Шоу знал, с какими трудностями сталкивается оппозиционная газета, и был рад помочь ей.

Многое еще можно было бы написать о нем как о публицисте, журналисте, полемисте, который до конца оставался социалистом и гуманистом, мужественным и неутомимым защитником многих благородных начинаний, особенно когда они были непопулярны.

Каким же был Шоу как человек?

Я всегда буду хранить, как сокровище, мои воспоминания о его бесконечном обаянии, о его жизнерадостности, его доброте.

В течение нескольких лет он жил на верхнем этаже дома в Уайтхолл-корт, недалеко от здания палаты общин. Однажды, когда я, возвращаясь в Шотландию с конференции лейбористской партии, был проездом в Лондоне, Шоу пригласил меня к себе.

Когда я пришел, меня встретила миссис Шоу, с которой мы беседовали несколько минут, прежде чем сам Шоу, что-то дописывавший за своим рабочим столом в задней комнате, вышел к завтраку. Миссис Шоу была довольно полная женщина, выглядевшая гораздо моложе своих восьмидесяти четырех лет; волосы ее были коротко подстрижены; голубые глаза казались добрыми и проницательными, а говорила она с приятным ирландским акцентом. Она была сама приветливость и дружелюбие, и в ее обществе человек сразу чувствовал себя легко и непринужденно.

Шоу вошел бодрый, в прекрасном настроении — в свои восемьдесят четыре года он выглядел шестидесятилетним. «Ну-ка, расскажите об этой конференции!» — попросил он. Конечно, он читал газетные отчеты, но ему хотелось побольше узнать о дебатах и людях, которые в них участвовали.

Когда я напомнил Шоу о том, как впервые слушал его в Уэльсе тридцать лет тому назад, оказалось, что он помнит малейшие подробности этого собрания. Его память ничуть не ослабела с годами — убедиться в этом было нетрудно. Затем он рассказал, как во время тех же выборов он ездил в Лестер агитировать за Рамсея Макдональда. При этом он заметил, что, вероятно, Макдональду его выступление стоило многих голосов, так как он без всякого энтузиазма отозвался о предоставлении избирательного права женщинам, которые будут пользоваться им так же глупо, как мужчины.

Миссис Шоу почти не принимала участия в разговоре и только изредка посмеивалась шуткам мужа, но тут я спросил ее, что она думает по поводу этого его высказывания. «По-моему, это глупо,— ответила она,— и потом я так часто от него слышала подобное...» В глазах Шоу вспыхнул огонек, словно ему наступили на любимую мозоль, но миссис Шоу была так довольна, словно она победила в споре, и тут мы все трое рассмеялись. Я подумал, что слишком засиделся, и встал, но Шоу попросил меня не уходить. Вскоре миссис Шоу с мягкой настойчивостью пустила в ход свою домашнюю власть, и Шоу послушно лег на диван, а она укрыла его пледом. Несомненно,

она умела с ним обращаться. Я пообещал прислать ей воспоминания Крупской о Ленине, которых она не читала. Провожая меня, она сказала: «Непременно навестите нас, как только снова будете в Лондоне».

Спустя несколько дней я получил от нее открытку, которая заканчивалась словами: «Когда мы говорим «навестите нас снова», мы действительно хотим, чтобы к нам пришли».

Но я больше не видел миссис Шоу: два года спустя она умерла.

Вскоре после ее смерти, в рождество я получил маленький конверт, адрес на котором был написан неподражаемым почерком Шоу. В конверте оказалось не поздравление с праздником, а фотография миссис Шоу. Вероятно, снимал ее он сам, так как был фотографом-энтузиастом.

Когда я выставил свою кандидатуру в парламент в январе 1946 года, Шоу прислал мне открытку, в которой выражал свое неодобрение. Она гласила: «Еще один настоящий человек вовлечен в эту говорильню и погиб. Я буду молиться каждый день за Ваше поражение». Он не питал симпатии к парламенту и считал, что мне следует оставаться редактором «Форварда».

Я ответил, тоже открыткой: «Ваши молитвы не дойдут до бога. Я буду избран подавляющим большинством и буду заседать в парламенте, чтобы помогать строительству социализма в Англии».

Он смягчился и прислал мне длинное письмо, в котором убеждал избирателей Южного Эйришира голосовать за мою кандидатуру. Избиратели были шахтеры, а на повестке дня стояла национализация шахт. Шоу горячо поддерживал национализацию. Мне запомнились следующие его слова. «Добыча угля,— писал он,— это не промышленность, это зверство».

Когда я переехал в Лондон, Шоу уже не жил в квартире на Уайтхолл-корт, а перебрался на постоянное житье в свой загородный дом в Эйот-Сент-Лоуренс, который он назвал «Уголок Шоу».

Однажды я поехал навестить его и увидел, что он очень постарел; лицо осунулось, борода еще больше поседела, но ясные голубые глаза искрились и смеялись по-прежнему. Он был похож на ласкового аскета, старика святого, но, глядя на портрет его жены, смотревшей на нас со стены, я подумал, что он кажется одиноким и покинутым.

«Ноги у меня стали немного слабоваты,— виновато сказал он.— Но я не обращаю на это внимания, лишь бы вот здесь у меня все было в порядке». И он, смеясь, показал на голову.

Ганди говорил, что хотел бы дожить до ста сорока лет. Я рассказал об этом Шоу, но он только пожал плечами и не согласился с Ганди: это слишком много. Он взял палку и, прихрамывая, вышел на лужайку перед домом, где большая пятнистая кошка тотчас подбежала к нему и дружески потерлась об его ногу. Мы разговаривали около часу, а потом я уехал. Оглянувшись, я увидел, что он стоит в проулке и машет шоферу, который разворачивал машину, чтобы показать, что путь свободен. Еще один взмах руки, и мы уехали.

Мы продолжали переписываться, и я посылал ему отчеты о парламентских дебатах, которые казались мне интересными. Он называл их детской болтовней, но комментировал с большим остроумием и всегда точно бил в цель.

Я думаю, что он прожил бы до ста лет, если бы не упал в саду, когда подрезал фруктовое дерево. По-моему, он был бы рад дожить до ста лет, только для того, чтобы доказать, что человек, который не ест «мяса убитых животных», может прожить до ста лет. Только до ста, чтобы пошутить, что оказался прав, а потом сказать: «А теперь отпусти раба своего с миром».

Как грустно, что это не так.

НАШИ ГОСТИ

— Мы хотим, чтобы наши произведения стали оружием в бою...

# МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ АСТУРИАС

Бурное негодование во всем мире вызвала весть об аресте аргентинской полицией выдающегося гватемальского писателя Мигеля Анхеля Астуриаса, который жил в эмиграции в Буэнос-Айресе с тех пор, как его родина вновь была ввергнута в рабство американскими империалистами и их наемниками. Почти одновременно из Гватемалы пришло тревожное сообщение об аресте сына писателя, студента Родриго Астуриаса, обвиненного в том, что он руководил партизанским отрядом, сражавшимся против сил реакционной диктатуры генерала Идигораса-Фуэнтеса.

Латиноамериканская печать сообщала, как больного шестидесятитрехлетнего романиста, имя и книги которого известны повсюду (в том же Буэнос-Айресе незадолго до этого была издана монография о творчестве Астуриаса в серии «Классики XX века»!), аргентинские жандармы глубокой ночью увезли из квартиры и бросили в тюремный застенок, как мучили его карцерным режимом, как в связи с резким обострением болезни его перевели в тюремный госпиталь, пока наконец полицейский капрал не объявил ему, что он свободен,— так же, как и в момент ареста, без каких-либо объяснений. «Заключение его в тюрьму не имело никаких оснований и не имело никакого оправдания»,— писал тогда уругвайский еженедельник «Марча», отмечая, что реакция по команде из Вашингтона пытается терроризировать крупнейших представителей прогрессивной культуры Латинской Америки, стремится заставить их замолчать.

...Прошло не так много времени, и вот Мигель Анхель Астуриас и его жена, видная переводчица Бланка Мора-и-Араухо де Астуриас, находятся у нас, в редакции журнала «Иностранная литература».

Маститый писатель ничего не говорит о себе, о пережитом. Нет, его волнуют другие вопросы. Он рассказывает о своей родине, страдающей под гнетом империализма США, о народах Латинской Америки, отстаивающих право на свободу и независимость, делится своими мыслями о долге латиноамериканского писателя.

— Когда в Гватемале революция потерпела временное поражение,— говорит Астуриас,— на сторону врагов гватемальского народа переметнулся кое-кто из адвокатов, медиков, инженеров, но среди этих людей не оказалось ни одного писателя. Не нашлось ни одного гватемальского прозаика или поэта, который прельстился бы подачками «Юнайтед фрут компани»! Литераторы предпочли горечь изгнания, предпочли полуголодное существование на чужбине. Они считали, что, сохраняя свободу действий, смогут высказать миру все, что лежит на душе, смогут активнее отстаивать интересы своего народа, разоблачать преступления империализма и его агентуры. Мы хотим, чтобы наши произведения стали оружием в бою. Наши писатели — голос народа. И мы хотим, чтобы наше слово, по-

ведав миру о том, что творится на порабощенной родине, помогло бы гватемальскому народу в его борьбе за освобождение.

Мигель Анхель Астуриас напоминает:

— В Гватемале, как и во всех странах Латинской Америки, писатели — я говорю, естественно, о честных и сознающих свой долг перед народом писателях, а таких, кстати, большинство — как правило, идут вместе с народом, борются за осуществление его насущных требований. Этим всегда характеризовалась передовая литература Латинской Америки, начиная с дней завоевания национальной независимости нашими народами. Наша литература, рожденная в битвах за свободу, всегда была литературой боевой, сражающейся. И примечательно, что самые талантливые произведения латиноамериканских поэтов и прозаиков появлялись именно тогда, когда зарождалось общенародное движение, разгоралась антифеодальная, антиимпериалистическая борьба... С особой остротой наши писатели стали осознавать свою миссию после первой мировой войны, они начали глубже разбираться в действительности, обратились к социальным проблемам...

Кстати, в ту пору и сам Мигель Анхель еще двадцатичетырехлетним выпускником факультета юридических и социальных наук старинного гватемальского университета Сан-Карлос, основанного в XVII веке, защищал дипломную работу «Социальное положение индейца». Эта работа была отмечена высшей университетской премией.

— Мы, латиноамериканские писатели,— продолжал Астуриас,— пришли к выводу, что нельзя примиряться с полуколониальной действительностью. Показывая ее в наших произведениях, мы должны привлекать внимание всех к трагедии и борьбе народов Латинской Америки...

«Внимание всех...» Молодой гватемальский литератор Мигель Анхель Астуриас во время своего пребывания в Европе двадцатых годов сближается с Анатолем Франсом и Роменом Ролланом, с Анри Барбюсом и Морисом Метерлинком, с Полем Валери и Томасом Манном, с Луиджи Пиранделло и Мигелем де Унамуно, с Полем Элюаром и Луи Арагоном, с Джеймсом Джойсом и Бенедетто Кроче.

На собраниях и митингах латиноамериканского землячества в Париже можно было слышать его страстные выступления, продиктованные любовью к далекой родине, к своему народу, ко всем народам Латинской Америки... На европейской земле он пишет свои дивные «Гватемальские легенды», навеянные народными сказаниями,— с тех пор в его самобытном творчестве узорно сочетаются и древняя индейская культура майя и культура испанская. Поль Валери, написавший предисловие к «Легендам», не мог не воскликнуть: «Мне казалось, что я упивался соком каких-то неведомых растений»... Вернувшись в Гватемалу, Астуриас выступает в Народном университете с докладом «Зодчество новой жизни» — и его мечты много лет спустя претворились в гватемальской революции... Еще будучи в Европе, он задумал на основе своего неизданного рассказа «Политические нищие» создать роман «Господин президент», впоследствии принесший автору мировую славу. Отобразив мрачную эпоху двадцатидвухлетней диктатуры Эстрады-Кабреры, «господина президента», который распахнул ворота Гватемалы перед «Юнайтед фрут компани» и помог американским колониалистам превратить Гватемалу в «государство внутри иностранной монополии», этот роман как бы раскрыл перед миром драматическую действительность не только Гватемалы, но и всей Латинской Америки.

— Мы, латиноамериканские писатели,— говорит далее Астуриас,— стали показывать в наших книгах социальную, политическую борьбу наших народов, стали поднимать острые социальные проблемы. Можно с полным правом сказать, что для литератур наших стран типичны произведения, рисующие жизнь, быт и даже основные промыслы, которыми занимается население. Например, в Латинской Америке существует «роман олова» — это книги боливийских прозаиков, повествующие о горняках, добывающих олово. Есть «романы селитры и меди» — это произведения писателей Чили. Есть «романы банановых плантаций» и «романы плантаций сахарного тростника», созданные литераторами Центральной Америки и Карибского бассейна. С другой стороны, нет ни одного значительного мексиканского или эквадорского писателя, который не изображал бы индейцев; в книгах же бразильских либо, скажем, кубинских авторов персонажами — главными или второстепенными — будут негры и мулаты.

Конечно, говорить правду в Латинской Америке нелегко. Во многих странах нашего континента писателю прогрессивных убеждений очень трудно жить и творить. Те писатели, которые в своих произведениях бьют тревогу из-за невыносимо тяжелого положения народных масс, протестуют против эксплуатации и рабства, борются против империалистических монополий и местной реакции, подчас не находят издателей, не находят органа печати, где они смогли бы высказать свое мнение. И таких писателей преследуют, репрессируют... Наши враги знают цену нашему слову, боятся наших разоблачений, наших свидетельств.

Между прочим, сейчас мне пришла на память любопытная история с опубликованием романа «Металл дьявола» боливийского писателя Аугусто Сеспедеса. Еще до того, как эта книга увидела свет, владелец крупнейших оловянных рудников Боливии Симон Патиньо попытался купить у автора рукопись, послав ему чек без указания суммы, чтобы романист сам вписал любую желаемую цифру. Роман все же вышел из печати, ему собирались присудить первую национальную премию — и тогда Патиньо поручил своим агентам скупить весь тираж. Патиньо, этот «некоронованный король» Боливии, весьма хладнокровно относился к тому, что различные официальные организации и даже конгресс не раз обсуждали

вопрос о нарушении прав человека на его оловянных рудниках «Патиньо майнз энтерпрайзс», о жестокой эксплуатации индейцев-шахтеров. Он считал, что рано или поздно обсуждения такого рода прекратятся, материалы будут сданы в архив, и все останется по-прежнему. В то же время он прекрасно понимал, что роман произведет огромное впечатление на широкие массы читателей,— он боялся могучего воздействия художественного слова!.. Я бывал на шахтах Боливии, спускался в самые глубокие штреки, где индейцы работают при 40—45 градусах жары, где горняков обливают водой из шланга, чтобы они не теряли сознания. А по окончании каторжной работы эти несчастные, одетые в жалкие лохмотья, выходят на поверхность — на высоте шести тысяч метров над уровнем моря, где температура ниже нуля. Можно представить себе, сколь чудовищны условия жизни и работы этих людей, большинство которых не доживает до 24—25 лет, и насколько важна миссия боливийских писателей говорить вслух об этом. История с романом «Металл дьявола» наглядно доказывает, как велико значение художественной литературы в Латинской Америке...

— Говорить правду в Латинской Америке нелегко.

Мигель Анхель Астуриас и словом не обмолвился о судьбе своих произведений. А ведь после того, как империализм США одержал, по выражению печальной памяти Джона Фостера Даллеса, «великую победу» над крошечной и беззащитной индейской страной, фашистские головорезы, наемники «Юнайтед фрут компани», сжигали на кострах книги Астуриаса. Еще бы, автор «Господина президента» и «Сильного ветра» воспевал родной народ — обездоленный, но не сломленный,— смело изобличал врагов Гватемалы!

После свержения демократического правительства в Гватемале Мигель Анхель Астуриас покинул отчизну, но вскоре его голос зазвучал со страниц «Уик-энд в Гватемале» — этого известного уже всему миру сборника новелл, ставшего обвинительным актом против американских империалистов и их пособников. Писатель остался на боевом посту, продолжал вести борьбу за освобождение своей родины, борьбу в защиту всех народов Латинской Америки.

— Панамериканизм лжи,— заявлял Астуриас,— это официальный панамериканизм, проводимый определенной частью прессы, информационными агентствами, радио, телевидением и т. п. Но есть еще другой панамериканизм — панамериканизм молчания, который заключается в том, чтобы заставить молчать перед подлостью, разбоем, агрессиями, совершаемыми США против латиноамериканских республик. Эту битву — борьбу против панамериканизма молчания — мы должны выиграть, и мы ее выиграем... Всякий, кто сейчас молчит, лишь способствует порабощению наших стран... Никто не должен молчать. Пусть же каждая книга, каждая газета, каждый исписанный листок бумаги станет голосом, прорывающим молчание, на которое нас хотят обречь...

Книги и выступления писателя-патриота, большого мастера слова, беспощадно разоблачают и клеймят врагов гватемальского народа, врагов всех народов Латинской Америки. Последнее опубликованное произведение Астуриаса — эпический роман «Глаза погребенных» — проникнуто непоколебимой верой в окончательную победу народа. Теме борьбы за освобождение Гватемалы посвящается и новый его роман, над которым Астуриас теперь работает.

Писатель вынужден ныне отправиться по новым дорогам эмиграции. Но он не пал духом, он полон творческих сил. Человек, чем-то так удивительно напоминающий дошедшие до нас из глубины веков изображения древних героев майя, на прощание говорит:

— Несомненно, великий народ Латинской Америки освободится от чужеземных угнетателей — на всем нашем континенте произойдет «чудо», подобное кубинской революции.

**Юрий Дашкевич**

# ПОЭТ ВЕЛИКОГО НАРОДА

Л. ЭЙДЛИН

К 1200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ЛИ БО

Тысячу двести лет тому назад, в 762 году умер один из самых великих поэтов, каких знало человечество. Один из самых великих поэтов, каких человечеству еще суждено узнать. Потому что прекрасные стихи его звучат еще далеко не в полной мере и далеко не на всех языках нашего мира.

Он жил тревожно и умер в одиночестве, на склоне лет найдя приют у родственника своего, начальника уезда Ли Ян-бина, которому мы обязаны первым изданием стихов поэта.

Ли Бо родился в 701 году в нынешней провинции Ганьсу, но вырос в Сычуани, на юго-западе Китая, и удивительная природа этих благодатных мест вошла уже в первые написанные им в юности стихи. Восхищение жизнью, жажда подвигов в этих стихах. Они поразили старого сановника и поэта Су Тина, увидевшего в молодом Ли Бо будущего знаменитого стихотворца древности Сыма Сян-жу. Сам же Ли Бо мечтал не только о поэзии, но и о трудах на государственной ниве.

Танский Китай был просвещенным феодальным государством. В нем процветали ремесла, велась широкая торговля с разными странами. В нем относились с интересом и большой терпимостью к чужеземной культуре. Города Китая, в особенности столицы его Чанъань и Лоян, были средоточием китайской цивилизации, питавшей Японию и другие соседние страны. В годы молодости Ли Бо танский Китай жил мирной жизнью. Было уже традицией, что поэтические таланты устремлялись к столице, ибо искусство поэзии, ценимое и поощряемое императором, давало надежду на государственную карьеру при дворе.

Ли Бо прельщала такая карьера: он хотел, как некогда странствующие воители, помогать обиженным, утверждать справедливость. И вот в двадцать шесть лет он «с мечом в руке покинул отчий дом, простившись с родными, ушел в далекие странствия».

Но в Чанъань он попал не скоро — ему было уже за сорок, когда император призвал его ко двору. Там радостно встретил Ли Бо поэт Хэ Чжи-чжан, назвавший его «бессмертным, изгнанным с небес на землю». Но оказалось, что время странствующих воителей, благородных защитников угнетенных, давно прошло. Да и было ли оно? «Кость гордости» помешала Ли Бо ужиться при дворе, там, где, по словам поэта XI века Су Ши, он с императором — владельцем десяти тысяч колесниц — обращался как с ровней, а на равных себе смотрел как на попираемую траву.

Весною 744 года он покинул угнетавшую его столицу и обрел радость во встречах с поэтами Ду Фу и Гао Ши. Эти встречи украсили китайскую поэзию замечательными стихами. Ли Бо и Ду Фу расстались, и оба в скитаниях своих по огромной стране всегда помнили друг о друге. Так говорят их стихи.

В 756 году, во второй год разрухи и прерванных связей, что вызвано было мятежом полководца Ань Лу-шаня, Ли Бо наконец был приглашен на государственную службу. Казалось бы, осуществилась мечта его юности. Но Ли Бо не знал, что пригласивший его младший брат императора Ли Линь думает о захвате престола. Поэту грозила казнь. Жестокой волею императора (судьба поэта не раз повторялась в этом мире) Ли Бо был сослан на юго-запад страны в далекий Елан. И отправился туда. Мы знаем об этом также и из стихов, написанных мужественным и верным другом его Ду Фу. Ли Бо не доехал до места ссылки: в 759 году он оказался в числе тех, кому было объявлено прощение. Через три года он умер.

Ли Бо — великий поэт и один из самых светлых умов своего времени. И поэзия его умна и всеобъемлюща. Она традиционна и нова. Поэт Чэнь Цзы-ан и другие предшественники Ли Бо уже расчистили путь для торжества поэзии, порвавшей с красотами придворных од и воспринимавшей достижения великих образцов. Ли Бо развил и усложнил вековые традиции китайской поэзии и наполнил их своею могучей индивидуальностью, свежим дыханием нового времени.

В поэзии Ли Бо неразделимы конфуцианство с его рационалистическим трезвым взглядом на мир и мечтательный даосизм, уводящий от столкновений с миром к внутренним радостям и созерцательному общению с природой.

В поэзии Ли Бо соединились сложность и простота. Трудно проникнуть сквозь иносказания пятидесяти девяти стихотворений его «Древнего», в котором он, сравнивая себя с самим Конфуцием, возвеличивает миссию поэта и обличает современное ему общество. И гому же Ли Бо принадлежат стихи прозрачно ясные, поэзия которых составлена из слов, обыкновенных чуть не до повседневности.

Ли Бо открывает людям недоступное их взору. Еще тогда, на плоской земле, он видел рядом с собою и солнце и звезды и верил в свою власть над ними. Он досадовал, что «нельзя перекинуть по лазоревому небу какой-нибудь длиннейший канат, чтобы привязать им летящее к закату белое светило». Он хотел «ухватить, задержать этот весенний свет, не дать ему исчезнуть» и подарить его далекому другу. Он мог уйти в волшебную страну Пэнлай, чтобы рвать там траву бессмертия. Он чувствовал себя наследником Цюй Юаня, искавшего за одиннадцать веков до него правду на небе. Но он сильнее Цюй Юаня, потому что он ближе к каждому человеку. В сердце поэта собрались все радости и тревоги людские, и побелевшие его волосы выросли длиною в три тысячи чжанов, так велика бывала его печаль.

Природа не подавляла поэта. Она жила и дышала рядом с ним и слушалась его... В свете солнца рождается лиловая дымка над горою Сянлу. Поэт издали смотрит на повисшую реку водопада, летящую вниз с высоты трех тысяч чи, и ему кажется, что это серебряная река Млечного пути падает с девяти небес... Поэт не бывает одиноким, даже если рядом нет людей: «Гляжу я на горы, и горы глядят на меня, и долго глядим мы, друг другу не надоедая» *. Или: «За чаркою я так и не заметил вечерней темноты. Засыпали мне платье эти опавшие цветы. Я пьяный встал и по луне шагаю: она в ручье, в воде. Вернулись в гнезда птичьи стаи, и не видать людей» **. А когда поэт спускается с Лазоревых гор, то и горная луна возвращается с ним домой.

И все-таки человек есть то самое главное, для чего существует поэзия. Только о нем и для него стихи Ли Бо. Так уж повелось, что когда мы говорим о внимании к страждущим людям в танской поэзии, то прежде всего называем Ду Фу. И это верно, но пусть все же великая тень человеколюбца Ду Фу, первым развернувшего картину мучительной жизни народа, пусть она не заслонит для нас тот дождь слез, какой исторгла из глаз Ли Бо песня бедняков, тянущих лодку по реке, те горы белых костей, какие увидел поэт на полях боев.

Есть вечные темы в поэзии всех народов, и одна непременная среди них — доля женщины. И об этом сумел написать Ли Бо с присущей ему силою чувств. Женщина думает о том, что на севере, где сражается ее муж, еще только тянется из земли трава изумрудными нитями, а здесь у нее тутовые деревья уже клонят долу зеленые ветви. И она так давно его ждет, так давно, что, когда он только подумает о возвращении домой, у нее, наверно, оборвется сердце. Весенний ветер не знаком с нею. Почему же приходит он за шелковый полог?.. Нет счастья и у той, что замужем за купцом. Ее судьбу оплакивает поэт и в «Чанганьской песне» и в «Песне Цзянся». Об этом же позже написал свою знаменитую «Лютню» Бо Цзюй-и. В стихах Ли Бо оживает и древний героизм женщины китайских преданий, мстящей за смерть близких.

Любовь к людям и к родной стране особенно выразилась у Ли Бо в тоже традиционной для Китая поэзии мужской дружбы, в стихах о встречах и расставаниях, знаменующих собою превратности жизни. Поэт провожает Вэя Восьмого в западную столицу Чанъань... Гость из Чанъани пришел и снова уходит в Чанъань. Свирепый ветер дует в сердце поэта, которому видятся на западе деревья столицы. Эти чувства невозможно выразить словами, эта разлука когда обратится во встречу? Поэт смотрит и смотрит, и уже не видно друга, и туман поднимается над цепью горных вершин... «В человеческой жизни дорог друг, что с тобою близок. И всегда он нужнее даже золота, даже денег!»

---

* Перевод А. Гитовича.
** Перевод Ю. Щуцкого.

Услыхав о ссылке поэта Ван Чан-лина в Лунбяо, Ли Бо написал: «Тополь осыпал уже цветы, кукушка кричит в лесу. Здесь говорят, что в Лунбяо путь лежит через Пять Ручьев. Я посылаю свою печаль со светлой луной к тебе. Пусть понесется за ветром вслед в самую даль. в Елан». Лунбяо не имеет отношения к Елану. И Елан указан поэтом как символ мрачного захолустья и страшной дали. Мог ли подозревать Ли Бо, что Елан должен будет стать местом собственной его ссылки?

Тревожимый судьбою страны, Ли Бо посвятил немало стихов войнам на границах. Он даже сам хотел после возвращения из ссылки принять участие в сражениях с иноземными пришельцами, вызванными для борьбы с Ань Лу-шанем и не желавшими покидать Китай. Он видел тяжелую жизнь крестьян, угнанных на границу, но душу его волновала защита страны, и он воспел романтику боев за родину. «Утром бьет барабан — значит, в бой пора. Ночью спим, на седла склонясь. Но не зря наш меч висит у бедра: будет мертв Лоуланьский князь» *... «Быстрые кони, как ветер буйный, вынесли войско за Вэйский мост. С китайской луною бойцы простились, их черные стрелы разят гордецов» **.

Когда Европа впервые познакомилась с поэзией Ли Бо, то прежде всего читателям, да и разъяснителям его творчества бросились в глаза разгульные стихи о вине. Но они также традиционны (даже если принять во внимание, что поэт далеко не лишал себя этих радостей), и в них прежде всего надо видеть преломление взгляда на окружающую жизнь, а никак не простую апологию пьянства, которой никогда не было в китайской поэзии.

Многое в стихи Ли Бо пришло и из народных песен и даже из говора народного. Творчество Ли Бо стало новой вершиной китайской поэзии, в его время, можно смело сказать, достигшей своего совершенства. Еще не бывало в истории китайской поэзии стихотворца такого широчайшего охвата, такого могучего сплетения безудержной романтики с пристальным вниманием к реальной жизненной детали. Правы авторы выпущенной недавно в свет Институтом литературы Китайской Академии наук «Истории китайской литературы», когда они говорят, что «содержание стихов Ли Бо, пожалуй, затронуло все стороны жизни китайского общества, с какими могли сталкиваться мыслящие люди того времени». Еще в 1920 году академик В. М. Алексеев писал о Ли Бо, что «в огромном и ярком потоке поэзии гениальный китаец выразил все бесконечное богатство народного духа».

Народ сберег стихи своего поэта, и они стали общечеловеческим достоянием. Эта древняя и вечно живая поэзия, прикоснувшись и к нашему времени, будет переходить от поколения к поколению до самых далеких наших потомков.

---

* Перевод А. Гитовича.
** Перевод А. Ахматовой.

# У НАШИХ ДРУЗЕЙ

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

## «НЕЙЕ ДЕЙЧЕ ЛИТЕРАТУР» (ГДР)

№№ 1—8, 1962 г.

Журнал «Нейе дейче литератур» («Новая немецкая литература»), издающийся в ГДР, выходит уже десятый год. Будучи единственным литературным журналом ГДР, «НДЛ», как его сокращенно называют, откликается на вопросы, волнующие писателей, отражает основные процессы, происходящие в литературе ГДР. Значение этого журнала особенно велико, так как он выходит в ГДР, где создается новая социалистическая немецкая культура.

Редактор журнала «Нейе дейче литератур» Вольфганг Йохо в статье «К новым вершинам» (№ 1) поднимает важную тему о роли и месте писателя, о его связи с жизнью (эта статья в сокращенном виде была опубликована в «Иностранной литературе № 3 за 1962 год). Той же теме посвящена и статья Вилли Бределя (№ 2), озаглавленная «На пороге коммунистического общества». Бредель говорит о партийности литературы, о том, каким должно быть литературное творчество в период перехода от капитализма к социализму. Он требует от писателей, чтобы они с большей серьезностью и ответственностью подходили к своей творческой работе.

Вопрос о том, какой должна быть немецкая литература, не сходит сейчас со страниц газет и журналов ГДР. «Нейе дейче литератур» отводит этой важной теме большое место на своих страницах. Ей посвящены статьи Вальтера Дреера «Положительный герой с исторической точки зрения» (№ 3), Вольфганга Йохо «Какая литература нам нужна» (№ 5), «Литература и действительность» — доклад Эвы Штриттматтер на конференции молодых писателей в Галле (№ 7), созванной издательством «Миттельдейчер ферлаг» в марте этого года, три года спустя после конференции в Биттерфельде (апрель 1959 г.), где было положено начало движению «пишущих рабочих». В Галле были подведены итоги большой работы, проделанной за это время. Материалы конференции опубликованы в 7—8 номерах «Нейе дейче литератур». В журнале создана специальная рубрика «Первые попытки» (№№ 4, 7, 8).

«Нейе дейче литератур» и раньше уделял много внимания начинающим авторам, помещая рецензии на их произведения, знакомя читателей с их творчеством. Журнал может с гордостью заявить, что на его страницах появилось много ранее неизвестных имен, которые теперь уже пользуются широкой популярностью. И в текущем году «Нейе дейче литератур» помещает произведения как начинающих авторов, поэтов и прозаиков, так и маститых писателей. Хочется отметить автобиографические заметки Арнольда Цвейга «Прямые и окольные пути» (№ 5), «Беседы беженцев» Б. Брехта (№ 3), написанные в 1940—1941 гг., но лишь недавно впервые опубликованные. В восьмом номере журнал печатает отрывок из нового романа Эрвина Штриттматтера «Оле Бинкопп» о новой жизни немецкой деревни.

Журнал не помещает больших романов и обычно ограничивается опубликованием нескольких глав или отрывков. Тематика произведений, на которые журнал обращает внимание читателей, всегда актуальна. Юрий Брезан (№ 3) в своей повести «Любовная история» описывает встречу двух молодых людей из Западной Германии и ГДР. Макс Вальтер Шульц в отрывке из романа «Мы не пыль на ветру» (№ 6) рассказывает об обстановке в Германии непосредственно после войны, о работе советских комендатур. «Курт Томас должен оправдаться» — под таким заголовком в

№ 5 помещен отрывок из романа Хассо Лаудона. Курт Томас, учитель, по неосмотрительности попал в сети западногерманских шпионских организаций и осознал это слишком поздно. Роман 30-летнего писателя Иоахима Вольгемута «Эгон и восьмое чудо света» (№ 4) посвящен проблемам германской молодежи. В восьмом номере журнала помещено несколько отрывков из книг для молодого читателя: например, «Кауле» Альфреда Вельма, «Лютт Маттен и белая раковина» Бенно Плудра, «Ханна и Йорг» Гётца Рихтера. В этом же номере помещена статья Вальтера Эме о детской и молодежной литературе в Германии.

Журнал отводит много места и поэзии, помещая в каждом номере стихи, большей частью лирику.

Вопросам драматургии посвящена организованная редакцией журнала беседа за круглым столом (№ 6), в которой приняли участие Кейш, Ион, Гёрлих, Винс, Гаузер и другие. В этой беседе отмечалось, что драматургия ГДР еще не справилась с задачами, поставленными перед ней созданием новой национальной культуры. Все участники беседы отмечали, что главная задача искусства — убедительно и ярко показать становление нового человека, воспитание человека в социалистических условиях.

«Нейе дейче литератур» регулярно знакомит своих читателей с новинками художественной литературы, печатая в каждом номере рецензии на новые книги.

Из других материалов, помещенных в журнале «Нейе дейче литератур» в этом году, хочется отметить «Воспоминания о Бехере» Александра Дымшица (№ 5). Следует также обратить внимание на большую статью Альфреда Клейна о развитии социалистической литературы Германии в период 1918—1933 гг. (№ 6). Эта статья основывается на докладе, который Альфред Клейн сделал на научной конференции, созванной Немецкой академией искусств в январе 1962 г.

Журнал постоянно публикует статьи и заметки о положении литературы в Западной Германии. Ганс-Иоахим Бернгард в статье «Апология и критика» (№ 4) останавливается, в частности, на творчестве Эрнста Юнгера и Пауля Шаллюка и их последних книгах.

Журнал «Нейе дейче литератур» информирует своих читателей о положении в литературах других стран (письмо из Швеции, № 3), а также о том, что из произведений немецких писателей издается и читается за рубежом, например в Румынии и Венгрии (№№ 3 и 5).

Л. ГЕРАСИМОВА

## «ЖЭНЬМИНЬ ВЭНЬСЮЭ» (Китай)

人民文学

№№ 1—6, 1962 г.

Среди литературных журналов Китая, пожалуй, наибольшей популярностью пользуется «Жэньминь вэньсюэ» («Народная литература») — орган Союза китайских писателей. Более десяти лет прошло с выхода его первого номера, и на последней из полученных нами книжек журнала стоит общий порядковый номер — 152.

Десять с лишним лет — за это время сложились традиции журнала. Белая обложка с четкими красными иероглифами названия. Простота в оформлении и подаче материала. Широкое предоставление журнальной трибуны молодым, а подчас и начинающим писателям. Писателям не только китайским, но и представителям многочисленных национальных меньшинств Китая. Явное тяготение к малым жанрам, главным образом — рассказу, очерку, стихотворению.

Восемьдесят страниц убористого иероглифического текста «Жэньминь вэньсюэ», возможно, вызовут у читателя мысль, что это вовсе не «толстый» журнал. Но в переводе на европейские языки цифра 80 превратится по меньшей мере в 200, а это значит, что объем журнала позволяет ему широко и разнообразно отражать литературную жизнь наших китайских друзей.

Многие десятилетия, которые отдал китайский народ борьбе за свое освобождение, сделали военную тему едва ли не самой распространенной в литературе Китая.

В своем первом номере «Жэньминь вэньсюэ» печатает отрывок нового романа хорошо известного в СССР писателя Лю Бай-юя «Гимн снежной буре». Роман обращен к событиям двенадцатилетней давности. Окончилась борьба за освобождение континента, и едва воцарился мир на китайской земле, как добровольческим отрядам китайских бойцов пришлось для защиты своих рубежей форсировать Ялуцзян и прийти на помощь корейским братьям. Командир одной из частей Ван Чжи-хуэй не успел даже проститься с женой. Он не знает, что вскоре после его отъезда и она отправится в Корею в качестве медсестры. Трудно судить, как сложатся судьбы героев Лю Бай-юя, лишь намеченные в двух опубликованных главах. Пока можно отметить, что читаются они легко и привлекают интересным развитием сюжета.

О временах гражданской войны говорит в рассказе «Встреча в пути» писатель Лэй

Мин (№ 1). ...Старик крестьянин встретил на краю деревни подозрительного человека. Хитростью, смекалкой, сочным народным юмором наполнена речь старика, пытающегося установить личность путника. Узнав, что перед ним друг — политработник народной армии,— крестьянин готов всячески помочь ему.

Оуян Шань, автор новеллы «В мягком вагоне», опубликованной «Жэньминь вэньсюэ» в конце прошлого года, выступает с новым рассказом (№ 5). Это своеобразная хроника событий, происходящих на протяжении нескольких десятилетий в маленькой деревне на юге Китая. Писатель повествует о любви двух молодых людей, которых разлучила судьба. Девушка была насильно выдана замуж за гоминьдановского офицера, но юноша все еще надеется, что она вернется к нему. Проходят годы, Китай стал свободным. Бывший батрак становится передовым человеком, а его возлюбленная уезжает в 1949 году в Гонконг — вслед за мужем, удирающим за границу. Через несколько лет она навещает родную деревню, жадно расспрашивает всех о человеке, которого любит, но уезжает, боясь встречи с ним, на сей раз — навсегда.

В последние годы в «Жэньминь вэньсюэ» неоднократно появлялось имя молодого писателя Ху Вань-чуня. Шанхайские рабочие — а он сам недавно был одним из них — главная тема его рассказов. В третьей книжке журнала публикуется новый его рассказ «Поздние годы» — о месте рабочих старшего поколения в новой жизни.

Из поэтических произведений, опубликованных журналом за первое полугодие, хочется отметить стихи Эми Сяо (Сяо Саня), посвященные острову Хайнань, его богатой природе, его смелым людям. Эти ритмичные пятисложные стихи — свидетельство полной возможности использования классических приемов в новой поэзии.

Стихотворения Цзинь По «Эхо» и Гу Гуна «Хижина дровосека» (см. журнал «Иностранная литература» № 10, 1962) — лирические произведения, сочетающие личную тему с большой общественной проблематикой.

Майский номер жунала посвящен двадцатой годовщине яньаньского совещания по вопросам литературы и искусства. Номер открывается шестью ранее не публиковавшимися стихотворениями Мао Цзэ-дуна. Автор сообщает, что они были написаны им в походах 1929—1931 гг.

Трудно в небольшом обзоре рассказать обо всех произведениях, опубликованных в шести номерах «Жэньминь вэньсюэ».

Лишь поэтому мы не упомянули о цикле африканских стихов Тянь Цзяня, очерках Сюй Чи, Лю Бай-юя, Цао Цзин-хуа, рассказах Ай У, Малчинху, Сюй Гуан-яо и других писателей, а также о воспоминаниях Сюй Цзи-чуаня о Мэй Лань-фане, где рассказывается о жизни великого китайского артиста в период японской оккупации.

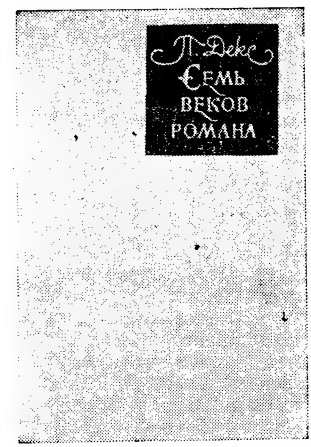
А. ФАЙНГАР

# СРЕДИ КНИГ

## ИЗДАНО В СССР

## УРОКИ НАСЛЕДИЯ

**Пьер Дэкс. Семь веков романа. Перевод с французского Я. Лесюка и Ю. Уварова. Стихи в переводе Я. Лесюка. Под редакцией и с предисловием Ю. Виппера. Комментарии, указатель имен и названий А. Д. Михайлова. Москва, Издательство иностранной литературы, 1962. 479 стр.**




Книги иностранных историков, философов, литературоведов в переводе на русский язык — отнюдь не редкость у нас в последние годы. Как правило, они призваны заполнить «белые пятна» на карте наших знаний, дать представление о таких областях исторической и духовной жизни зарубежных народов, которые по тем или иным причинам оставались вне поля зрения советских ученых. Если называть лишь труды о путях отдельных национальных культур — таковы, скажем, вышедший совсем недавно сборник исследований испанского филолога Менендёса Пидаля или первые тома обширной «Истории американской мысли» Паррингтона.

«Семь веков романа» Пьера Дэкса — книга иного рода, и судьба ее у нас, очевидно, сложится иначе. За исключением этюдов о малоизвестных в нашей стране средневековых романах Кретьена де Труа и Антуана де Ла Саля, статьи Дэкса посвящены писателям, о творчестве которых существует немалая русская критическая литература: Рабле и Сорель, Корнель и Мольер, Дидро и Филдинг, Мюссе, Гюго, Диккенс, Бальзак, Мартен дю Гар. Но даже в тех случаях, когда речь идет об авторах, о которых у нас пока писалось мало — Джоне Гее или Генрихе фон Клейсте, Дюма или создателях «черного» романа,— в очерках Дэкса нов и ценен не столько привлеченный к анализу материал, сколько самый ход анализирующей мысли, не факты (в общем, известные), а их толкование.

Нет нужды в кратком отзыве перечислять выводы, сделанные Дэксом в результате изучения им текстов: русское издание, привлекающее добротностью перевода, культурой оформления и основательностью научного аппарата, предваряет статья Ю. Б. Виппера, где дан подробный разбор каждой из вошедших в книгу работ, очерчена своеобразная манера, мастерство одаренного французского критика-публициста. Разбор этот, в котором «Семь веков романа» справедливо оценены как одно из свидетельств зрелости марксистского литературоведения во Франции, вдумчив, тщателен. Советский ученый аргументированно оспаривает некоторые заключения Дэкса, и это помогает лучше понять пути, которыми идет марксистская эстетическая мысль в сегодняшней Франции. Вклад Дэкса в развитие отечественной критики, место его книги в острой идеологической борьбе определены в предисловии отчетливо.

Но, появившись на русском языке, книга Дэкса сразу же становится и заметным явлением нашей собственной литературной жизни, в полную силу участвует в незавершенных пока критических дискуссиях. Дэксу удалось очистить от предвзятых оценок и налета архаики немало художественных памятников средневековья и нового времени. Очерки французского литератора не только расширяют наши представления о ряде европейских писателей прошлого или, скажем, о состо-

янии литературоведческой науки у него на родине, но и побуждают вновь задуматься о вещах, считающихся бесспорными и очевидными.

Почтительное преклонение перед классиками стало непререкаемой заповедью нашей критики. Юбилейные статьи и предисловия принято заканчивать словами о нетленности наследия, об испытании временем, которое с честью выдержано, и об уроках, которые следует извлечь... В последние годы увидело свет немало работ, где эти слова обеспечены полновесным анализом. Однако не секрет, что нередко за привычными формулами кроется пестрейший разнобой интерпретаций: от безудержной модернизации с помощью монтажа цитат до прилежного архаизирования, превращающего литературу прошлого в галерею скучных музейных экспонатов; от попыток объявить совершенно несущественным все исторически преходящее в произведении искусства до возведения исторически преходящего в некий абсолют, фетиш, отпугивающий «непосвященных». Уже само по себе это столкновение точек зрения — свидетельство того, что посмертная судьба писателей прошлого вовсе не завершилась, что она вливается в поток современной культуры в ее непрерывном становлении. И от духовной широты, гражданской зрелости литературоведа в немалой степени зависит, станет ли художественное наследие поистине спутником новых поколений или напрасно обременит их память, словно мертвый груз.

Сила Дэкса-критика — в умении прочесть книги, созданные много десятилетий и даже столетий назад, глазами человека, глубоко осмыслившего исторический, нравственный и литературный опыт XX века. Прочесть вдумчиво, бережно — и современно. Последнее вовсе не означает, что к повествованиям о куртуазной любви или к «комическим романам» XVII—XVIII веков попросту приложены эстетические критерии наших дней. Дэкс с иронией пишет о людях, склонных относиться к писателям древности как к «скверным ученикам», которых надлежит укорять и вразумлять, ибо они всегда чего-то недопоняли, где-то недотянули и вообще заслуживают тройки: ведь на пятерку знает лишь небесный отец и еще господин учитель.

Наивным, хотя и небезопасным менторам-педантам, чье излюбленное занятие — выставлять далеким предшественникам отметки по шкале, принятой в нынешних литературных жюри и книгоиздательских фирмах, Дэкс противополагает последовательный историзм мышления, которое ищет разгадку творческих свершений художника в самой атмосфере его эпохи. Именно поэтому анализу становится доступной и «исполненное горделивой веры в человека» прославление всепобеждающей любви, присущее в XII веке Кретьену де Труа, и отходная средневековому рыцарству, вытесняемому крепко стоящим на земле простолюдином,— у Антуана де Ла Саля, который жил пятьсот лет назад, и героико-патриотический пыл корнелевского «Сида».

Острота в восприятии живого прошлого позволяет Дэксу сохранять независимость от схем, сложившихся на рубеже XIX—XX веков и по сей день широко бытующих в академическом литературоведении как у нас, так и за рубежом. Привычка мыслить историю литературы в жестких рамках чисто логической классификации — барокко, классицизм, сентиментализм, романтизм, модернизм — с каждым годом выглядит все более анахроничной, поскольку исследователями ныне освоен огромный материал, явно сопротивляющийся распределению по этим ящичкам с изрядно затрепанными ярлыками. С одной стороны, стало очевидно, что многие крупные художники и даже целые эпохи в развитии искусства просто остаются за пределами этой классификации. С другой стороны, некоторые ее понятия, например, «критический реализм», употребляются настолько расширительно, что практически едва ли возможно вообще обозначить их хронологические и эстетические границы.

Искусствознание встало перед выбором: либо по-прежнему умножать до бесконечности категории этой дедуктивной схематики, либо искать принципы иной научной системы, достаточно гибкой и способной охватить всю диалектику историко-литературного процесса. Именно из неудовлетворенности прежним положением дел и возникли наши теперешние дискуссии о реализме. Сколько-нибудь стройного представления о закономерностях истории искусства они пока не дали, но оказались в высшей степени плодотворными прежде всего как признание недостаточности, я бы даже сказал — кризиса традиционных построений и необходимости привести теоретическую мысль в соответствие с накопленными знаниями.

Совершенно независимо от наших споров о реализме, опираясь на труды таких материалистически мыслящих французских ученых, как медиевист Гюстав Коэн или знаток XVII века Антуан Адан, Дэкс ставит вопрос о подготовке «критической истории развития реализма в литературе». Его наблюдения над творчеством Сореля и Мольера, Прево и Гея, Филдинга и Дидро с очевидностью доказывают, что стихийно-реалистическое видение жизни в литературах Франции и Англии складывается задолго до XIX столетия, когда возникли первые манифесты реализма, да и самый этот термин. Знаменательно, что ход анализа у Дэкса в ряде случаев прямо перекликается со взглядами некоторых советских исследователей на писателей XVII—XVIII веков, и эта перекличка — дополнительное подтверждение правильности ведущихся параллельно поисков.

Особенно же ценны для нас суждения французского критика о литературе средних веков: ведь здесь мы сплошь и рядом довольствуемся приблизительными и

устаревшими сведениями, так как ныне русская медиевистика, несмотря на блистательные традиции ее предшественников, пребывает на положении заброшенного дитяти. Этюды Дэкса посвящены куртуазному роману, который издавна, в отличие от городской литературы, считался едва ли не самым оторванным от жизни жанром, всецело призванным освятить сословно-иерархический строй и идеализировать нравы рыцарей-феодалов. Критик последовательно развенчивает этот предрассудок. Под оболочкой мифа, заимствованного средневековыми авторами из античности, он безошибочно распознает «своеобразный реванш человека над богами былых времен»; в рассказе о необычайных приключениях рыцарей, давших обет служения даме сердца,— правду художественного постижения мира, представшего взору далеких предтеч зрелого искусства романа; рядом со сказочной фантастикой и пространными изложениями кодекса рыцарской чести — трезвый анализ сдвигов, меняющих облик общества, и зарисовки прозаической изнанки повседневной жизни, в которых, словно с натуры, запечатлена судьба трудового люда. Опровергая кривотолки о средневековье как о «беспросветной ночи», когда наши предки будто бы только и делали, что... «испытывали ужас перед непознаваемым миром», Дэкс прослеживает зарождение у писателей XII или XV веков веры в могущество человеческого разума, которому под силу постичь и таинственную логику любовной страсти, и социальную природу поступков соотечественников.

Спор этот для Дэкса при всей научной обстоятельности аргументации — отнюдь не обычная академическая полемика. Работы, вошедшие в книгу, принадлежат к тому виду критических эссе, которым зачастую дают заголовок «Уроки...». Это не значит, что критик хоть в малейшей мере поступается истиной, используя прошлое лишь в качестве предлога для иносказания о настоящем, как это порой случается. У Дэкса «урок» вытекает из самой логики прошлого, но не застывшей и вневременной, а подвергшейся критической проверке историей.

Блестящий образец такого творческого подхода к наследию — помещенные в приложении к книге «Размышления о методе Роже Мартен дю Гара». Работа насыщена полемикой с разного рода лжетолкователями «Семьи Тибо», пытающимися представить ее создателя то запоздалым эпигоном натуралистической прозы прошлого века, то неким провозвестником откровений в духе экзистенциализма. Но, восстанавливая подлинный ход мысли Мартен дю Гара, логику романа, «вводящего нас в историю человечества», критик не стремится канонизировать, превратить в неизменные житейские рецепты открытия, которые Жак и Антуан Тибо выстрадали ценой блужданий, ошибок, разбитых иллюзий, прозрений на краю гибели. Искать в повествовании об ушедшем поколении умозрительные советы, как «должен вести себя человек, решая абстрактные проблемы человеческой совести»,— занятие праздное; насущная злободневность произведения в ином — в том, что оно «приводит нас к проблеме нашего собственного предназначения», побуждает открыто взглянуть в лицо изменившемуся миру и самостоятельно сделать выбор своей судьбы. «Урок, который извлечет читатель из этих образов, зависит и от него самого, и от истории, которая продолжает развиваться»,— убежден Дэкс. И под его пером размышления о Мартен дю Гаре выливаются в размышления о пути, пройденном Францией и всем миром с тех пор, как оборвалась жизнь братьев Тибо, о долге сменивших их поколений и смысле событий последнего пятидесятилетия, об иллюзорности упований на заповеди отвлеченного пацифизма и праве на революционное преобразование общества, порождающего безумие войн.

Воспоминания о пережитом в фашистских концлагерях, факты текущей политической жизни, опыт освободительных движений современности, декларации идеологов, претендующих на роль пророков «западной цивилизации», творчество зрелых и начинающих писателей — словом, все, над чем настойчиво бьется французская мысль середины XX века, привлечено в статье к анализу «Семьи Тибо». Без этих сопоставлений и отступлений статья эта, вероятно, оказалась бы добротным и по-своему полезным литературоведческим опусом, но никогда не выросла бы в страстное выступление мыслителя-публициста, для которого помочь современнику правильно разобраться в книге — значит протянуть от нее нити к его сегодняшней борьбе.

«Семь веков романа» с несомненным успехом содействуют тому «уточнению метода материалистической критики», о необходимости которого справедливо говорит Дэкс в послесловии к книге. Источник этого успеха в том, что для него наследие — не кладовая, где по полочкам разложены аналогии, пригодные на все случаи жизни, но воссозданный в слове писателей духовный поиск народа, постигающего себя и окружающий мир, чтобы переделать жизнь «по законам счастья». У потомков нет лучшей школы национального самосознания, ибо «как нам понять нашу нацию, не зная истории ее происхождения! Не зная, как она постепенно мужала, не зная идей ее выдающихся представителей, не зная, что думали о себе сменявшие друг друга поколения наших предков?». Так понятое прошлое, оставаясь пройденным и уже никогда не повторимым отрезком истории, поистине созвучно сегодняшнему дню — там его корни, его колыбель.

**С. ВЕЛИКОВСКИЙ**

# ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ И ЛЮБВИ

**Иржи Тауфер. Летопись. Перевод с чешского. Составитель и автор послесловия Н. Николаева. Перевод под редакцией Л. Тоома. Москва, Издательство иностранной литературы, 1961. 183 стр.**

Книга Иржи Тауфера—большая книга. Она многопланова и многотемна. Три поэмы, вереница сонетов, баллады с острым сюжетом и много стихотворений, тип которых не определишь ничем, кроме самого слова «стихотворение». Лирика, самая интимная, и эпос — самый доподлинный эпос. Любовь, политика, искусство, природа. Однако главная тема «Летописи» — наша страна, Советский Союз, причем на крутом перевале его истории.

Я возвращаюсь часто
В глубины прошедших лет.
Там мои реки, мои города,
мой свет,
Жизни моей след.
Там моя Волга. Мой Дон.
Моя Цимла. Моя степь.
Там мои следы. Мой пот.
Мой голод. Мой хлеб.
Это был полет в даль
грядущих лет.
(Из поэмы «Люблю».
*Перевод Д. Самойлова*)

«Мой мир. Мой свет». Так Тауфер говорит о нашей земле. И с полным правом. В 1930 году, когда девятнадцатилетний поэт вступил в Коммунистическую партию Чехословакии, в 1932 году, когда он помогал бастовавшим ославанским шахтерам, в 1933 году, когда нелегально ездил в Москву и Ленинград, а потом в тюрьме писал поэму об этой поездке, и в любой другой год его жизни Москва была для Тауфера «Мой мир. Мой свет». История этой любви началась с книг, как это часто бывает у «кадровых» интеллигентов. На полках Тауфера собраны тысячи и тысячи томов—все лучшее, что написали русские поэты и прозаики. Рядом с этими полками —полки с томами, над которыми поработал сам Тауфер. Он переводил Ленина. Он переводит Маяковского— единственный в мировой литературе случай, когда весь Маяковский — стихи, проза, драматургия, критика — делается одним человеком. Четыре больших тома уже вышли в свет.

Ему принадлежит образцовый перевод книги Мартынова. В Пражской национальной библиотеке 29 экземпляров этой книги, и все они на руках у читателей. Нужен большой талант и большая любовь, чтобы заставить одного из сложнейших мастеров русской поэзии заговорить по-чешски так, чтобы чехи слушали его, как своего поэта. Тауфер сделал это с Мартыновым. Он сделал это с Велимиром Хлебниковым, Асеевым и Цветаевой, сейчас делает с близким ему по манере Лукониным.

Прочитавший многие библиотеки русских книг, Тауфер сам перевел целую библиотеку. Итак, книги. Но это не единственный и не главный путь, связывающий Тауфера с Советской Россией. Вот как он пишет об Ильиче:

Ленин был для меня
в ощущении, что сажусь
в скорый поезд,
увозящий из старого мира.
Ленин был для меня
в сознании права плюнуть
в лицо
каждой низости, каждой
трусости, каждой неправде.
. . . . . .
Ленин был для меня
и свободой,
свободой, которую пил я
глотками большими
в Цейле за решеткой.
. . . . . .
Ленин был для меня
миллионами умиравших
за то, чтоб дошел
этот танк, водруженный
на Смихове в Праге.
(Поэма «О великой радости».
*Перевод М. Луконина*)

В этих строках есть не только рабочее содружество, обычно устанавливающееся между переводчиком и автором. В них есть кровная любовь единомышленника.

Весной 1939 года загнанная в подполье партия перебросила Тауфера в Польшу. В сентябре он пешком ушел во Львов. Пять последующих лет поэт жил одной жизнью с советским народом. Он эвакуировался в Калмыцкие степи, а потом в Заволжье, в просвистанный метелями городок, который еще Чапаев нарек Пугачевым. Работал в совхозе «Победа Октября» и в Куйбышеве — в чешском радиовещании. Голодал, как и все, и делился последним куском хлеба с механиками и трактористами, болел тифом.

Если «Летопись» Тауфера, как, впрочем, всякая хорошая летопись, достоверна и содержательна, то причиной этому — пять голодных и героических лет, прожитых чешским поэтом в самой гуще нашего народа.

Я не собираюсь пересказывать книгу Тауфера, хотя ее, наверно, можно было бы пересказать — в ее эпических частях есть многие достоинства хорошей прозы. Приведу только отдельные строки. Несколько стихотворений обращены к сыну («Ты родился. И тебя при бомбежке трижды ушибли в ночи за двойными окнами родильного дома в Калачена-Дону»). Одно из них — «Стихи о твоей матери»:

Люби свою мать,
. . . . . .
Она сшила тебе башмачки
из материи,
Которую отмотала от
молоденькой яблони.
Она правила лохматой
степной лошаденкой,
Которой боялась, сынок.
. . . . . .
Она не ела сама, чтоб купить
тебе на последний рубль
молока.
Радовалась, что ты все
до крошки съедал.
Когда ее голодные муки
терзали.
Она пила горький кофе,
чтобы была твоя чаша
сладка.

Она свои слезы мешала
с твоими слезами.
*(Перевод М. Луконина)*

Эти немногочисленные выписки могут кое-что сказать о манере Тауфера. Тон в его книге задают не искусно сделанные сонеты, а все формы современного стиха, у читателей обычно связанные с именами Маяковского и Уитмена. Правильнее было бы соотнести стих Тауфера с мощным потоком социалистической поэзии, возобладавшим в Чехии в первой четверти двадцатого столетия,— с Библом, с Нейманом и особенно с Незвалом, памяти которого посвящена книга. Мы еще мало знаем эту поэзию, одну из лучших национальных поэзий нашего времени.

Ее подчеркнутая, демонстративная тенденциозность (все коммунистические поэты Чехии были газетчиками, журналистами), ее обращенность к широкому читателю, ораторская интонация, урбанизм, ее пристрастие к большим эпическим формам и лиричность ее эпоса — все это формировало поэзию Иржи Тауфера — одного из «стаи славных», сделавших Чехию страной, где поэзию читают и любят. Тауфер — щедрый поэт. Однако толпу метафор, которой с первого взгляда может показаться его любая поэма, правильнее сравнить не с толпой, а с народом. В ней есть внутренняя организованность. Мозаика образов не разбегается, как у сюрреалистов, а складывается в картину, подчиненную сильной и страстной мысли.

Книга выпущена в свет Издательством иностранной литературы. Делал ее тот же коллектив, который работал над прекрасным томом Витезслава Незвала. Переводчики — особенно Мартынов, Самойлов, Симонов, Луконин, Тоом и В. Николаев — кстати сказать, связанные с Тауфером долголетней дружбой, любовно и тщательно воссоздали на русском языке поэта, который озвучил по-чешски стольких наших товарищей.

Немногочисленные иллюстрации В. Эльконина понравились Иржи Тауферу. Я думаю, что они понравятся и читателям.

Книга хорошо отредактирована Б. Щуплецовым и Л. Тоомом. Приведение к одному знаменателю нескольких крупных поэтов-переводчиков делало работу редакторов очень нелегкой. Особо хочется сказать об Н. С. Николаевой, замыслившей эту книгу, составившей ее и написавшей дельное послесловие.

**БОРИС СЛУЦКИЙ**

## «ЭЙ, ВЕТЕР!»

**Б. В. Вилакази. Песни зулуса. Перевод с языка зулу А. Сендыка. Вступительная статья и примечания Н. Охотиной. Москва, Гослитиздат, 1962. 88 стр.**

Ветер свободы веет над африканским континентом, срывая ржавые цепи и пелену с глаз. Ветер двадцатого века... Зулус Бенедикт Валлет Вилакази, первый доктор филологии в Африке, прекрасный поэт и борец за освобождение родины от власти колонизаторов,— знаменательная фигура современной мировой поэзии.

В книге «Песни зулуса» есть такие строки:

...я поэт, даже смерти самой
Вновь не отбросить меня
в немоту.

Это голос Африки не хочет быть отброшенным в вековую немоту. Он требует, чтобы его услышал весь мир. Пришел час.

Поэзия Вилакази, самобытная, глубокими корнями вросшая в народные песни и предания банту (общее название для группы африканских народов, говорящих на родственных языках), в то же время испытала на себе влияние передовой европейской культуры. Поэт называет книгу своим «щитом». Иногда ему кажется, что сами предки велели поэту из народа зулу «все записать». Тяжелая ноша легла на плечи: «...кончив труд, я, наверно, умру».

Так ответственно представляется Вилакази его миссия одного из первых в Африке просветителей. Но он знает, ветер не напрасно раздул священное пламя: «Дух познанья — самый могучий дух». «Я счастлив, что я воистину зрячий». «...Грудь моя колоколов полна».

Стихи Вилакази полны скорби за свой народ. И скорбь эта в его понимании — боль мира: «Поэзия — сгусток страданья всего, что живет на земле». Он видит, как его соотечественники заблудились «между домами». Он имеет в виду цивилизацию колонизаторов-европейцев, чуждую его народу. И это великолепный образ, который создал сын природы, сын просторов — Вилакази. Поэт вырос на берегу океана, в Южно-Африканском Союзе.

Там горят под ногами звезды
И сверкают над головою.
Океан перепутать с небом
Легче легкого в темноте.
(«Долина среди холмов»)

Он видит, как трудятся рудокопы, эти «люди-кроты», над которыми однообразно всходит солнце цвета «красного железняка» и льет мертвенный «искусственный» свет луна. Ему жаль землю, эту «большую корову», чье «молоко — золотой песок», ради которого люди делают друг друга несчастными («Вечер», «На золотом руднике»).

Герой Вилакази не знает, что есть земля, где царят иные законы жизни. Он призывает просто к братству, обращается просто к друзьям «многочисленным, как тростники»,— к человечеству. В стихотворении «Богу миссионеров» поэт отказывается ждать от всевышнего помощи: «Ты с бе-

лыми...» Он молится черной богине, молит заходящее солнце прислать за ним гонца, научить его «парить в вышине», открыть ему «тайны Вселенной»...

Вилакази умер в 1947 году. Он не дожил до того дня, когда, пролетая над Африкой, советские космонавты Николаев и Попович — эти посланцы не бога, не солнца, а самого Будущего земли — приветствовали народы африканского континента...

Нельзя без волнения читать строки Вилакази, обращенные к будущему своего народа. Светлая печаль сквозит в стихотворении на смерть отца:

Нет, я не верю в то, что ты умер,
Ты просто ушел отыскивать путь.

(«Как мне поверить?»)

И не только печаль. Надежда. Она живет в «Песнях зулуса», упрямая, то тут, то там пробиваясь сквозь строки растерянности, боли, смятения. Беседуя со «скончавшимися машинами», поэт видит разницу между ними и человеком прежде всего в том, что у человека всегда впереди — надежда.

Нам и за проволокой колючей
Мерещится случай,
счастливый случай...

(«На золотом руднике»)

Когда-то английские луддиты ломали машины, мстя им за безработицу, видя в них персонифицированное зло капитализма. Сегодня машина вросла в жизнь, в быт, в пейзаж даже в Африке. Машина кажется униженным братом, а не соперником рабочего человека. Вилакази на опыте своих соотечественников видит: человек становится машиной, функцией. Они оба, машина и человек, рабы одного и того же хозяина — богатства. Поэтому на машину переносится все, что присуще человеку, она «умирает», как человек от непосильной работы.

Пока герой Вилакази видит равенство людей только в смерти. «Мертвые люди равны как птицы...» Это прекрасный образ. Трудно не почувствовать в нем тоски по свободе.

Вилакази — поэт сильный. Наивность и чистота сказки помножена у него на поэтическую искушенность. Ему не чужда довольно усложненная деталь. Вот, например, образ постыдного примирения с действительностью: волосы героя полны «пыли и тишины забытых дорог...» Забытые дороги — это дороги, которыми шли героические воины его племени, веселые и могучие предки Вилакази. К ним, их суду, их памяти не раз возвращается поэт в лирических монологах. Порою он даже склонен, как мне кажется, преувеличивать счастье когда-то свободных племен, идеализировать «естественный» ход их бытия. Это, конечно, красивое заблуждение. Но Вилакази — поэт. И если будущее брезжит для него смутно и загадочно, а в настоящем зреет активный протест против чужеземного насилия, то нет ничего удивительного, что он ищет идеалы в родовом строе независимых африканских племен!

Правда, Вилакази ставит весь запас народных представлений на службу новому — идее борьбы с колонизаторами. И легенды прошлого оборачиваются отравленными стрелами против белых насильников. Вилакази любит музыку, поэзию, мудрость великих европейских гуманистов, но он прекрасно знает, что сама по себе западная цивилизация может стать для него клеткой, в которой он будет метаться пантерой... Да, культура в самом широком смысле слова — великое благо, но...

Тень — как нужна человеку тень!
Но бросает ее только дерево зла,
Не прячься под ним от зноя и света!

(«Утренние размышления»)

Нет, не прячется поэт от резкого света жестокой правды, не обольщается относительными благами, какие колониализм уготовил для единиц (в частности, судьба самого Вилакази — такое счастливое исключение: он смог добиться многого в жизни, достичь высот культуры). Вилакази никогда не успокаивался и всю силу своего таланта направил на расшатывание гнусного строя жизни, прикрытого лицемерной ложью миссионерства «избранной» расы.

Образ ветра, к которому любит обращаться поэт (одно из стихотворений так и названо «Эй, ветер!»), снова и снова говорит о главном в человеческой позиции Вилакази. ...Тени ветвей, колеблемые ветром, меняют очертания, они призваны сказать нам об изменчивости мира. *Все еще будет иначе.* Надежда живет. Надежда водит пером поэта.

Я иду впереди, хоть уверен вполне,
Что мир без меня не собьется с дороги.
О, я не маяк, я сигнал тревоги,
Но кто мне прикажет быть в стороне?

**ВЛАДИМИР ОГНЕВ**

## РАННЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ-ГУМАНИСТА

**Герман Гессе. Под колесами. Перевод с немецкого Вс. Розанова. Вступительная статья Л. Черной. Москва, Гослитиздат, 1961. 157 стр.**

Творчество известного швейцарского писателя-реалиста Германа Гессе (1877—1962) составляет целую эпоху в истории европейской литературы. Современник и друг Ромена Роллана и Томаса Манна, он начал литературную деятельность еще в начале XX века. Повести и рассказы Г. Гессе сразу же получили признание. Некоторые из них были переведены на русский язык. Убежденный противник войны, Герман Гессе не

смог жить и работать в кайзеровской Германии, где родился, и в 1912 году он уехал в Швейцарию. Там в маленьком городке Монтаньола писатель прожил всю свою жизнь.

Творчество Германа Гессе проникнуто духом лучших традиций немецкой гуманистической культуры. Он неустанно разоблачал национализм, утверждал красоту и ценность человеческой личности. Наиболее значительные произведения писателя — «Петер Каменцинд» (1904), «Демиан» (1919), «Степной волк» (1927), «Игра стеклянных бус» (1943). В последних двух романах звучит непримиримая ненависть к фашизму и войне — недаром книги Гессе находились в фашистской Германии под запретом.

Сейчас советский читатель познакомился с одним из ранних произведений этого большого художника слова — повестью «Под колесами» (1906). Ее герой Ганс Гибенрат — одаренный мальчик из бедной семьи. Он растет и воспитывается в маленьком немецком городке среди равнодушных мещанобывателей. Тупые наставники — директор гимназии, пастор, учитель математики — губят талант Ганса, вдалбливая ему в голову мертвые схоластические знания, лишая его радостей детства и юности. Все это они делают ради мелкого тщеславия: Ганс должен как можно лучше выдержать экзамен в государственную семинарию и тем самым прославить их захолустный городишко. Но когда мальчик попадает туда, его физические и моральные силы уже истощены.

Семинария... Типичное учебное заведение Германии того времени, где все делалось для того, чтобы превратить молодых немцев в послушных подданных прусского кайзера. Только человек, обладающий большим мужеством, мог сопротивляться этой безжалостной муштре. Таким изображен в повести Герман Гейльнер, друг Ганса, которого называли в семинарии «бунтарем». Это он обличал лицемерие наставников, высмеивал в стихах их ограниченность и даже тайком выпускал сатирический листок. Герман Гейльнер вел борьбу до конца и бежал из семинарии, а более слабый Ганс Гибенрат, лишившись поддержки друга, в конце концов погиб.

Перевод книги на русский язык представляется не совсем удачным. Конечно, стиль Г. Гессе своеобразен, книги его не легки для восприятия. Тем не менее вряд ли следовало загромождать перевод словами, малопонятными и требующими дополнительных пояснений. Так, на стр. 14 мы читаем: «Всего несколько недель оставалось до очередного общеземельного экзамена. Так именовалась ежегодно совершаемая гекатомба...» «К сожалению... никто... не пытается сбить с упомянутых берлинцев весьма свежий налет патины» (стр. 58). Или же: «Перепуганная рыба проделала отчаянный вольт» (стр. 36). Этот перечень можно было бы продолжить.

«Под колесами» — ранняя повесть Германа Гессе. Она не принадлежит к наиболее значительным его произведениям. Поэтому следовало бы продолжить знакомство советского читателя с творческим наследием выдающегося швейцарского писателя.

**Г. ЕГОРОВА**

## ЗЕМЛЯ ГОРИТ

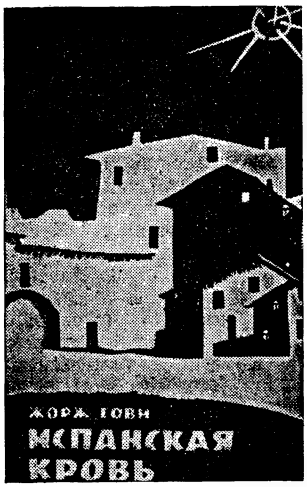
**Жорж Гови. Испанская кровь. Перевод с французского. Предисловие Л. Зониной. Редактор Е. Бабун. Москва, Издательство иностранной литературы, 1962. 171 стр.**

Предел мечтаний мальчика—быть водоносом. Старый Хоакин обещал ему осла только после своей смерти. А дома — больная мать и голодный братишка. И маленький Карлос решает выкрасть осла. Но осел погибает...

А шахтер Мануэль Пидаль страстно хочет иметь сына. Быть может, потому, что «сын должен был повторить весь его путь, снова начать ту борьбу, которую сам он вел с раннего детства...» Но жена родит ему дочерей. А когда наконец рождается сын, то тяжкая опухоль и невежды-врачи сводят его в могилу. Сын погибает...

Счастье, казалось бы, улыбнулось лейтенанту де-Вилльятойя: он встретил женщину, которую полюбил. С ней хочет он начать новую жизнь, вырваться из страшного мира франкистской армии, ибо «вокруг все так бессмысленно, так нелепо...» Но когда он приходит к своему полковнику с рапортом об отставке, тот знакомит его с подобными же документами, поданными его предшественниками из-за единственной в крепости женщины. И любовь погибает...

Маркизу Эстебану дель




Инфантадо хочется играть роль защитника бедных. Он строит в глухом провинциальном городке пробковый завод, чтобы дать работу нищим горожанам. Местные богатеи чинят маркизу всякие препятствия, боясь потерять дешевую рабочую силу. Эстебан вынужден отказаться от строительства. Надежда бедноты погибает...

Монархисты собираются отомстить губернатору Саморе, хладнокровно предавшему казни сына ближайшего друга своей молодости, их товарища. К старости фалангист Самора стал понимать, что Испании не нужны ни фалангисты, ни монархисты. Не дожидаясь мести, Самора в смерти находит примирение с самим собой. Он погибает...

Гибнет все: и люди, и мечты, и свершения. «Будущего нет, существует только настоящее». Такой предстает сегодняшняя Испания в рассказах Жоржа Гови. Для него нет испанцев вообще, есть победители и побежденные, фалангисты и республиканцы. И мир победителей медленно загнивает, истощается, а у побежденных пока еще недостаточно сил, чтобы изменить навязанный им порядок вещей. Они пытаются что-то делать — об этом говорит Гови в рассказе «Почему?», но все их замыслы расплывчаты, неясны. Они добывают оружие у темного дельца, переправляют его контрабандой через границу, некоторые из них гибнут... Все-таки «люди получат свое оружие... раз они верят, что имеют право воспользоваться им».

Они им воспользуются — это глубоко чувствует читатель «Испанской крови». Земля горит под ногами победителей, народ разгибает спину и, подняв голову, точно впервые видит ярко-синее небо Испании, жгучее солнце, опаленную, растрескавшуюся землю, жаждущую влаги и трудолюбивых рук настоящих хозяев, способных ее возделать.

Книга Гови богата пейзажными зарисовками, насыщенными, полными тончайших оттенков красок и звучаний. Так увидел Испанию писатель другой страны, влюбленный в ее землю, в ее трудовой народ.

«Испанская кровь» Жоржа Гови была признана во Франции лучшим сборником рассказов 1958 года. Мастерство композиции позволяет их автору не просто держать читателя в напряжении, но и провести перед ним вереницу героев из самых различных социальных слоев современной Испании, словно волшебным фонарем освещая затаенные уголки их души, их скрытые помыслы, мечты и переживания. И читатель, с помощью автора, проникает в их мир и какое-то время живет жизнью всех этих людей.

Издательство иностранной литературы подарило читателям хорошую книгу об Испании. Жаль только, что переводы рассказов Гови не так богаты лексически, как хотелось бы, и иногда грешат однообразием.

**Л. ФЕЙГИНА**

## РУКОПОЖАТЬЕ

**Уилсон Макдональд. Избранные стихи. Перевод с английского. Составитель и автор послесловия И. Левидова. Редактор М. Павлов. «Современная зарубежная поэзия». Москва, Издательство иностранной литературы, 1961. 72 стр.**

Он — свой, этот парень, прошедший пешком всю Канаду от Мэдисин-Хат до Ванкувера, пересекший Атлантику на старой барже и не раз убеждавшийся, что лучше деньги проесть, чем платить за проезд. Он — свой, этот потомок шотландского священника, поставившего крест на самом господе боге, этот объездчик диких лошадей, студент и старатель, бросивший доходное дело ради блажи, ничего, кроме долгов не сулившей: ради поэзии.

На что ему эта поэзия? Кто ввел его, Уилсона Макдональда, в соблазн?

Может быть, это кровные дружки-лесорубы, горняки, ковбои захотели услышать песнь о «бесхитростных, честных равнинах», посочувствовать нецелованной дурнушке Мэгги Сворц («Добрее сердца не сыскать — была бы радость мужу. О, если б создал бог ее изнанкою наружу!»), поиздеваться над злющей Амандой Браун, которая любила сплетни, как сало, «свинину ела натощак, глаза таращила, как рак, и спину о дверной косяк воинственно чесала».

А может быть, горам и прериям самим осточертело безмолвие, и они порешили: пусть в стихах верного им Уилсона «бродит по жилам снежная свежесть», пусть засверкает в них «горных вершин могущество и чистота ледников». Или они просто пожалели беднягу и, когда усталость пришла к нему вечерней порой, прошептали: «Подушку ветра возьми под голову, звездами плечи укрой»,— и, постелив поэту на ветру, вдохнули в него такую отвагу, что

утром он бросил вызов светилу: «Смело зелень у солнца похитил листок, а я бы не мог?»

Хорошо, если горы и люди верили ему и делились отвагой, любили и жалели. Было за что. Врагов у поэта всегда хватало, в их руках была власть, а перед нею Уилсон Макдональд не склонялся. Он слишком любил для этого весну и месяц «март — освободитель скованных ручьев». И, наверно, по той же причине поэт вселял надежду, что близок день, когда увидим мы «поверженных кумиров наших прах», звал сжигать «кумиров ложных» и никогда не примирялся с покорностью и разладом в семье белых, желтолицых и чернокожих братьев: «Братья, в одном стремленье соединим сердца, ужель в оцепененье мы будем ждать конца?»

Терпеть — вот что было невыносимо, терпеть, сознавая, что есть силы для честного боя, что бой этот нужен: «Если на всех, кто мучит людей, арестантский надеть балахон, у меня под окном всю ночь, весь день не смолкал бы кандальный звон».

В стихи Уилсона Макдональда не мог не ворваться кандальный звон, потому что кому бы ни пел канадский поэт, подчинялся он только истине и ценил ее выше всех благ на свете: «Давно объявить пора, что песня дороже золота, а правда верней серебра».

Некупленная-непроданная, правда сберегла молодость стихов, а значит, и молодость самого поэта — лишь теперь, на девятом десятке, ставшего «своим» для советского читателя. В этом заслуга и переводчиков — М. Кудинова и М. Ваксмахера, И. Левидовой и А. Сергеева, Б. Гиленсона и В. Федотова; особая заслуга И. Левидовой, сопроводившей книжку умным и сердечным послесловием.

Прочтите этот маленький сборник, и вы почувствуете, читатель, что рука у поэта — широкая, шершавая, теплая. Его стихи — как дружеское рукопожатье.

**М. КОРАЛЛОВ**

## ТОЛЬКО ПРАВДА

**Хуан Гойтисоло. Земля Нихара. «Новый мир», № 7, 1962 г. Перевели с испанского А. Макаров и Н. Трауберг. Послесловие Алексея Эйснера.**

Палящее солнце. Желтая, рыжая, красная земля. Дикие смоковницы, агавы, маленькие изогнутые оливы. Заброшенные шахты, разрушенные дома, нищие, грязные деревни и на стенах развалившихся лачуг, на каменных оградах все та же надпись — краской или дегтем: «Франко
Франко
Франко».

Юг Испании, провинция Альмерия, бедный, отсталый, заброшенный край. Здешним людям — измученные лица, лохмотья, рано увядшая красота женщин, трахома — промышленная Барселона кажется столь же далекой и столь недоступно прекрасной, как Америка. «Увези меня отсюда,— просит рассказчика, Хуана Гойтисоло, молодой парень.— ...Увези меня сейчас. Я такой же человек, как ты... в Барселону... У меня ничего нет, только руки,— говорит он.— Смотри... Только руки...»

Другие не просят. Старики умирают с голоду. Дети рождаются слепыми. Господин Амбросио, рассуждая о благородном и честном кастильском характере и о дурном характере альмерийцев, скупает почти задаром дома у тех, кто находит силы бежать на Север — в Каталонию, во Францию, в Америку. За лето он скупил почти целую деревню.

Однако обыватели в тавернах, точно глаза их застланы пеленой, твердят, повторяя газетную болтовню: наши края бедные, зато красивые. У нас нет промышленности, но жить у нас лучше. Наши девушки, наши песни, наш бой быков...

«Земля Нихара» Хуана Гойтисоло — как нестерпимая боль, как бездонное горе сдержанного человека: ни крика, ни стона, но взглянешь в глаза — и сострадание сжимает горло. И чувствуешь — так больше невозможно, нужно что-то изменить.

Хуан Гойтисоло ничего не объясняет, ни к чему не призывает. Только показывает. «Не писателю изменить общество,— сказал он недавно корреспонденту газеты «Монд».— Но его долг — открыть этому обществу глаза. Сейчас его глаза ослеплены ложью. Каждый писатель в стране, где образ человека подделан, как фальшивая монета, если у него есть чувство ответственности, ощущает необходимость воссоздать действительность, чтобы восстановить правду».

Когда врут газеты, правду говорит литература.

Быть свидетелем, чтобы помочь людям понять самих себя, сбросить покрывало демагогической лжи, разбудить их самосознание. Потребность в правде, которая вызвала к жизни молодую испанскую литературу, объясняет и суровый реализм этой прозы и силу ее воздействия.

...Бастуют шахтеры Астурии. Они всегда были в Испании авангардом протеста. Но на красных землях Нихара, с такой любовью, с таким пониманием, с таким гневом описанных Хуаном Гойтисоло, в сердцах низкорослых смуглых людей с усталыми лицами и блестящими глазами, людей сдержанных, простых, сохранивших в нищете чувство человеческого достоинства, тоже зреет час гнева.

**Л. ЗОНИНА**

# НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Христо Радевский, редактор издающейся в Болгарии библиотеки «Советские поэты», выступая на страницах двухнедельника «Литературни новины», заявил: «В течение каждого года будет выходить по двенадцать книжек: в шести из них — произведения русских поэтов, в шести — произведения поэтов других национальностей Советского Союза. В настоящее время переводятся стихи двадцати авторов, в наступающем году из печати выйдут произведения Александра Блока, Максима Рыльского, Сергея Есенина, Миколы Бажана, Михаила Светлова, Якуба Коласа, Николая Заболоцкого, Аркадия Кулешова, Иосифа Уткина, Платона Воронько, Евгения Евтушенко, Гафура Гуляма и других».

Издательство «Народна култура», как сообщает еженедельник «Литературен фронт», уже выпустило в библиотеке «Советские поэты» избранные стихотворения Александра Твардовского (в переводе Андрея Германова), Дмитрия Кедрина (в переводе Ивана Милчева), Симона Чиковани (в переводе Димитра Василева).

Под названием «Современные советские новеллы» копенгагенское издательство «Мега» выпустило сборник, в который, в частности, включены следующие произведения: «Судьба человека» Михаила Шолохова, «Храбрость» Бориса Полевого, «Поездка на Родину» Николая Жданова, «Ухабы» Владимира Тендрякова. «Отличительная черта этих новелл,— отмечается в предисловии к сборнику,— большой интерес к психологии человека. Особенно это относится к мастерскому произведению Михаила Шолохова «Судьба человека».

В бомбейском издательстве «Вора энд компани» вышла на языке хинди повесть Алексея Толстого «Аэлита».

«В наше время — славную эпоху космонавтов, когда Гагарин, Титов и Глен облетели земной шар, а полет на Луну и Марс уже не за горами,— подчеркивает рецензент газеты «Бхарат джоти»,— это произведение, написанное русским писателем около сорока лет назад, выглядит пророческим».

Финское книжное издательство «Кирьяюхтюмя» выпустило из печати сборник произведений Михаила Шолохова под названием «Рассказы». В книгу, как сообщает газета «Кансан уутисет», вошли «Судьба человека» и другие рассказы писателя в переводе Юхани Конкка.

В книжном обзоре, опубликованном еженедельником «Таймс литерари сапплмент», положительно оцениваются советские издания на английском языке, которые пользуются большим спросом в Великобритании.

Популярны среди английских читателей многие русские писатели. «Что же касается Горького, Маяковского, Алексея Толстого и Макаренко,— пишет обозреватель,— то их у нас уже считают классиками и охотно читают».

В шведском издательстве «Фолькет и бильд» выходит роман Константина Симонова «Живые и мертвые» под названием «Наступление на Москву». По словам рецензента журнала «Свенск букхандель», это произведение — «один из монументальных романов наших дней, посвященных великой войне, которую пережил русский народ».

Пьесой Максима Горького «Дети солнца» открылся в Кошице (Чехословакия) фестиваль восточнословацких театров, который, как сообщает печать, проводился под девизом «Социалистическое искусство в борьбе за воспитание нового человека».

«Удивительный, солнечный, увлекательный роман — незабываемая книга, действие которой происходит в Одессе после восстания на броненосце «Потемкин»,— так оценивает журнал «Свенск букхандель» роман Валентина Катаева «Белеет парус одинокий», вышедший в переводе на шведский язык в стокгольмском издательстве «Фолькет и бильд».

Западногерманское издательство «Генрих Эллерман» выпустило роман Константина Федина «Братья».

В мюнхенском издательстве «Нимфенбургер ферлаг» (ФРГ) вышел из печати сборник рассказов Константина Паустовского «Черная сеть». Сборник, включающий девять рассказов, заканчивается послесловием о творчестве писателя. Это уже третья публикация Паустовского, осуществленная «Нимфенбургер ферлаг» в текущем году (ранее выпущены воспоминания писателя «Беспокойная юность» и «Начало неведомого века»). В связи с изданием сборника обозреватель западногерманского журнала «Бёрзенблатт фюр ден дейчен буххандель» пишет: «Паустовский быстро получил у нас известность благодаря мастерски написанным воспоминаниям. И его короткие рассказы, овеянные романтикой, также созданы по жизненным впечатлениям.

В болгарском государственном издательстве «Христо Г. Данов» (Пловдив) опубликован роман Льва Никулина «Трус». Известный советский писатель,— говорится в рецензии журнала «Пламк»,— написал роман о человеке, потерявшем родину в детстве и нашедшем ее только в зрелом возрасте. Перед читателем возникает картина бурных событий, трагическая судьба Сергея Щеглова, прошедшего сквозь горнило всех страданий, чтобы обрести наконец счастье в своей социалистической отчизне».

По сообщению бюллетеня «Тайекозтато», в венгерском издательстве «Эуропа» вышел роман Вениамина Каверина «Исполнение желаний».

Два произведения молодого сибирского писателя Виля Липатова «Глухая мята» и «Стрежень» изданы в Чехословакии издательствами «Словенски списовател» и «Свет Совьету».

# ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ
## Хроника

**АЛЖИР**

### МОЛОДОЙ РЕСПУБЛИКЕ — СВОЮ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ

**«Революция в Алжире сделала женщин свободными, равноправными гражданами своей страны,— заявила известная алжирская писательница Асия Джебар корреспонденту газеты «Альже репюбликэн».— Я не только писательница, автор трех романов о войне в Алжире, а также преподаватель истории. Я буду учить детей. Нашей молодой республике необходима своя интеллигенция, и каждый патриот должен найти свое место в общей борьбе за победу революции, за подъем культуры народа».**

**АНГЛИЯ**

### ТРЕТИЙ ЗАКОН ПАРКИНСОНА

«Законы Паркинсона,— как заметил рецензент газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» Герберт Купфербергер,— становятся почти столь же общеизвестны, как и законы Ньютона».

Недавно вышедшая третья книга профессора Паркинсона «Удачливый зять и женатый неудачник» (его книга «Закон Паркинсона» опубликована в «Иностранной литературе» № 6, 1959 г.) нашла широкий отклик в английской и американской печати. Книга представляет собой сатирическое руководство по обеспечению себе блестящей карьеры и привольной жизни в капиталистическом мире.

Прежде всего, рекомендует Паркинсон, начинающий свою карьеру молодой человек должен выгодно жениться на женщине с хорошим приданым и большими связями. Признаки преуспевания: загородная вилла у живописного озера, фамильное серебро, верховые лошади, одежда от дорогого портного, роскошная машина последней марки, членский билет аристократического клуба и непременно высокий пост, не требующий ни интеллекта, ни трудолюбия, но возносящий вас в круг тех, кто правит миром.

Автор с самого начала предупреждает, что его книга написана не для тех, кто обладает каким-либо талантом, способностями, энергией, инициативой или попросту интеллектом. Такие, замечает он, выдвинутся и без его советов. «Человек, нуждающийся в моих советах, это человек ниже среднего уровня — глупый, тупой, ленивый, неряшливый, раздражительный, необщительный и двуличный. Вот для таких и надо писать руководства. В конце концов, мы живем в демократической стране, так почему бы такому типу не преуспеть наравне с другими?»

Рисунок английского художника-карикатуриста Роберта Осборна к новой книге Паркинсона.
*(Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью»)*

Паркинсон заранее предупреждает, что людям с философским складом ума, а тем более людям с высокими моральными устоями нечего брать в руки его книгу, она рассчитана на ничтожеств, жуликов и тупиц, которые, с его точки зрения, вполне могут преуспеть на своем «пути в высшее общество». Новая книга Паркинсона — блестящий памфлет на «сильных мира сего», на тот общественный и экономический строй, который автор отлично знает. Иллюстрации известного английского карикатуриста Роберта Осборна, по мнению рецензентов, придают еще большую остроту этой злой сатире.

### БЕСЕДА С ШОНОМ О'КЕЙСИ

Знаменитый ирландский писатель Шон О'Кейси встретил свое восьмидесятидвухлетие за правкой гранок книги очерков «Под цветной шапкой».

О'Кейси, пишет литературный критик газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» Куртис, редко выходит за пределы своего сада, но его интересы простираются так же далеко, как и прежде. «Некоторые критики,— заявил О'Кейси,— полагают, что я должен писать в своем раннем стиле. Но разве не естественно для художника искать новых средств выражения?» Престарелый драматург много читает и проявляет особый интерес к современной драме. В своей новой книге он посвятил этой теме отдельную главу. «Мне нравятся техника и яркая манера письма таких писателей, как Тенесси Уильямс, Жан Жене, Беккет, Сартр, Пинтер. Но,— добавил О'Кейси,— их глубокий пессимизм, картина безнадежной жизни, которую они рисуют, кажутся мне не соответствующими действительности. Человечество всегда побеждает и, несмотря ни на какие препятствия, будет и впредь побеждать... Я верю, что люди со временем станут еще лучше. Это моя философия. В жизни не без трагедий, но сама жизнь — не трагедия!»

### ПОКЛОННИКИ ШЕРЛОКА ХОЛМСА

Одна из литературных достопримечательностей Лондона — это... процветающая пивная, расположенная недалеко от Скотлэнд Ярда и носящая имя знаменитого сыщика Шерлока Холмса. Пивная находится на месте старинного викторианского трактира, неоднократно упоминавшегося в рассказах Конан-Дойля. На ее стенах висят портреты всех актеров, когда-либо игравших в театре или в кино роль Холмса, пистолеты, якобы принадлежавшие ему, и даже... гипсовый слепок следов баскервильской собаки!

На втором этаже пивной «реконструирован» кабинет Шерлока Холмса в том виде, как его описал Конан-Дойль.

«Убедить поклонников Шерлока Холмса в том, что их героя никогда не существовало, невозможно,— пишет журнал «Зис уорлд».— Для них он куда более реальный персонаж, чем автор, выдумавший его». В этом своеобразном клубе постоянно собираются двести пятьдесят членов Лондонского общества Шерлока Холмса.

Любопытно, что, выдумав Шерлока Холмса, Конан-Дойль был вынужден всю жизнь писать о нем, так как читатели попросту не разрешили ему покончить со своим героем. Журнал «Зис уорлд» сообщает, что на стенах пивной экспонированы два письма Конан-Дойля к матери. «Издатели,— пишет Конан-Дойль через шесть лет после того, как он создал Холмса,— требуют от меня еще каких-нибудь рассказов о Холмсе». А в следующем письме через год он заявил: «Я заканчиваю свой последний рассказ о Шерлоке Холмсе, после чего сей джентльмен исчезнет, чтобы больше никогда не появляться». Тридцать лет спустя Конан-Дойль, все еще протестуя против Холмса, продолжал усердно писать о нем. Холмс оказался сильнее и упорнее своего создателя.

Добавим, кстати, что пивоваренная фирма Уитбрэд финансировала реконструкцию «кабинета Холмса» в качестве главной достопримечательности пивной, которая действительно построена на месте, упоминавшемся Конан-Дойлем. Расчеты фирмы вполне оправдались — популярный литературный герой обеспечивает немалый доход!

## БОЛГАРИЯ

### «НА ТВОИХ КРЫЛЬЯХ»

В связи с VIII съездом Болгарской коммунистической партии из печати вышел сборник «На твоих крыльях». В него включены произведения писателей Болгарии, посвященные партии.

«Невозможно представить болгарскую литературу нынешнего столетия без вдохновляющего и руководящего влияния нашей коммунистической партии,— говорится в предисловии к сборнику.—...Рожденная гневом и надеждами трудового народа, обогретая лучами советской культуры, болгарская революционная партийная литература укрепилась, развернула свой фронт и достигла идейной и художественной зрелости; целый ряд писательских имен и книг сегодня является гордостью нашей культуры, могучим оружием коммунистического воспитания».

В сборник «На твоих крыльях» включены стихи и проза 135 авторов — от Д. И. Полянова, Георгия Киркова и Христо Смирненского до самых молодых. Сборник успешно отвечает своей основной задаче — выразить кровную связь болгарских писателей с коммунистической партией.

## ВЕНГРИЯ

### «ЛЕГЕНДА В ПОЕЗДЕ»

Этим летом на экраны венгерских кинотеатров вышел новый фильм «Легенда в поезде». В картине снимались многие хорошо знакомые советскому зрителю актеры венгерского кино, в том числе Адам Сиртеш и Илдико Печи.

...Бригада монтажников едет в поезде. Молодые люди рассказывают спутникам о работе бригады, о своей жизни. Пять рассказанных ими эпизодов и составляют содержание фильма.

В последнее время в венгерской печати широко обсуждается вопрос об освещении темы рабочего класса в искусстве, о необходимости разрабатывать ее во всех жанрах. Поэтому «Легенда в поезде» — новая попытка в этой области — сразу же привлекла к себе общее внимание.

Попытка оказалась действительно новой.

«Заслугой фильма,— пишет газета «Непсабадшаг»,— является прежде всего утверждение того, что в эпизодах, снятых в заводских стенах, на производстве, скрыто много возможностей для передачи новой лирики, что изображение в кино событий, происходящих на фоне современной техники, органически связанных с трудом, может обогатить киноискусство».

«В фильме мы видим не парадно изображенных рабочих, а людей, которые работают, видим с их красотой и недостатками, великолепием и погрешностями, готовностью к жертвам и мелочностью... Это рабочие люди, но нам не нужно бояться, что у них вдруг вырастут серебряные крылья и они вознесутся в социалистический рай»,— говорится в еженедельнике «Элет эш иродалом».

«Эта легенда,— по словам критика журнала «Фильмвилаг»,— представляет собой антилегенду, она стремится порвать со старым, покрывшимся пылью методом, когда рабочие изображались как идеал совершенства... Фильм, имеющий, к сожалению, мало себе подобных, ищет правдивое лицо рабочего, стремится поведать об обычных людях с их заботами, поэтичностью, юмором и радостями».

Критика отмечает, что картина не лишена недостатков, но творческий и современный подход ее авторов к теме безусловно заслуживает полного одобрения.

## ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

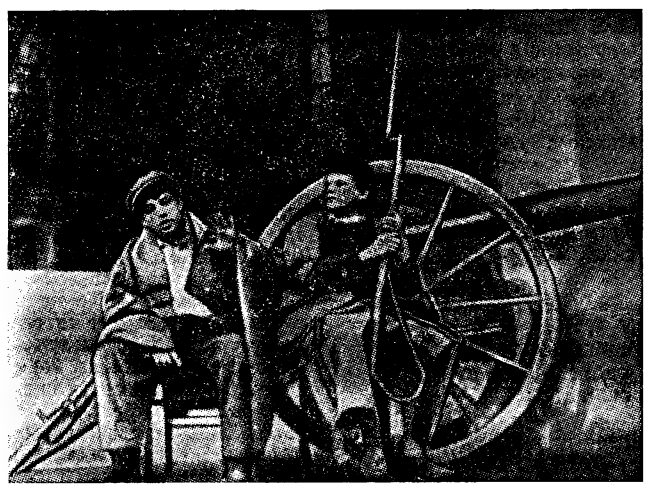
### ПРОИЗВЕДЕНИЯ МОЛОДЫХ

Литературный институт имени Иоганнеса Бехера выпустил сборник произведений молодых поэтов и прозаиков «Дни 1962 года». Это своего рода отчет слушателей института — самого молодого поколения писателей Германской Демократической Республики. Как сообщает газета «Берлинер цейтунг», сборник свидетельствует о разнообразии и актуальности тематики, широте интересов, понимании ответственности молодых литераторов перед современностью.

Сборник иллюстрирован работами студентов Высшей школы графики и книжного искусства в Лейпциге.

### СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«Пишущие рабочие появились не только со времени биттерфельдской конференции. Конференция сформулировала политические и исторические цели социалистической литературы, организовала движение пишущих рабочих. Но эта конференция опиралась на традиции лучших представителей рабочего движения, ставших на путь новой пролетарской литературы. Именно из их среды вышли такие писатели, как Бредель, Готше, Мархвица и другие»,— пишет рецензент еженедельника «Зонntаг», откликаясь на выход из печати книги Германа Лоренца «Товарищи и товарищество».



Театр «Берлинер ансамбль» поставил пьесу Бертольта Брехта «Дни Коммуны». Музыка к спектаклю была написана известным композитором, автором национального гимна ГДР Гансом Эйслером. Постановка пьесы, осуществленная режиссерами Манфредом Веквертом и Иоахимом Теншертом, по оценке критики, стала крупным событием театральной жизни страны. На снимке сцена из спектакля.

*(Газета «Нейес Дейчланд»)*

Сын горняка и сам горняк, Герман Лоренц с юношеских лет активно боролся за права своего класса. В 1923 году он послал свои первые литературные материалы в рабочую газету. Спустя два года он стал работать в редакции этой газеты. Герман Лоренц активно участвует в строительстве новой жизни в Германской Демократической Республике.

О том, как развивалось рабочее движение в Германии, о своем жизненном пути, о том, как в недрах рабочего класса родилась и развивалась немецкая пролетарская литература, рассказывает в своей книге Герман Лоренц.

Рецензент еженедельника особо рекомендует книгу молодым авторам, «которые теперь встали на путь литературы и которые должны учитывать опыт старшего поколения».

### ПРЕМИИ 1962 ГОДА

Печать сообщает о присуждении Национальных премий 1962 года. Премии по литературе получили Вольфганг Йохо за «свои романы, в которых современная тематика сочетается с народностью», и Максимилиан Шеер — за «все свое творчество в целом, особенно за мастерство репортажа».

Премии, кроме того, получили коллектив театра имени Максима Горького, художник Вальтер Вомацка за «свое реалистическое творчество», профессор Вернер Клемке за иллюстрации к книгам.

## ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

### КРИТИК ЖУРНАЛА «МОНАТ» И МОЛОДЫЕ ПИСАТЕЛИ

Свою статью о молодых писателях Западной Германии, опубликованную в западноберлинском журнале «Монат», критик Ганс Дайбер озаглавил: «С жестами и без жестов. Эффекты и аффекты молодых авторов».

Разбирая произведения молодых западногерманских писателей, в том числе Гиги Мартин, Ульриха Шамони, Карла Альфреда Волькена, Кристиана Кирша и других, критик демагогически заявляет: «Кто же, как не молодежь, должен и может говорить сегодня правду, чистую правду и ничего другого, кроме правды?..»

Устраивает ли критика правда, высказанная молодыми литераторами Западной Германии?

Дайбер с раздражением пишет, что творчество многих молодых авторов характеризуется отрицанием настоящего, «глумлением над прошлым» и полным неверием в будущее. Его не устраивает то, что М. Грегор в романе «Улица», обращаясь к отцам, говорит: «Вы банкроты, но не хотите в этом признаться... Вы оставили нам общество, где одна часть развратничает, пьет и жрет... а другая часть лишь мечтает о том, чтобы иметь возможность так же развратничать, жрать и пить».

Такой видят боннскую действительность молодые писатели Западной Германии.

Есть от чего прийти в раздражение критику из журнала «Монат» — ведь и сам он вынужден признать, что «совесть у отцов нечиста».

### ПРАВДА ГЛАЗА КОЛЕТ...

В 1962 году поредели ряды западногерманских журналов, пытавшихся удержаться на позициях какой-то независимости. «Смертность» среди этих журналов достигла рекордного уровня. Так прекратили свое существование известные за пределами ФРГ еженедельники «Культур» и «Дейче вохе», а также ряд оппозиционных изданий, выходивших по инициативе студенческих организаций. Нашумела история с преследованием гамбургского журнала «Шпигель».

Но и в подобных условиях молодое франкфуртское издательство «Бэрмайер унд Никель» все же решило основать новый журнал. Так в свет вышел «Пардон. Немецкий сатирический ежемесячник».

С первого же номера новый журнал обратил на себя внимание западногерманской общественности. «Следует отдать должное издательству,— пишет обозреватель еженедельника «Дейче фольксцейтунг»,— оно сразу обнаружило чувство перспективы». К сотрудничеству в «Пардон» привлечены известные писатели, в том числе публицист и сатирик Роберт Нейман, киносценарист и журналист Эрих Куби, поэт Ганс Энценсбергер. Одним из издателей журнала стал Эрих Кестнер.

«Журнал,— отмечает рецензент газеты «Дер морген»,— заклеймил милитаристскую и реваншистскую пропаганду, а также фашизацию западногерманской юстиции». Естественно, что на журнал сразу же обрушились потоки брани и угроз. Кампанию клеветы возглавил небезызвестный газетный концерн Шпрингера. По настоянию концерна даже оптовые продавцы прессы были вынуждены бойкотировать новый журнал. Еще до выхода первого номера в свет, сообщает редакция этого журнала, католический клер предпринял попытку сорвать его издание. Действующий по заданию кардинала Фрингса клерикальный орган цензуры «Фольксвартбунд» пригрозил продавцам газет и журналов штрафами, если они будут распространять «Пардон».

### КНИГА ГИТЛЕРА — УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Как сообщает западногерманская газета «Дейче цейтунг», боннский министр культуры разрешил школьным библиотекам иметь книгу Гитлера «Моя борьба». В решении министра отмечается, что эта книга — «часть нашей истории, и ученики имеют право знать историю этого периода. Чтение данной книги даст ученикам возможность стать политически зрелыми».

Комментарии, как говорится, излишни!

## ГРЕЦИЯ

### ПЕРВАЯ ПЬЕСА НА КРЕСТЬЯНСКУЮ ТЕМУ

Несколько лет назад в афинских газетах было опубликовано короткое сообщение: «В прошлое воскресенье в деревне Ай-Димитрис вступили в брак 35 безземельных крестьян. За несколько дней до этого власти известили население, что осушенная земля озера Саринголь будет распределяться только между семейными крестьянами». Этот случай лег в основу пьесы Герасимоса Ставру и Андреаса Франгьяса «Рай на пяти стреммах земли» (стремм равен 0,1 гектара).

Критика встретила пьесу весьма благожелательно. «Значителен уже тот факт, что писатели обратились к злободневной и жизненной теме,— пишет в газете «Авги» критик Фанис Кампанис.— Тяжелые будни греческих тружеников давно уже не выносились на сцену. Больше всего не везло греческим крестьянам. Если жизнь других слоев общества находила хоть какое-то отражение в театральных обозрениях, то крестьянская тема оставалась вечной сиротой. Вот почему пьеса Г. Ставру и А. Франгьяса стала значительным вкладом в современную греческую драматургию».

Действие пьесы происходит в одной из македонских деревень. Маленькие клочки земли, долги, батрачество, тревожные мысли о будущем. Но вот во мраке блеснула искра надежды. Каждый глава семьи получит по пять стреммов осушенной земли. За два дня почти все неженатые крестьяне переженились. Мало кого заботил выбор невесты. Главное — не прозевать землю. Но тут происходит непредвиденное: государственный служащий, который должен выдать свидетельства о браке, куда-то пропал. А раз нет свидетельств, то не будет и земли. Значит, женитьба была напрасной. А как прокормить теперь еще один лишний рот? Новобрачные стоят на грани развода, но постепенно любовь вытесняет расчет из их сердец. В конце концов получают они и долгожданные пять стреммов.

«Пьеса «Рай на пяти стреммах земли» проникнута духом глубокой человечности, веры в чистую и благородную душу народа,— отмечает Фанис Кампанис.— Собственнические инстинкты, моральные компромиссы и предрассудки рассеиваются по ходу пьесы, отступают перед светлыми чувствами и добрыми помыслами. Главную идею пьесы выражает молодой крестьянин Космас. После долгих злоключений он приходит к выводу, что «есть в жизни вещи поважнее пяти, десяти или даже тысячи стреммов земли».

Сцена из спектакля «Рай на пяти стреммах земли».
*(Газета «Авги»)*

## ИНДИЯ

### ЛИТЕРАТУРА УРДУ ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

В аллахабадском издательстве «Нилабх пракашан» опубликована антология литературы урду. Книга, составленная известным писателем Упендранатхом Ашком, издана на языке хинди.

Литература урду, особенно ее поэзия и короткий рассказ, всегда привлекала внимание читателей хинди, пишет критик индийского журнала «Линк». Он отмечает, что рецензируемый сборник существенно отличается от предыдущих изданий такого типа. «Это, прежде всего, серьезная попытка представить в одном большом томе все лучшее, что создано за последние двадцать пять лет в поэзии, прозе, драме и публицистике на языке урду».

Наряду с такими популярными писателями, как Манто, Кришан Чандар, Беди, Исмат Чугтай, Ахмад Надим Касми, Ходжа Ахмад Аббас, в книге выступают и молодые прозаики. Интересны, по свидетельству рецензента, воспоминания Фаиза Ахмада Фаиза о недавно скончавшемся писателе-сатирике Букхари.

В разделе поэзии слово получили лучшие представители как старшего, так и младшего поколения. Однако, указывает критик, не всегда поэты представлены здесь своими лучшими вещами. Маловыразительны, по его мнению, и работы драматургов, опубликованные в сборнике, если не считать пьес Манто и Саджада Захира.

Подобные антологии других индийских национальных литератур, говорит в заключение рецензент, будут, несомненно, содействовать духовному объединению страны.

## ИСПАНИЯ

### ПОЧЕМУ ИСПАНЦЫ ЧИТАЮТ МАЛО КНИГ?

Ответ на этот вопрос дает барселонский журнал «Ревиста Гран виа», опубликовавший весьма любопытные цифры из официального доклада административного совета национального Института испанской книги.

Согласно этим данным, в Испании насчитывается лишь 800 публичных библиотек, в том числе университетских, тогда как число муниципальных советов составляет 9212. Книжный фонд во всех библиотеках страны равен 7 миллионам 800 тысячам томов, что при населении в 30 миллионов человек составляет 0,26 книги на каждого испанца.

Комментируя эти цифры, «Ревиста Гран виа» пишет, что причину такого положения надо искать в высокой стоимости книг и в низкой покупательной способности испанцев, которые ежегодно могут тратить на приобретение литературы всего лишь 30 песет.

Говоря о перспективах, журнал выражает надежду, что те лица, от которых это зависит, «примут надлежащие меры». Однако в текущем году эти пожелания вряд ли осуществимы, поскольку бюджет Института испанской книги определен в 14 миллионов песет, а закупка литературы составит всего лишь 140 тысяч томов.

Если так будет продолжаться и впредь, то для того, чтобы обеспечить каждого испанца хотя бы одной книгой, без учета прироста населения, понадобится почти... 160 лет.

## ИТАЛИЯ

### ПРОИЗВЕДЕНИЯ АЛЖИРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

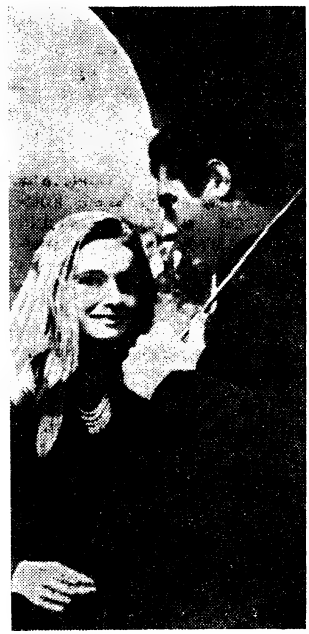
Издательство «Эдитори риюнити» выпустило сборник произведений современных писателей Алжира. В сборник входят отрывки из романов, рассказов, очерки, а также стихи и поэмы, повествующие о национально-освободительной борьбе алжирского народа. Составитель сборника и переводчик — Рине Даль Сассо, перу которого принадлежит также и обстоятельная вступительная статья о литературе Алжира.

Прогрессивная итальянская печать приветствует выход этого большого сборника, впервые широко знакомящего итальянского читателя с современными писателями и поэтами Алжира, и посвящает ему большие рецензии.

### ПРЕМИЯ «ОМЕНЬЯ»

В итальянском городе Оменья состоялось присуждение ежегодной литературной премии «Оменья», учрежденной четыре года назад прогрессивной общественностью. Этой премии удостаиваются произведения итальянских и иностранных авторов, направленные против фашизма и колониализма. Лауреатами премии «Оменья» были Анри Аллег и Жан-Поль Сартр. В нынешнем году премии удостоена книга «Осужденные на адские муки на земле», принадлежащая перу недавно умершего писателя Франса Фанона, выходца из Мартиники, жившего в Алжире.

Все творчество Фанона было горячим призывом к освобождению порабощенных народов. В постановлении жюри о присуждении премии «Оменья» его последней книге говорится, что это произведение может считаться «первым теоретическим манифестом антиколониальной революции».



Известная советскому читателю повесть Васко Пратолини «Семейная хроника» была экранизирована режиссером Валерио Цурлини. На Венецианском кинофестивале картина была удостоена, наряду с советским фильмом «Иваново детство» режиссера А. Тарковского, первой премии — «Льва св. Марка». Здесь помещен кадр из фильма «Семейная хроника».

*(Газета «Унита»)*

## КИТАЙ

### ТРУДЫ МЭЙ ЛАНЬ-ФАНА

*Издательство «Чжунго сицзюй» выпустило сборник трудов Мэй Лань-фана, подготовленных к изданию Союзом китайских драматургов. В сборник вошли публиковавшиеся после образования КНР теоретические и критические статьи, воспоминания артиста, а также его неопубликованные черновики.*

*В своих работах «Посвятим себя народу, прекрасному будущему», «10 лет развития драматургии», «Памяти Станиславского», «Воспоминания о Тагоре» Мэй Лань-фан говорит о больших задачах искусства.*

*«В трудах Мэй Лань-фана читатель найдет много полезного и интересного»,— пишет газета «Гуанмин жибао».*

### РАССКАЗЫ О НОВОМ КИТАЕ

Вышел в свет «Сборник современных рассказов». Он содержит написанные за последние годы рассказы Лю Бай-юя, Ян Шо и других известных китайских писателей. Этот сборник,

сообщает журнал «Чайниз литерачер», знакомит читателей с успехами строительства социализма в Китае, с людьми, работающими во всех областях народного хозяйства.

### НАЦИОНАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА

В новой большой художественной галерее Пекина открылась национальная выставка изобразительных искусств Китайской Народной Республики.

Среди 1115 экспонатов выставки — картины, карикатуры, резьба по слоновой кости, скульптура, произведения художественных ремесел, созданные лучшими китайскими мастерами-профессионалами и любителями за последние двадцать лет.

Наряду с произведениями таких широко известных мастеров, как Сюй Бэй-хун, Ци Бай-ши, Дун Си-вэнь, Хуа Цзюнь-у и другие, на выставке представлено много работ молодых талантливых художников.

По мнению журнала «Чайниз литерачер», выставка наглядно свидетельствует о богатстве тематики, стилей и художественных форм китайского искусства.

## НИГЕРИЯ

### ПЕРВАЯ ТРУППА

В городе Зария создана первая в Северной Нигерии постоянная драматическая труппа «Путешественники». В ее репертуаре — комедия местного автора Умару Ахмеда «Господин Соко». Автор пьесы участвует в постановке своей пьесы и как актер. Профессиональную подготовку он получил в Передвижном театре университетского колледжа Ибадана, совершившем недавно гастрольную поездку по стране с «Укрощением строптивой» Шекспира.

## НОРВЕГИЯ

### БЕРТОЛЬТ БРЕХТ И НУРДАЛЬ ГРИГ

В статье Мартина Нага, опубликованной газетой «Фрихетен», норвежский литературный критик указывает на тесную взаимосвязь драматургии Бертольта Брехта и Нурдаля Грига. Мартин Наг говорит о влиянии, оказанном Нурдалем Григом на Брехта в период работы последнего над пьесой «Дни Коммуны». Немецкий драматург, по словам Нага, написал свою известную пьесу «Дни Коммуны» непосредственно после прочтения «Поражения» Нурдаля Грига. Сам Брехт писал, что пьеса «Дни Коммуны» явилась встречным эскизом к пьесе Нурдаля Грига. «Поражение» Грига как бы вновь возродилось в «Днях Коммуны»...

## ПОЛЬША

Владислав Махеек.
*(Журнал «Нове ксенжки»)*

### О ГЕРОЯХ-ПАТРИОТАХ

Общественная значимость описываемых событий, реалистичность наблюдений, отсутствие схематизма при раскрытии большой темы — патриотизма и героизма польских коммунистов — таковы, по мнению польской прессы, характерные особенности двух новых книг Владислава Махеека — «Две сестры» и «Малая война в Южной Польше».

Первая из них, отмеченная на литературном конкурсе издательства Министерства национальной обороны, рассказывает о годах жизни после освобождения, когда новому, народно-демократическому строю пришлось преодолевать много трудностей. Несмотря на полную и окончательную победу народной власти, ее внутренние враги, вдохновляемые из-за рубежа, не складывали оружия. И вот рядом с новостройками, одновременно с возникновением новых взаимоотношений между трудящимися лучшим людям народной Польши приходится отстаивать ее в ожесточенных боях с фашистскими бандами. «Малая война» (рецензия на книгу опубликована в «Иностранной литературе» № 11, 1962 г.) получила премию министра культуры и искусства за 1962 год.

Повесть «Две сестры», хотя хронологически и предшествует «Малой войне в Южной Польше», представляет собой как бы продолжение последней.

«Две сестры» и «Малая война», отмечает польская критика, свидетельствуют о том, что Владислав Махеек остается верен своей излюбленной теме — борьбе польских патриотов за новую жизнь.

## В ПОЛЬСКИХ ТЕАТРАХ

Новый театральный сезон в Польше необычайно разнообразен. В репертуаре столичных и воеводских театров около 450 премьер, из них 139—современные пьесы польских авторов. В нынешнем репертуаре представлены польские драматурги всех поколений: Кручковский, Ивашкевич, Ружевич, Брандыс, Дроздовский, Грховяк и другие.

Из новых пьес успехом у польских зрителей, по сообщению печати, пользуются «Девятый справедливый» Ежи Юрандота, «Инкарно» Казимежа Брандыса, «Большое светлое» Абрамова и Ярецкого, «Волнение перед путешествием» Ежи Брошкевича, «Успех» Наталии Роллечек и «Путь» Гавлика.

Как отмечает в газете «Трибуна люду» рецензент Роман Шидловский, варшавские театры «Атенеум» и «Театр Повшехны» решили в текущем сезоне показать зрителю как можно больше произведений отечественных драматургов. Десять новых современных пьес намерены поставить театры в Ченстохове и Зеленой Гуре.

Богато представлена в репертуаре нынешнего сезона и советская драматургия — идут, в частности, пьесы Тренева, Погодина, Леонова, Штейна, Шварца.

Государственный театр Силезии поставил пьесу Леона Кручковского «Смерть губернатора». В главной роли — режиссер театра Ежи Калишевски (на фото).

*(Газета «Трибуна люду»)*

**РУМЫНИЯ**

## СОТЫЙ НОМЕР «ЛУЧАФЭРУЛ»

Литературная общественность Румынии отметила выход сотого номера журнала «Лучафэрул», издаваемого Союзом писателей Румынии. «Сто попыток сказать еще не окрепшим пером обо всем, что удивляет человека, о мире, который ему нравится, о любви и о мечте его полететь к звездам. Сто памфлетов, брошенных в лицо тем, кто хочет повернуть человечество назад к пещерам, сто гордых признаний, что мы любим жизнь и сладкую усталость рук в конце рабочего дня»,— так охарактеризовал пройденный журналом путь его редактор Эуджен Барбу.

Страницы журнала стали путевками в большую литературу для целого отряда ныне хорошо знакомых читателю прозаиков и критиков.

Статья Э. Барбу заканчивается призывом: «О, никому еще не известный юноша, проводящий ночи над белыми страницами и мечтающий, что они воспламенятся и запоют! «Лучафэрул» — твой родной дом, он ждет тебя. Смело стучи в дверь, тебе обязательно ответят. От тебя требуется лишь талант и труд, желание учиться и пуще всего та горячая любовь к человеку, которая свойственна только художнику-коммунисту!»

**США**

## САРОЯН О СВОИХ ПЛАНАХ

Уильям Сароян рассказал на страницах «Нью-Йорк таймс» о своих творческих планах на ближайшее будущее. Осенью он намерен вернуться на Бродвей в качестве автора, директора и постановщика своей пьесы «Девушки». О чем пьеса?

— Трудно сказать, о чем она,— отвечает писатель.— Это произведение особого рода. У многих людей есть какое-то предвзятое и уже сформировавшееся представление о Сарояне как о драматурге, и они не поверят, что это пьеса Сарояна. Она не похожа на то, что они ожидают. В ней два главных действующих лица — две девушки; через них-то и показан наш образ жизни и то, чего он стоит.

— В рукописях и черновиках мною подготовлено около тридцати пьес,— продолжает Сароян.— Что же касается коротких пьес, то их у меня вдвое больше. Я все время пишу пьесы, хотя никому их и не показываю.

## К ПРИСУЖДЕНИЮ СТЕЙНБЕКУ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

Нобелевская премия по литературе за 1962 год, как сообщил секретарь Шведской академии наук Остерлинг газете «Нью-Йорк таймс», присуждена Джону Стейнбеку преимущественно за его роман «Зима тревоги нашей» (опубликован в «Иностранной литературе» №№ 1—3, 1962). В официальном коммюнике указывалось, что премия была присуждена Стейнбеку за его «реалистические и вместе с тем полные воображения, отмеченные и социальным прозрением и добрым юмором» произведения. По мнению Остерлинга, «Зима тревоги нашей» может сравниться с «теми высокими стандартами», которые Стейнбек сам установил в «Гроздьях гнева». Если в сороковых и пятидесятых годах, по оценке критики, наблюдался некий спад в творчестве писателя, то с публикацией «Зимы тревоги нашей» Стейнбек «вновь занял место самостоятельного исследователя истины... Он любит противопоставлять простую радость жизни и циничное, жестокое стремление к деньгам. Однако в творчестве писателя мы находим американский народный характер с его великим ощущением природы, пустыни, гор и океанского берега».

«Присуждение Нобелевской премии по литературе Джону Стейнбеку,— гово-

рится в статье, опубликованной газетой «Уоркер», — вызывает гордость простых людей Америки, среди которых его книги всегда были популярны. Он часто писал о трудящемся люде и особенно о сельских тружениках». Автор статьи считает, что «Гроздья гнева» — лучший роман Стейнбека и, повидимому, вообще один из лучших американских романов, потому что представляет собой грозный обвинительный акт против социальной несправедливости и яркую картину борьбы трудящихся за лучшую жизнь.

На протяжении многих лет критики, представляющие интересы большого бизнеса, отмечается далее в статье, осуждали роман Стейнбека за ...сентиментальность и грубость; на самом деле их выводило из себя нежелание писателя признать в своих произведениях, что бизнес и бизнесмены ниспосланы богом, как благо для Америки.

Защищая малоземельного фермера, рабочего-поденщика и мелкого предпринимателя от наступления большого бизнеса, Стейнбек, по словам автора статьи в «Уоркер», не выступал в защиту городского труженика. В этом сказалось влияние антипролетарских и антипрофсоюзных идей. Но это вовсе не означает, что писатель питает антипатию к индустриальным рабочим, он лишь усматривает опасность вообще во всяком объединении — будь то корпорация или профсоюз. Так в его творчестве дают о себе знать тенденции консервативных идей XIX века.

«Зима тревоги нашей», по мнению газеты, показывает, что автор романа, несмотря на свои некоторые политические и художественные просчеты, — действительно большой писатель, наследник демократических традиций Америки, которому далеко не безразлично, каким путем пойдет американский народ.

«Я слышал,— заключает автор статьи,— как кто-то заявил по поводу присуждения Нобелевской премии Стейнбеку: «Можно назвать других, которые ее заслуживают». Я сам мог бы назвать нескольких, но я должен сказать, что автор «Гроздьев гнева» достойнее многих из тех, кто ранее получил эту премию».

## ФРАНЦИЯ

### ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ — ЗА ДЕМОКРАТИЮ

74 деятеля литературы и искусства Франции опубликовали в газете «Юманите» письмо, в котором они высказываются против режима личной власти. «Один человек,— говорится в письме,— не может определять судьбу нации. Власть одного человека никогда не способствовала обмену идеями и расцвету искусства».

### ПОД ЗАПРЕТОМ

*На кинофестивале в Венеции дважды в двух кинотеатрах был запрещен просмотр полнометражного документального фильма «Октябрь в Париже».*

*Автор статьи об этом фильме в еженедельнике «Леттр франсез» пишет: «Нам все же удалось посмотреть этот фильм чуть ли не в подпольных условиях».*

*Постановщик фильма, не называя своего имени, ответил на вопросы журналистов. Многие узнали в нем представителя «новой волны», когда-то удостоенного одной из первых премий.*

*Преследуемый за свое участие в борьбе за мир в Алжире, автор фильма долго путешествовал по Европе. Известные режиссеры Росселини и Бергман дали свое согласие помочь ему в создании фильма, но личные обязательства помешали им это сделать. Тогда постановщик решил самостоятельно осуществить эту трудную задачу. В его распоряжении была портативная кинокамера, сверхчувствительные пленки и очень небольшие денежные средства. Трагическая действительность подсказала ему сюжет. 17 октября 1961 года 30 тысяч алжирцев вышли на улицы Парижа на мирную демонстрацию против расистских преследований своих соотечественников. Как известно, эта демонстрация закончилась кровавым разгромом и массовыми арестами.*

*Фильм охватывает пять последовательных периодов: аресты и пытки алжирских патриотов в конце лета 1961 года, собрания накануне манифестации 17 октября, и сама демонстрация, свидетельства тех, кому удалось спастись, и, наконец, манифестации французов 8 февраля 1962 года.*

*Эти пять актов исторической трагедии, говорится в статье, представляют собой потрясающие образцы правдивого кинематографа. Здесь даже убитые выступают в качестве свидетелей, и их молчание красноречивее любых слов.*

### «ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ ЧАСА»

Так называется новый роман Андре Стиля, опубликованный издательством «Эдитёр франсе реюни». О том, как создавался роман, писатель рассказывает на

Андре Стиль.

*(Еженедельник «Франс нувель»)*

страницах еженедельника «Франс нувель».

«Два с лишним года назад у товарищей по ячейке возникла идея устроить собрание, посвященное обсуждению романа «Обвал», который тогда только что вышел из печати. Мысли, взволновавшие меня в связи с этим собранием, положили начало новому роману. Собрание прошло успешно: на нем присутствовали не только члены ячейки, но и не коммунисты. Как всегда в таких случаях, книга послужила поводом к разговору о наболевшем и о тех действиях, которые следует предпринять. Так вот и получилось, что в центре внимания собравшихся оказался вопрос о пытках в подземелье комиссариата полиции на улице Буайе-Баррет...

Андре Стиль рассказывает о том, как он изучал жизнь обитателей Нантера и рабочие будни сталелитейных заводов Мишвилля, куда ему удавалось тайно проникнуть, благодаря содействию рабочих и вопреки негласному запрету администрации.

«Были также сотни молодых солдат, которые рассказывали мне о войне, мужественные адвокаты, передавшие мне то, что они знали о жизни алжирцев, заключенных в тюрьмах»,— пишет Стиль.

В центре романа — судьба молодого алжирца, боровшегося за свободу Алжира.

## ФЕДЕРАЦИЯ РОДЕЗИИ И НЬЯСАЛЕНДА

### ФЕСТИВАЛЬ АФРИКАНСКОГО ИСКУССТВА

Одним из наиболее интересных событий в культурной жизни страны явился Первый конгресс африканской культуры, который был проведен в городе Солсбери. Этот конгресс, сообщает газета «Того пресс», дал возможность широко ознакомиться с замечательным искусством фольклорных театров, с музыкой и танцами народов африканского континента. Некоторые пьесы, показанные на конгрессе, были созданы 2 000 лет тому назад.

Сцена из спектакля «Еще», показанного Фольклорным театром Того на конгрессе африканской культуры.

*(Фото «Того пресс»)*

В выставочных залах конгресса были экспонированы многие произведения живописи и прикладного искусства народов Африки. Художественные произведения, полученные из музеев и от частных коллекционеров, привлекли большое внимание посетителей.

В фестивале африканского искусства, как называет конгресс газета, приняли участие Дагомея, Габон, Гана, Гвинея, Конго, Камерун, Либерия, Того и другие государства Африки.

## ШВЕЙЦАРИЯ

### УСПЕХ ДЮРРЕНМАТТА

Из года в год действовала одна, казалось бы, нерушимая традиция: швейцарские сцены были неизменно последними среди театров стран немецкого языка, куда попадала та или иная пьеса, уже прославленная людской молвой и оцененная театральными критиками. Так было, пожалуй, всегда. Но в последние годы это положение резко изменилось.

Недавно в Швейцарии состоялась премьера новой пьесы Дюрренматта «Физики». Известный немецкий критик Герберт Иеринг пишет в газете «Ди андере цейтунг» о постановке в Цюрихе: «...показана одна из самых интересных пьес последних лет».

Эта пьеса реалистична, полна глубокого смысла, хотя события с его героями-физиками происходят в... сумасшедшем доме. Десятки вопросов вызывает уже сама ситуация. Попали ученые сюда, так сказать, по принадлежности или же они выбрали это место, чтобы работать без помех? Ведется за ними политическая слежка или они стремятся сохранить таким путем в тайне свои открытия, опасные для мира? А может быть, не все здесь действительно сумасшедшие? Может быть, кое-кто тут просто исполнитель чьей-то злой воли? А кое для кого, вероятно, это своего рода тюрьма? Каждая мизансцена приносит на первых порах разгадку, но тут же загадка снова возникает... Физик Бойтлер выступает как Ньютон, физик Эрнести — как Эйнштейн, лишь

один персонаж говорит от своего собственного имени...

Фридрих Дюрренматт назвал свое произведение комедией. Пьеса и есть комедия в полном смысле слова. Абсурд превращен в средство разоблачения, как сумасшедший дом — в место показа жестокой действительности.

По оценке критики, режиссер, поставивший пьесу в Цюрихе — Курт Горвиц, создал яркий запоминающийся спектакль. Вслед за Цюрихом объявили о своем намерении поставить «Физиков» театры Вены, Гамбурга и Берлина.

## ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

### НОВЫЙ РОМАН БЛУМА

Гарри Блум, автор изданного в Советском Союзе романа «Эпизод в Трансваале», выпустил в свет второй роман — «Жена Уитэкера».

Эта книга, пишет газета «Дейли уоркер», является гневным приговором колониализму. В произведении фигурируют в основном белые, они показаны автором как бы через лупу, в увеличенном виде. Тут нет ставшего обычным почти для всех романов об Африке непосредственного столкновения белых с негритянским населением, расизм и колониализм показаны иным образом — через рассуждения, разговоры, общую жизненную концепцию белых колониалистов.

В своем предисловии автор отмечает: «Южно-африканские писатели находятся в весьма трудном положении. От них ожидают, что каждое свое слово они посвятят расовым проблемам, а между тем об этом уже написано огромное количество книг... В данное время лично я хочу заняться новой областью — в конце концов в Африке живут и белые, и одно это само по себе уже создает проблемы».

По словам Гарри Блума, его роман — «не политический». Можно согласиться с тем, пишет Джон Гриттен в «Дейли уоркер», что это не политика в строгом смысле слова, но сделанные автором разоблачения, раскрывающие уродливое лицо колониалистов Родезии, их аморальность, алчность, жестокость и бесконечное презрение к «туземцам» делают политическую ситуацию и политическую позицию писателя ясной для всех.

## ЯПОНИЯ

### ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

*В городе Йокохама, как сообщает печать, по инициативе прогрессивных молодежных организаций был проведен вечер, посвященный творчеству трех писателей — основоположника японской демократической поэзии Исикава Такубоку, классика современной китайской литературы Лу Синя и родоначальника литературы социалистического реализма Максима Горького.*

*С докладом «Лу Синь и Горький» выступил известный писатель Сикадзи Кан. На вечере был показан советский фильм «Детство».*

# КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

## МАРИЯ БАНУШ
## MARIA BANUŞ

**(род. в 1914 г.)**

Румынская поэтесса. Ей принадлежат сборники стихов «Страна девушек» ("Ţara fetelor", 1937), «Моим сыновьям» ("Fiilor mei", 1949), «О земле» ("Despre pămînt", 1954), «Появляется мир» ("Se arată lumea", 1956), «Лавина» ("Torentul", 1959) и др.

Стихи, публикуемые в номере, присланы в журнал в рукописи.

■

## ОРХАН ХАНЧЕРЛИОГЛУ
## ORHAN HANÇERLIOGLU

Турецкий писатель, член правления Союза писателей Турции. Автор многих романов. Среди них «Мир тьмы» ("Karanlik dünya", 1951), «Большие рыбы» ("Büyük baliklar", 1952), «Игра» ("Oyun", 1953), «Седьмой день» ("Yedinci gün", 1957). За роман «Али» ("Ali", 1955) писатель получил премию Общества турецкого языка. Роман опубликован в № 2 нашего журнала за 1959 год.

Повесть «Море, бьющее в наши борта» ("Bordamiza vuran geniz") вышла в 1960 году.

■

## РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ
## RAFAEL ALBERTI

**(род. в 1902 г.)**

Испанский поэт, участник национально-революционной войны в Испании (1936-1939 гг.). В настоящее время живет в Аргентине. Автор многих сборников стихов, среди них «Моряк на суше» ("Marinero en tierra", 1924), «Проповеди и жилище» ("Sermones y moradas", 1930), «Поэт на улице» ("El poeta en la calle", 1936), «Прибой» ("Pleamar", 1941), «Строфы Хуана Панадеро» ("Coplas de Juan Panadero", 1949).

Стихи поэта неоднократно публиковались в СССР.

Им написана также революционная пьеса «Фермин Галан» ("Fermín Galán", 1931).

Публикуемые стихи взяты из сборника «Баллады и песни реки Парана» ("Baladas y canciones del Paraná", 1954).

■

## ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ
## ERSKINE CALDWELL

**(род. в 1903 г.)**

Американский писатель. Автор многих романов, сборников рассказов и публицистических книг. На русском языке печатались роман «Табачная дорога» ("Tobacco Road", 1932), повесть «Мальчик из Джорджии» ("Georgia Boy", 1943), «Избранные рассказы» (1947 г.). В нашем журнале неоднократно публиковались его рассказы.

Роман «Дженни» ("Jenny by Nature") вышел в 1961 году.

■

## ГАБОР ГОДА
## GODA GABOR

Венгерский писатель-сатирик. Автор сборников рассказов «Среди волков» ("Farkasok között", 1952), «Два осленка» ("Két csacsi", 1953), «Человек с шарманкой и попугаем» ("Panétás ember", 1954), «Паноптикум» ("Panoptikum", 1956).

Рассказы, публикуемые в этом номере, взяты из сборника «Важные истории» ("Fontos történetek", 1961).

■

## АТТИЛА ЙОЖЕФ
## ATTILA IOZSEF

**(1905-1937)**

Венгерский поэт. Наиболее значительные его сборники стихов «Пшеница» ("Búza"), «Социалисты» («Szocialisták»), «Памяти Ади» ("Agy emlekezete"), «Рабочие» ("Munkasok").

Стихи А. Йожефа, напечатанные в номере, взяты из различных сборников.

■

## ЗИГФРИД ЭЙНШТЕЙН
## SIEGFRIED EINSTEIN

**(род. в 1919 г.)**

Немецкий писатель (ФРГ) — поэт, публицист. Автор нескольких сборников рассказов и лирических стихов. Переводчик Достоевского.

Материалы, публикуемые в номере, взяты из книги «Обер-бухгалтер смерти» ("Eichmann—Chefbuchhalter des Todes", 1956).

■

## ЭМРИС ХЬЮЗ
## EMRYS HUGHES

**(род. в 1894 г.)**

Английский публицист, политический и общественный деятель, автор ряда антивоенных статей.

Публикуемый материал получен редакцией от автора.

# СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ЗА 1962 ГОД

## РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ


**Алексис, Жак-Стефен** — Деревья-музыканты (Роман. Предисловие Виктора Некрасова), №№ 1, 2, 3.

**Ашкенази, Людвик** — Гость из ночи (Пьеса в трех актах), № 1.

**Борунь, Кшиштоф** — Антимир (Рассказ), № 3.

**Буццати, Дино** — Два веса, две мерки. Забастовка телефонов (Рассказы), № 9.

**Вентури, Марчелло** — Отпуск одного немца (Повесть), № 10.

**Виейра, Луандину** — Асфальтовая граница. Кинзиньо (Рассказы), № 5.

**Гадда, Карло Эмилио** — Короткие басни, № 9.

**Года, Габор** — Важные истории (Рассказы), № 12.

**Де Каскорро, Рауль Гонсалес** — Кубинские рассказы, № 11.

**Идрис, Юсуф** — Грех (Повесть), № 10.

**ИТАЛЬЯНСКИЕ САТИРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ**, № 9.

**Кальвино, Итало** — Ядовитый кролик (Рассказ), № 9.

**Колдуэлл, Эрскин** — Дженни (Роман), № 12.

**Куртад, Пьер** — Красная площадь (Роман), №№ 6, 7, 8.

**Ландольфи, Томмазо** — Предвыборная кампания (Рассказ), № 9.

**Лем, Станислав** — По звездным дорогам (Рассказы), № 11.

**Лидман, Сара** — Я и мой сын (Роман), № 5.

**Лоусон, Джон Говард** — Чудеса в гостиной (Пьеса в трех актах), № 11.

**Мазилу, Теодор** — Мария Попеску не хочет быть Марией Попеску. Ромео и Джульетта (Рассказы), № 2.

**Мальц, Альберт** — Картины (Рассказ), № 7.

**Мориак, Франсуа** — Шалый (Повесть), № 10.

**Мунтяну, Франчиск** — Художник (Роман), №№ 10, 11.

**Несин, Азиз** — Пойдите сюда! (Пьеса), № 8.

**Нолль, Дитер** — Приключения Вернера Хольта (Роман. Предисловие Александра Бека), №№ 4, 5, 6, 7.

**Нор, Раду** — Трое с Сириуса (Рассказ), № 3.

**Пристли, Джон Б.** — 31 июня (Повесть), № 9.

**САТИРИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ**, №№ 9, 12.

**Стейнбек, Джон** — Зима тревоги нашей (Роман), №№ 1, 2, 3.

**Стоянов, Цветан** — Мы и Арчи (Правдивая история о заморском госте), № 2.

**Сунь Ли** — Кузнец и плотник (Повесть), № 9.

**Усман, Сембен** — Тростинки господа бога (Роман), №№ 5, 6.

**ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ** (Предисловие Александра Казанцева), № 3.

**Фюлеп, Янош** — Парень из Топойи (Повесть), № 8.

**Хаддад, Малек** — Последний отпечаток (Роман), № 5.

**Ханчерлиоглу, Орхан** — Море, бьющее в наши борта... (Повесть), № 12.

**Шаша, Леонардо** — Сова появляется днем (Повесть), № 4.

**ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ**, № 2.


## СТИХИ


**Альберти, Рафаэль** — На реке Парана (Предисловие Сесара Арконады), № 12.

**Ань Тхо** — Девушка из Чанг-кеня, № 8.

**Базен, Эрве** — Благочестивая песня. Неизбежное возмездие. Подтверждение правила. Сжальтесь над посудой. Вши. Анкета. Швырни его в мой сад, № 1.

**Баиден, К. К.** — Африка, земля моя! № 5.

**Ба Му** — Вопрошаю весну, № 10.

**Бануш, Мария** — Поднимаюсь ступень за ступенью, № 12.

**Бао Динь Зианг** — Читайте, читайте эти страницы! № 8.
**Беджо, Кр.**— Из глубины взволнованного сердца, № 5.
**Библ, Константин** — Он на руки взял Землю, № 4.
**Божилов, Божидар** — Высота, № 9.
**Броневский, Владислав** — Стихи разных лет, № 4.
**Галчинский, Константы Ильдефонс** — Реквием? № 1.
**Гидаш, Антал** — Вслед за этим. Столкновенье. И все-таки. Время. Похвала первенству, № 6.
**Гильен, Николас** — Четыре стихотворения, № 7.
**Го Мо-жо** — Стихи (К 70-летию со дня рождения), № 11.
**Гу Гун** — Хижина дровосека, № 10.
**Давидков, Иван** — Люди, двери вы не запирайте! № 9.
**Дамянов, Дамян** — Улыбка Ленина, № 4.
**Даскалова, Лиана** — Мать, № 9.
**Девени, Джеймс** — Время дождей в джунглях, № 10.
**Димитрова, Блага** — Вапцаров, № 7.
**Динкар, Рамдхарисингх** — Стихи, № 9.
**Добсон, Розмери** — Ребенок с какаду, № 10.
**Дус Сантус, Марселину** — Земля содрогается (Отрывок из поэмы), № 6.
**Ёнэда, Эйсаку** — Во имя живущих, № 7.
**ЗА ВСЕ НАРОД БЛАГОДАРЮ** (Стихи болгарских поэтов), № 9.
**ЗЕМНУЮ СЛАВИМ МЫ КРАСУ** (Стихи венгерских поэтов), № 6.
**Змариалай, Аминулла** — Слово к колонизаторам, № 2.
**ИЗ ЮНОШЕСКИХ СТИХОВ КАРЛА МАРКСА,** № 1.
**Ийеш, Дюла** — Я не был одинок. Рукояти, № 6.
**Йондо, Элолонгэ Эпанья** — Камерун! Камерун! № 5.
**Когоут, Павел** — Хотя давно то было... № 2.
**Ку Хюи Кан** — Рыбаки в море, № 8.
**Лахбаби, Мухаммед Азиз** — Выше голову, люди! № 5.
**Лоуэнфелс, Уолтер** — Говорит Патрис Лумумба, № 5.
**Лоуэнфелс, Уолтер** — Письмо президенту, № 7.
**Маршак, С.**— Из Роберта Бёрнса (Новые переводы), № 11.
**Матусовский, Мих.**— Когда люди становятся поэтами (К годовщине полета советского человека в космос), № 4.
**Методиев, Димитр** — Хлеба, № 9.
**Надь, Ласло** — Во ржи, № 6.
**НАШ ЗВЕЗДНЫЙ ВЕК,** № 9.
**Неруда, Пабло** — Что они оставили в космосе, № 9.
**Окай, Джон** — Космические ритмы, № 10.
**Окай, Джон** — Покуда я дышу! № 5.
**Озга-Михальский, Юзеф** — Земля, о тебе я думаю, № 11.
**Озга-Михальский, Юзеф** — Ключ от седьмого неба, № 1.
**Пазолини, Пьер Паоло** — Интеллектуальная баллада Герману Титову, № 8.
**Пантелеев, Димитр** — Неоплаченный долг, № 9.
**Парун, Весна** — Земля моя! № 10.
**ПАТРИОТАМ КОНГО,** № 5.
**Пачеко, Хесус Лопес** — Стихи, запрещенные франкистской цензурой, № 2.
**ПОЭТ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ИСПАНИИ,** № 6.
**Райт, Джудит** — Легенда, № 10.
**Ружевич, Тадеуш** — Танк-памятник, № 2.
**Салими, Мухаммед Арсалан** — Любовь — источник жизни, № 2.
**СИМФОНИЯ СВОБОДЫ,** № 5.
**Слессор, Кеннет** — Север Австралии. Юг Австралии, № 10.
**СОВРЕМЕННЫЕ ПОЭТЫ АВСТРАЛИИ,** № 10.
**СПАСИБО ЛЮДЯМ, ИХ РУКАМ УМЕЛЫМ** (Стихи вьетнамских поэтов), № 8.
**Стефанова, Лиляна** — Мой день, № 3.
**СТИХИ АФГАНСКИХ ПОЭТОВ,** № 2.
**СТИХИ КИТАЙСКИХ ПОЭТОВ,** № 10.
**Стюарт, Дуглас** — Неизвестный солдат, № 10.
**Суан Зиеу** — Море риса, № 8.
**Те Хань** — На лесоразработках, № 8.
**То Хыу** — Партии тридцать лет (Отрывок из поэмы), № 8.
**Тянь Цзянь** — Феникс, № 10.
**Ульфат, Гуль Пача** — Красота в лохмотьях. Привет весне, № 2.
**Фаиз, Ахмад Фаиз** — Жизнью был каждый шаг (Предисловие Миколы Бажана), № 7.
**Фрид, Иржи** — Майское, № 4.
**Фурнаджиев, Никола** — Поток. Рассвет, № 9.
**Ханг Фыонг** — Юноша кораблестроитель. № 8.
**Ханчев, Веселин** — Посвящение. Парижский дождь, воспетый шарманкой, № 9.
**Хикмет, Назым** — Солома волос, ресниц синева... (Поэма), № 1.
**Хоанг Чунг Тхонг** — Глаза Юга, № 8.
**Чепели-Сабо, Бела** — Сын земли, № 6.
**Чжан Тянь-мин** — Во имя сына, № 10.
**Чори, Шандор** — Будничный закат, № 6.
**Шимон, Лайош** — Старик, № 6.
**Элюар, Поль** — Разные годы (К 10-летию со дня смерти), № 11.
**Эрнандес, Мигель** — Стихи разных лет (Вступительная статья В. Ясного), № 6.

## ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

**Ду Фу** — Стихи о женщинах, собирающих хворост, и др., № 8.
**Йожеф, Аттила** — Стихи, № 12.

## КРИТИКА

**Анисимов, И.**— Средина века, № 7.
**Бернштейн, И.**— В поисках главного героя, № 10.
**Гаек, Иржи** — На пути к свершениям, № 11.

**Доланский, Юлиус** — Чехи слышали «Колокол» (К 150-летию со дня рождения А. И. Герцена), № 3.
**Елистратова, А.** — «Времена изменились...», № 12.
**Затонский, Д.** — Сила любви и ненависти, № 10.
**Каранфилов, Ефрем** — Новое в болгарской прозе, № 11.
**Карельский, А.** — Если хочешь мира... № 2.
**Кашкин, Иван** — Роберт Фрост, № 10.
**Кирсанов Семен** — Жизнь и поэзия (О Владиславе Броневском), № 4.
**Книпович, Е.** — Писатель гуманистической темы, № 8.
**Книпович, Е.** — Чувство истории (Томас Манн в советской критике), № 3.
**Левидова, И.** — В театр приходит новый герой (Заметки о молодых драматургах Англии), № 1.
**Лоусон, Джон Говард** — Современная драматургия США, № 8.
**Мейлах, Б.** — Ленин и иностранная литература, № 4.
**Мику, Д.** — Победы и поиски нового румынского романа, № 3.
**Мотылева, Т.** — О литературном новаторстве, № 6.
**Ненекхали, Камара Кондотто** — Поэзия и национальное сознание, № 5.
**Новиков, Михай** — В шеренге борцов, № 11.
**Орлова, Р.** — Деньги против человечности (Заметки о творчестве Джона Стейнбека), № 3.
**Плавскин, З.** — Кто же хранит ключи от «Фуэнте Овехуны»? № 12.
**Ромеро, Эльвио** — Мигель Эрнандес (Судьба и поэзия) (Главы из книги), № 6.
**Руж, Иван** — Горизонты открыты, № 2.
**Рюриков, Б.** — Социалистический реализм и его «ниспровергатели», № 1.
**Салинари, Карло** — Антонио Грамши — революционер и мыслитель, № 11.
**Салинари, Карло** — На путях к реализму, № 2.
**Суровцев, Юрий** — Весь этот мир — твой! № 1.
**Трущенко, Е.** — В поисках сущности человека, № 6.
**Трущенко, Е.** — Такова ли панорама современной литературы? № 12.
**Фрид, Я.** — Об авантюризме мысли и действия, № 8.
**Хоай Тхань** — Пусть ярче расцветает сад нашей культуры, № 4.
**ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО ГЕРОЯ**, № 11.
**Шкунаева, И.** — Место действия — Конго, № 4.

## ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

**Бехер, Иоганнес** — Стойкость (Предисловие и перевод О. Егорова), № 11.
**Голсуорси, Джон** — Создание характера в литературе (Послесловие Д. Жантиевой), № 7.
**«ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»**, № 9.
**Кручковский, Леон** — Позиция художника, пути искусства, № 1.
**Новиченко, Л.** — Литература и современность (Писатели за круглым столом «Иностранной литературы»), № 9.
**СЛОВО ПИСАТЕЛЕЙ ИСПАНИИ**, № 12
**Хемингуэй, Эрнест** — О литературном мастерстве, № 1.

## СРЕДИ КНИГ

**ГОЛОСА НОВОЙ АФРИКИ**, № 5.
**КНИГИ В БОРЬБЕ**, № 11.

### ИЗДАНО В СССР

**Александров, Д.** — Трилогия о норвежских шахтерах, № 9.
**Атарова, К.** — Свет поэзии, № 10.
**Бакланов, Григорий** — Обязанность быть человеком, № 1.
**Бахмутский, В.** — Интересное исследование, № 4.
**Великовский, С.** — Уроки наследия, № 12.
**Вильмонт, Н.** — Русский Рабле, № 7.
**Вихоцкий, Л.** — В тревоге за судьбы людей, № 4.
**Волевич, И.** — Будущее зависит от нас, № 2.
**Геевский, И.** — «Я верю в свой рабочий класс», № 6.
**Герасимова, Валерия** — Нельзя уничтожить... № 3.
**Грузинова, А.** — Главный курс, № 10.
**Грузинова, А.** — Солнце взойдет, № 5.
**Диковская, В.** — Сокровищница сказок, № 3.
**Друнина, Юлия** — ТБЦ — это наша жизнь, № 9.
**Дьяконова, Н.** — Историческая трилогия Сигрид Унсет, № 8.
**Дынник, Валентина** — Артюр Рембо на русском языке, № 2.
**Егорова, Г.** — Раннее произведение писателя-гуманиста, № 12.
**Злобин, Степан** — Волки и люди, № 1.
**Зонина, Л.** — Только правда, № 12.
**Ким, Л.** — В преддверии весны, № 10.
**Кораллов, М.** — Путь к измене, № 4.
**Кораллов, М.** — Рукопожатье, № 12.
**Левонтин, Эзра** — Сатира Луиса Карлоса Лопеса, № 7.
**Лисевич, И.** — Из классической китайской поэзии, № 9.
**Огнев, Владимир** — Эй, ветер! № 12.
**Олонова, Э.** — Суровая и мужественная книга, № 8.
**Петриковская, А.** — С живыми по пути, № 10
**Петриковская, А.** — Эпизод борьбы, № 11.
**Полищук, А.** — Внук учится писать, № 5.
**Полищук, А.** — Мятежный голос, № 7.
**Ревич, Александр** — Вставай и действуй! № 5.
**Савин, Г.** — Человек остается узником на свободе... № 2.
**Северцев, Сергей** — Поэзия горечи и надежды, № 3.
**Сельвинский, Илья** — Образ поэта, № 6.
**Слуцкий, Борис** — Летопись жизни и любви Иржи Тавфера, № 12.
**Соколов, Вадим** — Роман Титуса Поповича, № 8.
**Соколов, Вадим** — Судьба коммуниста, № 11.

**Тишков, А.**— Новые переводы Пу Сун-лина, № 3.
**Турков, А.**— Богаче на целый звук, № 10.
**Фейгина, Л.**— Земля горит, № 12.
**Финицкая, З.**— Залог грядущего расцвета, № 5.
**Фиш, Р.**— Борющийся Стамбул, № 7.
**Хлодовский, Р.**— История и время, № 6.
**Черникова, С.**— Уверенные в будущем, № 11.
**Шейдина, И.**— Человек прокладывает дорогу к счастью, № 10.

### ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

**Агафонова, М.**— Сила страны — в ее народе, № 8.
**Балашов, В.**— Парадоксы эпигонства, № 3.
**Балашов, В.**— Победа Артюра Адамова, № 7.
**Башинджагян-Арутюнова, Н.**—Братья мои— в боях, № 2.
**Борин, Г.**— Судьба маленькой Ванды, № 7.
**Волевич, И.**— Зеленая ветка надежды, № 8.
**Воронель, Н.**— Путешествие на деревянном коне, № 5.
**Дарваши, Иштван** — «Исповедь и история», № 11.
**Дашкевич, Юрий** — Поэт кубинской революции, № 4.
**Димитрова, Стефана** — Огни новой жизни, № 2.
**Жантиева, Д.**— Политика и кассовые сборы, № 1.
**Злобин, Г.**— Два цвета мира, № 6.
**Злобин, Г.**— Кто в ответе? № 1.
**Зонина, Л.**— Гангрена духа, № 4.
**Иванова, Ленина** — Больше света! № 8.
**Игнатов, М.**— Герои «малой войны», № 11.
**Кулаковская, И.**— Гороскоп Дж. Б. Пристли, № 3.
**Мельников, А.**— Глазами друзей, № 7.
**Митина, С.**— «Африканская сокровищница», № 5.
**Млечина, И.**— Не просто описание, № 9.
**Молхов, Яко** — «Так умираем только мы», № 8.
**Неделин, В.**— Исповедь Уильяма Ллойда, № 3.
**Опря, Ал.** — «Песнь для локоле», № 5.
**Орлова, Р.**— Ирония и горечь, № 10
**Осповат. Л.**— Партизанская гитара, № 11.
**Петриковская, А.**— Барьеры видимые и невидимые, № 5.
**Погосов, Ю.**— Рожденные революцией, № 11.
**Подземская, Н.**— В застенках греческих тюрем, № 10.
**Потехина, Г.**— Жак Рабемананд зара — поэт и патриот, № 5.
**Прожогина, С.**— К свободе, к свету, № 5.
**Романенко, А.**— Поэзия великой борьбы, № 7.
**Россиянов, О.**— «Всюду дома», № 9.
**Скороденко, В.**— В тисках одиночества, № 10.
**Слуцкий, Борис** — Выход из «лабиринта», № 9.
**Симонян, Л.**— О бдительности, о доверии, № 1.
**Симонян, Л.**— Поднимая целину, № 11.
**Сорокин, В.**— Перед рассветом, № 11.
**Старцев, А.**— Ценой потери, № 2.
**Сурур, Нагиб** — «Вор и собаки», № 10.
**Тарасова, М.**— «Государственное издательство — Варна», № 10.
**Тарасова, М.**— Раздумья современника, № 6.
**Фрид, Я.**— Дружба, окрепшая в трудное время, № 1.
**Чернявская, И.**— Как «спасти короля»? № 4.

### ОБЗОРЫ

**Диас, Мартин** — Молодая испанская литература, № 10.
**Павленко, А.**— Писатели новой Индонезии, № 4.

### КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

**Обозрение зарубежной прессы,** №№ 1—4, 6—12.

### ПОЛЕМИКА

**Абалкин, Н.**— Корабль пойдет на дно... (На XXXI международной художественной выставке в Венеции), № 11.
**Самарин, Р.**— Жан-Жак Руссо с точки зрения лилипута, № 10.
**Черная, Л.** — В страхе перед Брехтом, № 4.

### ПУБЛИЦИСТИКА

**Антеос, Петрос** — Коммунизм, человек, родина (Размышления греческого поэта), № 8.
**Аш-Шаркави, Абд ар-Рахман** — Встреча на берегах Нила, № 5.
**Белфрейдж, Седрик** — Джеймс Моррис путешествует (Памфлет), № 7.
**Бельская, А.**— Против безумия ядерной войны (О книге Нормана Казенса), № 3.
**Брейн, Джон** — Долг каждого из нас (Открытое письмо редактору), № 6.
**Воген, Дж. Коинде** — Киноложь об Африке, № 5.
**Грамши, Антонио** — «...Чтобы наши дети жили в свободном и прекрасном мире» (Письма к жене), № 11.
**Дарваш, Йожеф** — Праздник человечества. № 4.
**Дольчи, Данило** — Под небом Сицилии, № 9.
**Дэвидсон, Бэзил** — От отчаяния к возмущению, № 5.
**Евсюков, П.**— Народ Анголы завоюет свободу, № 5.
**Ибаррури, Долорес** — Единственный путь, № 11.
**Йохо, Вольфганг** — К новым вершинам (Заметки писателя), № 3.
**Казакевич, Эм.**— Ленин в Париже, № 1.
**Каррион, Бенхамин** — Знамя жизни, № 9.
**К ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ ЗА ВСЕОБЩЕЕ РАЗОРУЖЕНИЕ И МИР,** №№ 6, 7.

**Куртад, Пьер** — Газета, которой верят миллионы (К 50-летию «Правды»), № 4.
**Леви, Карло** — Культура — сестра свободы и мира, № 9.
**Маньян, Мариус** — Во имя поющего завтра, (Заметки французского коммуниста), № 1.
**МОСКВА, ДВОРЕЦ СЪЕЗДОВ, 1962** (Заметки участников Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир), № 9.
**Перло, Виктор** — Великий план (Заметки американского экономиста), № 2.
**Питтман, Джон** — Логика одной жизни, № 3.
**Познер, Владимир** — Народ под следствием, № 4.
**Робертс, Холланд** — Америка сравнивает, Америка задумывается, № 6.
**Смит, Джессика** — Американцы должны сказать свое слово, № 7.
**Стиль, Андре** — Суждено ли Франции «гнить на корню»? № 4.
**Темпест, Питер** — Начало новой эры, № 11.
**Фревиль, Жан** — Наше идейное оружие, № 10.
**Фучик, Юлиус** — Три неопубликованных письма, № 11.
**Эйнштейн, Зигфрид** — Я обвиняю! (Фрагменты из книги «Обер-бухгалтер смерти»), № 12.

## ОЧЕРКИ

**Барбу, Эуджен** — Родина, № 6.
**Кржиж, Иван и Томечек, Яромир** — История двух писем, № 2.

## ДОКУМЕНТЫ

**Ответственность** (Дело Изерли), № 8.
**Так побеждает революция** (Из книги «Плайя-Хирон»), № 4
**Шоу, Бернард** — Стопроцентная Америка, № 3.

## ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

**Аллег, Анри** — Бойцы в плену (Страницы, написанные на свободе. Послесловие автора), №№ 1, 2.
**Гофмейстер, Адольф** — Портреты (Главы из книги), № 8.
**Маниатис, Георгий** — Записки легионера, № 7.
**Хови, Карл** — Львенок (Джон Рид, каким я его знал. Послесловие Тамары Хови). №№ 9, 10.
**Хьюз, Эмрис** — Встречи и беседы с Бернардом Шоу, № 12.

## ТЕАТР

**Маккриндл, Александр** — На шотландской сцене, № 8.

## НАШИ ГОСТИ

**«Африка — это дело совести каждого...»** (Сара Лидман в редакции «Иностранной литературы), № 10.
**Дашкевич, Юрий** — Мигель Анхель Астуриас, № 12.
**Олдридж, Джеймс** — Главное — понимать свою эпоху, № 2.

## КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

**Анисимов, И.**— Мария Домбровская (К 70-летию со дня рождения), № 10.
**Еременко, Л.**— Выдающийся корейский поэт и мыслитель (К 200-летию со дня рождения Чон Да Сана), № 8.
**Каверин, В.**— О Диккенсе (К 150-летию со дня рождения), № 2.
**Карская, Татьяна** — «Божена Немцова, борющаяся» (К 100-летию со дня смерти), № 1.
**Кирсанов, Семен** — О Назыме Хикмете (К 60-летию со дня рождения), № 1.
**Константиновский, И.**— Караджале (К 50-летию со дня смерти), № 6.
**Кутейщикова, В.**— Наш друг Жоржи Амаду (К 50-летию со дня рождения), № 9.
**Нагибин, Юрий** — Добрый талант (К 100-летию со дня рождения О. Генри), № 9.
**Песис, Б.**— Слушая и перечитывая Арагона (К 65-летию со дня рождения), № 10.
**Познер, Владимир** — Беседа с Арнольдом Цвейгом, № 11.
**Полевой, Борис** — Певец Кубы (К 60-летию со дня рождения Николаса Гильена), № 7.
**Полевой, Борис** — Светлый талант (К 80-летию со дня рождения Марии Майеровой), № 2.
**Сильман, Т.**— Герхарт Гауптман ( К 100-летию со дня рождения), № 11.
**Симонян, Лидия** — Сила таланта (К 50-летию со дня рождения Э. Штриттматтера), № 7.
**Умнякова, Е.**— Великий венгерский реалист (К 20-летию со дня смерти Жигмонда Морица), № 9.
**Эйдлин, Л.**— Поэт великого народа (К 1200-летию со дня смерти Ли Бо), № 12.
**Эйснер, Алексей** — Матэ Залка — генерал Лукач (к 25-летию со дня гибели), № 6.
**Эткинд, Е.**— Морис Метерлинк (К 100-летию со дня рождения), № 8.
**Славин, Лев** — Ум и сердце писателя (Памяти Леона Кручковского), № 9.

## ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

**Вихман, Ева** — Свен Грёнвалл — финский художник, № 4.
**Виц, Игнацы** — Мастер фотомонтажа Мечислав Берман, № 7.
**Ефимов, Василий** — Мигель Виладрич, № 4.

**Джон Хартфильд — художник-коммунист** (Вступительная статья А. Житомирского), № 11.

**Кунихэн, Ноэл** — Австралийские художники-реалисты, № 9.

**Темпест, Питер** — Эрн Брукс, № 1.

**Чегодаев, А.**— Наш друг Рокуэлл Кент, № 6.

**КАРАНДАШОМ И ТУШЬЮ**, №№ 2, 10.

**ИЗ ПУТЕВОГО АЛЬБОМА**

**Асламазян, Мариам** — В добрый час! № 5.
**Житомирский, А.**— На берегах Дуная, № 2.
**Кокорин, А.**— По Англии и Шотландии, № 3.
**Красницкая, А.**— Сделать далекое близким, № 5.
**Пименов, Ю.**— В древней и новой Индии, № 8.

**У НАШИХ ДРУЗЕЙ**

**По страницам журналов социалистических стран**, №№ 9—12.

**НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ**, №№ 1—4, 6—12.

**ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ**
**Хроника**, №№ 1—12.

**КОРОТКО ОБ АВТОРАХ**, №№ 1—12.

ПОПРАВКА

В тексте сноски на стр. 129 № 11 нашего журнала допущена ошибка.

Следует читать:

* Место, где в 1917 году румынские войска нанесли сильное поражение немецкой армии.

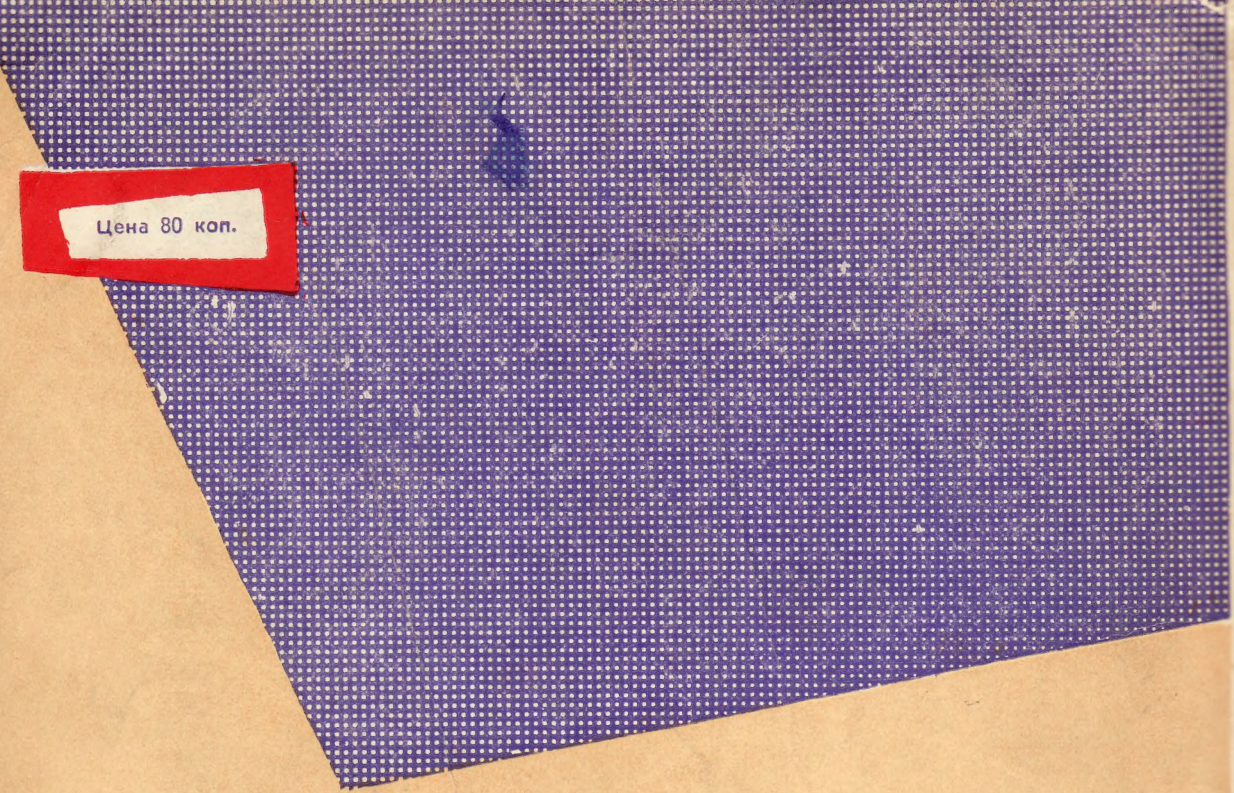
Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:
**И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, Б. Г. Гафуров, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов** (зам. главного редактора), **Е. А. Долматовский, Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, М. И. Рудомино, В. П. Терешкин, Е. А. Трущенко, М. А. Шолохов.**

Художеств. редактор *М. М. Милославский*
Технический редактор *В. Л. Шачнев*
Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефон: В 3-51-47.

Сдано в производство 8/X-62 г.
Подписано к печати 30/XI-62 г.
А 09294
Бумага 70×108¹/₁₆ = 9 бум. л.; печ. л. 24,66.
Зак. 1907.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.


Цена 80 коп.